СОВРЕМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА ЮГРЫ

ХРЕСТОМАТИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ

9–11

классов

СОВРЕМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА ЮГРЫ:

хрестоматия для учащихся 9–11 классов

Ханты-Мансийск
2008

УДК 89(Р571)(75)
ББК 83.3(2Рос-Хан)
С 568

С 568 **Современная литература Югры:** хрестоматия для учащихся 9–11 классов. Для внеклассного чтения / Сост. А. Н. Семенов. – Екатеринбург.: ООО «Баско», 2008. – 456 с.

Редакционная коллегия:

Семенова В.В. – доцент кафедры журналистики и литературы ЮГУ

Козлов С.С. – доцент кафедры журналистики и литературы ЮГУ, главный редактор газеты «Новости Югры»

Ефремов А.В. – профессор, доктор педагогических наук, ректор Института повышения квалификации работников образования

Федюкина Л.Н. – учитель высшей категории (русский язык и литература), шк. №15, г. Нижневартовск

Вербич С.А. – учитель высшей категории (русский язык и литература), шк. №1, г. Ханты-Мансийск

ISBN 978-5-91356-059-9

Материалы хрестоматии предназначены для организации занятий по внеклассному чтению, могут быть использованы в работе профильных классов, кружков и факультативов, которые изучают историю и культуру родного края. Книга предназначена самому широкому кругу читателей, интересующихся литературой земли Югорской.

УДК 89(Р571)(75)
ББК 83.3(2Рос-Хан)
С 568

ISBN 978-5-91356-059-9

© Авторы, 2008
© ООО «Баско», оформление, 2008

Уважаемый старшеклассник!

Перед тобой хрестоматия, представляющая творчество писателей Югры.

Мы далеки от мысли, что в одной хрестоматии можно собрать все богатство и разнообразие литературной жизни нашего края. Однако составители стремились к тому, чтобы в эту книгу вошли прежде всего авторы, произведения которых наиболее представительно и ярко отражают то явление, которое называется Литература Югры.

Югра литературная сегодня – это довольно большая группа самобытных, интересных авторов, которые пишут на хантыйском, мансийском, ненецком, русском языках. Они, каждый по-своему, в традициях своей национальной культуры и эстетики пытаются осмыслить своеобразие современного мира, разобраться в героической и трагической истории нашей многонациональной Родины и нашего края, пытаются понять, кто же он, современный человек.

Любому вдумчивому читателю принципиально важно увидеть то, как своеобразно обращение к названным проблемам, как оригинальны попытки их решения у авторов, которые пишут на языке народа ханты, таких, например, как Еремей Айпин или Мария Вагатова, Владимир Волдин. Свое видение, свое эстетическое и философское отражение этих проблем находим у писателей народа манси: Ювана Шесталова и Марии Коньковой. Юрий Вэлла, пишущий на ненецком и русском языках, стремится найти свое романтическое решение для любой, самой сложной и даже трагической проблемы современности.

Часто источником творчества для писателей Югры, как и для оригинальной манеры письма (не только у тех, кто пишет на языках народов Севера) служит богатейший пласт народных преданий, сказок, легенд и песен северных народов. Однако назвать их при этом только национальными нельзя: их поэтически-образные размышления и поиски имеют общечеловеческий, общезначимый характер. Для настоящего художника радости и боли современной жизни, размышления о прошлом и будущем живущего на земле человека не могут сегодня иметь только национальный характер. В этом убеждаешься, когда читаешь мастерски исполненную прозу Николая Коняева и Сергея Луцкого, проникновенные и глубокие повести и рассказы Сергея Козлова, когда открываешь для себя творческие поиски Валерия Михайловского, когда углубляешься в исторические размышления Маргариты Анисимковой.

Многие поэтические произведения, включенные в данную хрестоматию, для большинства ее читателей доступны, к сожалению, только в переводе. Однако и переводы передают, доносят до читательского сознания метафорически оригинальную образность и глубокую философию космического сознания поэзии Ювана Шесталова, вдохновенное любование человеком и

красотой родной земли в лирике Владимира Волдина, саму мудрость народа, идущую из глубины веков и своеобразие поэтического мироощущения в поэзии и прозе Марии Вагатовой.

По-своему, но не менее самобытно звучат постоянные размышления о судьбе своей Родины, своего современника, о трагедиях и противоречиях отечественной истории в поэзии Дмитрия Мизгулина или наблюдения над тем, каково место и судьба искусства, творческого человека в сложно меняющемся мире, в лирике Петра Суханова. Если Андрея Тарханова более всего волнует проблема обретения себя человеком в природе и Родине, то поэзия Ирины Рябий жива не столько стремлением разобраться в проблемах окружающего мира, сколько в своем внутреннем – богатом и в чем-то парадоксальном.

Ищут себя в истории и в родной природе Владимир Мазин и Владимир Волковец, обладающие даром в «суетливой тщете» человеческой жизни видеть смысл бытия, умеющие этим смыслом поделиться с читателем.

Проза и поэзия Павла Черкашина обращены к тому, как надо ценить жизнь, все ее проявления, ценить свою Родину и уметь ее защищать.

Главное же, что объединяет всех этих авторов (независимо от того, на каком языке они пишут) – это владение Словом, трепетно бережливое отношение к нему. Именно владение Словом дает писателю ощущение, дыхание творческой и жизненной свободы.

О писателях, чьи произведения вошли в состав данной хрестоматии, можно говорить много, лучше, разумеется, обратиться к ним самим, к их живому слову.

Материалы хрестоматии предназначены для организации занятий по внеклассному чтению, могут быть использованы в работе профильных классов, кружков и факультативов, которые изучают историю и культуру родного края. Книга предназначена самому широкому кругу читателей, интересующихся литературой земли Югорской.

АЙПИН
Еремей Данилович
(р. 1948)

Первый рассказ «По насту» опубликовал в газете «Ленинская правда» в 1969 году. Первая книга «В ожидании первого снега» спустя 10 лет вышла в Свердловске. Автор многих сборников прозы, в том числе: «В ожидании первого снега» (1989), «В тени старого кедра» (1981; 1986), романа «Ханты, или Звезда Утренней Зари» (1990), пьесы «Красная нарта» (1991), сборника публицистики «Обреченные на гибель» (1994), книги избранных произведений «Клятвопреступник» (1995), повести в рассказах «У гаснущего очага» (1998), романа «Божья Матерь в кровавых снегах» (2002), сборника рассказов «Река-в-Январе» (2007).

Произведения Е. Айпина переведены на английский, венгерский, испанский, немецкий, финский, французский и другие языки. Роман «Божья Матерь в кровавых снегах» экранизирован.

Член Союза писателей СССР с 1981 года. Заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского автономного округа» (1998). Лауреат премии Губернатора автономного округа в области литературы 1999 года за книгу прозы «У гаснущего очага» (1998). Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2000). Депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа.

Творчество Еремея Айпина – это и летопись истории, души народа ханты, и постоянное напоминание о трагическом конфликте традиционной культуры с наступающей на нее цивилизацией, и глубокие размышления о современном человеке. Это художник, преданный духовному и эстетическому наследию своего народа, но его нельзя назвать «этническим». Образное слово писателя позволяет не просто соприкасаться, но смыкаться, скрещиваться разным культурам и цивилизациям, языкам и мировоззрениям, разумеется, если они хотят понять друг друга, если хотят знать, какую общую трагическую историю мы пережили и в какой современности живем. Еремей Айпин лиричен и глубок, когда говорит о своем народе и его прекрасной земле, убедителен, когда не соглашается и спорит, философически глубок, когда пытается разобраться и в истории, и в современности.

«Читая Айпина, – признавался Сергей Залыгин, – я понял, что уже и следа не осталось от природности того человека, который там живет. Ни одно другое чтение мне этого ощущения не давало. И это, наверное, потому, что все, что я читал, принадлежало авторам, для которых Север является временным жилищем, временным местом пребывания, источником литературы, но не источником собственной жизни, жизни их самих, их предков, их потомков».

ОСЕНЬ В ТВОЁМ ГОРОДЕ

Осенняя грусть

Ты помнишь ли ту Осень?

Я приехал к Тебе.

Падал снег. Снег падал огромными хлопьями, закрывавшими все небо.

Помнишь ли тот Снег?

И мы пошли на реку. Точнее, на набережную Твоей реки.

У реки, где с моря налетал резкий ветер, хлопья снега как бы взрывались и бешено неслись неведомо куда.

На реке стояли на якорях корабли с грозно торчащими стволами пушек. Над ними низкое тяжелое небо, а под ними свинцово-ледяная вода. И корабли тоже отливали свинцом.

Был праздник.

И на кораблях была праздничная суета. Матросы в черных бушлатах, подобно муравьям, сновали по палубам. Мы тогда гордились этими кораблями. Вот какие мы сильные! Вот какие могучие! Вот какие мы великие!.. В то время я еще не понимал, что любой подобный корабль – это смерть. Это погибель всем нам или живущим на других континентах.

Мы шли в снегу.

Мы шли в снегу под ударами ветра в спину. Я шел со стороны реки, прикрывая Тебя от ледяного холода воды. Мы шли медленно, не спеша. Я шел и молчал. Я молча слушал Тебя. Слушал твой изумительный голос. Ты сказывала мне сагу о своем городе. Сказывала с любовью. С любовью к своему городу, где на каждом шагу возникало чудо. Я слушал. Слушал ревниво. Я ревновал Тебя к твоему городу. И, ревнуя, наслаждался твоим изумительным голосом. Изумительным был тембр, чистый и нежный. Я слушал как сказку, как песню, как симфонию. Я улавливал в очаровывающей музыке твоих слов и вздохи ласкового моря, и шелест осенних листьев в прибрежном лесу, и серебряный звон таежного родника. Твой голос завораживал меня, усыплял, волшебно переносил в совершенно другой мир, в другое измерение. Кажется, помню все, что Ты мне говорила. Но неожиданно и ненадолго куда-то исчезал. Проваливался невесть куда. Вернее всего, попадал в неземное пространство.

Если в прозрачно ясный и тихий вечер в укромном лесном закоулке, пред разгорающейся вечерней зарей, очень осторожно и нежно задеть отливающий живым оранжевым огнем Небесный Купол, возможно, он издал бы что-то подобное твоему голосу... Не знаю, говорил ли Тебе кто про твой необыкновенный голос. Не знаю, ведаешь ли, каким волшебством Ты обладаешь?! Не знаю. Я же про это Тебе ничего не сказал...

Я был счастлив. И, казалось мне, этим ощущением счастья было заполнено все вокруг нас. И падающие снега, и холодные воды. И черное железо мостов, и тусклый гранит набережных, и строгая бронза памятни-

ков, и ягельно-зеленоватая медь церквей и храмов, и буро-песчаные стены домов. И сумрачное небо, и мокрая земля. Да, я был счастлив. Но я сразу уловил необыкновенную хрупкость этого мгновенья счастья. Все было неустойчивым и зыбким, как наступающий осенний день. День короткий, призрачный, почти неуловимый. Ведь Ты и сама была легка и хрупка, как падающая с неба снежинка. А снежинка неслышно садилась на руку – и в следующий миг стекала на землю родниковой капелькой воды. А возможно ли было сохранить снежинку на многие-многие лета и зимы?! Навсегда?! Навечно?!

По набережной сновала не очень веселая, принудительно-добровольно выведенная на улицы, прозрачная толпа. Она казалась серо-темной на фоне падающего снега.

С набережной, свернув вправо, мы вышли на знаменитую Главную площадь твоего города. Шли медленно, не спеша. Ты говорила, как сказку сказывала, как песню напевала. А я слушал и смотрел. Конечно же, больше смотрел на Тебя, нежели на достопримечательности города. Вернее, всматривался в твои глаза. Ты все показывала глазами. И я спешил за твоим взглядом, очерчивавшим пространство вокруг нас. И этим пространством был весь мир, в котором нас было только двое.

Ты и я.

И больше никого.

И это была жизнь наедине с Тобой.

И я наслаждался этой жизнью и этим миром. Хотя иногда мне казалось, что Ты идешь не рядом со мной, а витаешь высоко-высоко в небесах, в мире грез и мечтаний. Ты не просто шла по жизни – Ты совершенствовала мир. Ты вся светилась. Ты горела. Ты одухотворяла мир, человека и все сущее во Вселенной. Я знал, что Ты не подозревала, что сама была обворожительным совершенством мира. И все, к чему Ты прикасалась, становилось лучше, прекраснее...

Потом мы повернули под арку и прошли на Главную улицу твоего города, тоже знаменитую. Впрочем, тут все, к чему ни прикоснись, чем-нибудь да памятно. Хотя, каждый город по-своему примечателен. Но это твой город!.. Город, как и Ты, не был похож ни на один другой...

Мы перешли Главную улицу против кинотеатра.

Помнишь ли, как назывался тот кинотеатр? Я помню. Но мне не хочется, чтобы кто-то узнал твой город. Он принадлежит только Тебе и никому больше. И кинотеатр тоже принадлежит только Тебе и мне.

Город был наполнен твоим дыханием.

Город дышал Тобой.

На улице пронизывающий ветер с моря бил в наши спины. Падающий снег сразу же превращался в мокрую слякоть под ногами. Прохожие, съежившись, спешили по своим делам. Зябко, сыро. Но мне рядом с Тобой было тепло. Никто еще в этом мире не излучал такое тепло. Ровное, все-

проникающее тепло. Оно согревало меня, стены домов, стволы деревьев, камень ближайших дворцов и храмов. Казалось, всю землю и небо. Я не чувствовал ни холода, ни ветра, ни слякоти. Но в фойе кино мы выпили кофе. Кофе был не очень горячим, но приятным.

В зале я сидел слева от Тебя и слушал твое сердце. Его биение отзывалось во льдах и снегах моего Севера, и я улавливал эти милые отзвуки... Не помню, как назывался фильм. Не помню ни одного кадра. Наверное, ни разу не глянул на экран. Я чувствовал только Тебя. Ничего не скажу о твоих глазах, о твоих волосах, о твоих губах, ибо до сих пор, до самого последнего мгновенья, никому не хочу отдавать Тебя. О кино ничего не помню. Но я помню твое тепло. Ты излучала тепло, и я улавливал это тепло, начиная с колена. И чем выше, тем теплее, тем горячее Ты становилась, постепенно превращаясь в испепеляющий огонь. И я горел в этом сладостном огне... Ты согревала Вселенную. Всю. Ты согревала и дом моего отца на далеком Севере, и наш сосновый белоягельный бор, и наши озера, и нашу реку, и нашу Богиню...

Я вздрогнул от неожиданности. Нашу Богиню!.. Может быть, Ты сама Богиня?! Возможно ли совмещение двух Богинь?!

Я горел в твоем огне...

И эта огненная строчка все вписала в мою память.

Помню твои слова.

Помню твои глаза.

Помню твои волосы.

Помню твои губы.

Я помню...

Словом, все я помню...

Тогда, в кино, справа от Тебя сидела твоя подруга, тихая и красивая блондинка. Сначала я огорчился, что Ты пригласила ее с нами в кино. Но она оказалась девушкой деликатной, и я не чувствовал ее присутствия. При ней мы были вдвоем. Точнее, для меня была только Ты. Одна. Единственная. Незабвенная, никому не принадлежащая...

Я тихонько горел...

Я был счастлив.

Потом, уже в сумерках осеннего дня, мы вышли из кино. По-прежнему шел снег, дул ветер и праздничные прохожие, больше радующиеся нерабочему дню календаря, неистово месили уличную слякоть.

Загустели сумерки.

Загустели сумерки короткого осеннего дня твоего города.

Я был невыразимо счастлив. И думал, что буду вечно счастливым рядом с Тобой. Хотя и предчувствовал, что слишком большое и неожиданное счастье не может быть вечным и непоколебимым. Наоборот, оно очень хрупкое и ранимое.

Наступил вечер.

Спустились сумерки.

И мы поехали к Тебе. И я все еще был переполнен счастьем. Мне было хорошо. И Тебе было хорошо. Нам было хорошо. И, казалось, нам всегда будет хорошо...

Странно, почему в тот наивысший миг счастья я не сгорел?! Почему я не превратился в пепел?!

... А потом мы расстались. Думали – ненадолго.

Оказалось – навсегда.

Расстались навсегда.

Расстались.

Разъехались.

* * *

Потом я приехал в твой город. И уже один бродил по нашим следам. Вернее, по твоим следам. Набережная реки, Главная площадь, арка, короткий проезд, Главная улица, кинотеатр, твоя улица, твой дом. Я бродил как бы в сомнамбулическом сне. Никого и ничего не воспринимал. Видел только горящие тихим огнем твои следы. Слышал только твой чудный голос. Вспоминал только твои слова. Улавливал запах только твоих волос. Удивительно четко отпечатались на камне мостовых твои следы. Я находил и всматривался в них необъяснимым внутренним зрением. Порою наплывали искаженные пушкинские строки:

«… ходила маленькая ножка,
вился локон золотой...»

Хотя у Пушкина все это, кажется, было в настоящем времени.

Я снова в твоем городе.

Город без Тебя опустел.

Город без Тебя осиротел.

Город без Тебя помертвел.

Вот и кинотеатр. В кино я безошибочно нашел место, где Ты сидела в тот счастливый осенний день. Замерев, я долго стоял над твоим креслом. Стоял, ждал, когда Ты явишься ко мне. Я был уверен, что Ты придешь. Я все ждал и ждал Тебя. Наконец, тихо и осторожно опустился в кресло. Осмотрелся, возможно, вздохнул незаметно для себя. Руки сами собой крест-накрест обхватили мои плечи, голова упала на грудь, глаза зажмурились, и все тело мое непроизвольно, до хруста в костях, сжалось в один бесформенный единый ком. Весь я оцепенел и впал в забытье, будто провалился куда-то. А время как бы остановилось.

Сколько это длилось – не знаю. Но потом я очнулся. В изнеможении. Голова с трудом откинулась назад. Я закрыл глаза. И стал поджидать Тебя. Ждал, ждал. И, наконец, почувствовал твое тепло. Как и в ту осень, в тот день, тепло от колена стало подниматься вверх. И чем выше, тем теплее, тем жарче, тем горячее. Сейчас Ты была рядом со мной. Я вернулся в прошлое. Или Ты пришла ко мне из ушедшего времени. Впро-

чем, это неважно. Главное, Ты была сейчас рядом со мной. И я ощущаю твое тепло. Ты рядом, рядом со мной. И мне больше ничего не нужно. Я слышу, как и тогда, твой голос. Я вслушиваюсь в чарующие звуки твоего голоса и впитываю твое тепло. И понимаю, что такое мгновенье уже не повторится никогда. Это в последний раз. Но мне достаточно и этого. Вместе со мной подходила к концу, заканчивалась, обрывалась жизнь вселенская. Вне моей жизни, как и у каждого человека, ничего не существует – ни солнца, ни луны, ни земли, ни Вселенной, ни Тебя. Ничего. И теперь наступил миг, когда я готов расстаться со всем этим ради Тебя. Ибо я уходил в небытие вместе с Тобой. Вместе с твоим теплом. Вместе с твоим голосом. Ведь сейчас мы слились воедино. Мы неразделимы... Я готов к уходу. Я вдохнул воздух, потом выдохнул. И стал замедлять дыхание. И, почти не дыша, медленно, не спеша, убавил бег сердца, чтобы потом, постепенно, как это мог делать мой прадед-шаман, остановить его и тихо, без суеты, уйти навсегда в небытие. И я стал терять ощущение реального мира, но твое тепло еще долго-долго согревало меня...

* * *

... Но так и не канул я в небытие. Не ушел. Вопреки моему жгучему желанию, не остановилось мое сердце. Отчего?.. Почему?.. Не потому ли, чтобы я смог написать эти строки о Тебе, чтобы люди знали, что они жили на земле в Твое Чарующее Время...

Проходили Осени.

Проходили Зимы.

Проходили Лета.

Прошли годы.

Но годы ничего не стерли во мне, ничего не притупили. Как ни странно, время оказалось бессильным пред моим чувством к Тебе. Твое божественное имя живет во мне, и я это имя не доверю никому... Ты теперь от меня далеко-далеко, недосягаемо далеко. И я часто думаю, что было бы, если бы все сложилось по-иному, и мы бы остались вместе?! Что было бы?! Что?! Как прошли бы мы вместе по жизненной тропе?!

Недавно я узнал, что твоя подруга, та славная и красивая блондинка, ушла из жизни. Жаль ее, жаль... Теперь свидетелями нашего таинственного осеннего свидания в твоем городе остались мы вдвоем. Нас двое. Ты и я – и больше никого.

Жизнь моя, как Солнце в полдень, уже поворачивается в сторону заката. И, наверное, мы с Тобой уже не свидимся. Но я знаю, что никто и никогда не смог и не сможет полюбить Тебя так, как я любил и люблю Тебя.

Теперь я тешу себя одной мыслью, что в Нижнем Мире, как уверяла меня моя языческая бабушка, каждый человек, и я в том числе, проживает еще раз одну жизнь, но только в обратном направлении. И сейчас

я живу надеждою, что в той жизни я проведу с Тобой еще один день в твоем осеннем городе и еще раз испытаю короткий миг наивысшего счастья.

Ради этого стоило пройти по этой жизни...

27 января 1993 года
Барвиха

В ПОЛЁТЕ В БЕЗДНУ

Рассказ

Еще до полета в бездну, на зыбкой грани между жизнью и смертью, были ружейные стволы, нащупавшие жертву.

В наплывающих сумерках рыжее пламя выстрела полоснуло по памяти и на мгновенье отбросило его в далекое детство, к устью дышащей живым огнем русской печи. Огонь неистово клокотал в кирпичной теснине. А он, примостившись на обшарпанном табурете, поджаривал на огне голые пятки. Поджаривал крепко, основательно. Сначала подставлял обе пятки. Потом опускал левую ногу и грел только правую. Затем менял местами. Пока одна пятка остывала, через другую тепло приятной струйкой входило в тело. И после этого снова обе пятки в огонь, до тех пор, пока они выдерживают жар, пока не начнут дымиться. Вся премудрость заключалась в том, чтобы втянуть в себя как можно больше тепла, чтобы этого тепла хватило до самой школы. А если и останется чуточку лишнее – то совсем хорошо.

Когда пяткам стало совсем невмоготу от жары, он встал, подошел к боковому окну и на обледеневшем стекле, согревая указательным пальцем, отколупал маленькую круглую дырочку – глазок. Приложился к нему. Прямо по-над березкой с развилиной, вдали, за крышами соседних домов, на взгорке, тянулась в небо белая струйка дыма. Это значило, что главная школьная печь топится, что все в порядке – можно смело собираться в путь.

Убедившись в этом, он вернулся на свой табурет и снова подставил пятки гудящему огню. Впитывать в себя тепло тоже надо умеючи. Грея пятки, нужно сидеть неподвижно и смотреть на пламя. Глаза тоже грелись, тоже притягивали тепло. Через них теплая волна проникала в голову, опускалась вниз и добиралась до самого-самого нутра.

Грелись ресницы.
Грелись веки.
Грелись брови.
Грелся лоб.
Грелся нос.
Грелся подбородок.
Грелись щеки.

Средняя часть тела согревалась через руки. Руки подставлялись огню то ладонями, то тыльной стороной. При этом поворачивались медленно, не спеша, потирая друг друга полусжатыми кулачками. Время от времени теплые ладони поглаживали живот сверху вниз, как бы вправляя огненные струи в себя, внутрь. Потом, скрестив на груди руки, опять же открытые ладони, похлопывая по плечам, вгоняли огонь в верхнюю часть туловища.

Но главной притягательной силой тепла, конечно же, были пятки. Они пытались втянуть в себя весь жар огненного нутра русской печи. Ведь в ближайшие десять минут им предстоит выдержать самое суровое испытание – отдав заснеженной улице часть тепла и при этом не обморозиться, уберечь от простуды хозяина.

Грелись пятки.

Грелись ноги.

Грелось все тело.

Наконец, вобрав в себя нужное количество тепла, он опустил ноги, прикрыл дверцу печки, застегнул на все пуговицы латаное-перелатаное пальтишко, натянул на голову потертую шапчонку, не глядя, опустил руку и взял у правой ножки табурета тряпичную сумку-портфель с учебниками, окинул хозяйским взглядом пустую избу и вышел на крыльцо. Не спеша припер дверь в сенях черенком лопаты, шагом прошел за калитку и, привычно глянув по улице вправо-влево, развернулся всем корпусом назад и полетел в школу.

Непростое это дело – летать в школу.

Летать тоже надо умеючи. Но он, слава Богу, давно уже научился летать. И сейчас он несся во весь упор, едва касаясь мерзлой белой земли, крыльями растопырив руки. Ногами нужно перебирать быстро-быстро, чтобы они больше находились в воздухе, нежели на обледеневшем снегу. Ведь поджаренные пятки с каждым прикосновением отдавали частицу тепла студеной тропе-дороге вдоль улицы. Когда очень крепко разгонишься, наберешь скорость – вот тогда появляется ощущение полета. Ни с чем не сравнима прелесть полета! Тут на мгновение и про зимнюю стужу забываешь, и про голые пятки. Обо всем забываешь. Так начинают летать выпавшие из гнезда птенцы. Два-три взмаха еще неокрепшими крылышками – в воздухе. Потом ножками прикоснулся к земле, оттолкнулся – и снова в воздухе. Так и летит.

Два-три взмаха – воздух.

Шлеп – земля.

Шаг-другой – толчок.

Взмах – полет.

Земля – воздух. Воздух – земля.

Главное, на одном дыхании долететь до школы. Не останавливаться, не мешкать. И чтобы сумка-портфель не вылетела с руки, чтобы учебники не рассыпались на снег, чтобы ноги не поскользнулись ненароком.

Как раз ровно одного дыхания у него хватало до самой школы. Натренировался, научился летать. Было на это немало дней. Как и сегодня, у них с матерью была одна пара валенок на двоих. Обычно у кого обувка – тот на улице, кто с голыми пятками – тот сидит дома. Но выпадали дни, когда обоим надо идти по уличным делам. У кого дальняя дорога – тому и доставались валенки. Вот и в это утро председатель отправил маму вместе с другими колхозницами за сеном на дальних покосах. Уехали валенки. В школу можно было не ходить. Да он уж давно приспособился обходиться без обуви на такие небольшие расстояния. Что стоит пролететь сотню-другую метров по-над снегом?! Нужно только хорошо поджарить пятки…

До такой жизни докатились как-то совсем незаметно. Объявили сбор теплых вещей для Красной Армии. Сдали все, что можно было, что принимали. Как же, отец на фронте, может, замерзает в окопах, может, что достанется и ему. После делились с самыми бедными в деревне, помогали, чем могли. Потом, когда стало голодно, меняли вещи на продукты. Ничто не вечно под луной. Многие вещи износились, прохудились. Так постепенно опустела изба. Осталось самое необходимое. Одна пара валенок на двоих – это еще не совсем плохо. У некоторых соседей и того хуже, а тут еще и у сестренки Нюрки есть свои валенки, бегает в них в школу. Правда, они маловаты, только на ее ногу, другие в доме уже не наденут.

Так он долетел до школьного крыльца. Притормозил, перевел дух и только затем дернул дверь. Входить нужно солидно, без суеты и спешки, всем своим видом показывая, что тебе все нипочем, хоть и пробежался по снегу босиком. Вошел – и сразу в кубовую. Там печка топилась. Зашумели ребята: «Ванька прилетел! Место – Ваньше!»

Все придерживались строгого правила: вошедшему с улицы – место у печки. Он тут же примостился на табурет и сунул пятки в открытую дверцу топки. Погреть, поджарить. Он имел право несколько минут поцарствовать у огня, чтобы восстановить утраченное тепло. Потом нужно уступить место следующему, кто войдет в школу. Бегали босиком, конечно, не все мальчишки. Кто от нужды, а кто просто так, чтобы пофорсить. Мол, мы тоже не лыком шиты, и мы можем по снежку голыми пятками. Особенно тяжко приходилось тем семьям, где не было мужчин, где отцов и старших братьев забрали на войну.

Прозвенел звонок на урок. Так начался школьный день. Кубовая опустела. До следующей перемены. Это самое шумное и веселое место в школе. Все сбегаются сюда погреться. И свои, деревенские ребята, учинские. И интернатские, из соседней деревни Евры. Там в начале войны школу закрыли, а учеников привезли сюда, в Учинью, в интернат. Питаются они в интернатской столовой. Жизнь у них более сытная, чем в доме у Ваньши. Всегда есть горячая кашица, кусок хлеба и чай с кусочком сахара. Раз в день получали дольку масла. Правда, с перебоями.

Когда открыли интернат, когда совсем тяжко стало в семье, председатель колхоза переговорил со школьными властями и сказал матери: «Ну, Анфиса, одного твоего будут кормить в интернате, – помолчал, потом добавил. – Понимаю, тебе трудно. Но государству сейчас еще труднее...» С тех пор в интернатскую столовую они бегали по очереди. Если он шел на обед, то сестренка Нюрка – на ужин. А на следующий день менялись. Кто вчера ходил на обед, тому доставался сегодня ужин. Само собой установилось одно правило: в столовой съедали все, кроме масла. Если давали масло, то эта крохотная долька заворачивалась в тряпицу и приносилась матери. Они оба не столько понимали, сколько чувствовали, что без этой их поддержки мать долго не выдержит на тяжелой колхозной работе. Все хозяйство держалось на женщинах. Рыбная ловля, обработка рыбы, погрузка и разгрузка, лесозаготовка, покос, дрова, извоз... Не раз видел Ваньша, как бабы бегут за санями. Все одеты почти одинаково: верх в телогрейке, низ в валенках, а серединка почти голая. Вот они, погоняя лошадей, и не садятся в сани – пробежкой согревают себя в сильный холод.

Вот и звонок с последнего урока. Но домой он не спешил. Нравилось ему в школе. И учение давалось легко, все схватывал на лету. И главное, подготовиться к полету домой. Разыскал сестрицу Нюрку, наказал: «Беги домой, печку затопи».

Впрочем, она и без напоминания знала, что делать. Школа быстро опустела. Интернатские дружно понеслись на обед. Сегодня у них обедает Нюрка, а ему нужно дожидаться ужина.

В кубовой он пристроился у печки и начал поджаривать пятки. Опять их нужно так подогреть, чтобы хватило тепла до самого дома. А дома снова их в печку – и полный порядок. Но если прибежишь в холодную избу и долго не согреешь ноги, тогда можешь простыть и заболеть. А кому хочется болеть?! Главное – вовремя согреть. А болеть совсем некогда!

Глядя на рыжее пламя в печи, греясь, он прикидывал, что ему сегодня предстоит сделать. А дел невпроворот. Если мама вернется засветло, надо сходить к старым амбарам, наковырять со стен хоть с десяток дробинок. До войны мужики здесь пристреливали ружья. А сейчас мальчишки со всей деревни добывают тут свинец. Сплющенные дробинки дома нагреваешь на сковороде, они снова принимают округлую форму. И снаряжаешь патрон. Если найдешь пулю – это счастье. Тут наплавишь дробинок не на один заряд. Вообще каждая дробинка в деревне не имеет цены. А коль не повезет, то придется насечь на острие топора кусочки от старого гвоздя. Потом их можно хорошо прогреть опять же на сковороде, чтобы хоть чуть-чуть оплавились острые краешки-нарубы. И вместо дроби зарядить ими хотя бы один патрон. Говорят, такой заряд портит ствол ружья, но что делать. Есть-то хочется. Это работа на сегодня. И если будет патрон, то завтра после уроков можно сбегать в лес на охоту. Может, косач подвер-

нется. И за одним и петли на зайцев и куропаток проверишь. Давно ничего мясного в доме не было.

По всем приметам, председатель завтра должен дать передых коням. Стало быть, мать никуда не поедет, валенки свободны. Он может надеть их с утра. Подошвы крепкие, до весны дотянут, немного осталось до теплых дней. По-мужицки правильно смекнул, что лучше иметь одну пару хороших пимов, чем две худых. Когда его катанки совсем продырявились, их голенища пустили на подшивку маминых валенок. Правда, они великоваты для Ваньшиной ноги. Но он укладывал в них толстые стельки из травы, а поверх старых носков еще наматывал и травяные портянки. Таким образом, валенки «укреплялись» в ногах.

Мысль о косаче напоминала об осени, о сытном времени года. Мать поднимала их с Нюркой раным-ранешенько, чтобы они до школы успели сходить проверить слопцы на глухарей в сосновом бору. Иногда попадалось до семи птиц в одно утро. Приходилось делать две ходки в такие удачливые дни. Тут сил и времени не жалко. Осенью глухарятина жирная, вкусная. Варили, жарили, парили. В дом приходил праздник. Праздник глухаря. Жили так сытно месяца два-три, до самых снегов. Но впрок мама никогда глухарятину не заготовляла. Для голодной и холодной зимы. Почему? Ваньша не знал. Только спустя много лет он поймет, что мать была слишком совестлива и добра, чтобы откладывать лишний кусок на завтрашний день, когда соседи живут впроголодь. Угощали, делились с теми, кто не мог промышлять слопцами.

По утрам очень не хотелось вставать. Особенно в такую рань. Но вскоре Ваньша нашел выход – стал досыпать на ходу. Главное, когда мать разбудит, и встанешь, не нужно делать резких движений. Потихоньку вставай, одевайся, мягко ступая, выходи за околицу, – и ноги сами понесут тебя по лесной тропе, где знакома каждая выемка, каждый бугорок. Идешь как во сне, в легкой и сладкой дреме. И только увидев первого глухаря в слопце – весь встрепенешься. Какая удача! Какая радость! Тут сразу же проснешься. Сон как рукой снимет.

Так по осенним утрам с сестренкой Нюркой бегали в бор, как в кладовую. Возможно, с тех пор он стал ранней пташкой: просыпался в пять, а к шести уже мог прийти на работу, чем всегда поражал своих сослуживцев.

А огонь все полыхал в печи. Все согревал пятки, все согревал глаза, а через них согревал мысли в голове.

Огонь привораживал волшебной силой.

Огонь ласкал его хрупкое тело.

Огонь укреплял его дух.

У огня можно сидеть бесконечно долго. Но он знал меру. Когда вобрал в себя тепло, необходимое на пробежку до дома, встал и степенно вышел на морозную улицу. И полетел домой. Летя по-над заснеженной тропой, едва касаясь земли, он не ощущал холода, ибо в его очах все еще искрилось рыжее пламя всесогревающего огня...

В наплывающих сумерках промелькнуло мгновенье, ружейный ствол пыхнул рыжим пламенем – и грохнул выстрел. Выстрел вернул его из полувекового прошлого.

Глухарь, ломая сучья, полетел вниз и упал под лиственницу. Иван Андреевич проводил его взглядом до самой земли и снова вскинул ружье. Второй глухарь сидел на той же лиственнице чуть выше первого. Он намеренно снял сначала нижнего.

Лес ахнул от выстрела – и второй глухарь свалился наземь. Он же шагнул к глухарям, когда, повернув голову, увидел, что Сашка Тутов с реки отчаянно ему машет рукой, показывая на лиственницу с другой стороны. Тот на моторке кружил на воде – завораживал глухарей. Если птица собиралась взлететь, то, услышав фыркающий движок, складывала крылья. Сашка знал свое дело: то прибавлял, то убавлял газ. Это значило, что на дереве еще есть глухарь.

Перезарядив на ходу двустволку, охотник стал обходить лиственницу вокруг, зорко вглядываясь в верхушку, посеревшую в быстрых осенних сумерках. И точно: на противоположной от берега стороне лесины примостился третий глухарь.

Выстрелил – третий камнем полетел вниз.

Три глухаря на одной лиственнице! Вот это охота!

Но Сашка Тутов, держа одну руку на румпеле, другой продолжал тыкать в сторону величественной лиственницы. Стало быть, там еще что-то есть.

Иван Андреевич отошел на десяток шагов и увидел на самой верхушке четвертого глухаря. Поднял ружье, выстрелил. Четвертый красавец с большим шумом плюхнулся на землю. Охотник опустил ружье, сдвинул на затылок шапку, перевел дух. Махнул напарнику: мол, давай, причаливай, добычу надо собрать. В ожидании друга присел на валежину. Рядом поставил двустволку.

Перевел взгляд под дерево – последний глухарь встал, сложил крылья, посмотрел черными бусинками глаз на охотника. Выразительно так глянул, словно спрашивал: что же ты со мной сделал? За что ты у меня отнял небо?! Не получив ответа, повернул голову и побежал в глубину леса, в чащу. Быстро так побежал, словно не был ранен или оглушен. Охотник машинально схватил ружье и рванулся за ним. Долго бежал. Наконец догнал и стволами перебил птице шею. Стрелять не стал, пожалел патрон. На берег выскочил возбужденный друг-напарник Сашка, Степаныч, закричал:

– В жизни на одном дереве столько глухарей не видел!.. Ну, ловко же ты скосил их, Ваня! Хлоп – сковырнул! Хлоп – глухарь на земле! Ну и стрелок! Ну и пушка у тебя!..

– Да, пушка что надо, – поддакнул Иван Андреевич. – Только вот последний подранком в чащу побежал. Кое-как догнал, чуть не упустил. Быстро так удирал от меня!

– Жить-то всем хочется...

– Да...

– Давно столько глухарей не видел! – все удивлялся Сашка, почесывая седину на затылке. – Раньше-то дичи всякой полно было, а теперь опустела тайга.

– Все выкосили?

– Да, брат-нефтяник оказался безжалостным. Как под гребенку все гребет.

– Ничего живого не оставляет. Так, что ли?

– Да. Считай, нам, Андреич, крупно повезло.

– Ты погляди, красавцы-то какие! Как на подбор!

– Возможно, последние здесь, на нашей реке.

– У нас на Конде тоже было много глухарей, – вспомнил Иван Андреевич. – В войну только глухарями и спасались по осени. А после войны вот вырубили все леса – и кончился там глухарь! Жалко все!

– Ну, считай, сначала твою реку кончили, а сейчас вот и тут прикончим. Потом локти начнем кусать.

– И мы с тобой, Саша, тоже истребители природы.

– Не мучайся, Иван! Если не мы, так завтра другие придут сюда, наши промышленники. На вертолете такой десант могут высадить – только ахнешь! У них же в руках – и техника, и оружие!

– Ладно, давай поехали, скоро совсем стемнеет.

– Поехали-поехали.

И охотники подобрали глухарей и по крутояру, заросшему багульником и мелким кустарником, спустились к лодке. Добычу уложили в средней части шлюпки между сидениями. Сашка занял свое место моториста на корме, а Иван Андреевич устроился на носу. Сели и оттолкнулись от берега.

Но мотор не завелся сразу. Сашка дернул шнур стартера раз, другой, третий. Еще подергал. Все бесполезно. Тогда он отвернул свечу и, ворча и проклиная некстати закапризничавшую железяку, начал счищать с нее нагар. Иван Андреевич с носового сидения веслом удерживал легкую шлюпку-казанку на середине реки, не давая ей прибиться к прибрежным корягам. Оглянувшись через плечо, нетерпеливо спросил напарника:

– Что у тебя там?

– Да свечку забросало.

– Скоро направишь? Уже темнеет.

– Да вот счищу нагар – и заведется.

– Вечно у тебя что-нибудь да заедает. Новый мотор, что ли, не можешь взять?

– Да мотор-то новый. Сезон еще не отбегал.

– Значит, моторист плохой.

– Заведу – будет хороший.

Сашка никогда не унывал, считался надежным напарником на охоте.

На реке было по-осеннему свежо.

Подступал вечер.

Замирала тайга.

Тишина.

Лишь волны от лодки грустно бились о глинистые берега. Казалось, лиственнично-елово-кедровый урман все ближе и ближе надвигался с севера и юга, безжалостно сжимая с двух сторон реку и людей.

Сумерки все сгущались.

И опускающаяся с небес сумеречность, преображая привычные очертания могучих лиственниц, хмурых елей и добродушно-мягких кедров, нагоняла на всю округу необъяснимую таинственность.

Надвигалась ночь.

И вдруг в этой предночной тиши последний глухарь встал на ноги, шумно хлопнул крыльями, взвился, вскочил на борт шлюпки, оттуда сиганул в воду и быстро-быстро поплыл от лодки.

Охотников взяла оторопь. Они молча смотрели на плывущего глухаря.

Первым опомнился Сашка, закричал:

– Держи его – уплывет!

Иван Андреевич кинулся к тому борту, но до глухаря уже не мог дотянуться. Далеко ушел.

– Весла давай! На веслах! – крикнул кормщик.

Вставив весла в уключины, Иван Андреевич энергично загреб, как филин, вертя головой влево-вправо, ибо сидел спиной вперед и не видел, куда уплывает беглец.

– Бери левее, левее! – азартно командовал с кормы рулевой.– Табань левым! Загребай правым!

Наконец догнали глухаря. У Сашки аж голос зазвенел:

– Все – хватай его!

Бросив весла, Иван Андреевич схватил глухаря, поднял его, стряхнул с него воду и затащил в лодку. Затем, положив на острый борт казанки, ударами весла разбил всю голову глухаря. Потом забортной водой сполоснул руки и, глянув на друга-напарника, пояснил:

– Чтобы зря не мучалась бедная птица.

– Теперь уж отмучилась – ты ей всю башку в кашу превратил.

– Похоже, больше не убежит.

– Да, живучий, однако, глухарь! – удивлялся Сашка.

– В жизни плавающего глухаря не видел.

– Это ваши кондинские не плавают, а наши ваховские еще не то могут выкинуть.

– Давай, заводи, Саша! Поехали, а то совсем стемнеет!

– Сейчас, моментом заведу.

В тишине мощно взревел мотор. И тридцатилошадный «Вихрь» помчал их вниз по Сабуну, большому правому притоку Ваха. Через четверть часа на стоянке их радостным визгом встретила собачонка Белка, исправно

сторожившая походное хозяйство охотников. Всю добычу сложили возле палатки, чтобы обработать сразу после ужина.

Быстро развели костер, повесили над огнем чайник и котел с остатками утреннего варева. Оба не на шутку проголодались. Было по-осеннему зябко. И охотники, в ожидании ужина, стояли у костра и перебрасывались короткими фразами, поворачивая к огню то руки, то грудь или спину. Собачонка Белка, положив морду на передние лапы, улеглась возле Сашки Степаныча и переводила всепонимающие глаза то на людей, то на исходящий мясным ароматом котел над пламенем.

Потрескивал костер.

Блики огня играли на лишайчатых бородах ближних елей.

Было тихо.

И вдруг зашуршала и зашевелилась палатка, будто ожила. Охотники разом повернулись и обомлели.

Последний глухарь с разбитой головой встал на ноги и дал деру в лес, в чащу, в темноту. Только в свете костра мелькнуло белое оперенье хвоста.

Глухарь скрылся в темноте.

Словно и вовсе никогда не было здесь глухаря.

Не шелохнулись люди.

Исчез глухарь.

Тут сработал собачий инстинкт. Белка вскочила и, тявкнув, ринулась в темноту. Туда, где скрылся глухарь. Вскоре послышался хруст сучьев и хлопанье крыльев. И, наконец, из тьмы собачка приволокла трепыхающегося глухаря. Последнего. Четвертого. Вершинника. С макушки величественной лиственницы. Предводителя глухариной стаи. Все еще живого. Все еще не поверившего в свою кончину. Все еще цепляющегося за белый свет.

Молчали охотники.

Долго молчали.

Первым, как повелось, нарушил молчание Саша Степаныч, глухо сказал товарищу:

– Не знаю, как у тебя, Иван Андреевич, а у меня до сих пор волосы дыбом стоят. Что бы это значило?!

Помолчав, тот грустно ответил:

– Это плохая примета.

Выдержав нужную паузу, пытаясь развеять печаль друга, Степаныч стал внушать ему:

– Так это примета нашего времени...

Но тут его остановил чайник, застучавший крышкой. Потом и котел заурчал. И только когда сели ужинать и, побулькав из бутылки в эмалированные кружки, выпили, тогда Степаныч вернулся к прерванной мысли о времени, продолжил рассказ:

– Так вот, весной я ездил по делам в Москву. И заехал к шурину в Тулу... С шурином, как водится, за встречу выпили и закусили. А закусили огурца-

ми. Шурин и говорит: мол, за сезон съели пятьдесят девять банок огурцов. Никогда столько не съедали. А тут делать нечего, съели за милую душу. Ибо кроме картошки и огурцов, что выращивают на своем участке, есть больше нечего. Жена работала на оружейном заводе – сократили. Дочь химик – остановилось химическое производство. Делали удобрения – дорого стало, никто не покупает. Сын из армии вернулся, через Чечню прошел – так на работу не может устроиться. Работы нет. И учиться пойти не может – нечем за учебу платить. Теперь ведь все платное. Сам шурин шахтер, на Новой Земле работал, деньжат поднакопил. Да реформа весь его вклад в сбербанке съела. Обещанную государственную собственность тоже не получила его семья. Ваучеры, говорит, сраные – это обман народа, ничего они не стоили. В «МММ» вложили – так они и пропали там. Остался гол как сокол. Выпил шурин, стал костерить власть, костерить правительство: «Дочерей наших в проституток превратили, за границу продают. Сыновей наших киллерами сделали. Людей убивать научили. Деньги наши украли. Собственность украли. Власть украли. Союз разрушили. Европу, за которую отцы наши головы сложили, ни за что заокеанским хозяевам подарили».

Спрашивает шурин: мол, правду говорю. Киваю. Что мне оставалось делать? Это здесь, на Севере еще терпимо, народ сводит концы с концами. А там, в средней полосе, нету жизни. А ведь там вся Россия, там весь народ...

Шурин все гнет свое, говорит: «Сейчас народ озлоблен. Ему терять нечего. Выйдет на улицы – все сметет. Только вот вождя нет, кто бы стал во главе народа. А народ знает, кого бить и за что бить...»

Иван Андреевич поправил головешку на костре, спросил:

– Это что, новая революция, что ли?..

– Во-во, я то же самое у шурина спросил. А он говорит: как хочешь, так и называй. Хошь: революцией. Хошь: переворотом.

– Так ведь опять переколотим друг друга...

– Шурин мой на это так отвечает: другого выхода нет. Тот, кто все добро забрал у народа, добровольно не вернет. Второе дело: народ долго не может быть голодным и нищим. Отдать ему не отдадут. Стало быть, он сам все заберет. Жди, говорит, какой-нибудь заварушки: то ли революции, то ли переворота...

– Только этого нам и не хватало... – сказал Иван Андреевич.

Помолчали. Покряхтел Степаныч, достал поллитровку, плеснул в кружки, без лишних слов выпили. Потом в раздумье сказал:

– Да и эти новые обнаглели до предела. Слыхал, тут босс один приезжал из столицы. Так какому-то шакалу из его свиты суп не понравился в ресторане – выплеснул в лицо официантке. Откуда такая наглость? От безнаказанности, от вседозволенности. Чувствуют себя хозяевами жизни. Живут в охраняемых офисах и отелях, купить могут все и вся – вот и творят, что хотят. Что им народ – так, рабочий скот, быдло...

– В семье не без урода.

– Так этих уродов-то скоро станет больше, чем нормальных людей. Вот в чем проблема!

– Кто довел страну до такого состояния? Да мы сами все это и сотворили. Точнее, с нашего молчаливого согласия...

– Точно: с молчаливого согласия!

– Так-то оно так. Только моего шурина уже ни в чем не убедишь.

Снова замолчали.

Было слышно, как струилась вода в реке. Покосившись на угол палатки, где лежали четыре глухаря, Степаныч проговорил тихо:

– Вот таковы приметы нашего времени. Это на них намекал живучий глухарь...

– Не-е, примета касается только меня, – возразил Иван Андреевич. – Твой шурин тут ни при чем...

– Брось, Андреич, верить сказкам.

– Если бы только сказка!.. Давай лучше на боковую. Давно уже спать пора. Не то утро проспим.

– Как бы ни так – разве с тобой проспишь утро! Поднимешь ни свет ни заря!

Выпотрошили глухарей, напихали им в клювы и животы пихтовых веток, попарно связав их за шеи, повесили на еловые сучья и улеглись в палатку.

Хоть и набегался за день, но долго не мог заснуть Иван Андреевич. Не давал покоя вожак глухариной стаи. И зачем хоть выстрелил в него? Ведь уже после второго глухаря ему стало не по себе. Всегда считалось дурным признаком, если охотник с одного места, не вставая, убивал много зверей или птиц. Во всяком случае, больше, чем полагается. Двух он подстрелил, а двум другим надобно было дать улететь. И никакая моторка не должна была их удержать на дереве. А сверхживучесть зверя или птицы и вовсе плохая примета. На него, на его семью надвигается несчастье. Так считалось у охотников-манси на его родной реке. Очевидно, и здесь, на этой земле, у остяков есть подобное поверье. Как отвести беду? Куда нужно подстелить соломки? Размышлял, крепко задумался над этим обстоятельством. Только под утро стал засыпать. И то не спал, а дремал. И в этой дреме привиделось ему, как в детстве, в полувековом военном прошлом, парнишкой почти с ноготок, со старым отцовским дробовиком, который с трудом удерживал на весу, ранним осенним утром шел на своего первого глухаря. Он увидел огромного глухаря посреди тропы на песчаном пятачке. Сами собой потекли слюни. Подумал: сколько там мяса. И стал очень осторожно подкрадываться, пытаясь подобраться как можно ближе. Поскольку имел всего один патрон с самодельным зарядом из мелко насеченного гвоздя, и выстрелить надо было наверняка. Глухарь учуял опасность – вытянул шею, насторожился. Да было уже поздно: охотник подобрался на верный выстрел. С двух сторон плотной стеной возвышался густой лес. С третьей на тропе охотник.

С четвертой, на другом конце тропы, стояла ветвистая сосенка, мешавшая взлететь. Все. Больше нет прогала для взлета. Всего несколько мгновений стоял глухарь неподвижно. Потом быстро сообразил – повернулся в сторону сосенки, чтобы пробежать за нее, а там расправить крылья и с разбегу подняться в воздух. Но тут прогремел выстрел – две самодельные «дробинки» в голову свалили птицу. Вот радости-то было! Семья получила пищу на пару суток. В войну каждый лишний кусок продлевал жизнь на несколько дней и ночей.

С тех пор сколько охотился, сколько добыл глухарей и всякого разного зверья и птицы! Но ни разу такой заговоренный глухарь не попадался. Тем более что ведь сегодня стрелял папковыми патронами из мощной двустволки-вертикалки двенадцатого калибра, а не из старого дробовика с маленькой меркой дымного пороха и насеченным гвоздем вместо дроби.

На рассвете он встал, вышел из палатки.

Утро выдалось ясное, звонкое, морозное.

Глухариное утро.

Он поднял напарника-друга. Позавтракали, свернули вещи и добычу и поплыли вниз по реке. Но до самого селения Усть-Сабунских остяков не попалось ни одного глухаря. Да и стаи косачей куда-то запропастились, в это утро не спустились на галечные пески.

В селении гостей встретили радушно. На лучшие места усадили, чаем и разными лесными нехитрыми яствами стали потчевать. Ивана Андреевича здесь знали и почитали как отца народа от мала до велика. Потом начали расспрашивать про охоту и рыбалку. Кого видели, что слышали, удачная ли была поездка. И охотники рассказали про последнего живучего глухаря, который трижды воскресал и почти мертвый убегал от людей. Хозяин селения, седовласый остяк с трубкой, выслушав рассказ, очень опечалился. Долго молчал, затем сказал гостю:

– Ты убил глухаря-шамана. Не надо было его убивать...

И затих, опечалился весь дом.

Опечалились все остяки.

Сникли хозяева, как будто в доме появился покойник.

И понял охотник бывалый, что дела его плохи. Но, однако, он не собирался раньше времени ложиться в гроб. И когда поплыли дальше, расположившись на носовом сиденье, оглядывая широкие речные плесы, он размышлял о том, как отвести несчастье от своих ближних. Он разом вспомнил всех. Детей, внучат и супругу, невестку и зятя, сестру и всех племянников. Чуть ли не впервые в жизни вспомнил про Бога. Боже, отведи от них беду. О себе он не беспокоился, не переживал. Дай бог всем прожить такую большую и полнокровную жизнь, какую он прожил. На свою судьбу не в обиде. Прошел по жизни без суеты, не спеша, основательно осмысливая и ощущая мгновения каждого прожитого дня. Первая половина жизни прошла на вогульских землях, вторая – на остяцких. Начинал с учителя сельской шко-

лы. Затем директор школы, председатель сельсовета, инспектор районного отдела народного образования. Потом начался нефтяной бум – и судьба забросила его сюда, на восточную окраину округа. Медленно поднимался по служебной лестнице: профсоюзы, горисполком, райком партии. И вот последние двадцать лет – второе лицо в районе. Власть района. А район, если считать по остяцким меркам, – это три больших притока на Средней Оби. По европейским меркам – целое государство. Первые лица приходили и уходили, а он оставался бессменным. Всех в районе в лицо знал. И все знал, все мог. Здесь же и стали его полушутя-полусерьезно называть «отцом». Кто и когда придумал это имя, пожалуй, никто не может сейчас сказать. Возможно, это пошло с легкой руки старожила района, деда Гребнева. Как-то позвонил он в город, кричит в трубку:

– Андреич, помоги! Баба загибается, в больницу бы устроить!

– Может она своим ходом приехать? Может ходить?

– Может.

– Отправляй. Придумаем что-нибудь, – пообещал Иван Андреевич. На другой день он сам в аэропорту встретил старую женщину, в городскую больницу с ней поехал, с врачом переговорил – устроили в палату. Изредка, когда выкраивалось время, заезжал навестить ее. Считай, всю жизнь она отдала району, ветеринарным фельдшером проработала до самых преклонных лет. Потом, когда поправилась, отправил ее домой не рейсовым «кукурузником», а попутным вертолетом. Чтобы не потратилась на билет: откуда у пенсионера лишний рубль.

Через полгода, уже летом, как-то залетел в Гребневскую деревню. Дед как увидел его – чуть не в охапку загреб, затащил к себе домой, за стол усадил, в граненый стакан самогонки с верхом налил, говорит, не может остановиться: «Ну, Андреич! Ну, отец! Уважил ты нас, старых! Согрел ты нас, горемычных! Бабу мою на ноги поставил! – дед суеверно поплевал себе под ноги. – Совсем загибалась! А наши коновалы направление не дают, мест нет. Намекают: мол, это не от хвори, а от старости загибается. А я чую – не то, не то несут. Да и без бабы совсем я пропаду. Ну, тут про тебя вспомнил. Дай, думаю, брякну ему. Недаром, думаю, остяки Отцом его кличут. На почту подался. Говорю почтарке: найди его, дай переговорить, всю пенсию тебе выложу! Так я нашел тебя. А то и баба загнулась бы, и я за ней...» Иван Андреевич по плечу его стукнул, посмеялся: «Да на тебе, дед, еще пахать можно, а ты на тот свет собираешься...» Дед и вправду был широким в кости, здоровым, двухсаженным богатырем. И хозяйство у него было крепкое, добротное, как у истинного крестьянина-хозяина.

«Это кожа да рожа крепки, – отвечал дед. – А изнутря-то я как все – без опоры долго не протяну...»

Хозяин опрокинул свой стакан, а гость, чтобы не обидеть, пригубил. И тут, начав издалека, дед запустил свой главный вопрос: «Теперь мы, пенсионеры, никому не нужны. Ни правительству, ни начальству, ни произ-

водству. Все от нас отвернулись, всем мы в тягость. И у тебя, Андреич, своих забот выше макушки. Остякам ты вроде бы должен помогать по должности, это твоя работа, это твой народ. И это ты делаешь хорошо. Недаром тебя, как отца, почитают. А вот мы пенсионеры, скажи, Андреич: зачем мы тебе нужны?! Зачем ты тратишь на нас свое время?! Ведь от нас все равно никакого проку!..»

Иван Андреевич внимательно вгляделся в деда, потом спросил его: «А разве вы не люди?! Вы же люди. Вы же человеки...»

«Эхма, Андреич, не поверишь: не помню, когда меня человеком-то называли! Когда меня за человека считали! Теперь ведь эти, новые, которые господа... Людей-то у них нет, человека в рабсилу превратили, чтоб, значит, делал им рубли...»

У захмелевшего деда на глаза навернулись слезы, зачастил, стараясь выложить все, что в душе накопилось: «Уважил-уважил, Иван Андреевич! Почитай, бабу мою впервой так в городе приняли! Как чинушу какого большого! Впервой за всю ее долгую жизнь! Без суеты-маеты встретили, привезли, устроили, полечили, отвезли! Да еще и за так на вертолетку посадил. Может, ей не столько от докторских микстур полегчало, сколько от твоего глаза да доброго слова, твоей заботы. Ты теперя у нас и вправду за отца-спасителя будешь! Баба моя за тебя Богу стала молиться! До скончания своих дней будет молиться! Я бы тоже помолился, коли бы верил...» На это Иван Андреевич, нахмурив брови, сказал ему строго: «Дед, ты уже не в тот лес забуровил. Лучше выпей свою чарку – да я пойду, дела тут у меня еще есть...»

Дед проводил его до калитки, долго тряс руку, все приговаривал: «Ну, уважил! Будь здоров, отец! Будь здоров!..»

С той поры дед Гребнев только так и обращался к нему, несмотря на возрастную разницу, «отец да отец».

В деревнях и селах его всегда ждали с нетерпением. Уйму вопросов ему приходилось решать. Шел народ к нему. Кому родовое угодье не так нарезали, кому жилье нужно, кому мотор или снегоход «Буран», кому стройматериалы, кому путевка... У каждого своя боль, своя проблема. Как тут мимо пройдешь? Да тут еще набегали общесельские проблемы по школам, медпунктам, клубам, предприятиям традиционных отраслей хозяйства, национальным общинам и так далее. Правда, в городе, откуда управлялся район, тоже не меньше вопросов надо было решать. Туда стекались ходоки со всех трех рек с проблемами уже другого уровня. Кому в милицию, кому в прокуратуру, кому в суд. Иван Андреевич, когда позволяли обстоятельства, самолично водил ходоков по наиболее важным государственным учреждениям. Такая практика установилась почти двадцать лет назад, когда город бурно рос и дозвониться куда-либо по телефону было невозможно. У каждого более-менее приличного ведомства была своя связь. Быстро проехать тоже было мудрено: в те годы улицы были забиты технологическим

транспортом. Бывало, на каком-нибудь перекрестке, попав в уличную пробку, Иван Андреевич бросал машину с водителем и шел пешком. Пешком получалось быстрее. За ним «свита» – три-четыре человека, деревенские ходоки, часто с детьми, с баулами. В учреждениях, увидев его в окно, обычно говорили: «Иван Андреевич со свитой». Старались всегда помочь, просто язык не поворачивался ему отказать. Тем более, не за себя хлопотал. А за людей он настырный, просто так и не отмахнешься. Кроме этого, у каждого ходока возникали мелкие житейские вопросы – ночевка, обратные билеты, материальная помощь и тому подобное. Вообще, люди, приходившие с родовых угодий и тихих сел-деревень, в бурно растущем городе чувствовали себя очень неуютно, словно дети малые. Не знали, куда идти, к кому обратиться, как доехать до того или иного места. Часто с ними приключались разные истории, их детской доверчивостью пользовались предприимчивые дельцы – спаивали, обкрадывали, обманывали. Вот и проторили тропку к Андреичу за помощью. А он не мог почти ни в чем отказать. Сам из такой же глубинки вылез, на своей шкуре испытал, что такое голод и холод, что такое нужда... «К тебе ходоков больше ходит, чем к Ильичу в двадцатых», – подшучивали над ним сослуживцы.

«У Ильича-то, поди, и забот-то не столько было», – с улыбкой отвечал Иван Андреевич.

И сейчас, на реке, примостившись на старом сиденье на носу шлюпки, молча смотрел Иван Андреевич на низменные берега слева и справа. Чем дальше вниз, тем больше густотравных заливных лугов и тем далее от воды уходит коренной берег с высокими увалами-горами. Словом, дремучие урманы левобережья неохотно тянулись к Оби, предпочитая отгородиться от навязчивой людской суеты илистыми луговинами со множеством проток и малых речушек.

Но Иван Андреевич почти не замечал всего этого. Его все еще не оставляла мысль о живучем глухаре. О глухаре-шамане. В детстве он слышал про примету охотников, что живучая птица, особенно из глухариных, приносит в дом беду. Точнее, предсказывает грядущее несчастье. По поверью остяков и вогулов, живучий глухарь (бывает, это тетерев или копалуха) наполняется перед гибелью человеческим дыханием, какие-то мгновения, какие-то минуты проживает человеческую жизнь. Это значит, в семье этого охотника вскоре кто-то покинет землю. Древняя печальная примета. И она всегда сбывается. И здесь, на стойбище, старый хозяин-остяк подтвердил это. Хотя тот и не сказал деликатно о прямом значении приметы, но и без слов все стало ясно: сразу умолк дом, будто наступил траур по усопшему. О вогульских корнях этой приметы у него как бы потускнела память, но здесь, среди остяков, они живы, и люди остро реагируют на них, ибо знают их горький отголосок в реальной жизни. Судьбу не обманешь, судьбу и на резвой тройке не обскачешь. И он разом, одной мыслью охватил всех своих родственников. Кто из них должен оставить

жизнь? Кто должен уйти? Чьим дыханием наполнялся глухарь-шаман, трижды воскресавший из мертвых? До боли все близки. Ни с кем не хочется расставаться. Ни с кем. Никого не хочется проводить до срока в мир иной. А кому-то надо. Трагического предзнаменования не избежать. Вот и остается, что он сам, Иван Андреевич, как самый старший в семье добровольно должен будет покинуть землю, чтобы никого в семье не тронула преждевременная погибель. Я уже прожил свою жизнь, размышлял он. И прожил, кажется, не так уж и плохо. Правда, только перевалило за шесть десятков лет. Это не очень много. И чувствует себя пока легко, и бегает не хуже многих молодых. Еще легок на подъем. Недаром до сих пор еще не отпускают с работы. Способен, опытен, всегда отыщет самое мудрое решение любого вопроса... Вот и дожил, настал миг, когда встал извечный вопрос: быть или не быть?! Для него вдвойне труднее выбор: быть самому или другого подставить? Но за всю свою жизнь он никого и никогда не подставлял. Ни в чем. Тем более, на смерть не посылал. И сейчас никого не подставит. Правда, тут про его волю никто не спросит. Но если заранее забить эту дыру в потусторонний мир, подставить себя, тогда, по всей вероятности, беда обойдет стороной всех членов семьи... Что же, самому надо готовиться. Другого выхода нет.

С такими мыслями он вышел на берег, когда шлюпка мягко приткнулась к сельскому причалу, к «вотчине» старого друга Сашки Тутова. Сашку он сразу отпустил домой. А сам взял рюкзак и направился к гостиничке Совета. Точнее, это была одна комната с кроватью и диваном, с отдельным входом, где обычно останавливались старшие чиновники района. Никого не хотелось видеть. Надо было побыть одному. Наедине со своими мыслями, со своей обреченностью.

У двери он поставил рюкзак, разделся, под кран сразу сунулся. Правда, вода, как всегда, чуть тепленькая. Опять Сашка экономит топливо на котельной, подумалось незлобиво. Но все же освежился, все чуть легче стало. Из холодильника вытащил банку огурцов и литровую бутылку водки. Долго непонимающими глазами рассматривал замысловатую этикетку, то ли отечественную, то ли импортную. Наконец, налил пузатую рюмку и выпил. Не почувствовал ни вкуса, ни запаха водки. Не полегчало от выпитого. Прилег на диван. В голове вертелась одна мысль: почему я? Почему моя семья? Почему в мирное время? Вот была война. За нее дорого заплатили. Она забрала отца, братьев. Горько, тяжело, но понятно. А сейчас за что? За какие грехи? Вроде никаких смертных грехов не имел. Все и всегда старался делать по совести, не вредил людям. Разве что запустили сюда нефтяников, испохабивших всю землю? Но это черная колониальная сила, которая все сметает на своем пути. Нигде в мире эту черную силу не смогли обуздать. Нигде. Ни на одном континенте. Ни в прошлом, ни в настоящем. Тут вроде бы его вины нет. Разве что с ними ел, пил, кутежил-куролесил? Так по должности это надо было делать. И так-то белым вороном считался.

Разве что остяцкие боги могут призвать к ответу за истерзанные земли и осквернённые святые места?

Тоже вроде бы здесь нет его прямой вины. Против нефтяного вала нет никаких сил бороться. На одной реке отстоишь священное остяцкое место, на другой отведешь землю – то буровую поставят, то вахтовый поселок, то промзону развернут. А там святое попадается.

Разве что есть доля его вины в уничтожении Знаменской церкви в этом селе? Старая церковь была, говорят, многие века назад поставленная, да обновлялась время от времени, в порядке содержалась до семнадцатого-то года. Еще до горбачевской перестройки, как-то зимой, пристал Сашка, письмо в район прислал: мол, разреши церковь раскатать на дрова. Сашка тогда директором здешнего хозяйства был. В тот год зима суровая выдалась. А он, дурак, село без дров оставил. И все бумаги слал: замерзаем, дров нет, отдайте церковь на благо народа. Разрешил поднять руку на церковь. Правда, устно. Ну, Сашка мигом раскатал и спалил. Крестились тогда богобоязненные старушки: нехристи, да побойтесь Бога, покарает ведь. Сашка только похохатывал тогда: мол, нет Бога на земле, не вижу его, значит, нет Бога и на небесах. Правда, много лет спустя, божья кара настигла его: на правой стороне лба у него рог вырос. Точнее, рожок. Вроде бы не беспокоит, но и ходить с рожком тоже неприлично. Врачи посоветовали ему ехать в Москву: мол, там прооперируют. А богомольные бабки пугают: мол, срежешь правый рог – так вырастет левый. Это Божья кара. Так Сашка и ходит с рожком. С годами и он присмирел: мол, порушил церковь из лучших побуждений. Ребятня там любила лазить, могла сорваться с ярусов. Хотя все понимают, если бы его так одолевала забота о юных селянах, просто мог бы забить двери и окна древнего храма. Время такое было – все рушили, говаривал он. А теперь все хотите на одного меня повесить. Во всем Сашка виноват. Сносил-то он. Похоже, так и будет он до конца своих дней оправдываться за порушенную церковь, как и Горбачев, который по сей день оправдывается за порушенную по его доброй воле Великую Державу. Кому эти оправдания нужны? Только разве для успокоения собственной совести.

Но с годами Иван Андреевич все острее стал ощущать свою вину за порушенную церковь. Все-таки от него все зависело. Перебился бы Сашка с дровами, выжило бы село, не перемерзло – не впервой, поди, такое случилось. Главное, в те годы он был крепким атеистом. Атеистом его начала делать октябрятская звездочка, продолжили пионерская и комсомольская организации, в рядах КПСС он уже стал воинствующим атеистом. Бога нет, а есть только Владимир Ильич Ленин. Он сильнее всех Богов. И веру в Ильича сохранил до самого последнего дня. Ни разу не отрекался, не метался, не отказывался от своих убеждений. При этом с уважением относился к вере других людей. Каждый должен в кого-то или во что-то верить. Правда, в последнее время все же сомнения у него появились. Вздрогнул незыб-

лемый Ильич. Многие от него отвернулись не без серьезных оснований. Кровавым все-таки оказался. За власть много голов порубили по его указке. Скоро, похоже, его вынесут из Мавзолея. Стало быть, есть Кто-то, Кто сильнее и могущественнее Ильича! Возможно, этот Кто-то живет на небесах. Как у язычников-остяков. Или в Храмах, как у славян. Таким образом, выходит – Ильич не бог, хотя и боготворили его целых семьдесят лет. Но так сразу отречься от него тоже невозможно – это же вся жизнь была посвящена ему. Ведь лучшие годы отданы ему. Детство, отрочество, юность... Разве одним махом все перечеркнешь?..

А вот можно ли разрушение церкви считать перед Богом смертным грехом? Этого он не знал...

То ли наяву, то ли в полудреме роились у него в голове такие мысли. Он почти уже смирился со своей обреченностью, но для себя многое хотел прояснить. Рано или поздно надо уходить, но надо сделать это осознанно, вспомнив и осмыслив свои земные дни на этой планете.

Его неспешно текущие мысли прервал телефон. Зазвонил на тумбочке у изголовья. Недовольно покосился на аппарат, но трубку не снял. Лениво подумал: опять Сашка, наверно. Телефон смолк, но, будто передохнув, через минуту-другую зазвонил снова. На сей раз требовательно, долго.

Он нехотя снял трубку, буркнул:

– Слушаю.

– Я хочу увидеться с вами, Иван Андреевич...

– Кто вы? – не понял он.

– Да Ирина это. Вы отправляли учиться меня в Питер.

– А-а, – сообразил он. – Так я завтра еще буду здесь. Приходи завтра.

Трубка помолчала, потом попросила с ноткой надежды:

– Днем я не смогу... Можно мне сегодня, а?.. Можно?..

Он уловил в ее голосе нотку мольбы. Помолчал. За окном темно. Посмотрел на часы. По-осеннему времени было не рано, но еще и не поздно, чтобы отказать. И, прибавив бодрости в голосе, спросил:

– Что у тебя – горит, что ли?

И она одним махом выдохнула:

– Горит...

– Ну, тогда приходи, жду, – и положил трубку.

Он встал, одернул на себе спортивный костюм, причесался, прибрал на столе. Готовился к встрече незваной гостьи. Даже не спросил, что она делает в селе посреди учебного года. Ладно, придет, расскажет. Она была одной из тех студенток, которых он отправлял учиться в Ленинград на Северный факультет и опекал до самого выпуска. Закончивших учебу, он же устраивал их на работу в районе. А Ирина нуждалась в особом внимании. Считай, выросла сироткой. Отец ее погиб на охоте. А у матери совсем, мягко говоря, нескладно сложилась жизнь. Девочка росла у бабушки. У такой студентки с этими пресловутыми реформами, должно быть, прибавилось немало за-

бот. Впрочем, сейчас у кого проблем меньше стало? Таковых, пожалуй, нет совсем. Особенно на селе.

Постучалась. Вошла. Он помог ей раздеться.

Села на стул против него.

И, чуть откинув назад голову с гладко причесанными черными волосами, одернув короткую юбчонку, молча остановила на нем широко распахнутые, влажно заблестевшие черные глаза. Смотрела так, будто этими очаровывающими огромными очами она всего его вбирала в себя. Он смущенно кашлянул, скользнув быстрым взглядом по ее стройной ладной фигурке под элегантным черным костюмчиком, из-под которого так и выпирали налившиеся сочной энергией груди, а внизу, чуть прикрытые юбчонкой, такие же сочные бедра, сказал с нескрываемым восхищением:

– Ох, а ты совсем красавицей стала, Ирина!

– А вы заметили это? – быстро спросила она.

– Да... разве слепой не заметит!

– А раньше замечали?

– Раньше?.. Да я тебя уже сто лет, кажется, не видел.

– Понятно, – грустно вздохнула она.

Оба замолчали. Возникла небольшая пауза. Потом он сказал, не отводя от нее завороженного взгляда:

– Правда хороша, правда. Ты напомнила мне лесную фею из сказки. А у лесной феи глаза – два бездонных озера. Можно в них утонуть. Волосы – нежные иглы кедрачей. Ресницы – опушка на вершинке молодой елочки. Тело – что у гладкоствольной пихты. Без трепета невозможно прикоснуться.

После паузы он спросил:

– Что будешь Ирина – чай, кофе?

Она взглянула на его початую бутыль водки и, чуть помедлив, сказала:

– Вина, если есть.

Он порылся в холодильнике и достал бутылку какого-то вина. Как понял по ее взгляду, не самого лучшего. Но наполнил ей бокал. А сам себе плеснул водки в пузатую рюмку, поднял ее, прикоснулся к бокалу девушки и с улыбкой сказал:

– Ну, за встречу, Ирина! Будем здоровы!

И опрокинул свою рюмку.

Она уточнила его тост:

– Будьте здоровы!

Она медленно пригубила и, не отводя от него влажно блестевших глаз, каким-то театральным жестом поставила бокал перед собой на стол.

Они молчали, через стол глядя друг на друга. Глаза в глаза. Женщина знала больше. В женщине больше тайны. Он знал это. Но сейчас в глубине ее огромных глаз он уловил мертвеющую зыбь. Обычно так лесоболотные озера к осени мелеют и, обрастая илом и травой, превращаются в топь,

мертвеют без воды, и, словно слепые, уже не радуются голубому небу, веселому солнцу, озорному ветерку. Эта мертвеющая зыбь в очах девушки не на шутку встревожила его, оттеснив на время собственные проблемы с глухарем-шаманом. Почувствовав все это, он с напускной бодростью попросил девушку:

– Ну, рассказывай, Ирина, как ты там, в столицах, живешь-поживаешь.

Она тоже грустно, одними глазами, улыбнулась ему и сказала:

– Я бросила институт.

– Бросила?! – удивленно переспросил он.

– Да.

– А причина?

Она помолчала, потом сказала:

– История длинная. Так сразу и не поймете.

– Начинай с начала. Авось, в чем-нибудь разберусь.

Она снова помолчала. Потом тихо, опустив урманно-черные очи, начала рассказывать:

– В первый год все шло хорошо. В конце второго курса девчонки мне стали говорить: Ирина, ты вошла в тело. Ты просто красавицей стала. Вон как мужики на тебя заглядываются... Это значило, я могла зарабатывать деньги. Многие студентки это делали. Я не хотела и никуда не пошла. А потом, весной, перед самыми экзаменами, нужда все-таки заставила, и я пошла на улицу...

– Да ты что! – закричал Иван Андреевич. – Тебе что, не хватало денег, что мы посылаем студентам?! Что, голодная была? Бездомная была? Раздетая-разутая была?! Говори!..

Она подняла на него свои озерные глаза, спокойно пояснила:

– Хватало. Хватало на баланду в дешевой столовке. На стоптанные туфли. На залежалые кофточки и курточки.

– Многие же так жили.

– Многие.

– А тебе что нужно было?

– Мне нужно было все самое лучшее. Все самого высокого класса. И получила это. Дорого себя отдала. У меня отлично пошел английский. Стала зарабатывать валюту. Хорошо зарабатывала. Если косметика – то лучших фирм. Если духи – самые дорогие и сверхмодные. О тряпках и говорить нечего...

– Зачем это тебе? И так красивая.

Тут она потупила взор, опустила глаза, помолчала, потом тихо призналась:

– Влюбленная была. В одного. Единственного. Хотела, чтобы обратил внимание...

– А потом что было?

– Потом... поймала.

– Что?

– Самое неизлечимое. Смертельное.

Мгновение Иван Андреевич смотрел на нее обезумевшими глазами, почти вылезшими из орбит, потом вдохнул воздух и закричал:

– Что ты наделала, дура?!

Еще раз широко раскрытым ртом хлебнул воздух и тут же почти со стоном выдохнул:

– Что на-де-ла-ла-ла-ла!..

Слепо, почти на ощупь нашарил на столе свою литровую бутыль, забулькал в первую попавшуюся под руку кружку, и когда водка стала переливаться через край, поднял посудину и влил все содержимое в себя. Водка сегодня его не брала. Будто наоборот, голова еще больше прояснилась, а тело обрело необъяснимую упругость.

Посидел. Помолчал.

Она между тем тихо говорила:

– Когда узнала – наревелась вдоволь, потом успокоилась. Значит, судьба. Поехала к маме.

– Мама знает?

– Нет. Никто не знает. Все анонимно.

– Что будем делать?

– Принимать судьбу.

– Это в твоем-то возрасте?

– У судьбы нет возраста.

Замолчали оба. Вот и добралась чума двадцатого века до нашего народа, газетной строчкой как-то отрешенно подумал он. До нашей глубинки. Надо готовиться к новым похоронам. Кто в деревне или в тайге начнет вылавливать вирусы? Размышляя об этом, спросил девушку совсем о другом:

– А твой-то... хоть знает об этом?

Она подняла на него свои огромные глаза-озера и, не мигая, не шелохнувшись ни единой ресничкой, безотрывно стала смотреть на него. И глаза ее все больше и больше наполнялись влажным блеском, и когда слезинки заблестели на ее нижних веках, у него что-то оборвалось внутри. И он невольно, неосознавая, что делает, через стол потянулся к ней и губами начал ловить ее слезы, целуя то в левый, то в правый глаз. Потом взял ее голову в свои натруженные на охоте руки, большие пальцы прижал к ее вискам, легонько потер их, затем ладонями обеих рук осторожно, чтобы не поломать прическу, охватил всю ее голову и мягкими прикосновениями всех свободных пальцев поласкал ей затылок и шею. А она схватила кисти его рук и все время, как бы тоже лаская, пожимала их слегка. Ласкала и убеждалась в каждое мгновенье, что он здесь, рядом, никуда не ушел и уходить не собирается.

Она немного успокоилась и благодарно улыбнулась ему.

Они долго так сидели и молчали.

И смотрели друг на друга.

Потом, не отводя от нее глаз, он запустил обе пятерни в свою серую шевелюру, приподнял ее и, показывая, какая она есть, сказал:

– Смотри, Ирина: у меня же голова почти вся белая. И песок скоро посыплется...

Она улыбнулась ему одними глазами и сказала:

– Это случилось давно.

– Как давно?

– Когда новую школу у нас открывали. Вы там всякие хорошие слова говорили. Хорошо учиться просили. Я тогда в четвертом классе училась.

– Это сколько же лет прошло? – изумился он.

– Ровно десять лет.

– Да, тогда я был немного другим.

– Значит, можно было влюбиться?

– Наверное...

И он подумал о прошлом. Вообще, да, женщины обычно души в нем не чаяли, если узнавали поближе. Особенно когда в школе работал. Опытные дамы в нем сразу же распознавали неутомимого любовника: туловище было длиннее, чем ноги. Верный признак. С годами он тоже почти безошибочно стал разбираться в женщинах. Знал, кто хочет и может. Вторые: кто хочет, но не может. И третьи: кто не хочет и не может. Молодым же учительницам нравилась его домашняя уютность: всегда чисто и элегантно одетый, побритый и подстриженный, внимательный и доброжелательный – весь излучал особое притягивающее тепло. Как всякий нормальный мужчина, при случае не упускал возможности воспользоваться прелестями прекрасного пола. Бывало, доставалось и молодым учительницам. Если особенно они засиживались, говоря по-деревенски, в телках. Как он не раз замечал, после этого они быстрее устраивали свою семейную жизнь. Словом, прекрасный пол вниманием его не обходил. Но вот чтобы когда влюблялись школьницы или студентки – этого не припомнит. Стало быть, это в первый раз. Значит, и в последний.

– А я вам письма писала, – рассказывала девушка. – Еще в школе. Но не отправляла, конечно. А бабушка все сохранила в старом ранце с другими бумагами.

– Ох, да сколько же лет душа твоя ноет?! – поразился он.

– То ноет, то ликует, – улыбнулась она.

– Ликовать-то... это еще ничего.

Вот где мой грех, вот кого я погубил, подумал он, вспомнив про вещего глухаря-шамана. Вовремя не увидел, не понял, не почувствовал боль девушки. Зачерствела, заскорузла душа в повседневной чиновной суете. И пощады мне не будет, и, кроме меня, никто другой не пострадает. А впереди только одна ночь. Последняя. А потом разве что податься в самое глухоманное верховье, где не ступала нога человека. Вдвоем. На последние дни

и ночи. Это смертельное замкнуть в себя. Вернее, в них, в двоих. Не выпустить в людей.

Так у самого порога в другую жизнь он опять невольно, по многолетней привычке, подумал о народе. И только теперь, выяснив причину прихода глухаря-шамана, осознав себя единственным объектом этого древнего вещуна, он с легкой печалью ощутил облегчение. Стало все ясно, за что и зачем пришла к нему крылатая вестница, о чем хочет предупредить его заблаговременно. Чтобы он был готов и спокойно принимал то, что было предначертано ему судьбой. И сейчас птица неожиданно вызвала в нем теплое чувство благодарности.

Он встал, подошел к девушке сбоку, запрокинул ей голову и поцеловал в губы. Но она даже не шелохнулась. Была холодна как январский лед. Тогда он опустил руки и накрыл ладонями ее груди, слегка сдавливая и шевеля, как бы оживляя, вдыхая им жизнь. Тут она чуть приоткрыла рот и издала короткий звук:

– Ах.

Тогда он повернул ее к себе, поставил на ноги и, прижавшись к ней всем телом, обхватил ее бедра широко разведенными пальцами и на мгновение замер, как бы решая, куда их двинуть дальше.

Тут, опомнившись, она сказала:

– Это – смертельно.

Она быстро, двумя руками, смутившись от своей минутной слабости, что позволила ему такую свободу, решительно отстранила его от себя.

– Извините, – сказала она. – Я не за этим пришла.

Она поправила прическу, опустилась на стул и, волнуясь и чуть заикаясь, тихо заговорила:

– Я хотела... Чтобы вы знали... что вас любили. Любили. Я уйду, а вы об этом могли не узнать. Никогда. Это было бы... несправедливо. Правда ведь, правда?

– Да, правда. Я рад, я рад тебе.

– Да?!

– Да-да. И ты для меня совсем не опасна, – сказал он.

– Почему?!

– Я доживаю последние дни. Я тоже при смерти.

– Как... последние?! – у нее удивленно взметнулись брови.

– Да вот так получилось.

И он не спеша начал рассказывать о своем осеннем отпуске, про давнюю мечту забраться в самые глухие верховья рек, про удачную охоту и про глухаря-шамана, который стал предвестником его собственной гибели. И он без суеты, без паники уже приготовился к тому, как закончить свои земные дни.

– Я знаю эту примету, – сказала она. – Я же дочь охотника.

И у нее затрепетали ресницы.

Он взял ее руки в свои и, целуя ее согнутые пальцы, попросил:

– Только плакать не надо, Ирина.

– Что я могу сделать для вас? Что?!

– Одно ты можешь сделать.

– Что именно?!

– Ты возьмешь меня с собой.

– С собой?!

– Да, мы вместе уйдем.

– Вместе?

– Ты же меня одного не оставишь?

– Нет.

– Вот и хорошо. И я тебя не оставлю. Никому. Никогда.

Он говорил и целовал ее руки и ее глаза, чтобы остановить невольно наползающие слезы. Теперь она не сопротивлялась, грустно кивая каждому его слову.

Потом он осторожно взял ее на руки, поднял ее, посадил на диван и прислонил ее голову к своей груди. И, ловя и осушая руками и губами каждую слезинку на ее лице, тихо говорил:

– Что же, видно, судьба. Я ведь давно должен был погибнуть, а все живу. Наверное, для того, чтобы вот с тобой встретиться в последний раз. Выжил, чтобы увидеть тебя.

– А что было? – спросила она.

– Это давно было.

– Как давно?

– В войну это было. Я еще в четвертом классе учился.

– Расскажите, – попросила она.

– Стоит ли?

– Я хочу знать.

– Хорошо. В нашей деревне, в войну все мальчишки учились и работали, – начал он рассказывать тихим голосом. – Зимой за каждым была прикреплена своя лошадка. У меня была Зорька. Когда стал четвероклассником, почти все работы уже выполнял. Вот однажды председатель колхоза отправил отвезти почту в сторону верховья, до деревни Урай. Но ни еды на дорогу, ни корма для коня не дал. И мать, как бы предчувствуя беду, наказала: раз такое дело, сдай почту в Старой Силаве и возвращайся. До Урая не езди, это далеко, не одолеешь путь. Так и сделал. Сдал почту в промежуточной деревне и поехал домой. А уже свечерело. И с вечера поднялась пурга. В лесу дорогу заметало медленно. И Зорька, лошадка, довольно бодро трусила в сторону дома. А перед деревней широкий-широкий сор. Километра на три. На этом сору, на открытом месте, перемело всю дорогу. Чем дальше – тем глубже снег. Зорька дотащилась до середины сора и встала. Тощая, голодная, выдохлась, выбилась из сил. Встала и ни шагу. Сколько ни стегай, ни уговаривай – все без толку. Не слушается ямщика. Сам весь продрог, тоже

измотался, пытаясь сдвинуть лошадку с места. Что делать? Прилег на сани. Все пуржит, все метет. Ночь. Одежонка худая, холодно. До утра бы дотянуть. Лежу, вроде бы подремывать начал. А потом вдруг стало тепло. Тепло так стало, хорошо. Обрадовался, как здорово, что согрелся! А потом вот что вспомнил: человеку, перед тем как окоченеть на холоде, становится тепло. Не припомню уже, то ли кто рассказывал, то ли вычитал в книжке. И понял: мне конец. Шевелиться-то неохота. Встанешь – ветер-пурга тебя бьет, а тут тепло. Ничего тебе не надо, никаких забот. Так и задремлю, усну, а потом окоченею. И так бы и окоченел бы, да про маму и сестренку вспомнил. Понял, что без меня они тоже погибнут, не выживут в войну. Я же все-таки кормилец и единственная в доме мужская опора. Соображаю: нужно что-то придумать. Должен быть выход, должен. Понятно, что пешком я не дойду – снег глубокий. И тут как бы озарило: может, думаю, Зорьку уговорю. Сани, конечно, не потянет. А вот попробовать без саней. А вдруг?! Решил: попробую. С трудом заставил себя подняться, отряхнуться от обманчивого тепла. Встал, распряг Зорьку. Кое-как взобрался на нее и дернул недоуздок. Ну, милая, говорю, выручай. И она пошла. Медленно, осторожно нащупывая копытом твердую колею дороги, чтобы не оступиться в снежно-болотную пучину. Так и добрались мы с Зорькой до дома в ночь-заполночь. Так я выжил, а мог бы погибнуть еще в четвертом классе...

А потом закончилась война, и я поехал учиться в Ленинград. И вот мама прислала письмо, написала: «А Зорька, твоя спасительница, погибла – утопла на глазах всей деревни». Дело было так. Она паслась на берегу со спутанными ногами. А потом поплыла через реку на другой берег. Ноги-то спутанные, плыть неудобно. На самой середине реки обессилела и утонула. На берегу люди были, все видели, а спасти не сумели. И зачем ее понесло на другой берег? Что, там трава вкуснее? Не понимаю. Тоже, видно, судьба. Только лошадиная.

Он смолк. Но все продолжал поглаживать ее руки и щеки. Она больше не плакала.

– Я как сказку слушала, – сказала она.

– О, таких сказок знаешь, сколько у меня накопилось за всю жизнь – не пересказать!

– Много?

– Много.

– Еще расскажите.

– Ты – моя последняя сказка.

– Сказка?

– Да, сейчас я эту сказку...

Он наклонился, поцеловал ее в губы и, полной грудью вдыхая неземной аромат ее духов, медленно расстегнул верхнюю пуговицу ее кофточки. Страшная и разрушительная сила тления еще не коснулась ее тела. А тело ее было не здешнего, не северного происхождения. То ли оливкового цвета,

то ли диковинно-песочного, то ли закатно-облачного. На Гавайях, что ли, отдыхала, подумал он. Или в каких-то неведомых небесных далях. Рядом с ней мог бы выдержать еще шесть десятков лет, но этому не суждено быть. Теперь она представлялась ему вселенной, очаровательной, таинственной и непознанной.

И все же хорошо заканчивать жизненные дни с любимым человеком, снова подумал он, а вслух сказал:

– Нам вдвоем везде будет хорошо.

– Я знаю, – ответила она.

– И мы будем счастливы.

– Я и так счастлива.

Он поцеловал ее в грудь. И ему захотелось прикоснуться к каждой частице ее тела. Пусть хоть на мгновение она забудется и почувствует себя счастливой и поймет, что она любима, подумал он, с нарастающей страстью обнимая и целуя ее.

Когда он вошел во вселенную, она, прерывисто задышав, выдохнула слабым эхом:

– Аа-аxx...

И, будто на все оставшиеся земные дни, цепко обхватив его шею руками, всем телом прильнула к нему. И, теряя рассудок, теряя сознание, снова, чуть сильнее, выдохнула:

– Аа-ах...

А потом, уже более ритмично дыша, все с большею силою повторяла «аа-ах». И в полубессознательном состоянии защебетала-заворковала:

– Аxx, миленький...

– Аxx, последненький...

– Аxx, Ванненький мой...

А он молча, под ее милый шепот-воркование, летел в пропасть, падал в бездну. И испытывал головокружительно острую прелесть полета в бездну, вызванную близостью с красивой женщиной, смертельной опасностью для собственной жизни и с неожиданной силой вспыхнувшей в нем последней любви. Никогда прежде не испытывал такого остро-горького чувства любви. Ни одна женщина не доводила его до беспамятства. А теперь он оказался между жизнью и смертью, в полете в бездну. Значит, в таком полете они оба избегают верной гибели. А полет в бездну все продолжается. Как и она, вскоре он тоже стал терять рассудок. Стал терять сознание. И в глубине гаснущего сознания слабо мелькнула мысль, что судьба все-таки благосклонна к нему и преподнесла ему эту сладко-гибельную концовку земных дней. И если бы все сородичи, оставшись без Отца и без Женщины-матери, так же счастливо и с таким же наслаждением покинули бы свою землю и канули бы в небытие, то можно не грешить на жизнь и позабыть все земные муки, и простить новопришельцам все их грехи и обиды, нанесенные малому числом, но великому по духу народу. Оставайтесь, живите, поль-

зуйтесь землей и всеми земными благами. Но вы никогда не испытаете этого блаженства последнего мгновения, преподнесенного мне судьбой. Полет в бездну – это вечный полет. На то и бездна, что она не имеет дна. Стало быть, мы не разобьемся, а уйдя из этой жизни, вот так, намертво обнявшись, прижавшись друг к другу, слившись воедино, превратившись в одного человека, в одно я-мы, вечно будем летать во внеземном пространстве и наслаждаться вечною и последнею любовью. Мне-нам хорошо, и кроме меня-нас никого не существует, и мне-нам ничего ни от кого не нужно...

– Аа-ах...

Под утро, когда зыбкий осенний рассвет неуверенно начал опускаться на землю, намертво обнявшись, не выпуская друг друга из объятий, они уснули в вечном полете в бездну.

9 мая 1998 года

В ОКОПАХ, ИЛИ ЯВЛЕНИЕ ЕКАТЕРИНЫ ВЕЛИКОЙ

Рассказ фронтовика

Светлой памяти моего друга, земляка,
освободителя Европы от фашизма
Алексея Разбойникова

Я расскажу тебе о женщинах на войне.

Попал я на фронт в составе сибирских полков, которые отстояли Москву. Сибиряки на фронте – это особые люди. Быть может, нам было немного легче, чем другим. Ведь все мы выросли в суровых условиях Севера, привычны к холоду и голоду, уверенно стояли на лыжах и ориентировались на любой местности. Нам знакомы изнурительные походы и ночевки у костра под открытым небом. Наконец, мы все были охотниками и хорошими стрелками.

Я был ординарцем у комбата, капитана Красильникова, Александра Александровича. В житейских разговорах мы называли его просто Сан Санычем. Это был статный высокий блондин с голубыми глазами, которые всегда излучали теплый свет за стеклами очков. По немецким меркам – чистый ариец. Встретились мы с ним на известном сибирякам омском сборном пункте Черемушки и не расставались почти до самого конца войны. Сначала он командовал взводом связи, затем ротой связи, потом он получил батальон. А в «связи», как правило, служили в основном девушки, женщины, поэтому батальон Красильникова часто по привычке называли «женским».

Мы постоянно находились в окружении женщин-связисток. Командиром и человеком он был редкой души. Родился в Ялуторовске, а учительствовал на Севере – учил детей математике. Батальон для него был одним большим классом, как в школе. Всем он говорил только «вы». Я никогда не слышал его крика или ругани. Для каждого бойца у него было свое словечко, свое обращение. Все делал основательно, не спеша, без суеты. Перед каждой операцией, если было время, советовался с бывалыми бойцами, многие из которых помнят первые тяжкие месяцы отступления и уже успели вволю нанюхаться пороху. Ставил вопросы, как бы боец поступил в той или иной ситуации. Все делал для того, чтобы с наименьшими потерями выполнить задание. Как бы математически, с помощью цифр, он просчитывал любое дело. «Много ума не надо, чтобы побить противника числом, – обычно говаривал наш комбат. – А вот для победы с малыми потерями надо крепко поломать голову». На рожон никогда не лез, к военной карьере был совершенно равнодушен. Прежде всего он был озабочен тем, как сберечь людей, а значит, сберечь батальон. Что ему и удавалось до самого конца войны. Возможно, поэтому у командования наш батальон был не на первом, но и не на последнем счету.

Была у моего командира Красильникова, как и у многих офицеров, своя походно-полевая жена. Бойцы на всех фронтах окрестили их кратким ППЖ. Это была мрачноватая на вид, немного неуклюжая, немногословная и медлительная связистка Клава. Внешне он ничем не выделял ее. Она всегда жила только со связистками. Но душой крепко был привязан к ней и ни от кого не скрывал своих отношений с Клавой. Я иногда задумывался над тем, как он будет жить после войны. Знал, что Клаву он не оставит. Но не оставит и жену, учительницу-биологичку, которая растила ему маленького Саньку, Саньку-сорвиголову. О нем жена писала ему в каждом письме: как он вырос, какие шалости творит в доме, что спрашивает об отце и войне. Может, как-нибудь и поладят. Ведь после войны не он один окажется в таком положении.

В ту весну мы стояли в Венгрии, на берегу озера Балатон. Наши палатки тянулись изогнутой линией вдоль северного берега, возле кромки леса. Это была и не передовая, и не тыл. Точнее, наверное, вторая линия наступления. На войне не всегда знаешь, сколько линий впереди, до противника. Это был для нас короткий передых. Как и на передовой, мы несли караульную службу. А девчонки роты связи успевали постираться и умудрялись развесить белье и на палаточных веревках, и на бечевках-бинтах, натянутых между хлипкими кустиками, и на толстых, местами побитых осколками сучьях вековых дубов.

Пахло сырой землей, порохом и одновременно весной.

В ту ночь, еще задолго до рассвета, я проснулся от жуткого воя. С головой накрылся шинелью, заткнул уши, а жуткий вой пронизывал все мое тело. Жуть берет. Не мог заснуть. Только на рассвете вой прекратился. Как

утром выяснилось, ночью связистка Клава отправилась искать повреждение на телефонной линии. Она была беременна. В темноте споткнулась и ушибла внутриутробного ребенка. Ее перенесли в палатку до отправки в полевой госпиталь. Ее давно надо было отправить в тыл, но они все тянули. Клава считала себя ангелом-хранителем своего возлюбленного и говорила, что без нее Саник пропадет. А он, видимо, тоже не мог оторвать от себя Клаву – вот оба и тянули до самого последнего срока. И вот чем все обернулось.

Утром капитан Красильников отправил меня к связисткам, где жила Клава. Я осторожно поскребся в брезентовую полость-дверь, услышав внутри шорох, предупреждающе кашлянул и с хрипловатым от утренней сырости словом «разрешите?» вошел в палатку связисток. За походным столиком, с накинутой на плечи шинелью, из-под которой виднелась нижняя солдатская рубашка с расстегнутой верхней пуговицей, сидела Екатерина Великая и писала письмо.

В палатке она была одна.

Я обвел взглядом все пространство этого временного жилища и понял, что она пришла с ночного дежурства, а подруги ушли на дневную смену. Все, кроме Клавы, конечно. И тут, неожиданно для себя, заикаясь, я начал выдавливать слова:

– Я-я... те-бя...

Но тут запнулся, замолчал, а потом мой язык то же самое попытался выдать другими словами:

– Ты-ы... мне...

Она подняла голову, посмотрела и без насмешки, но строгим голосом, с едва заметным оттенком сочувствия, остановила меня:

– Знаю.

Я увидел ее карие, как на Севере говорят, щучьи глаза. Замолк и лишь застенчиво улыбнулся. Как будто какая тяжесть свалилась с моих плеч: значит, знает. Это уже хорошо. Впрочем, не я один, наверное, тайно был влюблен в нес. Именно тайно. Явно признавались в любви многие. На войне только любят или ненавидят. Это я понял немного позже.

Она перевела взгляд на листок бумаги на столике. Видно, еще не дописала. Потом снова посмотрела на меня, помолчала и тихо спросила:

– Срочное?

– Нет, – сказал я.

Тогда она указала на пустую коробку из-под патронов, служившую табуреткой. Я молча сел. И боковым зрением, не поворачивая головы, стал наблюдать за ней. И увидел, как она чуть наклонила голову над листочком бумаги, и мягкая прядь волос, извиваясь плавным овалом, закрыла ей щеку. И она опустила ресницы... И я вспомнил, как она почти год тому назад впервые появилась в расположении батальона. Во время жуткого обстрела нашей позиции она шла по траншее, не обращая никакого внимания на свистящие пули

и рвущиеся мины. И огонь противника, как будто сопровождая ее, огненным смерчем отступал перед ней, а вторая огненная лавина-завеса двигалась, не догоняя и не перегоняя ее. Шла она, словно заколдованная. Я услышал, как два бойца, два бывших студента, разговаривали между собой. Один боец, чуть высунув голову из щели и удивленно моргнув, сказал другому:

– Смотри, плывет, как царица!

Второй боец выдержал паузу и сказал:

– И впрямь, как Екатерина Великая.

– Явление Екатерины Великой, – сказал первый голос.

С тех пор к ней и привязалось это имя – Екатерина Великая. Мало кто знал се по настоящему имени. Екатерина да Екатерина. Великая.

Уже после обстрела в штабном блиндаже комбат Красильников перелистывал ее документы. Капитан читал и бормотал себе под нос. Я понял, что перед нами радистка с немалым военным стажем. Волховский фронт, Калининский. Первый Белорусский, Второй. Первый Украинский, Второй. Авиаполк, радиосопровождение истребителей. Наконец, комбат отложил ее документы, внимательно глянул на нее и своим мягким и ровным голосом слегка пожурил новенькую:

– Что же вы, матушка, не бережетесь?

Она подняла голову и снизу вверх глянула на высокого и слегка сутуляще-го комбата. А была она небольшого росточка, вся миниатюрная такая. Напоминала свежую упругую ягодку-брусничку или ягодку-клюквинку. Словом, нашу, северную ягодку. Тут она немного помолчала, а потом сказала:

– Моя пуля еще не отлита.

Комбат с высоты своего огромного роста опустил на нее свои теплые, по-отечески нестрогие глаза, снял очки, протер их и только затем протянул ей документы и сказал:

– Верно, на хорошего солдата нет пули.

Затем водрузил очки на переносицу, словно еще раз хотел ее как следует разглядеть, и после паузы сказал:

– Однако все же сами берегите себя.

И приказал мне отвести ее к Клавиным телефонисткам. По пути выяснилось, что мы с ней земляки. Она с Приполярного Урала, с реки Ляпин. И, возможно, даже на одном пароходе плыли по Иртышу до знаменитых Черемушек. Конечно, мы вспомнили дом, свою малую родину, свои деревни и городки. И я почувствовал, как между нами протянулась ниточка, которая незримо связывает двух человек на основе симпатии и доверительных отношений.

Так началась служба Екатерины Великой в нашем батальоне. Она ни с кем из девушек не дружила. Со всеми держалась одинаково ровно. Может быть, только чуть ближе, чем к другим, была к Клаве. И та как-то спросила ее про первый день, почему, мол, не спряталась от огня противника. И она призналась Клаве:

– Я большая трусиха.

– Так почему же не залегла в окоп?

– От страха.

– Тем более надо было падать в окоп.

Екатерина Великая помолчала немного, потом сказала:

– Наверное, побоялась помять форму. Я ведь с тыла прибыла, вся наглаженная, наутюженная...

– Стала бы я жалеть форму! – усмехнулась Клава. Скуповатый на похвалу капитан Красильников оценил се работу одной фразой:

– Если нужно будет, установит связь с самим господом Богом...

Между тем весть о новенькой в батальоне мгновенно облетела все роты и взводы. На фронте, в обрыдлой окопной жизни – в холоде и голоде, в грязи и дерьме – это большое событие, это что-то интересное, необычное. Что-то из далекой мирной жизни. Первым пред новенькой предстал, конечно, Лева Левенко – старшина роты связи, мой приятель. Невысокого роста, худощавый, совсем неприметный хохол из Керчи. Внешней отличительной чертой были у него разве что только огромные, как у матерого таракана, усищи да огромный нос на землистом, окопного цвета, лице. Был похож не столько на рослого украинца со шматом сала в руке, сколько на бедного турка из какой-нибудь сельской глубинки. Но малый разухабистый, бесшабашный весельчак, непревзойденный врун и болтун. Был не дурак выпить, хорошо закусить и, конечно, приударить за женщинами. Он придумывал всякие байки, писал стихи, сносно играл почти на всех музыкальных инструментах. Этакий рубаха-парень. Сам же сочинял к своим стихам музыку и пел их обычно под гитару. Любил он прекрасный пол, и женщины не обделяли его своим вниманием. Пожалуй, чуть ли не вся женская половина роты прошла через него. Да что роты, может, и батальона. Теперь, по прошествии лет, я понял, почему его любили женщины. Он жил одним днем. Точнее, одним мгновением, и никогда не заглядывал в завтрашний день, в будущее. Наверное, правильно делал. Так и надо жить на войне. И на сей раз проворный Лева с гитарой первым подкатился к новенькой. И, ничего не успев еще сочинить для нежных ушек Екатерины Великой, из своего репертуара вытащил старую песенку про «катюшу» – легендарный гвардейский миномет. Будто бы министр пропаганды Третьего рейха Риббентроп пришел на фронт поговорить с «катюшей», с нашим минометом. И Лева лихо ударил по струнам, запустил свою песенку:

Приходил к «катюше» Риббентроп,
Говорил, что ему дурно,
Дурно, дурно,
Выражался нецензурно,
Зурно, зурно...
Ах, зачем нас мама родила?..
Дела, дела!..

Уже на ходу, раздухарившись, закатывая глаза, прожигая горящим взором новенькую, Лева сочинял к старой песне новые куплеты:

Приходи, Катюша, ты ко мне,
Ко мне, мне, мне...
И нам будет все очень гарно,
Гарно, гарно...
Заживем мы с тобой ударно,
Дарно, дарно...

И так далее. Всех слов не помню. Но, однако, как ни крутился вокруг новенькой, получил мой друг Лева от ворот поворот. Выругался незлобиво:

– Ничего в жизни не понимает. У-у, дура!..

Лева мог тешить себя лишь тем, что не только он получил от ворот поворот, но и все офицеры роты и батальона. Ни один не удостоился внимания новенькой. Надо сказать, что на войне женщины в основном доставались командирам – лейтенантам, капитанам, майорам. Одни становились сразу ППЖ, другие переходили из рук в руки, третьи романтично влюблялись и берегли свою любовь. Я никогда не осуждал женщин войны. Ни на войне, ни после войны. Когда стоишь на расстоянии одного шага от смерти, все вокруг обретает иные очертания. Совсем по-иному начинаешь оценивать то, что имеешь. Я понимаю молоденьких, почти совсем зелененьких девчонок, которым хочется кого-то полюбить. Быть может, завтра тебя убьют, и ты умрешь, так и не узнав, что такое любовь. А ты чувствуешь, что она ходит где-то здесь, совсем рядом, совсем близко. Только надо найти ее, прикоснуться к ней. А тебе отпущено времени, быть может, совсем немного. Поэтому спеши, не упускай своего. Если останешься в живых, будешь жалеть об этом всю оставшуюся жизнь. Такова жизнь на войне. Такова жизнь в окопах.

После Левы не только младшие офицеры, но и старшие получили отставку у новенькой. Все попытки поухаживать за ней заканчивались полным провалом. Подполковнику из штаба полка, захотевшему поухаживать за ней, она левитановским голосом, каким тот зачитывал когда-то приказ № 227 («Ни шагу назад»), она отчеканила:

– Я

– Не

– Ваша.

И тот оставил ее в покое.

Другому полковнику, из дивизии, она тем же левитановским голосом выдала:

– Вы

– Не

– Мой.

И дивизионный полковник тоже отступил. Между тем Лева Левенко пытал Клаву:

– Кто у нее есть?

– Никого, – отвечала Клава.

– Откуда знаешь?

– Письма она пишет только маме. И получает только от мамы.

– А для кого бережется?

Клава пожала плечами:

– Спроси у нее.

Вскоре слух о ней прошел не только по батальону, но и по полку, по дивизии. Быть может, и по армии, если не по фронту. Что, мол, у комбата Красильникова появилась какая-то неприступная. Разве что только генералы еще не пытались поухаживать за ней. И то однажды генерал в неформальной обстановке за чаркой спросил у Красильникова:

– Что у тебя там за чудо появилось?

На что комбат ответил четко по-уставному:

– Никаких чуд у меня нет, товарищ генерал. Есть отличный боец и классный специалист.

– Как-нибудь хоть показал бы, – сказал генерал. – А то заинтриговал тут всех.

– Как только, так сразу же, товарищ генерал, – ответил комбат. Но этого «как только» так ни разу и не наступило: генерал был слишком занят. Да и женщины его окружения зорко следили, чтобы не допустить в близкий круг его общения посторонних конкуренток. В любви женщины завистливы и просто безжалостны друг к дружке. Злые женские языки пустили молву, что, мол, новенькая на Севере была радисткой на полярной станции и за длинную полярную зиму обслужила всех зимовщиков. А теперь ей ничего не надо, мол, пресытилась всем. Но я-то знал, что она никогда не ездила на зимовку. А работала на рации на культбазе в отдаленном селе, в предгорьях Урала. Но на каждый роток не накинешь платок.

Всех она отшила. Один только Лева Левенко не падал духом до поры до времени. Все хорохорился:

– Нет неприступных женщин, как нет неприступных крепостей.

Выдержав многозначительную паузу, как великий стратег и полководец, он начинал размышлять вслух:

– Главное дело – разведка. В любом деле надо знать все. Сначала все разведать, а потом взять. Не измором, так хитростью. Не в лоб, так с тыла.

И однажды он решил, видно, застать крепость врасплох. Когда новенькая после дежурства спала, а из подруг рядом никого не было, влез к ней в постель, полагая, что внезапность и напор обеспечат ему успех. Но тут же вылетел в двери. Дело было под вечер, накрапывал мелкий занудный дождь. Земля намокла. И незадачливый ухажер прокатился по скользкой мокрой глине и очутился под ногами проходившего мимо комбата Красиль-

никова. Комбат, не поверив своим глазам, снял очки, не спеша протер их, потом осмотрел внимательно Левенко, сидевшего у его ног в исподнем, и только затем удивленно спросил:

– Что же вы, братец, тут катаетесь?

– Да вот шел, споткнулся и покатился, – придя в себя от неожиданности, уверенно начал врать Левенко.

Он знал, что в любой ситуации перед командиром нельзя молчать, а нужно смотреть ему в глаза и говорить уверенно и убедительно.

– А почему в исподнем? – спросил комбат.

– Так ведь отдыхал, потом вышел подышать воздухом, – сказал, уже поверив в свои слова, бравый кавалер Лева. – А потом решил сходить до ветру.

– Без верхней одежды? – поинтересовался комбат.

– Без верхней, – кивнул Лева.

Тут вслед за ним вылетели его гимнастерка, галифе и сапоги. Лева быстро сгреб их в охапку и радостно сообщил:

– А вот и моя одежда.

– Вижу, – сказал комбат.

– Разрешите идти? – Лева уже стоял перед командиром со своей одеждой подмышкой.

– Ну-ну, – сказал комбат. – Идите.

Лева тут же мгновенно исчез, как сквозь землю провалился. Комбат даже повертел головой: а был ли тут старшина Левенко? Может, все это ему привиделось?

На какое-то время Левенко стал объектом насмешек. Бойцы при любой возможности подначивали: «Лева, расскажи, как ты брал крепость!» – «Лева, пойдем, сходим на разведку!» – «Лева, научи, как взять крепость».

Лева незлобиво рычал:

– У-у, зараза! Ни себе ни людям!..

Тут бойцы-зубоскалы снова прицепились к его словам: «Это каким людям?» – «Лучше скажи, Лева: ни себе, ни мне». Лева соглашался:

– А хотя бы так. Все равно – зараза!

Лева был незлобив. Как и всякий сердцеед и бабник, он легко сходился с женщинами. И легко же с ними расставался. Не было у него сердечных привязанностей.

Так началась служба новенькой в нашем батальоне. Теперь звали ее то Новенькая, то Екатерина Великая, то просто Явление.

... А сейчас она опустила ресницы, дописала еще несколько строк и треугольником сложила лист, надписала адрес. После вопросительно посмотрела на меня. Я поднял голову и не по-уставному, а по-житейски просто сказал:

– Таня, комбат просит собрать личные вещи Клавы.

– Хорошо, я потом соберу, – сказала она и после паузы добавила. – Личных-то вещей: мамины письма да карточка любимого...

Я встал, потоптался на месте, собираясь уйти. Но не уходил. Она смотрела на меня. И я почувствовал: она еще что-то хочет сказать. Между тем она своим привычным, присущим только ей, движением левой руки, одним большим пальцем откинула прядь волос в левую сторону. Затем таким же манером, тоже одним большим пальцем правой руки отвела прядь волос назад, в правую сторону. И только потом тихим и нежным голосом сказала:

– Иди, Алеша...

Я сразу понял, куда надо идти. Я подошел к ней. Она уткнулась лицом в меня и обняла меня за талию. Я же припал лицом к ее волосам и вдохнул в себя их аромат. Удивительное дело: они пахли не войной, а мирным лесом, мирной водой, мирным небом. Словом, пахли миром и жизнью. И я задохнулся этим запахом. Задохнулся запахом ее губ и ее тела. И это было самое бесконечно длинное мгновение в моей жизни. Это была самая длинная часть моего земного бытия, моей земной жизни. В этом была вся моя разумная жизнь. Но все имеет конец. Всему есть предел. Потом уходил. Уходил медленно. Уходил долго. Уходил мучительно. Наконец, дошел до дверей. Я не отводил от нее глаз. И я растягивал и растягивал это последнее прощальное мгновение. И тут она сказала обыденно просто:

– Меня не будет.

Я остолбенел у выхода из палатки. Моя правая рука, вытянутая вперед, так и не успела прикоснуться к полости-двери и застыла на весу. Я смотрел на девушку через левое плечо. Мы с ней встретились глазами. И в ее черных очах уловил и удовлетворенность определенностью судьбы, и неосознанную тоску по земной жизни.

– Это правда, – добавила она. – Иди...

Я сразу понял, что это правда. На войне люди по-разному воспринимают смерть. Одни безошибочно чувствуют ее приближение или неизбежность, а для других она приходит совершенно неожиданно.

Она снова повторила свое слово:

– Иди...

В этом слове было столько одновременно и нежности, и мольбы, что я наконец вышел из палатки. Нет-нет, говорил я себе. Она не может умереть. Она будет. Она еще долго будет на земле. Вышел из палатки, как будто из другого, нежного и прекрасного мира. Тут бы мне, дураку, и надо было сразу застрелиться и кончить все разом. Это я потом сообразил. И не мучался бы потом всю оставшуюся жизнь. Но я понадеялся на войну, которая еще не закончилась.

Вышел я из палатки, и все снова закрутилось по правилам военных фронтовых будней. Мы с командиром поехали в штаб полка, куда его вызвали на какое-то совещание. Оттуда отправились в штаб дивизии. Потом заехали в полевой госпиталь, чтобы разыскать Клаву, но мы ее уже не за-

стали – отправили в тыл. И вернулись в расположение батальона поздно вечером.

Меня встретил мой приятель Левенко, подозрительно мрачный и бледный, тихо сказал:

– Пошли.

Я молча последовал за ним. Он вывел меня на опушку леса, к большому дубу, показал на свежий холмик земли с крестом, тихо сказал:

– Погибла.

– Как?! – выдавил я из себя, не веря своим ушам.

– Снаряд. Прямое попадание.

– Когда?

– Днем.

И он рассказал, что она спала, одна, после дежурства. Прилетел шальной снаряд. Непонятно чей. То ли немецкий, то ли наш. Прямое попадание. Погибла только она, одна. Спала, может быть, и не проснулась. Возможно, ничего не почувствовала. На месте палатки осталась одна большая воронка от снаряда. Все, что могли собрать после разрыва снаряда, тут, под крестом.

Я, наверное, долго стоял в оцепенении, потом хрипло, еле слышно выдавил Леве:

– Иди.

И он молча протянул мне фляжку и молча же ушел. Потом я уже сообразил, что он ушел, не сказав своих обычных слов «ни себе ни людям». Я остался один на один со свежим холмиком земли. Я не раз видел прямое попадание и знаю, что остается от человека после прямого попадания. Налил из фляжки в кружку, поставил на холмик и рядом опустился на землю. Посидел молча. Ночь опустилась на землю, и было необыкновенно тихо. Как будто не было войны. Я ничего не чувствовал, кроме огня, который клокотал внутри меня. Ни тела, ни мыслей. Ничего. Только клокочущий огонь. Огонь съедал меня. Я выпил из кружки спирта. Потом налил и снова выпил. После второй кружки вроде огонь немного поутих. Стало не так больно. Еще посидел молча. Потом налил и выпил в третий раз. И тут мне захотелось плакать. Но слез у меня не было. Ни капли. И оттого, что я не мог плакать, мне опять стало горько и тяжело. Сколько времени так бездумно просидел – не знаю. Может быть, очень долго. А может быть, всего несколько мгновений. Когда, наконец, очнулся, машинально взял автомат и разыскал в темноте воронку на том месте, где стояла ее палатка. Воронка была похожа на окоп. Лег, как мне казалось, на то место, где лежала ее постель. Голову положил на приклад автомата. Сначала смотрел на черное небо, где ничего не было видно. Ни звезд, ни луны. Потом закрыл глаза. Пахло сырой землей, водой и тротилом. Пахло войной. Я чувствовал, как по стенкам воронки-окопа каплями стекала влага и собиралась на дне, в неровных углублениях. Я знал, что ее разорванное на клочки тело и раздроб-

ленная в мелкий порошок се душа где-то рядом, на расстоянии вытянутой руки. Мне хотелось, чтобы ее тело и душа вернулись ко мне, сюда, на это место, где мы с ней виделись и расстались утром. Ждал, чтобы вернулись ко мне, к мертвому или живому. Это все равно. Это никакого значения не имело. Я чувствовал, что мы рядом, мы близки. Мы очень близки. Но что-то все не давало нам воссоединиться, прикоснуться друг к другу. Тогда я не понимал, что мы уже находились в разных мирах. И не могли воссоединиться. Никак не могли. Мне надо было перейти в ее мир. И тогда бы все стало просто прекрасно. Так в томительном ожидании воссоединения я впал в забытье. И очнулся только утром, когда сырой туманный рассвет кое-как дополз до земли, до меня, до моей воронки-окопа.

Война продолжалась. И теперь, очнувшись, придя в себя, я понял, что должен пойти и догнать ее в потустороннем мире, куда она ушла преждевременно и без меня. И я лез в самое пекло, в самую жуткую жуть войны, чтобы меня поскорее убило. Но удивительное дело: меня не убивало. Я стал почти героем. На меня посыпались боевые награды. Особо ценились на фронте медаль «За отвагу» и солдатский орден Славы. Я их тоже получил. Тут и война подошла к концу. Правда, перед самым концом войны меня ранило. Нет, не убило, как я хотел, а только ранило. Перебило осколком нос. Рваный след остался. В левое плечо ранило. В левой руке сухожилия перебило. Победу встретил в Москве, в тыловом госпитале. Выжил, инвалидом третьей группы стал.

Вернулся домой, в Ханты-Мансийск. Участок земельный дали, дом построил. Раз выжил на войне, жить-то как-то надо было. Одному тяжко в жизни. И вот, спустя какое-то время, женился. На хорошей, доброй женщине. Она мне двух сыновей родила. Потом она умерла.

После войны одно письмо от неунывающего Левы приходило. Писал, что жив и здоров, на писателя собирался выучиться. После моего ранения он до Берлина дошел, логово фашистское брал. Как взяли столицу Третьего рейха, так командование дало армии три дня на отдых. Три дня творили все, что хотели. Лева, как теперь говорят, оттянулся по женской части. Немки, пишет, слабы на передок. Особо не сопротивляются, только все говорят «кранк да кранк». А для солдата-победителя какой там «кранк», давай-давай скорей в какой-нибудь закуток. По этой части он заразился известной солдатской болезнью, вернулся домой, долго лечился. Я так и не ответил ему. Житейские заботы и дела замотали – не до писем было.

В последние годы я в педучилище работал, лаборантом кабинета физкультуры. Лыжи на уроки выдаю. И другой спортивный инвентарь. Тут в основном девчонки учатся. Молодые, красивые. Смотрю на них, вспоминаю свою фронтовую подругу. Которая из них похожа на нее? В ком она снова вернулась на нашу землю? Вернулась ли? Может, навеки в том мире осталась, ждет меня. Ждет меня, неразумного, не сумевшего погибнуть вслед за ней на той проклятой войне.

А то, бывало, приснится, что лежу в воронке-окопе и зову свою подругу. Чувствую, что она тут, где-то совсем рядом, а прикоснуться к ней не могу. Становится мучительно больно. Жуть меня берет. И проснуться не могу, и до нее дотянуться не могу. И она ко мне тянется, тянется. Да тоже дотянуться не может. Вот так и живем в разных мирах, мучаемся.

Впрочем, все мы в окопах живем...

* * *

Поздним сентябрем он попросился со мной рыбалку на слиянии Иртыша и Оби. Подышать воздухом и посидеть у костра. Мы посидели у костра, выпили, вспомнили его фронтовую жизнь. Потом он лег на покатый склон поросшей мелкой травкой сухой ямы-промоины, похожей на воронку-окоп военных времен, подставил скупому осеннему солнцу лицо и будто задремал. И потом тихо умер. Я закрыл ему глаза и подумал, что наконец-то он воссоединился со своей подругой, встречи с которой ждал почти полвека. Теперь он счастлив, ему светло и покойно.

Апрель 2005

Давайте порассуждаем...

1. Расскажите о том, как вы поняли смысл «Осени в твоем городе». Что вас более всего заинтересовало в том, о чем рассказал писатель?

2. Как вы думаете, какое событие в «Осени в твоем городе» является главным, или событийная сторона в данном случае не имеет принципиального значения? Если да, то что главное? Поразмышляйте на эту тему.

3. Как бы вы определили жанр осенней грусти Е. Айпина («Осень в твоем городе»)? Какую особенность содержанию этого произведения сообщает то, что слова «Ты», «Осень», «Снег» пишутся с заглавной буквы?

4. Перескажите своими словами и прокомментируйте все произошедшее в рассказе «В полете в бездну».

5. Найдите в рассказе «В полете в бездну» эпизоды описания природы. Как вы думаете, какую роль играют эти зарисовки в общем повествовательном плане, в раскрытии смысла рассказа?

6. Как, по вашему мнению, Е. Айпин относится к главным героям рассказа «В полете в бездну»? Аргументируйте свой ответ обращением к тексту.

7. Как и чем характеризуется повествовательное время рассказа «В полете в бездну»? Что, по мнению героев рассказа, является самым примечательным в этом времени?

8. Как вы думаете, в чем смысл истории с глухарем? Насколько, по вашему мнению, эта история убедительна, правдива? А может быть, художе-

ственный текст не обязательно должен быть «убедительным» или «правдивым»? Поразмышляйте на эту тему.

9. В чем, по вашему мнению, смысл неоднократных сопоставлений военного времени и нашей современности? Какую тональность, направленность повествованию сообщают такие переклички?

10. Какое значение (значения) придает слову «полет» писатель в рассказе «В полете в бездну»? Обоснуйте свое мнение.

11. Как представлена фронтовая действительность в рассказе «В окопах, или Явление Екатерины Великой»? Какие события этой действительности производят на вас самое сильное впечатление? С чем это связано?

12. Какое главное, на ваш взгляд, событие происходит в рассказе «В окопах, или Явление Екатерины Великой»?

13. Какое место в рассказе «В окопах, или Явление Екатерины Великой» занимает повествование о мирной жизни? В чем заключается роль мирных эпизодов в раскрытии основного замысла рассказа? Как вы поняли мысль рассказчика о том, что «все мы в окопах живем»? Можете вы с нею согласиться? Почему? Обоснуйте свое мнение.

14. Напишите небольшое сочинение-рассуждение или эссе на тему «Тревоги и радости Еремея Айпина».

АНИСИМКОВА
Маргарита Кузьминична
(р. 1928)

В 1958 году опубликовала первую повесть – «Октябрьские зори» – в журнале «Северная звезда»

Печаталась в еженедельнике «Литературная Россия», в журналах «Мир Севера», «Урал», «Уральский следопыт», «Югра»; в коллективных сборниках и альманахах, в антологии «Литература Югры: 1930–2000. Кн. 2».

Первая книга «Мансийские сказы» вышла в 1960 году. Автор книг мансийских сказов «Оленья долина» (1965), «Танья-богатырь» (1973), «Земное тепло» (1979), «Еганское огнище» (1988), «Жили-были сосновые братья» (1994), «Гнев тайги» (1999), повести «Лицом к ветрам» (1984). М. Анисимковой принадлежит книга вольной обработки в прозе мансийского поэтического эпоса «Ян-гал-Маа (Тундра)» (1990). Автор исторических романов «Ваули» (1980), «Порушенная невеста» (1994), «Плач гагары» (1997), «Наледь» (2000), «Великий камень» (2001), «Эхо» (2003).

Отдельные произведения переведены на чешский язык.

Член Союза писателей России с 1985 года. Почетный гражданин города Нижневартовска (1997). Заслуженный работник культуры Российской Федерации (1998). Заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского автономного округа (2000). Награждена дипломом и памятной медалью Фонда светлейшего князя А.Д. Меншикова III степени (2000).

Многое в прозе Маргариты Анисимковой – результат изучения, пристального наблюдения за жизнью человека на югорской земле. Она обращается к нашей современности, стремясь различить в ней прекрасное, напоминая людям о том, что в любом времени, даже самом сложном и суровом, есть место красоте, которую надо уметь видеть. Возвращаясь памятью к прошлому России, М. Анисимкова уверена в том, что нельзя видеть в нем только светлое, уходя от трагического и острых исторических коллизий. В истории ее интересуют не столько герои, которые вершат эту самую историю, сколько рядовые участники или даже участницы событий. Женское начало русской истории, как своеобразный показатель ее гуманистического или антигуманного начала (романы «Порушенная невеста» и «Плач гагары»), – одно из главных открытий и откровений прозы М. Анисимковой.

Особенно трепетно, будь то историческая проза или повествование о современности, писательница относится к слову. Это отношение проявля-

ется в том, как точны и красиво уместны ее слова, как изобразительно говорят ее герои, как в слове живет душа и история народа – главного героя ее прозы: «Основой художественной литературы является наш Великий и Могучий русский язык! Язык неразрывно связан с мышлением, он – главное средство управления человеческим поведением, но с какой силой сегодня идет его разрушение! Какие невероятные усилия прилагаются для того, чтобы в тексты попали исковерканные слова, мат, брань, откровенная порнография, насилие, не имеющее никакого отношения к литературному мастерству. Какое общество – таков и язык».

ЛЕЙТЕНАНТОВА ЖЕНА

Рассказ

Наша школа была срублена на совесть из добротной уральской сосны. В самые лютые морозы было тепло, свету хоть отбавляй, классные комнаты с высокими потолками. С правой стороны Г-образного строения три двери: за одной жила истопник-сторожиха тетя Поля, за другой была комната для наглядных пособий, а за третьей – учительская.

– Там, – рассказывал Толька Мальков, – есть еще дверь в кабинет директора.

Но сама я не видела. В учительскую мы заходили с трепетом, а когда нас заводили туда, чтобы сделать прививку от разных болезней, нам было не до того, чтобы глядеть по сторонам. Мы дрожали, подставляя костлявые спины, и до боли щурили глаза, когда под лопаткой растирали кружочек крохотным спиртным тампоном, многие начинали всхлипывать. Ко мне подходил кто-нибудь из учителей или оказывалась рядом тетя Поля. В отчаянии я толкала голову в любой подол, перед глазами у меня все качалось и плыло.

Толька Мальков – дело другое. Он был заядлым курильщиком: курил безбоязненно даже на улице, а если кто его оговаривал, огрызался, а с ребятами лез в драку. Часто кто-нибудь из дежурных, приоткрыв дверь класса, говорил: «Малькова в директорскую!». Толька доставал из кармана отцовский кисет, прятал его в угол парты, поддергивал подвязанные веревкой штаны, шел через весь класс вразвалку. Чаще его вызывали на большой перемене. От директора он приходил красный, урока два молчал, а потом опять начинал насвистывать, давать парням подзатыльники. Толька в пятом классе сидел третий год, ему, видать, все надоело, и в школу он ходил потому, что на работу раньше времени не принимали.

– Кто опять нафискалил? Кто вчерась видел меня на улице с папироской? Ты? – схватил он за шиворот моего соседа по парте Борьку Сторожева.

Тот, не успев вымолвить и слова, получил оплеуху. Такую же оплеуху получил заодно и Пашка Пономарев...

– Ябедники. Мелкота! – Толька Мальков подошел к Мишке Хаккимуллину – юркому черноглазому татарчонку, но тот на удивление всем подставил забияке подножку и, не дав опомниться, со спины вцепился в его густые, грязные волосы. Они вдвоем покатились к учительскому столу.

Мы, девчонки, как мухи, облепившие со всех сторон теплую школьную печь, завизжали, а когда на полу показались капли крови, Ленка Соломина понеслась в учительскую за подмогой.

Вскоре в класс торопливо зашли наша классная руководительница Надежда Петровна, по кличке Курочка, а за нею новый директор, заменивший ушедшего на фронт Георгия Сергеевича Шилова.

– Мальков! – прошептала перехваченным от волнения голосом Курочка, всплескивая маленькими, как неокрепшие крылышки, ручонками. – Только из учительской! Только слово дал! День ото дня не лучше! – Она протянула Тольке носовой платок.

Новый директор Андрей Петрович Кремлев, сразу же получивший прозвище Рупь Пять, потому что был на протезе, неловкой походкой подошел к столу.

– Тоже мне, вояки-петухи! – сказал и вышел из класса. Спасительным был звонок, разогнавший нас по своим местам. Парты в классе были черные. Тяжелые, трехместные. Между двумя мальчиками обязательно садили девочку, и это место было постоянным. Моими соседями были Борька Сторожев, рыжий, хромой, но сметливый парень, и Ленька Субботин, от которого всегда пахло мочой. С утра мы морщились, отворачивались от него, назло ему демонстративно затыкали носы. Но к концу занятий то ли привыкали, то ли забывали, то ли улетучивался этот прелый запах, и брезгливость к Леньке проходила. Я уже давала ему перочистку, потому что свою он вечно проигрывал в «жестку» парням из других классов.

Начался урок. Все притихли: ждали, что будет. В класс вошла наша историчка Агафья Степановна. Она как ни в чем не бывало начала урок. «Неужели так все и сошло?» – думали мы, искоса поглядывая на парней. Прошел еще урок, а на последнем в класс бесшумно вошла Курочка. Эта старая дева, добрая и суетливая, кудахтала над нами, как настоящая клушка. И вид у нее всегда был озабоченный, а маленький остренький носик походил на куриный клювик. Она, прищурившись, смотрела на нас. «Ну, что теперь скажет?» – любопытствовали мы. Поди-ка, Рупь Пять уже написал приказ об исключении из школы Тольки и Мишки? Директор был направлен к нам из госпиталя и еще мало кого знал.

– С завтрашнего дня, – как-то робко сказала Надежда Петровна, подтолкнув с затылка бордовую шапочку, – у нас в школе организуется шумовой оркестр. Все желающие могут записаться. – Немного погодя добавила: – Руководить оркестром будет сам Андрей Петрович.

Толька протяжно просвистел и с вызовом ответил:

– Мне медведь на ухо наступил!

– Тебе, Мальков, и тебе, Хаккимуллин, надо записаться в обязательном порядке. Это просил передать вам Андрей Петрович.

Толька даже поперхнулся, умолк, не найдя сразу, что ответить.

– Да, да. И отцовскую гармонь принеси.

– Разбежался, – проворчал Толька, но, когда Надежда Петровна рассказала, что в шумовом оркестре в ход может пойти любая вещь, которая издает шум, писк, визг, вой – пусть это будут ложки, гребенки, бутылки, палочки, камушки в мешочке, – он умолк. Облокотился о парту, положил подбородок на грязную ладонь. Наверное, вспоминал, как разучивал с отцом «Барыню» и «Кадриль»...

– Откудова он узнал, что у нас трехрядка есть? – спросил Надежду Петровну.

– Я сказала. Играть ты умеешь, а в оркестре, кроме всех шумовых эффектов, нужен главный, ведущий запев. Андрей Петрович дирижировал военным оркестром.

– Вот это да-а-а! – разом выдохнул класс.

Надо только себе представить, каким волнительным был следующий день! Записаться в шумовой оркестр пожелала вся школа, а разных игрушек-погремушек натащили множество. Классы были наполнены таким визгом, шумом, писком, что пришлось всем выстраиваться на линейку и выслушивать дежурного учителя, грозившего вычеркнуть из списков каждого, кто до конца уроков посмеет нарушить школьный порядок.

– Я бы лучше пошел кататься на Преображенскую гору! – засунув руки в карманы, хвастанул Толька, хотя сам чуть не ознобил пальцы, когда нес в школу отцовскую трехрядку, и, пожалуй, впервые вошел в учительскую не по провинности, а по делу, чтобы поставить гармошку на стол возле стопок ученических тетрадей.

Наш просторный школьный коридор! В нем проходили все праздничные линейки, приемы в пионеры, отчеты и рапорты тимуровских команд. Он вместил все школьное население села.

Андрей Петрович шел сквозь строй сутулясь, прихрамывая, нес в руках деревянную стиральную доску. Стало тихо-тихо.

– Ну что же, товарищи школьники, молодцы. Заставили вы меня призадуматься. Молодцы, – повторил он, поставив стиральную доску возле ноги. – Скажу вам: я сегодня сходил в клуб имени Дзержинского, приглядел ся, а сцена и там небольшая. Больше ста пятидесяти человек на ней не поместится. А в школе у нас пятьсот. Догадались, о чем я говорю? Сосчитали? Мы с учителями подумали и вот на чем остановились: сформируем оркестр только из мальчиков. У них и порядка побольше, и дисциплинированнее они. Как-никак, будущие воины...

Конечно, Андрей Петрович слукавил: ответственнее наших девочек было не сыскать! Но они не приняли директорские слова за обиду. В те военные годы безотцовщины мальчишкам редко говорили хорошие слова. Им

все время ставили в пример отцов, их поучали, стыдили и дома, и в школе за всякие провинности. А тут Андрей Петрович еще добавил:

– Я был в военном оркестре. Знаю.

Так образовался наш прославленный шумовой оркестр, покоривший все село. Тольку Малькова директор посадил в середину оркестра. Он с отцовской трехрядкой подавал первые аккорды. Потом включался весь оркестр, и волшебные звуки русских народных песен лились под высокими деревянными потолками клуба. Наши уставшие от работы матери, всхлипывая, глотали слезы умиления.

Но в одну из зимних ночей, с субботы на воскресенье, в нашей школе разместили госпиталь. В понедельник мы с боязнью бежали на занятия. На пороге нас встретили учителя, директор и высокий человек в военной форме.

Андрей Петрович вышел вперед, волнуясь, кашлянул в кулак и сказал:

– Третьи, четвертые классы будут учиться в здании детского садика, пятые, шестые – там, где размещалось горфо, седьмые, восьмые – в доме напротив аптеки...

– Где жила доктор Елизавета Михайловна, – пояснила Курочка, вталкивая под лисью шапку бордовый ободок своей неизменной плюшевой шапчонки...

Мы, как стадо овец, бежали по главной улице группами, размахивая тряпичными сумками. Подталкивая друг друга, забегали в здания, где уже были поставлены парты, садились кто куда хотел.

– Зассанец, – крикнула я Леньке Субботину. – Я больше с тобой сидеть не буду!

Он, конечно, хотел сидеть со мной, потому что всегда списывал домашнее задание.

– И с тобой я сидеть не буду, – закричала я Борьке Сторожеву. – Ты все время у меня ленточки в косах развязываешь!

– А я тебе чернил ни капельки не дам, не проси! – заявил Борька. Слов нет, чернила из свеклы Борька варил самые лучшие в классе, и тетрадку мою напоказ выставляли только потому, что на линейках его чернилами можно было вывести тонкую волосяную линию.

– И не надо! – крикнула я.

Девчонки тоже выговаривали обиды своим соседям.

– Не садись со мной, – кричала Саньке Черемнову Нюрка Палкина. – Цельные уроки палец, как телок титьку, сосешь да спишь!

– А у тебя возле ушей вошки ползают, – в отместку ей ответил Санька.

В класс вошла историчка Агафья Семеновна. Она была эвакуированная из Ленинграда. Добрая, никогда не повышала голоса. Мы полюбили ее не сразу – поначалу боялись строгого взгляда. А в тот день все как сдурели, перебегали от парты к парте, кричали, толкались. Агафья Семеновна долго прокашливалась, толклась возле стола и вдруг совсем неожиданно для всех

так хлопнула ладонью по крышке стола, что деревянный ящик со стеклянными чернильницами-непроливашками грохнулся на пол...

– Всем садиться по своим местам! – приказала она.

Мы замерли.

– Еще раз повторяю: всем за свои парты! – Ее будто подменили. В крохотной комнате райфо, где учительский стол стоял впритык к передней парте, мы сразу увидели проступивший у нее на шее багровый шрам...

Я молчком вытащила из парты сумку, обошла вокруг стола, безропотно подошла к Борьке Сторожеву. Он, присев на хромую ногу, пропустил меня на свое место. То же сделали другие, только Нюрка Палкина разодралась с Санькой Черемновым.

Позже мы узнали, что Агафья Семеновна была в офицерском чине, прибыла к нам из госпиталя. С того дня, когда она опрокинула со стола ящик с чернильницами, мы стали побаиваться ее, хотя она говорила по-прежнему тихим и ровным голосом.

К райфовскому классу мы привыкали тяжело. Не стало с нами ни старшеклассников, ни малышей. Не стало нашего заливистого веселого звонка. Его взяли в дом напротив аптеки для младших классов, а у нас оказалось коровье ботало. Мальчишки обследовали его и заявили: бухает оно так глухо потому, что вместо «своего» язычка к нему прилажен какой-то крючок, и ждать хорошего звону нечего. К нему мы мало-помалу привыкли.

Но хуже всего, наверное, было нашим учителям. Они бегали из здания в здание. Особенно далеко было ходить к детскому садику, за реку. У нас по реке всегда свистел ветер. Вылетая из горного ущелья, он кружил над мостом. Фигуры учителей мы узнавали издали, припав к заиндевелым окнам. Передавали: Курочка семенит, или Рупь Пять вышагивает, или Агафья, прячась от ветра, идет задом наперед. А они, потеряв в перебежках драгоценные минуты, начинали урок, не успевая приоткрыть дверь.

– Расскажи-ка, Спасенников, пока я раздеваюсь, о походе в Сибирь Ермака Тимофеевича.

Алеха Спасенников привскакивал, из сопливого носа сразу выпрыгивали пузыри и тут же лопались. Он хлопал крышкой парты, стоял, набычив лоб.

– А когда оставался после уроков, рассказывал, – подбадривала его Агафья Семеновна. – Отвечал. Вот и расскажи ребятам.

Алеха хлопал белесыми ресницами. На щеках у него шелушились лишаи, которые Агафья Семеновна после уроков промывала марганцем. Алеха был сирота, жил с теткой в какой-то бане и ходил в школу для того, чтобы погреться да получить свою серую булочку, которую нам давали как добавку к хлебной карточке.

Жизнь наша в райфовском классе стала неинтересной, скучной, а главное – не было места для репетиций шумового оркестра. Все тосковали по своей школе, часто бегали к ней, играли во дворе на излюбленных местах. Мне часто снился длинный школьный коридор, в котором во время перемен

мы брались за руки, образуя большущий круг, и пели разные песни. С нами были дежурные учителя, пионервожатые. Но разве можно было кому-то об этом сказать. Шла война. И в школе разместили не кого-нибудь, а самых настоящих геройских защитников Родины.

Когда в госпитале санитарками стали работать сельские девки, по селу разнеслось: там лежат тяжелораненые.

Дома нам только и наказывали: глядите, к школе не бегайте, не мешайте бойцам выздоравливать, но нас манило туда со страшной силой, мы сгорали от любопытства, крадучись подползали к завалинкам, приподнимались, пытаясь что-нибудь увидеть за зашторенными окнами. Однажды к нам пришла Маруська Ильина и шепотом сказана маме:

– В школе в бывшей-то директорской уборную сделали: в полу прорубили пять кругов, а под ними вырыли яму.

Я выскочила в кухню, где сидела Маруська, заорала на нее, заткнула уши, чтобы не слышать ничего, а она свое:

– Да не вру я. Дуня Михайличиха тамо полы моет. А как, по-твоему, ранетые опрастываться будут? Че им, на улицу бегать? Так у них почти у каждого ноги нету, а у кого и обоих.

Маруська говорила правду, но сжиться с мыслью, что за дверью, к которой мы всегда подходили с трепетом и благоговением, стало отхожее место, было невозможно.

– Ниче, – успокаивала меня Маруська. – Новую школу вам выстроят, да и эту изладят – не узнаете. Ранетые говорят, понужают наши фашистов ай да ну!

В селе сразу стало заметно присутствие госпиталя. Бабы-солдатки начинали день с того, что бежали в госпиталь: тащили в кринках молоко, вареную картошку, сушеные грибы, ягоды. Рассказывали про строгие порядки в госпитале и шептались о том, что офицер в погонах поздно вечером вышел из ворот Граши Чудинихи...

Прошли крещенские морозы, день прибавился на воробьиный скок. К этому времени утихли снегопады, и горки как магнитом тянули нас на самые вершины, откуда можно было катиться до берега реки с замиранием духа. У нас и радость осталась одна – катание с гор. Распался шумовой оркестр, негде было заниматься физкультурникам. Перестал работать драмкружок, в котором мы ставили пьесу «Павлик Морозов». Одним словом, без школы мы осиротели, да и учителя в первое время растерялись.

Наша Курочка попыталась подготовить литературный монтаж, но ни у кого не было желания делать это в райфовском классе, маленьком и темном.

Как-то в конце уроков, когда мальчишки с визгом и шумом побежали к двери, Толька Мальков чуть было не сшиб с ног нашу маленькую Надежду Петровну, завопив на бегу:

– Мне некогда. Мамка на дежурство уходит!

– Как знаешь, – посторонясь, сказала Надежда Петровна. – Думала включить тебя в группу для подготовки концерта к 23 февраля.

– У нас девок-визгух полно. Пусть и поют, – приостановился Толька. – Они голосистые.

– С концертом будем выступать в госпитале.

У Тольки выпала из рук сшитая из голенищ старых кирзовых сапог тяжелая сумка, на которой он лихо катался с гор.

Этой новостью мы все были сражены. Еще бы! Побывать в госпитале, увидеть своими глазами раненых защитников Родины да еще петь для них! Толька будто обезножел, присел возле порога на свою сумку.

– Толька, ну давай чего-нибудь придумывай! – закричали ребята.

– Нашему классу нужно подготовить один номер, – сообщила Надежда Петровна. – Каждому хочется побывать в госпитале.

– Толька, придумывай. Придумывай! – тормошили его мальчишки.

– Петь будем? – спросил Толька.

Наступила тишина, которой воспользовались девчонки.

– Мы украинский танец станцуем, – предложила Катька Мальцева.

– Ага... Я играть его не умею. У меня лучше наигрыши получаются.

– Наигрыши? Хорошо! – повеселела Надежда Петровна, которая, по всему, сама не знала, что предложить нам. – Частушки задорные подобрать надо.

– Да частушки-то почти все любовные.

– Да про гитлеров есть частушки: Вас ист дас! Вас ист дас – немцы драпают от нас! – закричал Мишка Хаккимуллин и для чего-то подбросил над головой сумку, из которой вылетела ручка и воткнулась пером в половицу.

– Здо-о-орово! – закричали все. – Как здорово! Частушки про Гитлера!

Сидит Гитлер на заборе,
Просит кринку молока.
А доярка отвечает:
Подою скорей быка! –

себе на удивление продекламировала с задней парты Настя Субботина.

Класс загудел. Мы как в истерике закричали: «Вас ист дас? Вас ист дас?!».

– А где их взять, эти частушки? Кто их знает?

– Это – вопрос, – согласилась Надежда Петровна.

– А мы с Манькой сбегаем в барак неподалеку от кладбища, – предложила я. – Там ведь приезжие живут. Все больше эвакуированные.

– Откуда им знать? – как-то по-взрослому сказал Толька. – До частушек ли им было!

Но мы с Манькой все-таки надумали сбегать.

День был бусый[1], мела поземка, в воздухе летала снежная пыль. По Рабочему переулку не было санной дороги, и мы бежали друг за другом по узкой, еле приметной тропке, которая вела к кладбищу, а оттуда – к бара-

[1] День был бу́сый – хмурый, пасмурный, с мелким дождем.

ку. Навстречу бежала чья-то собака. Остановилась поодаль, оскалив зубы, зарычала. Манька сразу захныкала, она признала в собаке сорвавшегося с цепи прохоровского кобеля, недавно искусавшего тетку Лушу, которой фельдшерица с Кордона ставила уколы от бешенства.

Я хотела припугнуть собаку, топнула ногой, но Манька закричала не своим голосом:

– Этот кобель только того и ждет, чтобы на него замахнулись!

Спорить с Манькой было некогда. Мы побежали обратно к избушке тети Луши. Ворота оказались заперты – пришлось юркнуть в подворотню...

– С этой стороны дверь, – проваливаясь в снег, кряхтела Манька. – Ворота она не открывает, а только, когда сено привозят, распахивает.

Пришлось избушку обходить по пояс в снегу.

– Че по сумёту[2] тащились? – спросила тетка Луша. – Ты, Манька, недавно была!

– Прохоровского кобеля испугались, – вытаскивая ноги из больших растоптанных валенок, забитых снегом, говорила Манька. По-свойски полезла на печку, жестом звала меня. Тетка Луша, худая, костлявая, с желтым морщинистым лицом, закашлялась, отпила из кружки какого-то отвару, спросила:

– Почё к бараку-то бежали? Тамо талицкие бабы на лесоповал приехали. Жаловались: холод в бараке. Ко мне по пилу́ приходили.

– Нам частушки про Гитлера надо. Может, они знают какие, – сказала я.

Тетка Луша всплеснула руками, уставила на меня черные глаза, запавшие в большие глазницы...

– Нам в госпитале перед ранеными солдатами выступать надо!

– Вы че? Кому теперь до частушек? Горя-то кругом сколько!

– Теперь всем помирать?

Тетка Луша замолчала. Стояла долго, покачивала головой, пока на плите не вскипел чайник, на котором запрыгала и загремела крышка.

– «Последний нонешний денечек гуляю с вами я, друзья», – нараспев сказала она.

Манька с печки закричала:

– Чур, моя частушка! Тетка Луша – моя свояченица. Я ей за это воды натаскаю!

– Да это вовсе не про Гитлера, – закричала я Маньке. – Кто ее не знает!

Тетка Луша насупилась.

– Все одно про солдатское расставание!

– Моя частушка! – уже ревела Манька. – Лучше бы я одна пришла!

– Слушай, Шурка, у тебя, говорят, рука счастливая. Седни возле проруби бабы про тебя говорили: мол, как только напишет Шурка Белкина письмо на фронт – сразу ответ приходит. Хоть из окопов, хоть из госпиталя. Напиши-ка моему Харитону. Пятый месяц строчки не написал.

---

[2] Тащились по сумёту – сугроб, наметенный снег.

– Ага. Ты ей частушку отдать хочешь. Я так и знала, все ей да ей, – завопила Манька. – Лучше бы не заходить к тебе. Она с этой частушкой в госпиталь пойдет!

– У тебя по пению посредственно: ни голосу, ни выносу нет, – рассердилась я на Маньку. – А у меня отлично. Сама говорила, что я лучше всех пою.

– Моя частушка! Ежели ты ее петь станешь – я кричать зачну!

– Ты в чужом доме не командуй! – закричала я Маньке.

Тетка Луша не слушала нашу перебранку. Из-за божницы достала бутылочку с засохшими чернилами, капнула из чайника горячей воды, положила на край стола тетрадный лист.

– Пиши, Шурка, сам Бог тебя ко мне послал. Я все одно бы к вам пришла. Ночи не сплю – все кажется, Харитон вокруг избы ходит. Много прописывать нечего, а только поклон ему от Лукерьи Поликарповны. Да еще пропиши, что жду я его – не дождусь. Каждую ночь на его краю постели сплю, как раньше, место грею и подушку, на которой спал, нюхаю. Она, Харитон Петрович, мой сокол ясный, так и пахнет тобой. С ей твой дух в моей одинокой избе живет. – Тут тетка Луша носом швыркнула, обтерла кончиком платка сухие глаза.

– На которой подушке спал – нюхаю, – повторила я.

– Так и пиши, Шурка, так и пиши. Это ему душу согреет. Про меня напиши, мол, бегаю, слава Богу.

Никогда бы мне в голову не пришло, что тетка Луша такие слова знает. Я искоса поглядела на нее. Она погладила меня по голове и положила передо мной голубые атласные ленточки, до войны продаваемые в сельпо. У меня захватило дух. Как я мечтала о таких ленточках, представляла, как буду вплетать в косы, завязывать банты. Но мама не купила – не было денег. Увидев ленточки, я даже выронила из рук ручку, поджала под табуреткой ноги, вся сжалась в комок.

– Моя частушка! – ревела Манька. – Все только ей да ей! Ее руки счастливые!

Мне уже было не до частушки. Ленточки затмили передо мной весь мир. Я готова была писать десять, двадцать писем. Готова была писать их целую ночь.

Не знаю, кто пустил по селу слух о моей легкой руке, но не было дня, чтобы кто-нибудь не приходил к нам, не просил у мамы отпустить меня написать письмо на фронт.

«Че хоть пишешь в этих письмах?» – допытывалась Манька. Я, не таясь, рассказывала, что начинаю со слов: лети на фронт с приветом – вернись письмо с ответом, потом вывожу: глубокоуважаемый или почтенный Петр Силантьевич. Вчерась такое дяде Петру писала. Потом про нашу жизнь описываю.

– Возьми, Шурка, ленточки-то, возьми, – нашептывала на ухо тетка Луша. – У меня они лежат, а тебе за легкую руку...

– Нет, – еле слышно ответила я. – Мама ругаться будет, да и слова написанные могут силу потерять. И... вдруг письмо не найдет Харитона Петровича?

– Как это – не найдет? Раз ты написала – найдет. От Федора-то Тютюкова цельных восемь месяцев писем не было, а твое получил. Нет, ты, Шурка, еще мала, не знаешь: кого Господь под свою защиту берет, тому и счастье в руки дает, – говорила тетя Луша, а я уже старательно выводила: «Вперед! За нашу великую Родину!» – и, завернув треугольником, мелкими буковками написала с краю: «лети, лети, лети...»

Манька, сползая с печки, твердила:

Сидит Гитлер на заборе,
плетет лапти языком,
Чтобы... чтобы... чтобы...
... вшивая команда
не ходила босиком,

– допела я.

Домой мы бежали молча по запорошенной снегом тропке.

У нас сидела доярка из соседнего колхоза – розовощекая Манефа. Она приезжала на лошади каждую неделю, привозила замороженное в круги молоко для школы-интерната и госпиталя.

– Манефа! – закричала я, сразу подумав о том, что, может, она поможет мне. – Манефа, пропой какую-нибудь частушку про Гитлера. Ну хоть какую!

Манефа насупилась:

– Я тебе что – дура какая? Ни с того ни с сего петь стану!

– Ну не пой, а так, как стихотворение, скажи. Мы же в госпитале выступать будем.

– А письмо напишешь?

Мама всплеснула руками, еле выговорила:

– А ты от кого узнала, что она письма на фронт пишет?

Но я уже не слышала ничего, доставала из сумки тетрадь с последним чистеньким листочком, шептала Манефе:

– Ну спой скорее, спой!

Мою милку ранили
На краю Германии.
Весь Берлин переверну –
Мою милую найду! –

пропела вдруг Манефа.

– Какой Германии? Война-то где ишо идет! Это, Манефа, неправильная частушка! – разочарованно выкрикнула я. – Наши еще до Берлина не дошли!

– При чем тут дошли – не дошли?! – тоже закричала Манефа. – Не дошли, так дойдут. Кричишь, а газетки не читаешь – как их теперя понужают!

Считай, всю Украину освободили. А больше у нас в деревне про Гитлера ни одной не знают. А, может, такую споете:

Куплю Ленина портрет –
В золотую рамочку.
Вывел он меня на свет,
Бедную крестьяночку.

Я сидела возле чистого листа бумаги, а слезы так и катились из глаз. Манефа топталась возле стола.

– Ну, не хотела тебя обидеть, Шурка. Где их взять, эти частушки? Вот ежели любовные, так могу цельный вечер пропеть.

– На что мне ваши полюбовные, пойте их сами! – куражилась я, но тут вмешалась мама.

– Не слушай ее. Она всем голову заморочит. Ей что втемяшится в башку – покою не даст. Теплые вещи собирали, так она у отца шарф выревела и унесла. Теперь ей частушки надо. Где их брать-то? Нету сочинителей.

– Хорошая частушка про милку раненую, – уговаривала меня Манефа.

Я ее слушала и не слушала, с горечью думала, что в госпитале мне не бывать, почти машинально выводила слова нового письма на фронт, Манефиному ухажеру Юрке Голубеву – лучшему в колхозе конюху. Он запомнился мне высоким ростом и черными усами. Как-то приезжал в село покупать патефон, хвастался покупкой, крутил ручку, ставил пластинку, а из-под тонкой иглы вылетали веселые слова: «Лейся, песня, на просторе, не грусти, не плачь, жена...»

На репетицию я все-таки побежала. Толька Мальков пришел с отцовской трехрядкой, забросил на плечо ремень.

– Укороти ремень-то или на шею накинь, а то упадет гармошка, – посоветовал Мишка Хаккимуллин.

Курочка спросила, нашли ли мы частушки про Гитлера. Первой подняла руку Манька, записавшая частушку у тети Луши. Затянула не в ту степь и два раза прерывалась. Я стояла и завидовала, так хотелось помочь ей, но она, на удивление, не сдавалась, начинала сначала.

– Голосистее, голосистее, Маша, – советовала Курочка, чувствуя фальшь.

– Ты, Манька, отдай частушку кому-нибудь, – возмутился Толька. – У тебя ни голосу, ни слуху!

– Не всем быть голосистыми, – воспротивилась Манька. – Я тоже не хуже вас, хочу идти в госпиталь.

– Да отдай ты, Манька, частушку. Ты не слышишь ладу.

– Да ты сам играть не умеешь, – дрожащим голосом сопротивлялась она и, по всей видимости, хотела согласиться, даже поглядела на меня.

– Ничего, ничего, – подбадривала ее Надежда Петровна. – Бойцы – люди сознательные, понятливые, сердечные... Носочки, носочки ставьте по половице, соблюдайте ряд. Надо, чтобы все до мелочей было эстетично.

Я представляла, как девчонки встанут посреди школьного коридора, как будут раненые слушать их, аплодировать, и меня брала такая зависть, что я не выдержала, заревела.

– Манька, отдай частушку Шурке, – не выдержал Толька, – или я играть не буду, ты меня с ладу сбиваешь. Отдай.

– Не отдам, и все! – стояла на своем Манька.

– Да у меня есть частушка, – робко сказала я, боясь потерять последнюю надежду, и невнятно промямлила:

Мою милку ранили
На краю Германии.
Весь Берлин переверну –
Свою милую найду!

Все засмеялись, закричали. Курочка захлопала в маленькие ладоши.

– Пропой, пропой еще раз, Шурка! – просили со всех сторон. Толька играл на гармошке переборы, постукивал как путный о пол носком большого пима, а я, расхрабрившись, пропела частушку про Ленина.

Так нежданно-негаданно я вдруг вышла в главную запевалу. «Ну, Манефа! Вот так частушки в колхозе!» – радовалась я. А больше частушек никто не нашел.

– Как же так? – сокрушалась Курочка. – Ведь скоро 23 февраля!

Зашел директор Андрей Петрович.

– Молодцы! – похвалил он. – А такую великолепную частушку про Германию где нашли?

У меня перехватило дух.

– Манефа из колхоза привезла.

– Как у тетки Луши, которую я пропела, – перебила меня Манька.

Я толкнула ее в бок. Она взъерепенилась, дернула руку, но я стерпела только потому, что Манька редко когда подавала голос. Она плохо училась, меня все время прикрепляли к ней, а тут прямо – не из тучи гром! Такая неожиданная прыть. Видно, так ей хотелось в госпиталь.

Я была рада, что частушка про «милку раненую» Андрею Петровичу понравилась.

– А больше про Гитлера нету. У всех только любовные, – осмелилась я.

– И про любовь солдату петь надо, – сказал директор школы.

Настал день 23 февраля. После обеда все пошли в госпиталь. В свою школьную ограду заходили тихо; под ногами скрипели перемерзшие доски тротуара. Дверь показалась большой и тяжелой. Ее с обеих сторон обили кошмой. Мы, как ягнята, перепрыгнули через высокий порог, прижались к стенке, боялись пошевелиться. Пахло лекарствами, незнакомые запахи щекотали в носу. На Маньку напал чих, а у Тольки, как назло, запала в гармошке клавиша, и жалобный писк полетел по всему коридору. Он прижал гармошку к полу, лег на нее, выковырнул затонувшую в регистре кнопку.

В узкую, чуть приоткрытую дверь, как тараканы, вползали ребята из других классов.

Мимо прошел офицер в погонах и до блеска начищенных сапогах. Я зажмурила глаза, увидев рядом настоящего военного. Искоса поглядела на Маньку. Она вся тряслась, губы посинели, на лбу и курносом носу выступили капли пота. Я с перепугу забыла про свои голубые банты, которые тетка Луша положила мне в карман. Школьный коридор заполнился ранеными. Они сидели на скамейках, табуретках, колясках. Везде была белизна от бинтов, халатов, простыней.

Нас вызывали по очереди. Когда назвали 5 «б» класс, мы гуськом двинулись за Толькой. Манька на ровном месте споткнулась, упала на четвереньки, я налетела на нее, меня толкнули в спину. Но маленькая рука Надежды Петровны предотвратила катастрофу. У меня один голубой бант оказался развязанным. Я расслышала Толькин проигрыш. Мы еще топтались, расставляли носочки по линейке половой доски, а Толька проиграл еще раз и подал команду:

– Три!

Спели частушку про Ленина, потом пропели вторую, третью... Когда дошла очередь до Маньки, она стояла окаменелая, выпучив глаза. Я подтолкнула ее в бок, но Манька только продвинулась вперед, испортила весь ряд. Ее частушку пропел Толька. У меня глаза бегали из стороны в сторону, будто кто-то внутри дергал их за ниточки.

– Шурка! – услышала шепот.

... Мою милку ранили
на краю Германии...

Зажмурив глаза, я пропела частушку до конца и вдруг услышала аплодисменты, веселые возгласы. Я не открывала глаз, а только слушала проигрыши. Никто их не поддерживал, и я расхрабрилась:

Я на розову подушечку
Паду: реву, реву...
Моя розова подушечка
Не скажет никому! –

вспомнила пришедшую на ум частушку, которую пели на свадьбе у Механошиных.

Кругом стоял шум, смех, аплодисменты. Толька, видно, как и я, ничего не слышал, кроме своей трехрядки, наяривал, и я опять затянула:

И на юбке кружева,
И на кофте кружева...

Тут, видно, кто-то толкнул Тольку. Гармошка смолкла, но мне ничего не оставалось делать, как допеть частушку до конца:

Неужели я не буду
Лейтенантова жена?

Я не поднимала глаз, кусала губы, а вокруг было шумно и весело... Кто-то поднял меня на руки. Это был тот офицер в погонах со звездочками.

– Да быть тебе лейтенантовой женой! Как же такой не быть? – кричал парень с забинтованной головой. – Такая молодчина! Где такую частушку взяла?

– У нашей врачихи Елизаветы Михайловны. У нее муж лейтенант – она и поет такие частушки.

Офицер поставил меня на пол, погладил по голове, завязал на косичке голубую ленточку.

Мне и теперь снятся госпиталь, наши ребята. Толька Мальков и его отцовская трехрядка. И сейчас, проходя мимо места, где стояла наша школа, я всегда замедляю шаг. Хочется постоять, прислушаться и, быть может, услышать далекое эхо тревожных школьных лет.

МАНГАЗЕЯ

Главы из романа

(Роман рассказывает о расцвете и угасании северного города Мангазея, выросшего в арктической лесотундре, дает широкую картину исторических событий, происходивших в этом городе. Главные герои – русские люди, путешествующие, странствующие, живущие нелегким трудом, обращенным в будущее, хотя сами они об этом не думают)

Глава четвертая

На следующее утро у Елисея Макаровича нестерпимо болела голова. Он уже выпил бессчетное количество ковшей квасу, но внутри его все еще горело. Расторопная Матрена с раннего утра сварила уху из свежей белуги и держала в печи возле загнеты[3], чтобы она всегда была горячей. «Старею, – подумал про себя Елисей Макарович. – Раньше хоть сколько пил, с ног не сшибало, а тут на ногах еле стоял, до дому едва дошел».

Лежа в своей небольшой горенке, отделенной перегородкой от общей избы, он слышал, как шептались домашние, думая, что он еще спит. Елисей перебирал в памяти прошедший день. Вспомнил скоморохов, Ульку Козлиху, да то, как ползал по двору на четвереньках, сдувая во след убегающим скоморохам не то пепел, не то золу, и устыдился, даже сейчас, лежа в постели, сплюнул через плечо. «Нечего сказать, хорош был!»

«Так ведь должен прийти Моисей! – вспомнил Елисей Макарович. – Мы с ним собирались пойти на Розовый остров. А че он не идет? Али запамятовал?»

– Матрена! – крикнул он и постучал в перегородку. В двери показалась Матренина голова в платке с туго перевязанным лбом. – Моисей не приходил? – спросил он жену.

---

[3] Загне́та, загне́тка – место на шестке или в самой русской печи (около устья), куда загребают жар.

– Да, поди, тоже рассолом или квасом опивается. Вчерась все досыта зелья нализались. Не приходил еще Моисей, – ответила Матрена. В другое время он непременно прикрикнул бы на жену, почувствовав к себе такое непочтение, но тут промолчал. Голова без того болела.

Вставая с постели и подходя к окну, он потер руками саднящие колени, увидел на кальсонах несколько бурых пятнышек и сразу догадался, что они появились от ползанья по двору по грубым деревянным плахам. «Ясное дело: без ума были. Заставь-ка сейчас меня ползать да дуть на скоморошьи следы! Ну и дурь же в башке была». Но уж шибко казнить себя не стал: не то еще бывало.

Упершись руками о подоконник, прищурив глаза, стал пристально глядеть в огород, на завивающиеся кочаны капусты и на деревья, раскачивающиеся из стороны в сторону. «А на море-то че делается!? То Моисей и не идет. Никуда английские корабли не поплывут. Не дураки в этакий ветер якоря поднимать», – и как-то по-молодецки юркнул под одеяло. «Успеется еще, сходим».

Елисей Макарович никогда не ложился на кровать среди белого дня и не мог понять людей, которые спали подолгу. Он просыпался рано и всегда тут же поднимался. Но сейчас ему хотелось полежать, поспать, но мысли тут же захороводились в голове. Думал он о плавании, о судах, об охоте на морское зверье и о том, с какой тоской вспоминается в море дом и тепло. «Вот тебе и тепло, Елисей Макарович, – сказал он себе, – лежишь сейчас с похмелья, а потом и в самом деле косточки заноют. Хворь нападет, тогда какой из тебя помор? А я еще плавать хочу. Как жить без моря?» Так рассуждал он, но из-под одеяла не вылезал. Он снова стал думать об английских судах возле Розового острова. «Если они снова приплыли, знать, сам государь пустил, знать, опять с ними дружбу завели. Несколько годов кряду они крадучись приплывали, а теперь гудки подают, флаг вывесили».

Не любо было смотреть на них не только Елисею Макаровичу, но и остальные поморы относились к их появлению ревностно и с недоверием. «Слов нет, красивые у них корабли-парусники, не то что наши кочи[4]». Не нравились Елисею Макаровичу сами англичане: надменные, слов русских не знают, а носы задирают, а главное, как хозяева по нашим морям плавают, да за большие деньги кормщиков и рулевых русских мужиков в наем берут. А те им морские пути и волоки показывают. «Плыли бы сами, растрясли бы по волнам свои товары да налетели на скалистые берега, вот тогда бы и сбили охоту в нашу Мангазею плавать! Вот схожу, погляжу, откудова рулевого взяли. Наверно, с Двины, наши-то не поплывут. У нас уговор есть – англичанам морских дорог не показывать!»

Англия, чувствуя силу русских в войне с Ливонией, не упустила случая завязать с Москвой связь и в поисках новых стран для развития торговли надеялась найти пути в Китай и Индию через северные моря. Английские корабли не раз проплывали мимо островов и берегов, принадлежавших

---

[4] Коч – старинное поморское палубное одномачтовое парусно-гребное судно, приспособленное к плаванию во льдах.

России. А на одном из островов был найден самоедами замерзший в шалаше чужеземный мореплаватель. Им оказался начальник английской экспедиции Хью Виллоуби.

В 1553 году его экспедиция была снаряжена из трех кораблей, два из которых потерпели крушение у берегов острова Новая Земля. На одном из них был Хью Виллоуби, много лет до этого плававший по западным и южным морям. Он не предполагал, что, только войдя в воды Карского моря, тут же угодит в ураган невиданной силы. В открытом море корабли попали в густой туман, похожий на свинец. Скоро эти испарения стали превращаться в ледяные иглы и медленно падать на палубу корабля, на лица и руки мореплавателей. Три дня корабль бросало по волнам, как песчинку. Море шумело и буйствовало, не оставляя у людей никакой надежды на спасение. Корабль стал неуправляемым, и его прибило к каменистому, унылому берегу. Мореплаватели торопливо сбрасывали на берег все, что могли спасти. Ветер с силой валил людей с ног, и они не могли поднять головы, чтобы не оказаться сброшенными ветром в море. Почти над самой землей ползли по небу темные кучевые облака. Ветер дул с гор, прорывался сквозь ущелья, срывал камни. Корабль сорвало с якорей и унесло в открытое море. Люди остались на безымянном берегу...

Весной, в продуваемом всеми ветрами шалаше, проезжающие на охоту самоеды нашли замерзшего английского мореплавателя Хью Виллоуби, склонившегося над своим журналом. В кратких записях он оставил память о своих погибших товарищах.

Судьба второго корабля так и осталась неизвестной, а третий, под командованием капитана Ченслера, зашел в Двинский залив и пристал у стен монастыря Святого Николы, где теперь стоит город Архангельск.

Узнав об английском корабле в Двинском заливе, государь Иван Васильевич повелел доставить капитана того корабля Ченслера в Москву. У него была при себе грамота, написанная на разных языках «ко всем Северным и Восточным Государям» английским королем Эдуардом VI, в которой он просил оказать своим подданным помощь.

Государь принял перепуганного, измученного трудностями и переживаниями Ченслера и его спутников ласково, достойно исполнив просьбу короля. По возвращении в Англию Ченслер с восторгом отзывался о Московском государстве, как о вновь открытой стране, о Царском дворе, о величественной наружности Государя, об огромных богатствах России. Вскорости Государь дал жалованную грамоту англичанину, по которой он мог беспошлинно торговать и нанимать русских работников. Определили и место – Холмогоры, куда англичане могли привозить свои товары.

В свою очередь в Лондон был направлен первый русский посол вологодский наместник Осип Григорьевич Непея. Не без волнения ехал Осип Григорьевич в чужеземное государство. Важные государственные санов-

ники и сто сорок купцов встретили его торжественно и пышно. Жители Лондона приветствовали его громкими криками.

В день ордена Подвязки (высший знак отличия в Англии) он был приглашен королевой Марией Тюдор в церковь, где сидел на возвышенном месте близ королевы. Ему удалось успешно завершить переговоры по установлению торговых отношений с Англией.

Вернулся Осип Григорьевич Непея в 1557 году и привез с собой много ремесленников, врачей, рудознатцев и других искусных людей.

Через год на английский престол вступила преемница Марии, ее сестра Елизавета. Она решительным образом поддерживала сношения с Москвой и хлопотала перед государем о предоставлении Англии исключительного права торговли с ними. Государь вел с ней переписку, но закрыть путь в Россию другим иностранным государствам отказался. В Белом море, у пристани Святого Николая, стали появляться голландские, бельгийские и другие суда. Конечно, налаженные отношения России с Западной Европой через Северное море не очень нравились ближайшим соседям – Швеции, Ливонии и Польше. Русские же мореплаватели вообще с великой ревностью относились ко всем иностранным судам, особенно к тем, которые приходили не в поисках новых открытий, а с целью проникнуть вглубь русских земель и увезти как можно больше ценных сибирских мехов.

Елисей Макарович, бывавший в Мангазее, своими глазами видел заходивший в устье Обской губы чужеземный парусный корабль. На нем были только пушки да товары для самоедов. Жители побережья, услышав гудок любого судна, неслись на оленьих упряжках по болотам, трясинам и, остановившись поодаль, пристально всматривались в судно, пытаясь определить, с какими намерениями приплыли к ним незваные гости. В своем большинстве это были торговые суда. Они приплывали для скупки и обмена товаров на пушнину, моржовые бивни и клыки, тюленьи шкуры.

Набитые собольими и песцовыми шкурками мешки раскладывались по всему берегу. Скупщики, знающие толк в мехах, забирали все, производя обмен на пустяковые погремушки. Но самоеды, не раз уже обманутые, начинали спорить и доказывать, что за шкуру белого медведя или морского котика нужна несравненно бóльшая плата. С толмачами не единожды вступали в драку. Трюмы судна наполнялись быстро.

Торг шел быстро, а со всех сторон все подъезжали и подъезжали нарты самоедов. Они были одеты в одинаково сшитые одежды из звериных шкур, чаще всего оленьих, ворсом вовнутрь. Над нартовым обозом стоял терпкий запах шкур и человеческих тел. Даже ветер, дующий с залива, не мог развеять его. Сходившие на берег чужеземные мореходы брали с собой стеклянные флакончики с ароматической водой, чтобы перебить вонючие запахи. На побережье стоял шум и гам, всюду слышалась незнакомая речь, возгласы, крики, громкий лай растревоженных собак.

Осталась в памяти Елисея Макаровича сцена, когда чужеземный шкипер столкнул ногой с трапа косматую самоедку, попытавшуюся подняться на судно. Она с высоты полетела в воду. Меховая одежда, быстро намокнув, стала тянуть ее ко дну. Не умеющая плавать женщина закричала по-своему, звала на помощь. Ее собратья, стоя на берегу, смеялись.

Когда она стала пускать пузыри и с головой уходить под воду, Елисей Макарович бросил ей с судна толстый канат. Женщина ловко ухватилась за него, но прокисшая от времени и промокшая малица медленно сползла с ее плеч, обнажая голое тело. Невообразимый хохот стоял на побережье. И только один сгорбленный годами старик, прихрамывая, бросился на помощь несчастной: набросил ей на плечи какую-то шкуру. Нельзя сказать, что Елисей Макарович был сердобольным человеком, но тут не смог вытерпеть такого глумления над несчастной дикаркой, которая на глазах у всех могла утонуть только потому, что осмелилась подняться на трап. Размахнувшись, он со всей силы ударил шкипера кулаком по лицу. Тот не устоял на ногах и упал на палубу. На берегу сразу замолкла самоедская толпа, и только слышно было, как урчат и взлаивают друг на друга собаки, прибежавшие с хозяевами из разных урочищ.

На палубе поднялась толкотня. Кто-то кричал: вяжите его и бросайте в трюм! Но не так-то просто было связать Елисея. Команда была собрана из своих зверобоев, которая не дала бы в обиду своего товарища. Бывалый рыжебородый английский капитан подошел к шкиперу, что-то буркнул ему на ухо и, понурив голову, направился к себе в каюту. Этим все и закончилось, только Елисей побожился, что никогда больше не станет наниматься к ним в услужение.

«Ну че это Моисей-то не идет?» – подумал Елисей, раззадорив себя воспоминаниями и желанием сходить на Розовый остров.

– Матрена! – крикнул он, снова постучав в перегородку. Жена будто тут и была.

– Че тебе?

– Пошли кого-нибудь из ребят к Моисею. Заждался его.

– Да идет Моисей. Вона остановился с Улькой, про че-то разговаривают да смеются.

– Достань-ка мине плисовый кафтан да красные сапоги.

– Это еще на что?

– Чтоб англичане видели, что мы, поморы, не хухры-мухры, а люди состоятельные. Толмачи-то им сразу скажут, что мы мореплаватели бывалые, кормщиками в Мангазею хаживали, а теперь на морского зверя охоту ведем.

– И охота тебе к ним идти?

– Вчерась бы под горячую руку попали, наломал бы я им бока.

– Да тех-то ужо и нету давно, кому ты хотел бока намять.

– Те, не те, а все одно заморским духом пахнут.

– Савелька-а, – крикнула во двор Матрена, – поторопи дядьку Моисея. Сказывай, тятька заждался.

Глава пятая

День был пасмурный, солнце скрылось за облаками. Море тревожно шумело, посылая крутые волны в залив и раскачивая приткнувшиеся у причала суда.

Елисей Макарович с Моисеем шли вдоль берега, где тянулись торговые склады богатых купцов, рубленые под одну крышу. Они плотно прижимались друг к другу, выступая воротами к берегу.

Здесь было оживленно круглый год. У причалов не было пустого места. Все было заставлено большими и малыми судами, барками, кочами, дощаниками. На берегу стоял грохот от телег, груженных разными товарами. Нанятые на погрузку ярыжки кричали и матерились, стонали и охали под тяжестью грузов. Из амбаров на суда грузились мешки с солью, бочки с рыбой, икрой.

Мужики свернули к бревенчатой пристани и по зыбкому мостику шли к Розовому острову. Кусты шиповника уже отцветали, на солнцепеке розовели продолговатые ягоды. Нескошенная трава, вымахавшая в рост, давно отцвела и сыпала вокруг семена, стряхивала остатки утренней росы. Вот тут и была английская пристань: красовались два корабля и острогрудые кочи с петушиными головами.

Зачем мужики шли на Розовый остров, они и сами не знали. По-видимому, со вчерашнего вечера закралась назойливая мысль и тоска по дальним плаваниям, которую выразить словами они не могли, наверное, поэтому и шли молча.

Скоро стало видно, как по широким мосткам снуют крепкие мужики-мореходы, перенося на кочи груз. Наблюдая опытным взглядом, Елисей Макарович заметил:

– Эти готовятся к плаванию по ледовитым морям.

Грузили мешки ржаной и ячменной муки, ржаные сухари, толокно в крепких двойных мешках, соленое мясо и соленую треску, масло, горох, сушеное мясо, в бочках ягоду-морошку, сухие березовые дрова для обогрева, дубовые бочки с пресной водой, теплую одежду.

– Не забудут и про бочонки вина, про пищали и порох, ножи и копья.

– Надежно собираются, – сказал молчавший до этого Моисей, в голосе которого Елисей Макарович почувствовал одобрение и зависть.

– Ничего не скажешь, собираться они умеют, только мягко стелют, да на всем этом жестко спать. Чванливые больно! Русских за людей не

считают, а я терпеть этого не люблю: так и охота им по морде дать. Делать-то ничего не умеют, а командуют. А для обмена на шкурки соболей, песцов, лис они везут маленькие металлические зеркала, иголки, гребни, ножницы, бусы, гвозди, маленькие коробочки леденцов и обязательно вино.

– Вишь, и мужиков набрали из Пустозерья, почти все рыжебородые.

Моисей, глядя на все, что творится вокруг, молчал. Во всем этом он не находил ничего странного и удивительного. Шла настоящая работа, и делалось все основательно и по-хозяйски для далекого плавания. «Может, потому и ругается, что самому охота еще разок сплавать», – подумал Моисей.

– Че глазеете? – послышался голос со стороны дома, в котором располагались хозяева судов. С высокого крыльца спрыгнул рыжебородый мужик и торопливым шагом направился к пришедшим. И издали закричал: – Елисей?!

Елисей Макарович не сразу признал в раздобревшем мужике одного из кормщиков, с которым плавал в Мангазею:

– Гурьян? Как посмотрю, так ты опять с ними плывешь.

– Уговорили. Цену хорошую положили.

– Еще бы! Где такого бывалого сыскать? Сколько разов-то с купцами плавал?

– Счет потерял. А у тебя нету желания еще раз сплавать на зимовку? Надо бы нам еще бывалого человека, да своего, проверенного и надежного.

– Да нет. Я зарок дал – не плавать с чужеземцами. К тому же знаешь: тепереча сторожевые посты строят, чтоб не пускать в Мангазею и дальше на Обь разных охотников за пушниной.

На эти слова Елисея Макаровича Гурьян разразился громким смехом.

– А то будто мы не знаем, как проплыть незамеченными разными речками и волоками. Давай сплаваем еще разок. Да дружка своего бери. Видать, бывалый зверобой.

– Че, на лбу написано? – спросил Моисей.

– На лбу не на лбу, а печать морем поставлена. Может, согласие дашь?

– Не наниматься пришли, – заметив замешательство Моисея, ответил Елисей Макарович.

– А че тогда пришли? Столько судов стоят, а вы на Розовый остров свернули, – не сдавался Гурьян.

Елисей Макарович, желая прекратить его расспросы, поинтересовался:

– А че не на кораблях, а на кочах?

– Так ведь сам сказываешь – опасно. Разве не знаешь, что поплывем в тайности? Купцы Строгановы поймают, так сразу башку оторвут. Им сам государь велел строго следить и не пускать чужеземные корабли!

– Все-таки зачем ты пришел?

– Пришел и пришел. Че пристал? Не пришел бы – и с тобой бы не свиделись, – попытался отшутиться Елисей Макарович. – Так, любопытствую: кто поплывет да каким путем.

– Пойдем как всегда: возле Канина Носа свернем и спустимся к южному острову Колугеву, и дальше на восток к Войгачу, для отыскания острова, пригодного для становища. – И тут Гурьян, испугавшись своей болтливости, дрожащим голосом, глядя на Елисея Макаровича и Моисея, проговорил: – Побожись, Елисейка, что никому не скажешь.

– Че божиться? Кто не бывал, так тому говори не говори – морской дороги не сыскать.

– И то правда, – с облегчением вымолвил Гурьян, обтирая рукавом выступивший на лбу пот. – Теперь, чтоб самоеды не вели торг с пустозерцами, зырянами, пермяками, вымичами, со стороны Оби наставили остроги, а при Обской губе, чтоб преградить в нее вход морским судам, поставили острог Пантуев. Но, сам понимаешь, бывалым мореплавателям не страшны этакие преграды. Наш брат помор знает, с какой стороны обходить их тропами, проплывать по озерам, проводить суда волоками. Не зря же англичане закупили кочи.

Гурьян попытался выдавить из себя улыбку и, шумно выдохнув, обнял Елисея Макаровича:

– Не пошел бы и я, да нужда гонит. До зелья я шибко охоч. Ведь такие деньги в руки попадают, а проходят как через решето. Все в кабаках оставляю да с бабами прогуливаю. Они, стервы, будто меня и дожидаются.

– Женился бы! Лицом пригож, умом не обделен. Деньги водятся.

– Когда в плавании бываю, только об этом и думаю, а как выйду на берег – и понеслась душа в рай! На сей раз пообещал девке Елене по прибытии жениться. Годов-то уже немало, из бороды седые волосы выдергиваю. Да и матушка все уговаривает жениться. Елену-то она выбрала. Кроткая такая. Мне после баб до нее дотрагиваться страшно.

Гурьян и в самом деле был ладным, крепкого телосложения с густой окладистой бородой, отливающей золотисто-бронзовым цветом, с большими зелеными глазами. Одет он был уже по-дорожному: в мягких бахилах, в кафтане из грубого серого сукна, подпоясан красным кушаком, из-за которого торчал длинный поморский нож. На голове высокая войлочная шапка, из-под которой, возле левого уха, выставлялся кучерявый пучок волос.

Поймав на себе взгляд Моисея, Гурьян поправил шапку на голове:

– Сыростью с моря несет, – и, взглянув на подплывающий под погрузку коч, обратился к Моисею: – И ты не проболтайся, не пересказывай, че от меня слышал. Я еще по земле потоптаться хочу.

А бояться и в самом деле было чего. Суда купцов Строгановых яро охраняли главную реку Сибири Обь от чужеземных судов. Гурьян хотел еще что-то сказать, но с крыльца дома его окликнули.

Моисей долго смотрел вслед уходящему кормщику.

– Застращал? – спросил Елисей Макарович.

– Напротив, сплавать охота в Мангазею. Гурьян сказывал, им за тайность двойную цену кладут. Подумаешь, одна зимовка.

– Давай, не дури! – почувствовав, что Моисей хочет наняться кормщиком на английский коч, возразил ему Елисей Макарович.

Моисей его не слушал, он во все глаза глядел на острогрудый карбас, стоящий под погрузкой, по обеим сторонам которого стояли медные пушки, стрелявшие пятифунтовыми ядрами. Со складов на судно торопливо бегали грузчики, взвалив на плечи и спины мешки и кули, короба и ящики. Под тяжестью груза коч медленно погружался в воду.

Затихающий на море ветер еще гнал в залив высокие волны, которые, ударяясь о борта судов, рассыпали брызги во все стороны. Ветер раздул тучи, из-за которых показывалось солнце.

Появившийся на корме капитан судна англичанин Джон Депен с трубкой во рту пристально смотрел на дорогу, ожидая прибытия двух кормщиков-соотечественников, которые должны были прибыть сухим путем. Моисей видел, как к нему подошел Гурьян и о чем-то говорил с ним через толмача. Быть может, он говорил о нем, Моисее, которого надо бы уговорить как хорошего зверобоя и заправского помора. Но, скорее всего, он убеждал капитана в том, что пора отправляться, что время не ждет.

– Да-а, – лепетал англичанин. – Ветер дует. Море качает. Время – деньги. – Это все, что знал по-русски Джон Депен.

Моисей разглядывал стоявшее под погрузкой судно, на глаз определял его длину и ширину, подсчитывал, сколько в нем трюмов и как много взято разного груза.

Елисей Макарович уже был не рад, что позвал Моисея на Розовый остров, а тот продолжал во все глаза разглядывать новый, крепко сделанный коч. «Надумает еще плыть с ними, и ничего с ним не сделаешь», – подумал про себя Моисей.

Сворачивая к мостку, они услышали окрик Гурьяна. Тот бежал, запинаясь о рытвины от тележных колес, и кричал издали:

– Может, согласитесь поплыть с нами? Капитан цену большую положил. Он решил не ждать прибытия своих кормщиков, которые задержались в дороге.

Моисей, не долго думая, дал свое согласие плыть на английских кочах в Мангазею. Узнав об этом, мать заголосила, запричитала. На удивление всем Аксинья молча собирала Моисея в плавание.

– Али ты совсем не любишь его? Али жадностью захворала, если захотела в разлуке жить, – ворчала свекровь. – Да ты хоть бы малютку Василия пожалела. Без отца его хочешь оставить? – Аксинья молчала, зашивала суровыми нитками подпоровшийся рукав тулупа. – Женино слово последнее, – не унималась мать. – Давай, Аксиньюшка, отговаривай его. Тебя он послушает. Поплачь, сказывай, что долго жить без

не сможешь. Моисей жалостливый, пожалеет тебя и сыночка. Может, и передумает плыть.

– Ниче говорить ему не стану, – ответила на это Аксинья. – Замуж выходила за помора. Знать, такая моя судьба.

Глава шестая

В избе пахло дымом от погашенной лучины, на которой еще шаял березовый огарок. Моисей молча раздевался, сидя на лавке напротив постели.

– А че ты молчишь? – стаскивая через голову холщовую рубаху, спросил он Аксинью?

– А про че спрашивать? – после недолгого молчания, вздохнув, ответила она. – Матушка-то тебе всего наговорила, цельный день ревет, а мое дело – послушание. Мне ли отговаривать тебя? Ты получше меня знаешь, что делаешь.

– Один раз сплаваю, пока сила есть, – юркнув под одеяло, сказал Моисей, милуясь возле разгоряченного тела Аксиньи, страстно целуя ее горячие щеки и губы.

Мысль о скором и долгом расставании с Моисеем отняла все ее силы. Ей, конечно, хотелось сказать, что без него ее одолеет тоска, а главное, что их маленький сынок Василий скажет первое слово, сделает первый шаг без него. Но не могла. Моисей понимал ее беспокойство, но ему хотелось, чтобы она не была такой безмолвной и безропотной. Ему было важно сказать ей о своем намерении побывать в Мангазее вовсе не из-за денег, а чтобы проверить себя в северном плавании. Хотелось посмотреть и великое меховое торжище, поглядеть и узнать, откуда и как добираются туда торговые люди, да и многое другое, о чем мечтают молодые люди.

– Кабы со своими поплыл, не так бы душа болела, – сказала Аксинья.

– Так ведь команда из холмогорских поморов: и рулевые, и кормщики. Гурьян вместе с Елисеем Макарычем к самоедам плавал.

– А че это Елисей-то Макарыч тебя не отговорил? Сам-то зарок дал, про это все знают, а тебя на Розовый остров потащил. Сам ты ни за что бы не пошел.

– Может, и не пошел бы, а винить Елисея Макарыча нечего, тута моя добрая воля. Зря на него не греши. Не сумел он меня отговорить. Ты прости меня, Аксинья, не устоял я от соблазна. Видно, у нас, зверобоев, душа такая неуемная.

– Помоги тебе Господь! – сквозь всхлипывания сказала Аксинья. – В этом плавании можно и год, и два, и цельных три проплавать. Много воды утечет.

– Али ждать меня устанешь? – приподняв голову с подушки, спросил Моисей каким-то не своим голосом.

На этом закончились все объяснения, без обещаний, без причитаний, без слез. Моисей только чувствовал, как часто стучит сердце Аксиньи да изредка вздрагивают плечи.

«Суда с широкими днищами, а это хорошо для перетаскивания через волоки. Значит, Гурьян поведет судна по рекам и озерам, – рассуждал Моисей. – Наверное, пойдем через Чешский волок, а дальше морем до Ямальской земли. Через Ямал снова по рекам и волокам до Обской губы. А я через волоки суда не перетаскивал». И тут Моисей испугался, ощутил полную нелепость своего поступка, вспомнились слезы матери, молчаливое несогласие Елисея Макаровича да и покорность Аксиньи. «Какое-то наваждение!» – подумал он. Моисей встал с постели, набросил на плечи лопатину и вышел во двор, где еще повсюду виднелись следы недавнего пиршества.

Над посадом плыло безоблачное небо, занимающаяся заря заливала розовым светом горизонт. В воздухе пахло сыростью от бушующих волн в заливе. Моисей стоял, вовсе не ощущая в себе волнения, какое бывает у человека перед дальней дорогой. Но отступать ему было некуда: раз дал слово, то держать его надо.

Ночь прошла беспокойно, трудно было сказать, кто спал, кто не спал. Аксинья еле приоткрыла распухшие от слез веки и сквозь прищур глядела в слюдяное окно, пытаясь разглядеть верхушки деревьев, по которым всегда определяла силу бушующего ветра.

– Сей день кочи не тронутся с места, – определила она. И тут же грохнула о городьбу калитка, распахнутая ветром.

Петух попытался взлететь на забор, но налетевший ветер, взъерошив ему перья, заставил нехотя спрыгнуть в траву.

Это все Елисей-то Макарыч наделал, это он позвал Моисея на этот несчастный Розовый остров. Сам-то Елисей ни за что не поплывет с чужеземцами, а Моисея соблазнил. Али он не знает его характера? – с ужасом рассуждала Аксинья, все еще не веря в случившееся. – Если че Моисею втемяшится в башку, все одно сделает по-своему. «Пересолю, да выхлебаю», – говорит и делает по-своему. Видать, так Богу угодно, – со смирением вздохнула Аксинья. – А ведь до этого никаких разговоров не было про этот Розовый остров.

– Не любишь ты моего Моисеюшку! – запричитала свекровь.

– Потому и говорю, что люблю. Стешит охоту и решит только в своих морях зверя промышлять. Жизнь-то долгая – и соблазнов в ней много.

– Больно ты разумная, как я тебя послушаю, – сказала, глядя на Аксинью исподлобья, мать. – Другая бы ревом ревела, на коленях ползала, умоляла остаться дома, а ты даешь благословение.

– Ниче, воротится, намилуемся.

Тут терпение свекрови кончилось: лицо ее покрылось красными пятнами, руки уперлись в крутые бедра, губы задрожали так сильно, что она не могла выговорить ни слова, а только издавала непонятные рыки.

– Ежели сам захотел, пусть едет, – не сдавалась Аксинья, чем еще пуще сердила свекровь. – И винить тут Елисея Макаровича нечего. Надо как след собирать Моисея, там ни булавки, ни иголки не сыщешь. Стелек для бахил где взять? Тамо и травинки не сыскать. Все из дому надо брать.

– Там только на себя надейся да у Бога проси заступничества.

А на дворе непогодило. Ветер дул, не переставая, не давая никакой возможности суденышкам выплывать из залива.

Моисей нервничал, мало разговаривал, больше стоял, склонившись над зыбкой, в которой посапывал маленький Василий, и смотрел на крохотное личико, на котором появлялись еле заметные гримасы, похожие на улыбку. Ему даже казалось, что это крохотное существо прошептало: «Не уплывай!». Моисей вздрогнул и торопливо вышел во двор посмотреть на погоду. «Ежели ветер еще бушует, не пойду в плавание. Истомился в ожидании. Знать, судьбе не угодно», – думал он, находясь в недобром предчувствии. Но, к его удивлению, погода изменилась. Небо посветлело, рассеялись темные облака, и Моисей, не скрывая радости, заторопил Аксинью подавать все собранное к плаванию.

Снова заголосила мать...

До Розового острова вся семья еле поспевала за Моисеем. Сзади всех шла Аксинья с Василием на руках.

По заливу разгуливал ветер-шелоник[5]. С английских кочей, отличающихся от других поднятыми парусами, спрыгнул человек и побежал к мостку.

«Ну, слава Богу, не подвел! Сдержал слово», – это был Гурьян, убедивший капитана Джона не ждать задержавшихся на русских дорогах английских кормщиков, а отплывать в путь, чтобы успеть в теплое время проплыть по бурным волнам Студеного моря и вести кочи по более безопасному пути, поближе к побережью.

Из воды стали вытаскивать якоря, Моисей, отойдя на две дюжины шагов, стащил с головы высокую шапку, поясно до земли всем поклонился и быстро побежал на коч.

Скоро английские кочи сдвинулись с места и поплыли вниз по заливу к Студеному морю.

Глава седьмая

Величественный коч с петушиной головой на носу медленно проплывал мимо приткнувшихся к берегам лодок, наполняя ветром парус. Скоро показались песчаные берега с прибитыми волнами корягами, плавниками, стволами поваленных деревьев. Кое-где виднелись зеленые островки, покрытые травой и кустарниками. Моисей долго не оборачивался, боясь увидеть Аксинью с сыном на руках. Он испытывал невыносимую боль, в которой мог признаться только себе. Глаза его закрыла туманная пелена слез, в

---

[5] Шело́ник – юго-западный ветер.

груди перехватило дыхание, и он какое-то время стоял, крепко схватившись обеими руками за толстый канат, но, вздохнув, произнес «с Богом!» и стал прислушиваться к отзвукам колоколов – в церкви отслужили молебен о путешествующих.

Выход в море был для Моисея делом привычным, он никогда не разглядывал берега, не обращал внимания ни на песчаные береговые косы, ни на почерневшие от дождей и ветров рыбацкие избушки, ни на лодки, приткнувшиеся в прибрежный песок, ни на одинокие фигуры людей, машущих в след уплывающим суднам. И его удивила тишина на палубе: никто из мореходов не размахивал шапками, не выкрикивал последних слов прощания.

Только тут Моисей почувствовал, с какой легкостью он согласился отправиться в такое плавание. Нельзя сказать, что он раскаивался или жалел о случившемся, нет, он, скорее, удивлялся самому себе. Хотя сплавать в Мангазею, в этот далекий и загадочный край, было его давнишней мечтой. Каждый настоящий мореплаватель (а его в посаде считали таким) хотел сходить в те суровые моря. Вот и Елисей Макарович сходил, правда, охотку с одного раза у него отшибло. Сплавал и больше вспоминать о Мангазее не хочет.

Бушующие морские волны зыбко покачивали новое судно. Сквозь светлеющие тучи стало показываться солнце. На палубе появился Гурьян. Сдернув с головы шапку, он стал обтирать ею вспотевшие лицо и шею, сосредоточенно вглядываться вдаль, хотя увидеть можно было только дрожащую морскую рябь. Подойдя к Моисею, Гурьян дружески хлопнул его по спине и хрипло шепнул:

– Нам крепко надо держаться друг друга, команда-то разношерстная, в ней не все холмогорские, за некоторыми глаз да глаз надо: особливо за тремя архангельскими молодчиками. Они еще до моего прихода взяты были на судно. А главное – разбойный Семка Большая Голова. Ты его сразу заметишь. Я вроде бы на его месте оказался – главным кормщиком, а он на это место зуб наточил. Но ничего, повидал я немало таких разухабистых. Они только по первости грудь колесом держат, а как во льдах окажутся, сразу хвост овечий выкажут. – Гурьян попытался достать из-за пазухи тетрадь в кожаном переплете, но, взглянув на небо, на невесть откуда упавшие капли дождя, сунул ее обратно, спросил Моисея: – Ты грамоту разумеешь?

– Немного, – смущенно ответил Моисей.

– Ладно, утро вечера мудренее, – сказал Гурьян и взглянул на хлопотавшего возле березовых дров человека: – Видать, Джон горячих щей захотел, – сказал он и, резко повернувшись, стал спускаться к работающим веслами мореходам.

Возле дров копошился маленький человечек с кресалом в руках. «Это еще че за чудо?» – искренне удивился Моисей, зная, что в опасное плава-

ние подбирались мореходы один сильнее другого. Моисей перекрестился и заторопился к гребцам-весельникам на замену. И тут он увидел выставившуюся из-под длинного балахона маленькую ножку, на которой была нарисована какая-то птица. «Женщина?» – промелькнуло в голове. От бывалых людей он слышал, что жители тундровой стороны наносят на тело украшения в виде разных птиц и зверей. На судне баба, да еще самоедка, которую сами самоеды считают «поганой», а в определенные дни не пускают в чум, не позволяют рядом сидеть.

Баба на судне приносит одни несчастья! Настроение Моисея испортилось. Тем временем костер разгорался, по палубе поползли струи едкого дыма. Березовая кора еще коробилась в ее руках, когда капюшон балахона, закрывающий лицо, скатился на спину, и на него уставились удивленные, полные страха черные раскосые глаза. Самоедка издала какой-то малопонятный звук и, вскочив проворной белкой, юркнула за груды кулей.

Отправляясь в Студеные моря, купцы всегда искали толмачей, без которых обойтись было невозможно. Джон Депен потратил много времени, чтобы найти толмача, но все было напрасно. Он уже отчаялся и даже хотел отказаться от плаванья, когда ему сказали, что в Холмогорах, куда часто заплывали английские корабли, есть самоед по имени Гусиная нога, который знает русский язык.

Англичанин долго раздумывать не стал, а попросил найти ему этого самоеда. Тут вспомнили про холмогорского зверолова Иллариона Пономарева, который постоянно ходил на промысел за Камень. С ним, говорили, и пришел самоед Гусиная нога.

Воевода, к которому обратился Джон, распорядился найти зверолова и доставить в воеводскую. Служивым людям это не составляло труда.

Постучав в крепкие тесовые ворота Пономарева, служивые люди стали поодаль, услышав многоголосый лай охотничьих собак. Сладко дремавшие в сарае, они залаяли наперебой, будто нашли в лесу медвежью берлогу.

Перед тем как выйти на крыльцо, Илларион перекрестился и, приоткрыв дверь, грозно крикнул на лающих собак, которые, поджав хвосты, побежали в сарай.

В длиннополых кафтанах из самотканого сукна, выкрашенного в синий цвет, опоясанные широкими сыромятными поясами с железными пряжками и с саблями на боку служилые подошли к Иллариону.

– Собирайся, пойдем к воеводе. Токо не спрашивай, по че он зовет тебя, – не знаем, – сказал один из них.

Переступив порог воеводской, Илларион услышал грозную брань. Воевода кричал на приказчика Кондратия, который, как открылось, торговал прогнившим зерном. Кондратий, ползая на коленях, каялся, что его вины нет, что его обманули сольвычегодские мельники.

У Иллариона задрожали колени, но оказалось, что страхи были напрасными. Воевода, прокашлявшись, не глядя на зверолова, спросил, где в Хол-

могорах живет самоед Гусиная нога? Илларион подобострастно поклонился и неуверенно ответил:

– Не знаю, где-нибудь возле кабака.

Служивые нашли самоеда у кабака на проезжей дороге. Гусиная нога, ничего не понимая, уставил на подошедших мужиков опухшее, искусанное комарами лицо. Что-то забормотал. Он хотел было бежать, но запнулся о валявшую на земле жердь и долго силился подняться, упираясь руками в грязь.

– Айда, айда! – говорили служивые, на что самоед отвечал громкими, непонятными звуками, всем своим видом показывая несогласие.

– Да не бойся, пошли. По-вашему еле-еле лепетать научился. Чужие языки нашему брату познать большого труда стоит.

Узнав, что самоеда Гусиная нога привели к воеводской избе, воевода Нифонт Трофимович поднялся с кресла и, разгладив на груди длинную бороду, направился к выходу, ругнув про себя иноземных мореплавателей, которые плывут и плывут к Студеному морю. Мало этого, просят найти им самоедских толмачей.

Увидев Гусиную ногу, Нифонт Трофимович какое-то время стоял с приоткрытым ртом. Нельзя сказать, что ему не доводилось видеть босяков и оборванцев, грязных, обезображенных, с коростами, но вид этого пьяного бродяги его потряс. Истлевшие лоскутья звериной шкуры с просветами грязного тела даже на расстоянии доносили запах прели. Было понятно, что такого в толмачи не возьмешь.

К счастью, кто-то из служивых вспомнил, что зверолов Илларион вместе с самоедом Гусиная нога привел из леса и девчонку-самоедку, говорящую немного по-русски. Самоеда Гусиная нога на второй день он выгнал со двора, а самоедку оставил жить в коровнике. Баба Иллариона Василиса была сердобольной и, приходя доить корову, приносила ей хлеба, теплой водой из подойника научила ополаскивать лицо и руки, а однажды редким гребнем расчесала ей волосы. Там она и прожила всю зиму.

На стук в тесовые ворота Илларион вышел сразу, не дожидаясь окрика служивых. Без всяких разговоров привел из котовника девочку-подростка. На удивление, она была не такой пугливой, как самоед Гусиная нога, приходившийся ей отцом.

Когда толмач Джона Депена, Влас, смог с ней объясниться и узнал, что зовут ее Нельма, Джон Депен, поняв, что толмач может говорить с дикаркой, захлопал в ладоши, считая одну из главных проблем решенной.

Холмогорские поморы, узнав, что англичанин надумал взять на судно девку-самоедку, категорически отказались идти в плавание, видя в этом недобрый знак. Но Джон был неумолим. Он утроил вознаграждение, самоедке определил угол на судне, где бы она сидела безвылазно.

Обо всем этом Моисей узнал позже от Гурьяна.

Глава восьмая

На третий день плавания, когда коч, подхваченный ветром, понесло в сторону открытого океана, Моисей побежал к рулевому, стараясь помочь повернуть судно.

– Да к островам рули! – говорил он рулевому, с опасением вглядываясь в затуманенную даль, прислушиваясь к скрежету судна, казалось, готового развалиться по бревнышку.

«Что же это творится? – с тревогой подумал он, удивляясь беспечности капитана. – Судно-то несет невесть куда! Недаром говорят: у семи нянек дитя без глазу. И я хорош, не смотрел, куда плывем: капитан на месте, рядом бывалые мореходы. Надо было поднять башку-то, прислушаться к сигналу рога. Следующие за нами кочи, видать, давно приметили, что изменился курс. Попутал меня черт, – упрекал себя Моисей, – чуяло у матери сердце, что сдуру я пошел в такое опасное плавание. А ведь как противилась! Бабы, они все с чертом повязаны. Ну с чего бы вдруг урагану взяться? Только море успокоилось, и на тебе!».

А ветер бушевал, накренил коч, перебросив судно на гребень новой волны. Не раз бывав в опасных плаваниях, Моисей не то чтобы испугался налетевшего урагана, а в первые минуты растерялся от резкой перемены погоды. Захлестнувшая палубу волна окатила его с головы до пят. Он успел схватиться за канат и, еле удерживаясь на ногах, помимо воли со стоном взмолился:

– Батюшка, припади! Батюшка, припади! – обращался он к ветру и, приподняв голову, закричал Гурьяну, сменившему рулевого:

– Круто вправо! Круто вправо! Берег должен быть недалеко. Или нас несет на Морскую дорогу?

Боясь потерять из вида друг друга, дозорные на обоих кочах уже давно трубили в рога и били в медные котлы, что вызывало у людей еще большую тревогу. За бортом заныряли принесенные ураганом льдины.

– Смотрите, ребята, в оба! Берите багры! – кричал Гурьян, почувствовав сильный удар по корме. Носники[6] изо всех сил отталкивали баграми льдины, принесенные невесть с какой стороны.

И вдруг не своим голосом Моисей закричал:

– Бросай якоря! Бросай якоря!

И тут Гурьян в густом тумане увидел исполины скал, будто специально спущенные с небес, чтобы преградить дорогу мореходам.

– Бросать якоря! – дал команду Гурьян.

«Неужто Новая Земля?» – подумал он с удивлением. В этот момент коч круто повернуло к скалам вместе с ныряющими льдинами. Слава построившим

---

[6] Носники – речные лоцманы. Как правило, объединялись в артели.

такое надежное судно, приспособленное к плаванию во льдах! Только это уберегло от беды мореходов, беспечно понадеявшихся на летнюю погоду.

Не верилось, что можно было проглядеть курс плавания, но искать виноватых сейчас не было времени. Сбившиеся возле скал льды окружили судно, и мореходам ничего не оставалось, как спустить парус и управлять веслами в надежде прибиться к берегу.

Хозяин, Джон Депен, почувствовав неладное, потребовал к себе Гурьяна. Он не мог предположить, что не раз бывавший в Мангазее помор мог ошибиться курсом. Увидев льды и спущенные паруса, он не на шутку растревожился. Как на грех, льды снова развернули коч и понесли в широкую расщелину между скал.

– Погибель, погибель! – закричал Джон по-русски, увидев, как коч понесло в забитую льдами бухту между скал с обрывистыми берегами.

И когда коч остановился, ударившись носом о песчаный берег, Гурьян разразился неслыханной бранью. Он вспомнил всех: и Джона, и Моисея, и рулевых. Так он пытался скрыть свой испуг. Оказавшись за поворотом, в полумиле от бушующих волн, все, за исключением Джона (он был другой веры), бухнулись на колени благодарить Спасителя.

Доносившийся грохот разбивающихся о скалы волн заставлял вздрагивать мореходов, недавно находившихся на краю гибели. Все были в подавленном состоянии. Каждый винил себя в случившемся, ведь все были бывалыми мореходами.

– Глаза-то у всех были во лбу, – поднимаясь с колен, сказал Гурьян.

Первым спрыгнул с коча на берег помор Лука. Он проворно стал карабкаться на высоченный утес, рискуя соскользнуть с влажных камней. Поднявшись на вершину, он долго осматривался, кружил на одном месте и потом закричал, размахивая руками.

– Это острова Новой Земли – и-и-и! – кричал он, проворно спускаясь.

«Как же это так нас угораздило?» – веря и не веря Луке, думал Моисей. От скал и скопившегося льда тянуло промозглым холодом. У Моисея не попадал зуб на зуб, и даже меховой зипун не мог согреть. Остальные тоже страдали от холода, но молчали, с нетерпением ожидая, когда в котле закипит вода. Как только Лука вернулся на коч, Гурьян схватил его за рукав и потащил к капитану, прихватив с собой Моисея.

Джон, взволнованный непредвиденной неудачей, говорил быстро и гневно, перемешивая английские слова с русскими. Толмач Влас ничего толком не переводил мореходам, кроме того, что Джон называет их всех безмозглыми русскими свиньями. Моисей уловил на себе быстрый колючий взгляд капитана...

Над мореходной тетрадью, которую разложил перед Джоном Гурьян, склонились все разом. Прошло немного времени, и Лука ткнул пальцем в карту, указав место их нахождения.

– Вот тута мы! – никто не проронил ни слова, только как по команде все уставились на Луку удивленными глазами. – Тута, тута! – без всякого сомнения закивал Лука. – А то давайте я еще раз подымусь с Семкой Большая Голова. Он тута все знает. К Новой Земле на промысел зверя не раз ходил.

Позванный в каюту Семка Большая Голова долго глядел на карту.

– Это ты точно показываешь? – переспросил он Луку. – Тот в ответ перекрестился. – Я еще во второй день заметил, что с курса сбились, но подумал: пущай так плывут, раз взялись, – обиженным голосом тихо говорил Семка. Его недаром прозвали Большой Головой, он даже по цвету воды мог распознать, по какому морю или проливу плывет судно.

С вершины Лука с Семкой спускались под вечер. Лука полз первым, подстраховывая уставшего товарища, то и дело подавал ему руку или подставлял плечо.

– Так и есть, – сказал Семка Большая Голова, – Новая Земля...

Ничего другого не оставалось, как переждать непогоду и выходить на правильный курс.

Утром, на восходе солнца, случилось одно непредвиденное событие. Когда лучи залили хмурые скалы ярким светом, мореходов разбудил пронзительный крик. Он летел с высоты и гулким эхом отдавался по всему ущелью.

«Кажись, самоедка кричит», – с раздражением подумал Моисей.

Истосковавшись по воле, просидев почти год в коровьем хлеву, самоедка, улучив минуту, когда все уснули, спустилась с коча и, торопливо цепляясь за камни, сумела подняться на самую вершину. Она долго глядела с высоты на бушующие морские волны и собиралась уже спускаться, когда в ложбинке, пригретой солнышком, увидела семейку песцов. Прижавшись друг к другу, зверьки сладко дремали, подставив спинки солнечным лучам, и только один песец, не шевелясь, прищурив глаз, наблюдал за ней. Когда Нельма протянула руку, чтобы погладить его по спине, дикий зверек вцепился ей в ладонь острыми зубами. Почувствовав запах крови, он еще несколько раз вонзил ей зубы в ладонь, да так и повис в судорогах, не разжимая челюсти. Остальные зверьки, вскочив, отбежали поодаль, обнюхивая воздух. Кто знает, чем бы все закончилось, но по неосторожности Нельма оступилась и полетела вниз, ударяясь о выступы. Песец, не выпуская руки девочки, летел с ней. Остальные зверьки бежали следом, перепрыгивая один другого и на бегу слизывая капли крови. Они жалобно повизгивали, предвкушая вкусную трапезу.

Все мореходы оказались на палубе, но только Лука догадался вытащить пищаль и выстрелить. Лука, а за ним Моисей выскочили на берег. Выстрел Луки остановил сгрудившихся голодных песцов, норовивших схватить Нельму кто за ухо, кто за нос. В руках Моисея оказался тяжелый сук. Он начал размахивать им, отгоняя песцов.

Несчастная девочка лежала между валунами, а песец, урча и содрогаясь от запаха крови, был не в силах разжать челюсти. Он даже не вздрогнул, получив от Моисея удар по голове, ослаб и бездыханно повалился рядом с Нельмой.

– Бедный ребенок, – склонившись над девочкой, сказал Моисей Луке, который бережно взял ее на руки и понес на коч.

Глава девятая

Потеряв немало дней по неосмотрительности капитана и кормщиков, а многие считали – по Божьему провидению, кочи наконец-то увидели очертания берегов Медынского Заворота. На этот раз мореходам приходилось отталкивать баграми не льдины, а кустарники и высоченную траву, мешающую грести. Изредка взлетали испуганные птицы. Тишину этих мест нарушало жужжание комариных полчищ. Эти крохотные кровопийцы лезли в глаза, носы, уши, забирались за ворот, залетали в рот. Проплыв немного в узкой протоке, мореходы вынуждены были выйти на берег и развести костры, но это была пустая затея. И на берегу не было никакого спасения от комаров.

Продолжив плавание, они вскоре обнаружили, что протока сужается: насколько хватило глаз, впереди виднелась кочковатая, зыбкая трясина – жалкое подобие земли. Мореходам ничего не оставалось, как накинуть на плечи веревочные лямки и тащить кочи по ржавым мхам и лишайникам, опасаясь пробороздить днище. Спасительным оказался кем-то оставленный недавний след ладьи.

– Кажись, до волока недалеко, – успокаивающе говорил Гурьян.

– Че поделаешь, – вздохнул Моисей. – Сам видишь отлив моря. Не ждать же, когда протока наполнится.

Моисей, раздосадованный, сплюнул в сторону, устав укорять себя за опрометчивое решение пуститься в это плавание.

К полудню, когда уставшие мореходы остановились развести костер и сварить уху, Гурьян, беспрестанно глазевший по сторонам, радостно крикнул:

– Слава Богу! Вон и крест показался!

Все повеселели, у всех прибавилось сил, и, как сговорившись, мужики не стали разводить костер, а набросили на плечи лямки и снова потянули коч, хлюпая ногами по вязкой трясине. Чуть поодаль показался второй крест. Кресты были ориентирами начала главного пятиверстного волока.

Приблизившись к подножью трехметрового креста, мужики пали на колени и молились неистово, целуя землю и нательные кресты. Каждый стоявший на коленях просил у Господа заступничества и помощи.

– Морем – лучше. Не хаживал я этими закоулками, – себе под нос бурчал Моисей. – Взял курс и плывешь, только слушай море да гляди в оба.

– Вот там волок так волок! – со вздохом, почесывая затылок, говорил Гурьян, осматривая глубокую траншею в земле, поросшую молодой травой. Видать, кто-то ранней весной здесь проходил.

Отойдя в сторону, он долго топтался на одном месте – выбирая место для разгрузки товара, чтобы легче было перекатывать судно. Хотя солнце было еще высоко, но к разгрузке приступать не хотелось. Разожгли большой костер.

Влас копошился на палубе возле дверей каюты Джона, окуривая их дымом. На этот раз Джон не стал спускаться к костру, потому что все лицо его опухло от комариных укусов и даже скособочило правую щеку. Он постоянно протирал лицо какой-то пахучей водой, но это не отгоняло комаров. Думы его были невеселые. Он уже жалел, что пустился в такое рискованное плавание. Хотя к команде у него претензий не было. Мужики работали старательно, не роптали, как это часто бывает, когда людей озлобляет усталость.

Со стороны загородки донесся шорох. Джон вспомнил про маленькую самоедку и с сочувствием подумал, вспомнилось, как принес ее Лука, искусанную песцами, как останавливал кровь, засыпая раны древесной золой. Сейчас она сидела на вышарканной шкуре и, припав к расщелинам между грязных досок, ловила запахи мхов и ржавых трав родной земли. Нельма беспокойно переползала из угла в угол, снова и снова подставляя рот и нос к щели, почувствовала, что по ее щекам потекли слезы. Их не было, когда ее кусали острыми зубами песцы, когда больно ударяли по руке, когда хотела взять со стола засохший кусок мяса, а теперь ей хотелось убежать с коча и мчаться по мшистым кочкам, прислушиваясь к шороху ветра, шевелению трав, совсем не обращая внимания на громкие мужские голоса. И вдруг ей показалось, что ветер принес окрики пастухов и отдаленный собачий лай. Нельма закрыла ладонями уши и задрожала. Так она просидела недолго. Она уже явственно слышала отрывистые звуки погонщиков оленей. Не помня себя, девочка застучала по доскам своего жилища. Ее стук услышал капитан Джон. Подойдя к загородке, он с силой оторвал доску и отшвырнул ее далеко на палубу. С изумлением он увидел черные глаза, полные слез, в тот же момент это юркое существо выпрыгнуло из своего жилья, перемахнуло через борт коча и побежало по мшистому болоту куда-то вдаль, выкрикивая незнакомые слова.

Влас, взглянув на коч, увидел растерянного капитана. Толмач все понял без слов. Сбросив с себя зипун, он понесся во весь дух, чтобы не потерять из виду Нельму. Бежал, запинаясь о кочки, казавшиеся издали косматыми бабьими головами, падал, упираясь руками в болотную жижу, чертыхался. На какое-то мгновение приостановился перевести дух и тут же услышал сзади себя шаги за ним. Бежал Моисей.

– Да никуда она не денется. Разве не слышишь вдали голоса? – с передыхом кричал он. – У этого дикого народа нюх посильнее собачьего, а слух...

Влас не разобрал последние слова Моисея, а машинально приложил к уху ладонь. Мужи стояли какое-то время не шевелясь.

– Слышишь, кто-то ухает? – спросил Власа Моисей. – И собаки лают.

– Я че-то не слышу. Тугоухим стаю, – признался Влас.

– Эта самоедка на голоса побежала. Может, пастухи стадо перегоняют.

– Че гадать? Надо беглянку догонять. Че без нее делать станем? Я ни одного слова по-самоедски не знаю, – и мужики снова побежали, благо, что в тундре даль просматривается до самого горизонта.

– Нельма-а-а! – закричал, сколько хватило духа, Влас. Эхо тут же понеслось по всей округе.

Самоедка приостановилась, узнав по голосу Власа.

– Ты че, дура такая, надумала бежать? Куда? К кому?

– Олени, собаки! – чуть не плача говорила девочка, не зная, в какую сторону махнуть рукой.

Встреча с самоедами была им на руку, они могли бы многое узнать об обстановке за волоком, откуда вели многие дороги в Мангазею. Недолго думая, Влас засунул в рот два пальца и засвистел. Его свист услышали погонщики оленей. Наперебой залаяли собаки. И скоро мужики увидели большую серой масти собаку, бегущую к ним. Красный язык готов был вывалиться изо рта, тягучая белая слюна падала на ее косматую грудь. Увидев мореходов, собака резко остановилась, оскалив зубастую пасть.

– А ну-ка попробуй! – замахнувшись, грозно крикнул Моисей, не имея в руках ни какой хворостинки.

Нельма в испуге спряталась за Власа.

Скоро показалась оленья упряжка. Увидев незнакомых людей, самоед на почтительном расстоянии остановил оленей, взял тяжело дышавшего коренника за ременную упряжь и, низко кланяясь, стал подходить к мужчинам, что-то бормоча себе под нос.

Это был мужчина неопределенного возраста с темным лицом и множеством мелких морщин, с двумя заплетенными косичками, редкой бороденкой и большим багровым шрамом через всю правую щеку. Обтерев ладони о бока сшитой из оленьей шкуры одежды, он издали протянул руку для приветствия. Бойкие слезящиеся глаза с любопытством смотрели на незнакомых людей.

Жестикулируя, самоед что-то торопливо говорил. Заметив, что мужчины никак не реагируют на его рассказ, досадливо махнул рукой и пошел к своей нарте.

Наступила тягостная тишина, если не считать пения комаров да булькания воды под копытами оленей, переступающих с ноги на ногу.

– Ты че, толмач, тоже ничего не понимаешь? – толкнул Моисей Власа. – Че молчишь?

– Я токо по-аглицки мало-мало умею, – промямлил Влас.

– Его зовут Вануйто, он пастух, перегоняет стадо на болота к реке Собь, – пришла на помощь Нельма.

– Спроси-ка его, – показал Моисей взглядом на самоеда, – почему он гонит летом стадо? Или мало еды? Или какая беда приключилась?

Несмело подойдя к пастуху, Нельма по-самоедски заговорила бойко.

– Сокровище! Истинное сокровище, – чуть не плача, говорил Влас, только сейчас поняв до конца, что не зря Джон настоял на своем и взял в плавание самоедку.

Результатом этой встречи стало то, что Джон договорился с Вануйто о перетаскивании кочей по волоку с помощью оленей. Его сородичи согласились это сделать за три топора и два медных котла. К тому же капитан выторговал немало пушнины, наполнившей нижний трюм. Более того, их встреча предопределила дальнейшее плавание Джона Депена, он узнал, что плыть в Мангазею небезопасно, надо искать самоедского князя по прозвищу Черемуховое Дерево, который поможет им миновать сторожевые посты, построенные государевой властью.

Глава десятая

С Божьей помощью кочи подплывали к западному побережью острова Ямал. Хотя Гурьян и утверждал, что волок от озера Мутного до Зеленого всего версты полторы и судно будет легко перетянуть по ложбине, а там, мол, и рукой подать от Обской губы в Тазовскую, но только скоро сказка сказывается. Бывалые мореходы попытались поспорить с ним, да махнули рукой: хоть так хоть этак, хрен редки не слаще, везде подставляй хребет.

Берег оказался абсолютно пустым – бескрайнее поле высыхающих под палящим солнцем болотных кочек, оставленных после отлива.

Радовала глаз зеленая ложбина, поросшая мхом, приглядевшись к которой, не трудно было понять, что прорыта она людьми. Гурьян, обтирая рукавом вспотевший лоб, достал из-за пазухи мореходную тетрадь, отыскал отмеченное на ней кружком озерцо, которого не было здесь и в помине, постоял, почесал в затылке и, к великой радости, увидел вдалеке крест. По его громкому свисту мореходы вскочили и, запинаясь о кочки, побежали к кресту. «Место погибших русских» было вырезано на нем ножом. Все молча обнажили головы, перекрестились. Невольно напрашивался вопрос: когда и с кем случилось здесь несчастье? Кто похоронен в этой далекой, забытой Богом стороне? Не зря же это место обозначено на мореходной тетради. Моряки не особо сентиментальные люди. Уходя в плавание, они всегда навеки прощались с домом, и сейчас здесь как-то по-особенному приняли смерть соотечественников, нашедших покой под этим покосившимся, почерневшим от ветров и дождей крестом.

– Принесите лопату, – невесть кому сказал Гурьян.

– Новый бы поставить, – ответил Моисей, оглядываясь по сторонам, хотя знал, что по всей округе не найти подходящего дерева.

Невесть с какой стороны подул ветер, на кочках зашелестела, будто зашепталась, пересохшая сухая трава. На ветру не было слышно ни одного

комарика, ни монотонного жужжания паутов и слепней, хотя мореходы по привычке еще нет-нет да взмахивали перед лицом ладонями: вокруг стояла непривычная тишина.

Все готовились к перетаскиванию кочей, на этот раз отказавшись от снятия грузов с судна.

«Кабы шли морем, то давно бы плыли по Обской губе», – думал Моисей, стаскивая с ног бродни, осторожно прикасаясь к кровавым мозолям, образовавшимся от раскисших кожаных рубцов. Все готовились к нелегкому перетаскиванию. Мужики помоложе надумали пройти всю ложбину до побережья босыми. Оказавшись в низине, они сразу ощутили на дне влажный мох и были уверены, что перетаскивание будет не трудным. Постояв на песчаной отмели озера, с наслаждением ополоснулись в его теплой воде.

– Че-то долго ходили. Тута, наверное, не полторы и не две версты, – сказал Моисей, прикинув в уме время, потраченное мужиками.

– Черт мерил, да веревку порвал, – ответил ему Семка Большая Голова.

– Я так и знал, – сказал белобрысый Зырянин, прошивая большой костяной иглою ременную лямку, порванную на прошлом волоке.

Отдыхали долго: дважды разжигали костер, варили уху и кипятили воду для заварки иван-чая, о перетаскивании кочей никто не говорил. Летний день в этих краях бесконечен. Солнце бродит по небу, будто старается заглянуть в каждую ложбинку и расщелинку. Лучи его, конечно, не могут растопить веками скопившуюся мерзлоту, зато заставляют цвести во всю силу каждую малую травинку на обнажившихся от снега местах. Да и всему живому в это время здесь полное приволье – что зверью, что перелетным птицам. От усердия солнце даже высушило перешеек, на котором, без всякого сомнения, гнездились перелетные птицы. В подтверждение ветер выдул облака птичьих перьев из-под каждой кочки.

Когда вдруг над перешейком с гамом и гоготом пролетела стая уток, на палубу вышел капитан Джон. Высоко задрав голову, он сосредоточенно смотрел пролетающим птицам вслед. И еще долго так стоял, пока они не скрылись из вида. Кто знает, о чем думал в это время англичанин, по собственной воле отправившийся в такое дальнее путешествие.

Появление Джона на палубе означало начало работы. Все приготовились к перетаскиванию суден. Уткнувшийся носом в прибрежный песок коч с великими трудностями втащили в ложбину.

– Так и пуп сорвать можно, – сбрасывая с плеч лямки, матерились мужики. Но, как оказалось, Джон приказал Гурьяну не останавливаться, не делать передышек, а протащить судно по ложбине, чтобы проверить, не срываются ли доски на днище о какие-нибудь невидимые коряги и камни. Хозяин-барин, что сказал, то и делай. Правящий в бурлацком деле человек звался «шишкой» и всегда был передовым в лямке. Им оказался Семка Большая Голова. Моисей, никогда не ходивший в бурлаках, не знал этих

правил, на время перетаскивания коча он был поставлен рядом с ним. Стоять в лямке рядом с «шишкой» было большей честью. Семка напялил на голову шляпу с пришитой к ней ложкой, зычно крикнул и взмахнул рукой. В лямки впряглись все, за исключением Джона, который стоял на палубе и удивлялся проворности бурлаков. Только в России он узнал о таком способе передвижения по рекам.

Шлепая босыми ногами по дну ложбины, Семка затянул какой-то жалобный однообразный напев.

– Ну, Семка, че ты заскулил, как баба, – буркнул ему Моисей, но тот то ли не расслышал, то ли не хотел ответить, только совсем опустил голову. Когда же он дал знак сбрасывать с плеч лямки, Моисей увидел залитое слезами лицо парня.

– Матушку вспомнил, – украдкой от всех обтирая слезы, сказал Моисею. – Обидел я ее перед самым отплытием, а она у меня такая кроткая! Такая набожная, а я, богохульник, только и рву ей сердце. А подле ее еще семеро, мал мала меньше. А я, басурман, весь в отца пошел: тому тоже подавай волю! Перед отплытием, нажравшись сивухи, батюшку в храме богохульными словами обозвал, да все норовил за длинную бороду схватить. Ладно, мужики оттащили. Я-то уплыл, а каково ей, несчастной?

Семка вдруг упал на землю и со всей силой стал бить кулаками по пересохшим болотным кочкам, из которых во все стороны летела пыль.

– Все из-за этой тишины! – всхлипывал он. – Когда живешь в сутолоке, в хлопотах да ругани, некогда о другом думать, а как останешься один, хоть вой. От себя не убежишь, а душу исповедовать надо. Матушка слезно просила покаяться принародно, а я не стал. – Семка достал из-за пазухи нательный крест, приложил к губам и долго так лежал.

Вдруг он стремительно вскочил, с испугом начал оглядывать округу. Все насторожились. Встретить кого-либо из людей в этом месте казалось делом невиданным. Поставленный остяцкий сторожевой городок Пантуев при Обской губе они миновали, потому и выбрали волоковой путь. Прислушавшись, все услышали топот копыт. Гурьян стремглав взобрался на судно, доложил Джону, который сразу распорядился явиться на коч пушкарю Димке Курочкину. Джон, сохраняя полное спокойствие, сосредоточено оглядывался по сторонам в надежде определить, с какой стороны доносится топот. Вскоре горизонт закрылся облаком пыли, и стали доноситься громкие голоса, свисты и визги вперемежку с собачьим лаем. Показались оленьи упряжки с наездниками, стоящими на ногах. Сотни стрел засвистели над головами мореходов, кто-то из них успел выстрелить из пищали, но это совсем не испугало дикарей. По всей видимости, они уже знали об оружии русских. Только олени первых упряжек подпрыгнули на бегу, пытаясь разбежаться в разные стороны, но уверенные руки воинственных наездников быстро укротили их. Стрелы, свистя, летели над головами, но, к счастью, никого не поранили. «Давно бы изрешетили всех, – разглядывая стрелу, впившуюся в

пеньковый куль, в испуге подумал Моисей, перекрестившись. – Видать, не в первый раз этак налетают».

В своих предположениях Моисей не ошибся. Такую тактику давно принял храбрый самоедский князь по имени Черемуховое Дерево, разгоняя многих охотников за мехами, приплывающих в тундру по рекам и приходивших пешими.

Этой весной он со своими соплеменниками разбил и разогнал большой отряд охотников-промысловиков с Вычегды и Печоры, подстерег и разорил приплывших по Оби березовских рыбопромышленников. Успокоившись, что до летней поры еще далеко, погнал упряжки на остров Вайгач, где на большом утесе, называемом Экаспо, стоял каменный идол, окруженный множеством деревянных истуканов. На этом месте он уже в который раз давал клятву богам не пускать чужих людей на свою землю. Не поленился Черемуховое Дерево согнать упряжки и к утесу, стоявшему посреди острова Вайгач, к Невехего (мать болванов), внутри которого хранились монеты, пищали, топоры, ножи, пуговицы. На этот раз он привез ей в подарок из своей добычи медный котел, железный капкан, саблю и несколько кусков сукна. У матери болванов было четыре сына, которым поклонялись самоеды: Ню-хэге – младший сын. Этот истукан был недалеко от нее, на этом же утесе. Второй, Манисей, поставлен у Уральского хребта. Истукан Ямал стоял на западной стороне Обской губы, а истукан Кузмин каменный, самый почетный, был спрятан в лесах большеземельной тундры. Туда Черемуховое дерево гонял оленей только однажды.

Теперь же, поклонившись Невехего, его воинствующая ватага возвращалась домой, и, к своему удивлению, они увидели на волоке свежие следы. Черемуховое Дерево разгневался, со зла несколько раз ударил палкой по спине каюра и решил во что бы то ни стало догнать незваных гостей. Уставшие олени, с вывалившимися изо рта языками, хрипло дышали, многие падали на колени и испускали дух. Самоеды тут же закалывали упавших животных острыми ножами, бросали на нарты и вновь гнали оленей по следу. Наконец, они уловили запах от дымного костра и остановились. Добыча была рядом. Черемуховое Дерево наказал соплеменникам не убивать мореплавателей, а пускать стрелы над их головами.

Сотня сытых упряжек со всех сторон окружила коч. Джон Депен с неизменной сигарой во рту стоял в воинственной позе, поставив правую ногу на борт судна. На лице его не дрогнул ни один мускул.

Воинственные самоеды глядели на него с изумлением, держа луки наготове. На их меховых малицах, во многих местах порванных, были костяные пластины (панцири), а из колчанов торчало множество стрел. Плоские лица низкорослых, крепких дикарей, казалось, не отличались одно от другого.

С нарты, впряженной в упряжку белых оленей, ловко соскочил самоед, отличающийся от других нарядной малицей, опоясанной широким поясом, украшенным металлическими бляхами, с привязанными к нему ножнами

для ножа и сабли. К кочу он шел твердой неторопливой походкой. Это был сам вожак по имени Черемуховое Дерево. Проворно взобравшись на коч и по-хозяйски оглядев палубу, он с невозмутимым видом подошел к Джону и бесцеремонно протянул руку к пищали, которую держал капитан. Джон моментально схватил его за руку и сжал так сильно, что Черемуховое Дерево выхватил из ножен саблю. Смирно сидевшие на нартах самоеды вскочили и схватились за луки. Черемуховое Дерево что-то крикнул им, и они тут же бросили луки обратно на нарты. Предводитель заговорил. Говорил он громко, жестикулируя, но никто из мореходов не мог ничего понять. Бедный Влас дрожащим голосом сказал англичанину, что надо позвать Нельму. Маленькую самоедку затащили на палубу. Увидев ее, англичанин схватил девочку за руку и поставил возле себя. Черемуховое Дерево признал в ней соплеменницу, всплеснул руками и присел перед ней на корточки.

– Нельма, о чем он говорит? – придерживая девочку за плечо, нетерпеливо спрашивал Влас.

Конечно, ребенку нелегко было разобраться в многословии мужиков. Она с испугом глядела на всех, а, встретившись взглядом с Черемуховым Деревом, попыталась улыбнуться.

– Ну, Нельма, че ты молчишь? – тормошил ее Влас.

Нельма по-русски чуть слышно сказала:

– Реку Таз много, много плывут. Манкасея идут, – и сразу же закрыла лицо маленькими ладонями.

Влас понял, что русских людей плывет в Мангазею много.

– Че еще он говорит? – спрашивал толмач, но Нельма ответить не могла. Она просто не понимала, что от нее хотят узнать, хотя Черемуховое Дерево обстоятельно рассказывал о нашествии со всех сторон разных людей на реку Таз, где русские поставили свое зимовье.

«Макасея» почти не сходила с языка самоедского вожака. По всей видимости, его сильно беспокоило, что русские давно не уходят с берегов реки Таз, что там ими поставлена сторожевая башня. Почувствовав, что его не понимают, Черемуховое Дерево схватил Нельму на руки и побежал с ней к своей упряжке.

– Украдет, украдет девчонку! – завопил Влас.

Именно в этот момент Димка Курочкин выстрелил из пушки. Самоедам показалось, что на землю упало небо. С испугу никто из них не мог бежать, все упали на колени, подняв руки вверх, прося у Нума[7] пощады. Пока дым рассеивался, никто не тронулся с места, не проронил ни слова, только Черемуховое Дерево, переборов в себе страх, с Нельмой на руках вернулся и поднялся на судно.

Устрашающим оказался пушечный выстрел. Черемуховое Дерево будто подменили, он смотрел на Джона заискивающими глазами, что сразу заметил наблюдательный англичанин, и с решительностью приступил к пере-

---

[7] Нум (ненецк.), Торум (ханты, манси), Ном (сельк.) – верховное божество.

говорам: он согласился сразу же, по выходе коча в Обскую губу, повернуть обратно, не заходя в Мангазею, но с одним условием: здесь, на волоке, произвести обмен нагруженного в трюмах товара на пушнину.

Слушая нескладный перевод Нельмы, Черемуховое Дерево понял суть разговора, он согласно кивал головой и ласково гладил шершавой рукой, как маленького олененка, волосы девочки. Скоро переговоры были закончены, и Черемуховое Дерево показал присмиревшим соплеменникам три пальца на поднятой руке, что означало количество дней, которые понадобятся им для сбора пушнины в своих и соседних угодьях, у лукоморья.

Округа наполнились своеобразным шумом. Шорох нарт по пересохшей траве да хорканье оленей сливались в какую-то таинственную симфонию тундры, дополненную редкими собачьими взлаиваниями да далекими голосами каюров.

– Так в Мангазею и не попадем? – вздохнув, спросил Моисей Гурьяна.

– Видно, не попадем. Кто думал, что встретимся с Черемуховым Деревом да договоримся обо всем полюбовно? Бог нам послал Нельму. Без нее бы лиха хватили!

Глава одиннадцатая

Тренька Онуфриев с дружками причалили к берегу речки Осетровки и с изумлением смотрели на круги, расходящиеся от разыгравшей в ней рыбы.

– Яко в котле кипит! – отметили они, стаскивая с уставших ног бродни.

– С голоду тута не пропадешь, – сказал Тренька, с трудом поднимаясь на ноги. В коленях что-то хрустнуло, острая боль кольнула в спине.

Познав про сказочно богатый мангазейский соболиный край, он, сговорившись с двумя дружками, отправился в неближний путь. Перевалив через Камень, они приобрели у кочующих вогуличей легкие обласа[8] и, прокуролесив на них по безымянным речушкам и озерам без счету дней, выплыли на быстротечную реку Таз. Проплыв по ней целую седьмицу, оглядывая берега, облюбовали это место на возвышенном угоре с густым сосновым бором.

– Боле никуда! – сказал Тренька. – И так в экую дыру уплыли. Дай бы Бог обратно воротиться.

Попутчики Треньки, Михайло с Егоркой, молча, покряхтывая, вытаскивали из лодок скарб. Последнее время они не спорили с Тренькой, лишь бы поскорее обрести покой измученным ногам и всему телу. Поднявшись на берег, не веря глазам, они увидели выстроенные две добротные избушки.

– Ниче себе! – закричал Тренька, не скрывая удивления. – Я-то думал, неужто еще кроме нас есть дураки.

Никого вокруг не было, но по щепкам вокруг избы было видно, что стружки недавние: еще пахли свежей смолой.

---

[8] Обла́с – лодка-долбленка обских угров.

– Все одно ладно! Хоть чужая, да избушка. Знать, кроме нас, еще дураки на свете не перевелись, – сказал Егорка, повеселев.

– Ниче не скажешь – место пригожее, – буркнул Михайло, озираясь по сторонам.

Ждать пришлось недолго. На закате дня послышался громкий лай собаки, и скоро из-за излучины реки выплыла лодка. Хозяином оказался зверолов с Северной Двины Омелька Авериев. Было видно, что он тут не первый день, если наловчился добывать осетров и волочить их живыми, прицепив к лодке. Осетр поворачивался и плескался, дергая лодку из стороны в сторону. Перед выходом на берег Омелька оглушил рыбину ударом весла. Осетр, перевернувшись вверх брюхом, был похож на маленькую лодочку.

– Вижу – гости появились! – крикнул, подплывая.

Подружились мужики сразу. Оказалось, что Омелька пошел в этот глухоманный край случайно, из-за спора с соседом, который, побывав тут, утверждал: что кому-кому, а ему, Омельке, в этих краях нипочем не сдюжить, мол, у Омельки кишка тонка. А он взял да и отправился с проходившими мимо их починка промысловиками. Мужики, правда, были незнакомые, да иной раз с незнакомыми людьми лучше бывает: где надо, промолчишь, а в другом деле и совет добрый дашь – не откажутся. Омельке повезло. Мужики были спокойные, малоразговорчивые: про себя ничего не рассказывали и к Омельке в душу не лезли. Пролесовав в округе зиму, он добыл пушнины не меньше, чем попутчики, но уходить обратно не согласился. Остался один.

Недолго думая, тут же, на берегу, развели костер, разделали осетра, достали зелье. Омелька захмелел сразу, похвастал, что пушнину свою хорошо изобиходил и спрятал так, что можно перерыть всю тундру в округе, а ее не найти.

– Так с товарищами не пошел домой? – спросил Тренька.

– А я опять сделал поперек? Люблю поперечничать, чтоб все по-моему было. Однажды, когда мы вернулись с охоты, – продолжил Омелька, – наши избушки были спалены. Видать, здешние самоеды нас с этого места выжить захотели. Попутчики мои рукой махнули: мол, все равно домой выбираться надо, а мне неохота было уходить. Знал: уйду, боле никогда не ворочусь. Так я и остался. Третью зиму один живу, на промысел далеко не хожу. Кружу вокруг, а зверья – хоть за хвост лови. Полно! Сами видите, че в такую пору делать? Охотиться нельзя, а выбраться отсюда не так просто. А коли остаться до заморозков, то какой резон уходить? Все бы хорошо, да хлебушка поесть охота. Почти кажную ночь караваи снятся. Зимой лесовал, летом срубил еще одну избушку да малюсенькую баню. За это время мимо никто не проплывал по реке, да и зимой промысловики, наверное, другими тропами ходят. В моей избушке все поместимся, – добродушно сказал Омелька.

Костер догорал, головешки сыпали по сторонам искры, а разморившиеся от усталости мужики ничего не видели и не слышали, что творилось вокруг. А даль давно покрылась черной тучей, мсрося мелким дождем. Ког-

да дождь стал заливать костер, они поднялись и, пошатываясь, побрели к избушке. В ней было темно. В маленьком оконце, затянутом налимьими пузырями, чуть обозначалось светлое пятно. Тренька высек из кресала искру, зажег жировик.

Избушка была просторная, с широкими лавками вокруг стен, сколоченными из добротных плах, обтесанных топорами. Посреди большущий стол, покрытый березовой корой вместо скатерти.

– Хорошо-то как, – сказал Тренька, впервые за многие месяцы почувствовав запах избы, хотя и пахло-то звериными шкурами, набросанными на лавки, да прокопченными дымом стенами.

– Тащите сюда уху да жбан. Допивать надо, чтоб соблазну боле не было. – Это, конечно, относилось к Егорке, который не то чтобы зарекся, а просто не мог терпеть никакого зелья. Но на это у него была причина: однажды отравившись сивухой, изготовленной его зазнобой – белоглазой зырянкой Ефимией, которая подливала ему для приворота налимьей слизи, он с неделю исходил рвотой, и с той поры пришел конец его разгульной жизни. Все в деревне говорили, что парень он хоть куда, а выбрал себе в зазнобы такую образину. Видать, зелье Ефимки возымело силу.

Развалившись по лавкам, мужики спали, изредка просыпались, пили, ели холодную уху и снова ложились. К тому же зарядивший дождь клонил ко сну, выходить из избушки никому не хотелось. Егорка давно махнул на них рукой, мог бы, конечно, вылить полжбана сивухи, но рука не поднималась. Он протопил баню, помылся, но мужикам не сказал: боялся, как бы по пьяному делу кто-нибудь из них не ошпарился кипятком.

Надо сказать, что Омелька тоже был не шибко охоч до хмельного. Смекалистый Тренька это сразу отметил, когда тот поперхнулся после первого глотка сивухи.

– И этот не питок. Нам с тобой, Михайло, боле достанется.

День на третий возле двери жалобно заскулила собака. Омелька соскочил с лавки, будто его кто-то толкнул в бок, и выбежал из избушки. Большой рыжий пес с густой шерстью на загривке, умными глазами, спрятанными под нависшими надбровьями, искусанными комарами, оголодал.

– Кормилец мой, – отфыркиваясь и сплевывая с губ горечь, виновато заговорил Омелька. Он мгновенно юркнул в избу и вернулся с котлом недоеденной ухи.

Егорка долго глядел на пса, понимая, что он хорошей охотничьей породы.

– Откудова? – спросил, переведя взгляд на Омельку. – Этот пес, поди, дорого стоит.

Полкан был приобретен у самоедов-соболятников. Лесовал только одну зиму и, как говорили охотники, дня не проходило, чтобы Полкан не догонял соболя.

... Из избушки, широко распахнув дверь, выскочил Тренька, сбегал за угол и, возвращаясь, передергивая плечами, пробурчал:

– Студено-то как!

– Это цветочки, – посасывая ржаной сухарь, сказал Омелька

– Сейчас самое перепутье. Еще седьмицы две погодим, а там, как только Северко дыхнет, заморозки ждать можно.

Отходя от похмелья, мужики напали на сваренную Егоркой свежую уху. Ели до пота, после усердно молились, каждый шептал про себя молитвенные слова.

– Кажись, тута до нас часовенка стояла. Я ненароком доску нашел, на ней кресты были нарисованы и слова рукотворные. Я грамоты не разумею. А доска, по-моему, с какого-то судна была.

Мужики переглянулись между собой.

– Тута самоеды хозяйствуют. Видать, никого сюда пущать не хочут, караулят. Спалили же наши избушки и весь скарб то ли увезли, то ли огонь съел, – говорил Омелька. – Видать, кто-то из русских волоком приплывал, тоже, как мы, место облюбовал.

Тренька, мало-мальски разбиравшийся в грамоте, долго смотрел на Омельку и, наконец, сказал:

– Пойдем, покажи, где, по-твоему, часовня стояла.

– Да тама гарь одна, все травой заросло, а мне все чудится, что люди ходят али их души летают.

Обходили округу долго, ягод вокруг видимо-невидимо, ступить некуда: клюквой кочки усыпаны. Смородиновые ветки от ягод к земле приклонились. Живность под каждым кустом гоношилась. Нигде никакой приметы нет, что люди тут были. Только деревья вокруг молодые. Хоть высокие, а молодые, будто кто заново насадил.

– А где, по-твоему, часовня стояла?

Омелька ничего не ответил, только рукой показал на взгрок.

– Без бога – не до порога, – сказал Тренька. – Коли приглянулось место, так часовню ставить надо.

– Спалят. Как только на охоту уйдем, спалят дикари, – ответил Омелька.

– Коль прижались к месту, освятить его надо. Долго ли четырем мужикам крест поставить?

После обхода окрестностей мужикам казалось, будто кто-то подглядывает за ними. Но вслух об этом они не говорили. Тут Омелька припомнил, как по весне Полкан притащил из леса истлевший бродень. Омелька, подцепив его на палку, бросил в костер.

– Жили тут русские люди, долго ли, нет, а жили. Скорее всего, поморы, – размышлял Тренька, связывая воедино все слышанное от людей.

На душе полегчало, когда выстрогали и вкопали в землю добротный крест.

Скоро нудный дождь стал перемешиваться с редкими снежинками, и в одно утро, когда Тренька приоткрыл дверь избушки, он увидел, что все

белым-бело, будто только перед его выходом невидимая рука разостлала отбеленную на солнце холстину, на которую было страшно ступать.

– А на охоту идти ишо рано: шкурка на звере не поспела, – любуясь снегом, говорил Омелька. – У зверя подшерстка еще нет, а такому зверю цена малая.

– Че бы мы без твоей избушки делали? Под лодками сидели?– рассуждал Михайло, склонив голову.

«Звень в ушах стоит, от погоды», – подумал. Но это был не звон в ушах, а звенел колокольчик в упряжке вогулича, обещавшего приехать к Омельке. Вогулич, несмотря на непогоду, торопился, зная, что русские мужики на охоту уходят, как только окрепнет на озерах лед. Торопился еще и потому, что Омелька обещал ему топор и котел.

Вогулич был низенький, одет в изношенную малицу, голова не покрыта, волосы заплетены в две косы. На желтоватом лице с редкой бородой блуждала улыбка.

Увидев новых людей, вогулич всплеснул руками, отыскивая взглядом Омельку. Узнав, подбежал, принялся обнимать, бойко лепеча что-то по-своему.

– Че, Омелька, домой поедешь? – спросил Тренька.

– Че делать, пообещал?

А вогулич в это время, не переставая, твердил:

– Некуччи, Некуччи, – и показывал рукой на дальнюю нарту. Вогулич привез для Омельки в подарок одну из своих дочерей – Некуччи.

– Не бабу ли он тебе привез? – спросил Тренька, вспомнив рассказы промысловиков, бывавших в далеком мангазейском крае, что племена, кочующие по тундре, при торге со звероловами предлагают на обмен своих дочерей или молодых женщин.

– Еще че не хватало, – ответил Омелька. – Че, дома баб мало?

– На лыжах отсюда с грузом не уйдешь, – вслух рассуждал Михайло.

Приложив к губам ладони, вогулич зычно закричал:

– Хэй! Хэй!

И на подбежавшей нарте все увидели сидящую женщину.

– Вот-те на! – не удержавшись, изумился Михайло: девушка сидела с покрытым лицом.

Солнце уже склонялось к горизонту, почернели дали, лес сплошным частоколом окружил обжитое мужиками место заимки. Полкан, подняв морду, обнюхал воздух и, не обращая внимания на лайку, оскалившую зубы, убежал за избушку.

– В жбане хоть капелька осталась? – спросил Тренька Егорку, зная, что инородцы не меньше русских охочи до зелья. Тот кивнул.

На Омельку в эти минуты было жалко смотреть. Он растерянно переводил взгляд с одного на другого, не произнося ни слова.

– Сбирайся, ежели слово дал, – пришел ему на помощь Михайло. – Показывай свой тайник со спрятанной пушниной. Пособим. Не часто нашему брату столько оленей пригоняют. Чем-то ты ему приглянулся.

Михайло как в воду глядел. Вогулич не знал, куда пристроить своих дочерей, которых его Могра рожала каждую весну, как зайчиха. В любую поездку, уезжая подальше от чума, он брал с собой одну из дочерей, надеясь продать ее, как ему казалось, добрым людям. Но сколько не ездил, возвращался с ней обратно: жалко было расставаться. Приезжая в прошлую осень за мужиками, пожалел, что не взял с собой Некуччи. Омелька мог бы на зиму оставить ее у себя, а потом передать какому-нибудь другому промысловику. Вогулич пригнал оленей к избушке, надеясь, что русский поможет продать его дочь какому-нибудь встречному промысловику, который ищет толмача.

– Ну че? – дразнил Омельку Тренька. – Девку-то сам просил?

Омелька сморщился.

– Кака девка? И так голова кругом идет. На что она мне, девка-то. Я ему за перевоз обещал топор, котел да кружку бисера.

– А бисер на что обещал?

– Все бисер привозят, – оправдывался Омелька. – Обещанное отдам, не зря же оленей пригнал, а сам с вами еще на одну зиму лесовать останусь. Вместе с вами домой пойду. Дома-то меня никто не ждет.

– Девку зачем тебе привез? – снова донимал Тренька Омельку.

– Почем я знаю! – закричал Омелька. – Да бери ее себе! Ты, видать, кобель. То да потому, то да потому. Девка да девка, будто других забот нету.

И в самом деле, Некуччи будто застила Треньке глаза. Он даже не мог представить, что какая-то вогулка прямо так сразу взбунтует в нем кровь. Ну охоч до баб, знает толк, но не до такой же степени – злился он на себя.

В это время мужики вытаскивали из леса добытую Омелькой в прошлую зиму пушнину, подносили к нартам. Некуччи проворно складывала ее, привязывала, но ни разу не обернулась, крепко держа зубами платок, чтобы, по местному обычаю, не показать своего лица чужим мужчинам.

И все равно волей-неволей Тренька постоянно глядел только на Некуччи.

Омелька сварил уху, перед каждым положил по горстке ржаных сухарей. Некуччи, примостившись в углу избушки, повернувшись ко всем спиной, держала сухари в руке, долго нюхала. Вогулич, захмелев, лез ко всем целоваться и говорил, не переставая, размазывая грязной рукой слезы на лице. По-видимому, он рассказывал что-то нерадостное о своей жизни или выказывал обиду, но его никто не понимал, и только Некуччи нет-нет да пыталась что-то сказать отцу. Несколько раз тявкнула вогульская собака, вогулич насторожился и, запнувшись о порог, вышел из избушки.

Скупое осеннее солнце скользнуло по холодной земле, смело с кочек выпавший утром снег, оставив его нетронутым возле стволов деревьев, кустарников и в ложбинах. На обнаженных местах лежала сырая трава, побуревшая

от холода. Собака, увидев хозяина, снова тявкнула. Вогулич побежал к берегу реки, прислушался. Какие-то непонятные звуки доносились издалека. Некуччи вышла вслед за отцом, припала ухом к земле. Все явственнее слышался топот оленьих копыт. Может, это ватага мангазейских самоедов? Вогулич встречаться с ними не хотел, особенно с Черемуховым Деревом.

– Ты по-нашему говорить умеешь? – спросил Тренька, подбегая к Некуччи.

Та, не теряя спокойствия, тихо ответила:

– Умею.

Отец в это время торопливо бегал между нартами, махал руками, показывая всем видом: пора уезжать. Подбежав к Некуччи, бесцеремонно схватил ее за руку и силой подтащил к Омельке, на что тот замотал головой.

– Оставляй девку! – неожиданно для себя закричал Тренька и стал доставать из своего мешка топор, ножи, чугунок, лоскут крашенины. Все это он сложил перед вогуличем, показывая, что Некуччи берет себе. В ответ отец пал перед Тренькой на колени и, вскочив на нарту, зычно крикнул на оленей, и те дружно побежали к темнеющему лесу. Некуччи растерянно глядела вслед убегающим нартам.

Давайте порассуждаем…

1. Как представлена в рассказе «Лейтенантова жена» жизнь русской деревни во время войны? Как живут в ней люди, какими делами, заботами, мыслями?

2. Насколько интересной и познавательной представляется вам картина школьной жизни, описанная в рассказе «Лейтенантова жена»?

3. Как вы думаете, в чем смысл истории о том, как дети искали частушки про Гитлера для концерта в госпитале?

4. Проанализируйте повествовательную манеру Маргариты Анисимковой в рассказе «Лейтенантова жена».

5. Какой предстает изображаемая в романе «Мангазея» историческая эпоха? Какие приметы, детали характеризуют ее наиболее выразительно, зримо?

6. Какие исторические события, факты показались вам наиболее интересными, может быть, неожиданными?

7. Как вы думаете, в чем заключается сущность главного, определяющего конфликта описываемых событий?

8. Какими средствами автор создает портреты своих героев? Насколько эти герои, по вашему мнению, убедительны?

9. Как вы думаете, даже если судить по представленным главам романа, чем герои и события, описанные М. Анисимковой, могут быть интересны, актуальны для нашего современника? Поразмышляйте на эту тему.

ВАГАТОВА (Волдина)
Мария Кузьминична
(р.1936)

Первое стихотворение на русском языке опубликовала в 1971 году в окружной газете «Ленинская правда». В 1987 году вышел в свет сборник стихов на хантыйском языке «Ас аланг» («Утро Оби»). Автор сборника сказок и стихотворений на русском и хантыйском языках «Маленький тундровый человек» («Ай Нерум Хо», 1996), переизданного в Венгрии в 1998 году. За эту книгу удостоена звания Лауреата международной литературной премии им. А.М. Кастрена (1998). Лауреат Всероссийской премии имени Д.Н. Мамина-Сибиряка (2003), за двухтомник на хантыйском и русском языках «Ма арием, арием» («Моя песня, моя песня»), и Всероссийской литературной премии им. Л. Татьяничевой (2007), премии Губернатора Югры в области литературы (2006).

Заслуженный работник культуры Российской Федерации, член Союза журналистов СССР, член Международного общества финно-угорских писателей, член Союза писателей России с 1997 года. Награждена орденом Почета.

Творчество Марии Кузьминичны Вагатовой – это сама мудрость хантыйского народа, идущая из глубины веков. Прочитав однажды ее стихи и сказки, понимаешь, что родиться они могли только на родном хантыйском языке: они передают красоту души народа, своеобразие его мировосприятия, глубину философского взгляда на мир. Но у нее есть и свой взгляд на этот мир, своя философия с очень добрым и чутким отношением ко всему, что нас окружает, со стремлением понять каждого человека, поделиться с ним теплотой и любовью. И в первую очередь любовью к родной земле, которая понимается как источник тепла, радости, вдохновения: «Тянет меня в родные места. Здесь я как бы рождаюсь заново, получаю огромный положительный заряд энергии, чтобы жить для своего народа». И еще более выразительно в стихотворении «Нерум» («Тундра»):

«Там тропинка, где отец ходил,
Сердцу диктует слова…»

Природа связана с людьми, с родными, которые жили и живут на этой земле, природа их помнит, помнит и слышит их Мария Вагатова. Это – память доброго и поэтически чуткого сердца: «В сердце моем вся природа…»

ЗАЙЧИК – ЧЁРНЫЙ ХВОСТИК

Сказка

Под голубым и солнечным Небом, на берегу одной чистой красивой Речки жил светлый чудесный Лес, жил светлый чудесный Бор. В этом Лесу, в этом Бору жили деревья, травы, цветы, большие и малые звери, летали птицы, бабочки, ползали жучки и паучки. Жили между собой очень дружно, соблюдали при этом вековые традиции и обычаи своих замечательных предков.

В этом же чудесном Бору жила заячья семья: Папа – Заяц, Мама – Зайчиха. Каждый год семья зайчиков пополнялась, появлялись на свет зайчики-девочки и зайчики-мальчики. И на этот раз родились у зайчихи-мамы детки, но только один зайчик-мальчик был особый. А как это особый? – спросите вы. А так. У всех зайчиков были обычные ушки, хвостики, спинки, а у «нового» особого зайчика ушки были чёрные, хвостик чёрный, на спинке чёрная полоска, она соединяла чёрные ушки и чёрный хвостик.

«Что за диво?! Это к беде или к радости?! Сколько живу на свете, сколько зайчиков повидала, но такого зайчика не видывала», – говорит старая зайчиха-бабушка.

Мама, папа, братики, сестрёнки, бабушка с дедушкой очень полюбили особого зайчика, заботились о нём, пели колыбельные песенки, целовали, кормили, одевали, играли.

Растёт в заячьей семье Зайчик – Чёрный Хвостик – такое имя дали особому зайчику. Но вот беда, совершенно иначе он стал относиться к своим родным...

«Я – особый зайчик! Я не буду с вами играть! Вы не такие, как я! Не люблю некрасивых!» – отвечает грубо, когда зайчики братики и сестрёнки зовут его играть.

Чёрный Хвостик стал бегать по берегу чистой красивой Речки и по чудесному светлому Лесу, по сухому чудесному Бору один, при этом не забывал хвастать: «Я красивый, я особый. Я никого не боюсь, я не хочу играть с вами. Вы все некрасивые! Я особый!»

Но всё же червячки, жучки, паучки, бабочки и рыбки пытались познакомиться с Чёрным Хвостиком, но каждый раз их встречи заканчивались либо ссорой, либо никак...

Стоит на берегу чистой красивой Речки Чёрный Хвостик, балуется водичкой, то одну лапку опустит, то другую лапку окунет в речку, а водичка в ответ: «Пул-пул, тюл-тюл»... Тем временем подплыла красавица рыбка и нежно поздоровалась с Чёрным Хвостиком.

– Здравствуй! Кто ты? Что тут делаешь? – а сама играет с водичкой, водичка от радости отвечает привычным для нас бульканьем: «Пул-пул, тюл-тюл». И представляете, как расхвастался наш особый зайчик.

– А знаешь, рыбка, какой я особый! Красивый! Умный, во всём Лесу нет такого зверька!

– Подумаешь, нашёлся красавчик! Ты вовсе не красивый! Посмотри на меня! Я что, не красивая? Ну тебя, хвастунишка, оставайся! – и уплыла рыбка в красивую речку.

Однажды Чёрный Хвостик побежал на берег чистой красивой Речки, в светлый Бор, в чудесный Лес. Бегал, резвился, искал друзей, но лесные звери убегали, деревья сторонились от него, наблюдали, гадали: «Зайчик? Не зайчик?». В заблуждение вводили зверьков, паучков, жучков его чёрные ушки, чёрный хвостик, чёрная полоска на спинке, такого зверька они в своём светлом чудесном Лесу раньше не видели.

Бегал, бегал Чёрный Хвостик, устал и решил отдохнуть, нашёл мягкую высокую кочку, залез на нее, стал крутиться. А тем временем Лиса разглядывала его и точно установила: это зайчишка, а никакой-то другой зверёк. Лиса очень любила зайчатину. Обрадовалась и стала подкрадываться к нему! Свой пушистый длинный хвост постелила на землю и тянула за собой как нарточку, плавно и мягко ступала лапками и тихонько переставляла их, боялась дышать, только изредка открывала рот, в нём блестели острые зубы, да изредка высовывала свой длинный язык, но она не забывала любоваться собой.

– Да, я красавица, умница, видите, какие у меня серьги, на шее – бусы, рукава моей шубы расшиты узорами. Красота какая! А хвост мой! Какой пушистый да длинный – красота, и только!

Вдруг Чёрный Хвостик увидел лису, конечно же, здорово струхнул, хотя он – хвастунишка, но очень трусливый был, только он не признавался в этом.

– Здравствуй, Чёрный Хвостик! – ласково поздоровалась Лиса.

Бедный зайчик так затрясся на высокой мягкой кочке, как будто танцует. Думы быстро забегали в его голове: «Что же делать? Лиса съест меня! Где мои братики, сестрёнки?! Кто меня спасёт?!» Но тут ему в голову пришло, что лиса очень боится охотника. Он давно её ищет, чтобы из её шкуры сшить воротник к тёплой шубке внучки.

– Тётя Лиса, ложись! – неожиданно крикнул Чёрный Хвостик.

Лиса и упала рядом, как подкошенная трава, а потом опомнилась и спрашивает:

– А зачем?

– Тётя Лиса, а вон там кто идёт? – опять закричал и показывает лапкой на берег чистой красивой Речки, – Неужели охотник?!

Лиса быстро повернулась назад, запнулась о собственный хвост, упала. Пока она возилась с собственным хвостом в испуге, затем поднялась, глядь – а зайчишки как не было!

Чёрный Хвостик прибежал домой, но ничего никому не стал говорить, как обманул тётю Лису, но стал ещё хвастливее, возомнил, что он не только особый, но и умный, смелый.

На следующий день Чёрный Хвостик опять побежал по берегу чистой красивой Речки и зашёл в светлый чудесный Лес. Играл, бегал, искал дру-

зей, но никто не стал с ним играть, все уже знали хвастунишку и зазнайку. Наступает вечер, Чёрный Хвостик устал.

– Отдохну чуть-чуть на высокой мягкой кочке, потом домой пойду, – подумал и залез на неё. Крутится, любуется собой. – Какой я красивый! Какие у меня чёрные ушки! Какая у меня чёрная полоска вдоль всей спины тянется! А какой у меня чёрный хвостик, меня даже так зовут! – вслух рассуждает Чёрный Хвостик.

Услышал Волк, остановился, смотрит.

– Ба! Это же особый зайчишка! Да я его съем! – решил Волк и подошёл совсем близко к Чёрному Хвостику.

Увидел Чёрный Хвостик Волка и так затрясся, как будто быстрый танец исполняет на кочке.

– Здравствуй, Чёрный Хвостик! – ласково поздоровался Волк.

– Здравствуй, дядя Волк! – дрожащим голосом ответил Чёрный Хвостик, а в голове бегали разные думы: «Что же делать? Где мои братики, сестрёнки?! Папа! Мама! Спасите!» – и вдруг вспомнил про охотника и еле-еле выговорил: – Дядя Волк, смотри, кто там идет к нам! – Поднял одну лапку и показывает в сторону лесной чащи. – Наверное, охотник.

Волк испугался, повернулся и стал осматривать лес, кто и где идёт, потом опомнился, развернулся, а Чёрный Хвостик уже исчез.

Прибежал зайка домой и снова никому ничего не рассказал, а душа ещё больше наполнилась хвастовством и зазнайством, братишки и сестрёнки спрашивают, где он был, что делал, кого видел. Чёрный Хвостик им говорит: «Какое ваше дело, где я был, где бегал. Я никого не боюсь, я самый смелый, умный, а главное, я особый». Хвастал до тех пор, пока не уснул. Наступил следующий день. Чёрный Хвостик опять бегал по берегу чистой красивой Речки и забежал в светлый чудесный Лес. Бегал, бегал, лакомился вкусной травкой, ягодками, друзей не нашёл, решил залезть на мягкую кочку, чтобы отдохнуть. А тут неожиданно кто-то схватил его за чёрные ушки и приподнял над Землёй.

– Ну, попался ты мне, хвастунишка! Кто это «особый»? Кто никого не признаёт? Кто самый умный, смелый? Я тебе не тётя Лиса! Я тебе не дядя Волк! Меня не обманешь, – это был медведь Пупи Ики – хозяин светлого чудесного Леса и чистой красивой Речки.

Несёт Пупи Ики Чёрного Хвостика через Лес, и все звери, птицы, деревья, паучки, жучки видят, как на ходу трясётся «особый» зайчишка и белеют от страха чёрные ушки, исчезает на спинке черная полоска и побелел чёрный хвостик.

Принёс Пупи Ики Чёрного Хвостика в заячью семью и бросил его к зайчатам братикам и сестрёнкам.

– Нате, берите его, он больше не будет особым, он больше не будет хвастать, обманывать, зазнаваться, – сказал Пупи Ики и ушёл в светлый чудесный Лес.

Смотрят зайцы – мама, папа, бабушка и дедушка, братишки и сестрёнки и видят: Чёрный Хвостик совсем побелел, остались чуть-чуть чёрные пятнышки на кончиках ушей, как у всех зайчиков, а хвостик белый, на спинке нет чёрной полоски.

С тех пор зайчики живут в светлом чудесном Лесу на берегу чистой красивой Речки своей заячьей жизнью со всеми обитателями светлого чудесного Леса, бережно храня и соблюдая вековые традиции и обычаи своих предков, и мы с ними живём и радуемся.

ХИЛЫ И АКИ ЧЕРНОЕ СЕРДЦЕ

Сказка

На перепутье семи соров, на перепутье семи рек жил Хилы со своей бабушкой, звали ее Има. Это были самые добрые, самые честные люди, и поэтому земля и воды не жалели своих даров для них, солнце им дни освещало, луна им ночи освещала, людское зло не трогало их сердца.

Очень гордилась Има любимым внуком. Он был умен, ловок, храбр. Какой бы день ни настал на земле, Хилы не сидел дома – он проверял ловушки. Попадал ли зверь, ловилась ли рыба в них, мы не знаем, но одно место, где ловил он налимов с большими и жирными максами[1], длиною в сажень, знали все люди семи соров, семи рек. Если кого застала неудача в пути, если в доме стало пусто и в котле варить нечего было, то Има и Хилы не скупились на помощь. Все считали, что за добрые души их земля дала им это место.

Так жили они, долго ли – тоже про то не знаем.

Но однажды случилось вот что. Пришел Хилы к своей налимьей ловушке, глазам не верит, думы и мысли отгоняет, которые тут же подсказывают ему недоброе: кто-то только что проверил морды и всю рыбу взял. Стоит Хилы, а ноги словно сетью опутаны, мимо него бегут то холодные ветры, то теплые ветры и шепчут ему: «Да, ты не ошибаешься. Недобрый человек только что был тут, проверил твою ловушку и унес добычу».

Люди семи соров, семи рек никогда не слышали о таком и не видели такого.

Стал думать Хилы, как найти этого злодея и как его наказать. В его человеческое сердце не вмещалось чувство, которое принес злой человек, посмевший проверить чужие ловушки. Лицо у него стало белым, как кора березы, сердце стало дуплистым деревом. Пришел Хилы домой к Има. Ни слова не сказав, лег на свои нары в переднем углу избы. Думы, как ветер, не давали покоя. Ночь прошла. Утром чуть свет снова Хилы отправился в путь.

Много ли прошел, мало ли прошел, подходит к налимьей ловушке. Снова злой человек опередил его, проверил морды и всю рыбу вынул. У Хилы вмес-

---

[1] Ма́ксы – моло́ки.

то налимов – пустой кузов и пустой пояс. «В одной голове ума и мудрости мало, надо посоветоваться с Има», – решил Хилы и отправился домой.

– Има, ты старый и мудрый человек, скажи, кто может нарушить закон предков, закон людей семи соров и семи рек – ходить росомахой и воровать чужую добычу?

– Кто про это сразу скажет? Ведь рука там не осталась. Но не простят воды, не простят, не простят леса, не простят люди человека, потерявшего душу, – сказала мудрая старуха. – Ты не печалься. Если люди днем не увидят этого человека, то нам помогут луна и звезды, им все видно с высоты небес, а ты можешь укрыться около ловушки и подкараулить, – советовала Има.

Хилы так и поступил. Чуть вечер наступил, Хилы ушел караулить. Кусты постарались укрыть его надежно, чтобы злой человек не заметил. Ночь проходит, утро приближается. Слышит Хилы скрип полозьев нарточки, насторожился, глаза и уши направил, чтобы увидеть и услышать, кто идет. Луна стала ярче светить, засверкали звезды, помогая глазам Хилы.

Пришел злой человек к ловушке, вытащил из воды морды, вынул налимов с большими и жирными максами, наполнил кузов, крепко привязал его к нарточке, поставил снова ловушку и хотел было отправиться в обратную дорогу, но тут перед собой увидел Хилы.

Хилы сразу узнал его, еще когда сидел в кустах. Это был Аки, который жил среди людей семи соров, семи рек. Сидело в нем черное сердце: он попавшему в беду первым не протянет руки, никогда к костру не позовет погреться. Никого не грело его черное сердце.

Знали это все.

– Ивлап-аслап! – воскликнул Хилы. – Не стыдно тебе, Аки, чужие ловушки проверять? Вот на какие дела ведет тебя черное сердце!

У Аки задрожали руки и ноги, как ветки деревьев в большой ветер, лицо стало черным, как ночь. Семь раз его подбросило над землей, семь раз падал на землю, потом вымолвил нечеловеческим голосом, как велело его черное сердце:

– Это ловушка моя, а не твоя!

Всего ожидал Хилы от этого человека, только не этих слов.

– Это ловушка моя, знают люди семи соров, семи рек, знают небо и земля! Как у тебя язык повернулся так сказать? – возмутился Хилы.

– Что мне люди семи соров, люди семи рек? Знает бог Торум, – процедил с закрытыми глазами Аки Черное Сердце.

– Хорошо, приведи своего Торума, пусть он докажет.

Как решили, так и сделали. В условленный час, в установленный день пришел Аки Черное Сердце с деревянным идолом-божком, и Хилы тоже побеспокоился о защите: уговорил свою мудрую бабушку Има сесть в нарточку, надел на нее украшения, платки, платья – преобразилась старуха.

«Сама богиня Вут-Ими пожаловала на спор», – подумал трусливый Аки, увидев разнаряженную «куклу».

Хилы поставил нарточку с Има на горку так, чтобы, чуть покачнувшись, она покатилась вниз.

Аки подошел со своим деревянным идолом и поставил его у дерева.

– Ну давай, Аки, будем решать, чья все-таки ловушка налимов. Спрашивай своего бога! – обратился Хилы к вору.

Подошел Аки к своему идолу и взмолился:

– Все, что имею, отдам тебе, хочешь, еще тебе сделаю подарок? – Повернулся он семь раз вокруг себя по ходу солнца. – Не обходил я тебя вниманием, полка твоя полна мехов и шелков. Дай знать Хилы, что ловушка налимов моя, она мне оставлена в наследство от предков моих.

Деревянный идол как стоял, наклонившись к дереву, так и стоял. Лицо Аки скривилось от боли, даже зубы оголились, а Хилы так громко засмеялся, что услышали люди семи соров, семи рек и решили узнать, что случилось, над кем смеется Хилы. И собрались в путь.

– А теперь, Аки, моя очередь спрашивать! Подойди сюда, встань перед моей нарточкой. Пусть эта женщина разрешит наш спор, чья ловушка налимов: моя или твоя. Пусть она наедет на того, кто лгун и вор.

Начала Има раскачиваться, а нарточка стала скатываться под уклон на Аки. Мечется Аки из стороны в сторону, катится вниз, а за ним – нарточка с Има. Над бедным старым Аки Черное Солнце стали смеяться воды и леса, ветер и люди семи соров и семи рек, успевшие добраться сюда. Не могло выдержать черное сердце вора, оно лопнуло, и он стал уже человеческим голосом кричать:

– Не моя ловушка налимов, а Хилы! Простите меня, люди, прости меня, Хилы!

И Аки не заметил, как у него появилось новое сердце, уже не черное, а такое же, как и у людей семи соров, семи рек.

Много ли, мало ли воды утекло с тех пор, много ли, мало ли дней и ночей ушло, но Хилы и Има по-прежнему живут среди людей семи соров, семи рек.

И мы с ними живем.

1973

МАТЕРИНСКОЕ СЕРДЦЕ

Как бы деревья шумели зелёной листвой,
Если б они не имели корней под собой?
Как бы цветы у подножья деревьев цвели,
Если бы не было вовсе земли?
Как бы узнали все люди, что Солнце взошло,
Если б оно не дарило своё нам тепло?

Да, никому никогда эту жизнь не начать –
Дверь в белый день не открыть,
Если это не сделает Мать!
Сердце у матери красного Солнца теплей,
Ну а забота о детях – бескрайней дороги длинней…
Сыщется ль в мире любви этой доброй цена?
Честь без корысти, которая жизни равна,
Строгая совесть, которая ласки нежней,
Вечная песня, которая смерти сильней.

1978
Перевод А. Кердана

СВЯТАЯ ЖЕНЩИНА-ОГОНЬ

Подаренная духом Ворт,
добра земля моя родная,
Над ней искрится солнце, свет
лучей бросая в синеву.
Святая женщина-огонь,
под ним, счастливая, взросла я,
святая женщина-огонь,
его надеждами живу.
Когда из дома выхожу,
что лаской и покоем дышит,
сах[2] надевая, выхожу,
он вырывается из рук –
его узорную полу
день дуновением колышет,
узоры яркие бегут,
огнём играя на ветру.
Я надеваю свой платок
в снегах, позёмкою повитых,
узоры, кисточки его
колышутся передо мной.

---

[2] Сах (сак) – меховая распашная шуба. Среди одежды ханты и манси сах занимает особое место. Он сопровождает человека буквально на протяжении всей жизни. Еще в колыбели младенца укрывают сахом. Взрослые его используют как одеяло. Наконец, непременно в сахе отправляют мужчину и женщину в мир мертвых. Сахи носят всесезонно. Различают мужские и женские сахи. Для мужских используют материалы темных расцветок. Женский сах светлее, более декорирован. Зимний сах по размеру больше летнего, так как он надевается поверх меховой одежды. Носят сах с шапкой, украшенной орнаментом или металлическими подвесками, а женщины – чаще с ярким кашемировым платком.

Я вижу жизнь земли родной
с семи её сторон открытых,
глазами ясными вобрав
всю прелесть красоты земной.
Теченья вод моих таят
источники семи мелодий,
всем слухом восприемлю их,
чьим тихим ладом дорожу.
Святая женщина-огонь,
так я живу в своей природе,
святая женщина-огонь,
её дорогами хожу.
Когда вхожу в своё жилище,
не ущемлённое углами,
сажусь – где исстари сижу,
покоем дышит мой изгиб,
красивыми руками я,
как плавниками обских рыб,
творю ветвящийся узор,
вернее, множество узоров,
святая женщина-огонь,
всем ханты я, по сердцу, друг.
Их золотые думы в песнь
любви и радости впишу я,
сплетая в ожерелье их,
я сокровенное творю.
Святая женщина-огонь,
так о возвышенном пою я,
святая женщина-огонь,
так об извечном говорю.
Подаренная духом Ворт,
добра земля моя родная,
над ней искрится солнце, свет
лучей бросая в синеву.
Святая женщина-огонь,
так о родной земле пою я,
святая женщина-огонь,
её заботами живу…

1986

Перевод Н. Шамсутдинова

ДОЧЕНЬКА, ДОЧЕНЬКА

Так придумано не мною:
Так велит закон природы:
Солнце в юрту днём заходит,
Ночью в небе свет Луны…
Так придумано не мною:
Пролетают быстро годы…
То, как дочки подрастают,
И не замечаем мы.
Доченька! Ты стала взрослой,
Научилась шить узором,
Украшать свою одежду,
В доме сохранять тепло…
Будет так, я это знаю:
Человека встретишь скоро.
Станет он твоей судьбою,
Так, как издавна пошло.
Пусть он будет сердцем светел
И высок в своих поступках.
Пусть в лицо вам смотрит Солнце,
А в полночный час Луна…
Чтоб измены злобной ветер
Не коснулся вашей юрты,
Чтоб позор, что не сотрётся,
Души вам не запятнал.
Мужу ты постель постелешь
И в плечо ему уткнёшься.
Пусть же не обходят люди
Дом, открытый для друзей…
Жизнь – дорога сквозь метели,
Время, что тебе даётся.
Пусть же мне не стыдно будет
Зваться матерью твоей.

Перевод А. Кердана

СВЕКРОВИ

Благодарю я за любовь
Склонённой головой
Тебя, незримая свекровь –
Мать мужа моего.

За то, что лучший из мужчин
Мил сердцу моему,
За то, что плакать нет причин
У очага в дому.
Ты в мир другой давно ушла,
Но доброта твоя
Разлита в сыне без числа –
Он тратит не тая.
Своей богатою душой
Судьбу перелистал,
Он русским братьям друг большой
И вровень с ними встал.
Родные искры теплоты
Чувала средь зимы
Оставила для внучки ты,
Чтоб радовались мы.
И тёплый тундровый костёр
Твоих тяжёлых дней
Не покидает сына взор
У городских огней.
Тебя не знала я в лицо,
Но светлые черты
Твой первенец дарил отцом
Дочурке. С нами ты.
И твоей внучки колыбель
Несу я, как любовь…
Пусть будет мягкою постель
Земли тебе, Свекровь!

Перевод В. Мазина

МУЖЧИНА ПРОЕХАЛ

К. Н. Вагатову

Жизнь – дорога через тундру.
Хорошо бегут олени!
А возница сам походит
На оленя-вожака…
И несётся вдаль упряжка
Вдоль урманов и селений,
И сидение на нарте
Сплетено из ивняка.

Бьют бубенчики игриво,
Каждый шаг встречая звоном.
И, как мох, черны возницы
и усы и борода…
Мчит упряжка через годы –
После долгих перегонов,
Словно снежный ком на ели,
Станет голова седа.
Три стремительных оленя
Вдаль несут упряжку эту,
Чтоб потом, когда сомкнётся
Вслед за ними окоём:
– Как красиво жил мужчина,
Как проехал он по свету
На своей счастливой нарте… –
Говорили бы о нём.

Перевод А. Кердана

УСЛЫШЬ!

В. Волдину

Острым лезвием горе
Перерезало жизнь
И платком своим черным
Закрыло глаза...
Как прожить мне без солнца?
Любимый, скажи!
Ничего мне в ответ ты не сможешь сказать.
Помоги мне подняться,
Беду одолеть
И по жизни меня за собой поведи...
Чтобы сердце мое не устало гореть
Рядом с сердцем твоим,
Что не гаснет в груди
У любого из ханты...
Звучит оно в такт
С каждой песней,
Что светится ярким костром.
И внезапно покажется:
Горе – пустяк,
Его лезвие вовсе не так уж и остро.

Перевод А. Кердана

ПОЛЕТ

В сказке к Торуму летала,
Поднималась в облака,
И мечтала, и мечтала:
Стану я, как пух, легка.
Вот уж небо голубеет
Океаном надо мной...
И поверить я не смею,
Что парю я над землей.
Будто Торум лодку выслал –
Всю из белых облаков,
Я лечу быстрее мысли
Над дымами городов.
Став крылатой, словно птица,
Я лечу в Москву учиться –
Дочь туманов и снегов!

Перевод А. Кердана

* * *

Если сердце мое поет,
Разве стерплю я жить без звука?
Если душа моя рвется ввысь,
Я не усижу на земле.
Каждой весной живые листья
На хрупких веточках вырастают,
Затем деревья расцветают.
Сердца моего кровяные нити словно
Весенней водой переполнены.
Они бурлят, колышутся, плещутся,
Новые мысли льются,
Слова выходят, появляются.
Они ветвятся, как корни и крона березы.
Если сердце мое поет,
Я тоже запою.
Если душа вверх просится,
Я тоже полечу.
Как весенние живые листья и цветы
Украшают воды и земли,
Дарят земле красоту жизни,

Так же мои слова и песни
Пусть войдут в сердце моего народа,
Пусть поселятся в душе моих людей
Радость и тепло от них.

Подстрочный перевод автора

Давайте порассуждаем…

1. Как вы думаете, о каком восприятии мира, каком его понимании говорят слова: «жил светлый чудесный Лес, жил светлый чудесный Бор. В этом Лесу, в этом Бору жили деревья, травы, цветы…» (сказка «Зайчик – Черный Хвостик»)?

2. Расскажите о том, как и чем живут Черный Хвостик и окружающие. В чем принципиально расходится их поведение?

3. Как вы поняли суть произошедшего с Черным Хвостиком и смысл всей сказки?

4. Какие особенности образного мышления автора этой сказки вы заметили? Какие образы показались вам наиболее интересными, выразительными? Приведите примеры.

5. О каком понимании мира, отношений человека с природой свидетельствует сказка «Хилы и Аки Черное Сердце»? Есть ли в этой сказке сказочные, волшебные события?

6. Как вы поняли то, по какой причине в сказке торжествует справедливость? Не смущает ли вас такая причина торжества справедливости? Порассуждайте на эту тему.

7. На чем строится образная система стихотворения «Материнское сердце»? Как в этом стихотворении представлена и какую роль выполняет природа?

8. Каким предстает окружающий мир в стихотворении «Святая женщина-огонь»? Какие наиболее выразительные слова и выражения находит поэтесса для характеристики этого мира?

9. Как реализуется в тексте стихотворения признание «я живу в своей природе»? Что характерно, что является главным, определяющим для человека, который живет «в своей природе», если судить по этому стихотворению?

10. О какой особенности жизни свидетельствует такая деталь стихотворения «Святая женщина-огонь»: «вхожу в своё жилище, не ущемлённое углами»?

11. Что, по мнению автора стихотворения «Доченька, доченька», является свидетельством взрослости той, к кому оно обращено? Как это характеризует не только быт, но и мировоззрение народа ханты?

12. Как вы думаете, каков смысл стихотворения «Доченька, доченька»? Какую роль в создании этого смысла выполняет окружающая человека природа? О каком понимании природы такое отношение к ней свидетельствует?

13. Расскажите о своем понимании смысла стихотворения «Свекровь». Какие художественные средства использованы для того, чтобы этот смысл был реализован выразительно, впечатляюще?

14. Как вы думаете, о какой роли мужчины говорит поэтесса в стихотворении «Мужчина проехал»? Насколько соотносится такое понимание роли мужчины с современным обществом, современной семьей? Порассуждайте на эту тему.

15. Как вы поняли слова «Жизнь – дорога через тундру» (стихотворение «Мужчина проехал»)? Найдите в этом стихотворении еще слова и выражения, которые выразительно, красочно характеризуют и жизнь, и роль человека в ней.

16. Каким предстает любимый человек в стихотворении «Услышь!»? Каким настроением проникнуто это стихотворение?

17. Как описан полет в одноименном стихотворении? Какой смысл видит в своем полете лирическая героиня?

18. Как вы поняли смысл стихотворения «Если сердце мое поет»? Что значит для поэтессы петь, а главное, как она понимает, для чего?

19. Напишите небольшое сочинение-рассуждение или эссе о творчестве М.К. Вагатовой на тему «Душа просится вверх».

ВОЛДИН
Владимир Семенович
(1928–1971)

Первые стихи были опубликованы в газетах «Ленинская правда», «Тюменская правда», «Тюменский комсомолец», в Ленинградской областной газете «Смена». Печатался в журнале «Сибирские огни», в коллективных сборниках «Поэты народов Сибири» (1967), «Братство» (1982), «Обновленная Югра» (1978), «Вам, романтики» (1978), «Владимир Волдин – ханты мир поэт» (1993), в альманахе «Эринтур». Первый сборник стихов «Ханты» на родном языке вышел в 1968 году.

Произведения поэта изучаются сегодня в национальных школах округа. Многие стихи переложены на музыку и стали песнями. В. Волдин известен как собиратель фольклора: он оставил после себя богатейшую фонотеку песен, сказок, легенд. Многое из собранного им звучало и звучит по окружному радио, опубликовано в национальной газете «Ханты ясанг».

«Таежную свежесть, величия миг
Вобрал мой красивый хантыйский язык», –

написал Владимир Волдин, и эти слова как нельзя лучше подходят для характеристики его собственного творчества. Свежесть взгляда на мир, на овеянную легендами землю прадедов, на тайгу, в которой живет человек, что может «чуять погоду», что не оставит никогда в беде. Он видит величие и родного дома, который «люди Севером зовут», и величие человека, издревле живущего в этом доме.

Поэт уверен в том, что «каждое слово на сердце похоже»: слово для него – живое, чувствующее, чутко откликающееся. Человек, не знающий родного языка, не умеющий мыслить на нем, для поэта – «просто место пустое». Его поэтический язык богат и красочен, он живет образами и мыслями родной культуры, он живет тем, что поет, и его песня красива.

Писатель Еремей Айпин отметил: «Владимир Волдин, поэт, воспевший свою суровую землю… Поэт и человек, которого помнит Север, которого помнят сородичи на Иртыше и Оби, на Ить-Яхе и Казыме.

Поэт с недопитой кружкой в руке.
Поэт с недопетой песней на устах.
Поэт с небо…»

ТАК МОЛУПСИ

Поэма

I

О людях, о судьбах я думаю часто.
В чем видели прадеды светлое счастье?
В сказаньях и песнях ищу я ответ...
Мне в детстве легенду рассказывал дед.
Давно это было.
Вы, может, слыхали,
Что к юртам хантыйским песцы прибегали?
И волки бродили, лишь станет темно,
И вещие совы стучались в окно.
Жил-был человек. Кто он родом, откуда?
Сегодня и мы не узнали покуда.
Наверно, его наградила тайга
Веселым характером, силой в руках,
Умом, красотою, в работе сноровкой.
За что бы ни взялся, все делал он ловко.
Один уходил за добычею в бор.
И промысел был ему легок любой.
Однажды, проверив слопцы на полянах,
Он был изумлен неудачею странной:
В надежных слопцах не нашел глухаря.
Неужто приманка положена зря?
– Эге! Кто-то съел, насмехаясь, приманку! –
Воскликнул, вглядевшись, рассерженный ханты.
А мусор подбросил! И ханты сказал:
– Ну, зверь, попадись мне теперь на глаза!
Я знаю: медведь на такое способен.
Он туче лохматой и черной подобен,
Да только со слабыми ловок и храбр.
Давно бы его проучить мне пора!
Едва он воскликнул – за деревом рядом
Раздался треск сучьев медвежьей засады.
Встал зверь на дыбы, зубы дико оскалив.
Страшны его лапы, шерсть с рыжей подпалиной.
И замерло солнце. Зверь прыгнул на спину.
Но храбро вступил человек в поединок.
Ушел от удара, силен и хорош,
Да времени нет, чтобы выхватить нож.

Как выпустить руку, коль пасть он разинул
И дышит в лицо духом тошным звериным?
Бежит по щеке кровяная слеза.
Как угли горящие, зверя глаза.
Момент улучил. Сталь протяжно взметнулась,
И ревом предсмертным тайгу покачнуло.
Обрушило небо закат на траву,
Багряным окрасила кровь синеву...
Охотника звали с тех пор Так Молупси –
Что «Крепкая Малица» будет по-русски...
Как долго он жил? Есть ли внуки сейчас?
Послушай же дальше легенду-рассказ.

II

Последнею льдиной растаяла вьюга.
На плесе приветствуют люди друг друга.
Бескрайне весной половодье Оби.
Купцы понаехали. Празднику быть...
Ты скажешь, приятель:
– Купцов нынче нету.
Эге, не спеши! Лучше слушай легенду.
Кто злую усмешку хранит на лице,
Смеется в начале, да плачет в конце!
Мы любим преданья и песни хорошие,
Они забывать не дают нам о прошлом.
Веселые, грустные песни подчас
Народною мудростью радуют нас.
И если я вспомнил легенду, быть может,
Кому-то она поученьем поможет,
Кого-то обрадует светлой мечтой,
Кого-то накажет насмешкою злой.
Был берег зеленой тайгой оторочен.
Веселье кипело с утра и до ночи.
Вот кто-то смеется и кто-то поет.
Вот пляска танцоров за плечи берет.
А рядом торговля. Корзины рядами.
В них нельмы еще шевелят плавниками.
Себе на уме, все приметив давно,
За рыбу купец предлагает вино.
Опившись веселого этого зелья,
Друзья его мучатся сытым бездельем.

Нахальные, с гирями злых кулаков
Кричат и зовут на борьбу рыбаков.
Стал берег похож на живун с пескарями,
Где ходят свирепо купцы с осетрами.
Глядит Так Молупси, кто верх здесь берет:
Не выдержал он и сердито встает:
– Эй, кто там суровой борьбы не боится,
Один на один вызываю сразиться.
Плечистый и сильный стоит на песке,
И гневно дрожит бурый шрам на щеке.
Смеется купец:
–Что-то очень ты храбрый!
Коль так ты силен, почему покарябан?
Медвежью тамгу на лице залижи!
Уж лучше бы рыбы ты мне предложил.
Вскипел Так Молупси от речи ехидной:
–Ты хуже налима, что ест мертвечину,
Питаешься кровью родных мне людей,
А в алчности ты не жалеешь детей!
Пускай на лице моем горькая мета:
По-разному платят в борьбе за победу.
Медведь-богатырь был не ровня другим,
Но я не упал на колени пред ним!
Бой начался вмиг, словно зимняя вьюга,
Купец и таежник вцепились друг в друга.
Ломаясь, тальник распластался у ног –
Швырнул Так Молупси купца на песок.
Сапог торгаша взвился к звездным накрапам,
Плыла по воде соболиная шапка.
Услышали небо, тайга и река:
– Ну, вот и увидел ты гнев рыбака!

III

У памяти нашей есть доброе свойство –
Деянья героев беречь для потомства,
В легендах и песнях хранить их черты...
Жизнь наша – свершение древней мечты.
Мне чудится ночью:
Пытливо и строго
Застыли огни над тайгой, над дорогой.
Вниз звезды глядят, озаряя леса,
Как будто героев погибших глаза.

Их малицы были крепки, как кольчуги,
Туги и надежны упругие луки.
А стрелы, чьи клювы острее иглы,
Разили врагов, беспощадны и злы.
Рассказывал мне дед Андрей на Назыме,
Встречал Так Молупси он днями былыми.
Был парень как парень.
Винтовка в руке.
Пониже буденовки – шрам на щеке.
Встречали его пастухи молодые.
А кто-то с ним строил в тайге буровые...
А, может, и внук Так Молупси сейчас
Взволнованно слушает этот рассказ.

IV

Легенды мои, сказки дедов и песни!
Всего мне дороже напев их чудесный.
Таежную свежесть, величия миг
Вобрал мой красивый хантыйский язык.
Словами про звезды скажу, про озера,
Как будто на малице вышью узоры.
Веселый иль хмурый в печали своей,
Пускай мой рассказ вам напомнит людей.
Ведь каждое слово на сердце похоже:
Такое живое и чуткое тоже.
Кто нынче не знает язык свой родной,
Тот край свой не любит, народу чужой.
Такой человек – просто место пустое.
Он путь мне на нартах вовек не закроет.
Он глуп и смешон, как глухарь-красноглаз...
Я дальше продолжу свой прежний рассказ.

V

Друзья на Казыме! Ну как вы живете?
Я знаю: опять меня в гости вы ждете.
Когда приезжаю, ребята гурьбой
Приходят всегда повидаться со мной.
Рыбак и охотник, идущий навстречу –
Здесь все говорят на отцовском наречье.

Труд любят, как малицу или кисы.
Труд нужен, как малица или кисы.
Сегодня я гость у них. Кружатся песни
В морозном февральском седом поднебесье,
И нарты оленьи построились в ряд.
Хантыйскому празднику каждый здесь рад.
Веселье, как кровь, по артериям бродит.
На празднике новые песни сегодня –
О жизни хорошей в югорской земле,
О звездных ракетах, что мчатся во мгле.
Пастух молодой с сердцем, полным отваги,
Старик с бородою кудрявой, как ягель...
Проворны их руки, и ноги сильны.
Готовы и сами лететь до Луны.
Да только нужны на Земле эти руки
Оленей растить и воспитывать внуков.
О прошлом рассказывать нам не из книг...
Я слышу, поет Лэл Микола – старик:
Он – лесной мужичок,
Чуть раскос, невысок.
Ханты, я о вас пою.
Песню слушайте мою,
С первых от рожденья дней
Половину жизни всей
Лямкой лодки я таскал
Для купца, что торговал.
Ни одним не ведал днем,
Что помогут мне потом.
Пять оленей, пешек пять
Мне решили люди дать.
Так вот я их доставал,
Так растил и сберегал.
А теперь сижу, грущу:
Где пастись я их пущу?
О! Есть место – Сорум Ов.
Вдоль зеленых берегов
Распущу их, отведу.
Там не встречу я беду.
И оленей десять штук
Побежали рысью вдруг.
Был тогда я очень рад,
Только не был я богат:
Если снежный день придет,
След их быстро заметет.

Если дождь пойдет, в момент
Смоет всех оленей след.
Нет от них богатства мне,
Нет от них одежды мне.
Так их мало у меня –
Дунет ветер среди дня,
Как пушинки разнесет.
Кто оленей мне найдет?
А в совхозе над рекой
Нынче сейф большой стальной.
Деньги сообща кладет
Ханты – трудовой народ.
Позабыта здесь беда.
Бродят тучные стада.
Надо ехать – выбирай,
Сколько хочешь запрягай.
Погляди: любой из нас
Носит малицу сейчас.
Вот богатство и одежда?
Наше счастье и надежда!
– Подожди, не торопись
И за всех нас не хвались, –
Карысь Петар перебил.
Тоже стар, но полон сил.
Начал так он свой рассказ:
– Жаль, не молод я сейчас.
Только ни при чем года,
Если песня молода.
Рештy сын я самый старший.
Имя вам любой подскажет:
Карысь Петар – это я.
Есть олени у меня.
Дал совхоз их мне. В дороге,
Словно ветер, быстроноги.
И в метели, и в грозу
Грузы ценные везу.
От далекой юрты зимней
Ездил я в село Вершина.
И на путь меж деревень
Я затратил только день.
В нарте легкой, в нарте быстрой
Вез мех ценный, серебристый.
Служат людям пусть теперь
Красный зверь и черный зверь.

Мне сказал товарищ русский:
Ловок ты, как Так Молупси!
Всем пример ты показал.
Ты ударник, – он сказал.
Я купил в подарок милой
Ткани радужной, красивой,
С расписным узором шаль.
Денег было мне не жаль!
Понеслись домой олени,
Песня взвилась до небес.
Подпевал мне старый лес.
– Да, олени, – тихо молвил
Невысокий Лэл Микола,
– В них была всей жизни суть.
Молодежь, не позабудь,
Размечтавшись о ракетах,
Что полеты над планетой
Начинались на земле
С бега нарт в метельной мгле.

VI

Небо – пятнистая шкура оленя.
Звезды глядят, чуть мигая, на землю.
Мысли мои, как олени, бегут,
Думы мои про тайгу, про тайгу.
Края хантыйского лучше не знаю.
Солнечный бор – сердце милого края,
В сердце моем кровь горячая бьет.
Сердце трепещет живое мое.
Разве тайга не живая? Взгляните:
Солнца прозрачные руки, как нити.
Слушайте – бьются в подземных корнях
Соки земли, силой ветви поя.
Силу вбирают иглистые листья.
Жить здесь легко будет зверю и птице.
Людям понять это легче всего,
Корни народа – легенды его.
Ветви – растущее новое племя.
Люди – живое легенд продолженье.
Жить нам, бороться, тайгу сберегать...
Я Так Молупси припомнил опять.

Не потому ли в наряде как будто
Наша тайга в это светлое утро.
Крепкий веселый узор из ветвей,
Точно на малице, вышит на ней.
То ли в душе моей песенка дремлет,
Или поют ее сами деревья?
Не уставая звенит в вышине.
Песенка, с детства знакомая мне.
В шорохе листьев, в рябиновых бусах
Слышу мелодию о Так Молупси.
Слышат и звери, и птицы ее –
Это же край мой любимый поет!
Пусть же взлетает мелодия к тучам –
С нею живется и легче, и лучше.
Пусть я устану в суровом пути,
Песенка дальше моя полетит.
Солнечным утром с прохладным туманом
Я выхожу на лесную поляну.
Вижу – охотник идет промышлять,
Лодку рыбак приготовил опять.
Вместе со всею хантыйской землею,
Всеми глазами погибших героев,
Всеми глазами живущих смотрю.
Песню пою я, встречая зарю.

Перевод В. Нечволоды

СОСНОВЫЙ БОР

Я люблю сосновый бор.
Сосны в нем, как руки солнца.
Песни сыплет птичий хор.
Воздух сладок – пей до донца.
Я люблю сосновый бор.
Им лесные звери живы.
Наши земли, наши воды
Бережет он с давних пор.
Ну а если жадный вор
Или враг в него прорвется,
Он обратно не вернется:
Будет страшным приговор.
Лось забьет его в упор,
И олень пронзит рогами.

Так ведет он речь с врагами,
Наш сосновый, гордый бор.
Ты же, добрый человек,
В бор иди, как к человеку,
Как ручей впадает в реку,
Или в море – воды рек.
От дождя тебя шатром
Он в ненастный день укроет,
На поляне стол накроет,
За добро платя добром.

Перевод Л. Решетникова

МОЙ ДРУГ И Я

На берегу реки – сосна.
Береза рядом с нею.
И кажется мне, что она
И старше, и сильнее.
Гроза гремит ли, сыплет град,
Трещит мороз иль вьюга,
Плечом к плечу они стоят,
Как верные подруги.
И у меня есть русский друг
Надежный без сомненья.
И наших душ, и наших рук
Я славлю единенье...
Стоят два дерева.
Весна.
И, кажется мне: я – сосна,
Мой русский друг – береза.

Перевод Н. Касьянова

МУЗЫКА

Сдал я шкурки и безмерно рад:
Продали мне чудо-аппарат –
В маленькой коробке на ремне...
Пошумит и что-то скажет мне.
Я иду, а с неба дождик льет.
Я пою, и радио поет.

Сумерки и ветер нипочем
С музыкой хорошею вдвоем.
Я шагаю по родной земле,
И трава поет со мной, и лес,
Пляшут ели пышные легко.
Горе, неудачи – далеко!
Темнота и ветер нипочем –
С музыкой веселою идем.
И усталость ветерком смело.
Показалось вдалеке село.
И в окошках, словно мотыльки,
Подхватили песню огоньки.

Перевод Н. Касьянова

ОХОТНИК

Как из давней сказки воин –
За спиной с колчаном стрел,
Он отважен и спокоен,
Он стремителен и смел.
И в руках его – не стрелы,
А новейшее ружье.
Вот бежит он рощей белой,
Зорко смотрит сквозь нее.
Видит он за веткой чащи
Разных почерков следы:
След петляющий, скользящий,
Уводящий от беды.
Вот в своей землянке грубой –
Под навес корней залез –
Спит медведь, укрывшись шубой,
И храпит на целый лес.
Вот лосенка сквозь чащобу
От волков уводит лось.
У зверей от дикой злобы
Аж дыхание зашлось.
Вот лиса в огнистой шкуре
Подползает из-за пня
К той зайчихе, что, как дура,
Зорю бьет в средине дня...

И охотник не разбойник,
Брат гонимому зверью,
Заложив патрон в патронник,
Бьет, имея мысль свою.
Он сначала целит молча
Волку меж горящих глаз,
Чтоб не чья-нибудь, а волчья
Кровь на землю пролилась.

Перевод Л. Решетникова

ЗЛО, КАК МУСОР, УНЕСЕТ...

На реке вздыхают плесы,
Проплывают шумно льды.
Дети враждовавших взрослых
Подружились у воды.
Стали люди откровенней.
Ссоры тают, словно лед.
Пусть течением весенним
Зло, как мусор, унесет.

Перевод В. Нечволоды

МЕЛОДИИ ВЕСЕННИХ ПЕСЕН

Человек весной счастливей.
Слушай песню дедов вновь:
В древнем, словно Обь, мотиве
Струи новых, светлых слов.
У весны улыбки ясны.
Песни весен разгадай:
Ты узнаешь, как прекрасен
Северный хантыйский край.

Перевод В. Нечволоды

ОГОНЬ

Огонь – начало всех начал.
Он стар и вечно юн.
Огонь родного Ильича
Горит в моем краю.

Он правду людям рассказал
И силу дал рукам…
Я вижу лучики в глазах
У ханты-старика.
Пришел огонь, как праздник, в чум
И нам сердца согрел.
И мой народ,
И я хочу,
Чтоб он всегда горел.
Дымил костер,
Тянулся чад
Веками над тайгой...
То было раньше,
А сейчас
Мы сами, как огонь!

Перевод Н. Касьянова

СЕВЕР МОЙ

Где б мои пути ни пролегли,
Где бы ни встречал зарю свою,
Слышу я дыхание земли,
Чувствую ее в любом краю.
Подожгло ли золотом леса –
Значит, час страды у деревень;
Выпала глубокая роса –
Это будет завтра добрый день.
Пляшет ошалело поплавок –
Значит, дождь почуяла река.
Будет ли грибов и ягод впрок –
Обо всем расскажет мне тайга.

Перевод В. Нечволоды

ХВАСТЛИВЫЙ ПАРЕНЬ

Тянет полоз тонкий след,
Словно нитку из клубочка,
Мошкарой взлетает снег,
Нарта прыгает на кочках.
– Я заряд не трачу зря,
Хоть негоже восхваляться.

Буду бить я глухаря,
Добывать песца-красавца.
Кто там лучший из стрелков?
Славу я твою оспорю!
Потягаться я готов,
И себя не опозорю!
Я – жених, и счастлив так,
Что готов подпрыгнуть в небо!
– Что ж ты хвастаешь, чудак!
Ты еще в лесу-то не был...
Опозоришься, ей-ей,
Вот народ-то посмеется.
От невесты от своей
Червяком ползти придется.

Перевод Л. Решетникова

МЫ С ТОБОЙ

Я тебя искал, тебя я ждал,
И, глазам не верю, повстречал!
Милая стройна и смуглолица,
Но боюсь к тебе я наклониться.
В мыслях нежно за руку беру,
Сердце, будто ветка на ветру
Птицею в моей груди взметнулось:
Ты его дыханием коснулась.
Только что же молча мы стоим?
Осмелев, тебе сказал я: – Мин.
Мы вдвоем, ты видишь – мы с тобой!..
Так вот и пришла ко мне любовь.

Перевод Н. Касьянова

ЛЕТИ, МОЯ ПЕСНЯ

Под небом хантыйским,
Над краем богатым
Звучи, мое слово, светло и крылато.
Возьми остроту у зрачков ястребиных,
Певучую мягкость походки рысиной,
Собак бескорыстность,

Оленя сторожкость,
Величие лося,
Лисы осторожность.
Костром будешь путнику,
Посохом старцу.
Охотнику – пулей,
Больному – лекарством.
Будь полем и небом,
Рекою и лесом,
Будь мной и соседом,
Будь Родиной, песня!

Перевод В. Нечволоды

ХАНТЫ

Всех людей мы называем – ханты.
Ханты – русский, ненец и узбек,
Потому что это слово – ханты –
В переводе значит человек.
Это очень дорогое слово.
Ты не выпускай его из рук,
Не развей по ветру бестолково –
На него откликнется твой друг.
И куда б потом ты ни поехал,
Разнеси своим друзьям его –
Словно раскаленные орехи,
Искры из чувала своего.
Это слово северным сияньем
Пусть пылает и в полярной мгле.
Помни наше мудрое названье,
Ханты – все народы на Земле.

Перевод Э. Кияна

Давайте порассуждаем…

1. Чему и кому, на ваш взгляд, посвящена поэма «Так Молупси»? Как в поэме сказано о том, ради чего и ради кого она написана?

2. Почему поэт называет свое произведение «легендой-рассказом»? Что в ней легендарного? Как выступает и как характеризуется в поэме человеческая память? Как вы поняли, зачем человеку дана память?

3. Как представлена современная жизнь народа ханты? Что более всего привлекает поэта в этой жизни?

4. Проанализируйте образный строй поэмы «Так Молупси». О каком восприятии мира вам говорят, к примеру, такие образы, как «Последнею льдиной растаяла вьюга», «Небо – пятнистая шкура оленя», «Обрушило небо закат на траву». Найдите в тексте поэмы подобные образные выражения.

5. Как видит, как понимает сосновый бор поэт в одноименном стихотворении? Какие он находит слова, образные выражения для характеристики соснового бора? Как характеризует, например, сосновый бор то, что «Сосны в нем, как руки солнца»?

6. Как охарактеризованы сосна и береза в стихотворении «Мой друг и я»? Как вы думаете, в чем смысл того, что поэт видит себя сосной, а своего русского друга – березой?

7. Расскажите о том, как вы поняли смысл стихотворения «Музыка».

8. Каким предстает мир тайги в стихотворении «Охотник»? Что в образе этого мира показалось вам наиболее интересным, запоминающимся? Как вы думаете, почему поэт называет человека с ружьем в тайге, охотника «не разбойником», а «братом гонимому зверью»? Нет ли здесь противоречия?

9. Как вы думаете, о каком восприятии мира свидетельствует мысль, высказанная в стихотворении «Зло, как мусор, унесет…»? Какие образные средства находит поэт для воплощения этой мысли?

10. Прокомментируйте главную мысль стихотворения «Огонь» («Огонь – начало всех начал»). Расскажите о том, как вы ее понимаете.

11. Каким предстает образ Севера в стихотворениях «Север мой» и «Мелодии весенних песен»? Дают ли эти стихи представление о том, как относится поэт к своему Северу? Если да, расскажите о том, каким вы это отношение увидели. Как вы думаете, почему поэт считает, что «человек весной счастливей» (стихотворение «Мелодии весенних песен»)? Можете вы с этим согласиться? Почему?

12. Как вы поняли смысл стихотворения «Хвастливый парень»?

13. Каким предстает образ любимой в стихотворении «Мы с тобой»? Чем прежде всего привлекает он лирического героя? Каким вам представляется человек, который написал такие стихи о любви?

14. Какой смысл вкладывает поэт в понятие «моя песня», если судить по стихотворению «Лети, моя песня»? О каком понимании поэзии, ее роли в жизни человека свидетельствует это стихотворение?

15. Расскажите о том, как поняли мысль стихотворения «Ханты». Насколько она вам близка, или вы придерживаетесь другого мнения? Почему?

16. Напишите небольшое сочинение или эссе о творчестве Владимира Волдина, взяв в качестве темы его слова «Лети, моя песня…»

ВОЛКОВЕЦ
Владимир Михайлович
(р. 1953)

Стихи печатались в еженедельнике «Литературная Россия», в журналах «Мир Севера», «Наш современник», «Странник», «Урал», «Югра», в коллективных сборниках и альманахах, в хрестоматии «Литература Тюменского края. Кн. 1, 3» (1996), в антологии «Литература Югры: 1930–2000. Кн. 1» (2001).

Опубликовал поэтические сборники «Сосновый дом» (1982), «Отцовский лес» (1986), «День начинается с ветра» (1991), «Встретимся в августе» (1994), «Солнце на подоконнике» (1998), «Осень на Севере» (1998), «Одноединственное» (2005), сборник стихов и прозы «Окрыленный бездорожьем» (2001).

Член Союза писателей России с 1988 года. Член правления Ханты-Мансийской окружной организации Союза писателей России.

Лауреат премии Губернатора автономного округа в области литературы (2004).

Лирика Владимира Волковца жива постоянным стремлением осмыслить время и судьбы живущих в нем людей, понять, кем является человек на этой земле и как он зависит от окружающей его природы. Его лирический герой умеет жить не только среди людей, но и в дорогой ему природе, которую он умеет видеть и слышать. Он владеет даром проникновенно и узнаваемо говорить о том, что такое дорога к любимому человеку. Великолепно владея словом, умея найти в нем, даже в самом, казалось бы, прозаическом образную глубину, поэт презирает «жаргон шпаны и тюрем», но болеет душой за тех, кто, к сожалению, заговорил на этом языке. Он обладает даром в «суетливой тщете» человеческой жизни видеть смысл бытия и главное – знает слова, которыми об этом нужно рассказать.

«Русская литература, – размышляет поэт, – всегда художественно осмысливала время и судьбы живущих в нем людей. Не может душа не болеть за случившееся с нами в последние годы… Чтобы осознать и выразить, поэзии не хватает дыхания, прозе – усидчивости и времени, а публицистику вытравило телевидение. И все же каждый писатель ищет возможность через образ и слово рассказать о пережитом».

Думается, что поэту Владимиру Волковцу хватает дыхания, чтобы «через образ и слово» выразить сокровенно пережитое.

НОЧЬ ПРОЕЗДОМ

На вокзале счет минут
В ту и в эту сторону
Равно медленно ведут
Местному и скорому.
И неважно для того,
С запада он, с севера,
Или даже одного
Ожидают семеро…
Будет полночь без пяти.
И займу законную
Шириной с билет почти
Тишину вагонную,
И тогда во всю длину
Перестук-мелодию
Сон старинный затяну
Про любовь и родину.

В ТУМАНЕ

Пухово скомкан гомоном
В разбуженных осинах,
Туман вставал над омутом
И таял, встать не в силах.

Сквозь переборы шелеста
Мгновенные проныры –
Лучи слоились щелисто
Пластинами прямыми.

Зернилась кромка берега
В осоковых начесах.
И тень большого дерева
Стояла, словно посох –

Опора деду босому,
Что с облаком заплечным
Шел по воде, как посуху,
Путем едва не млечным.

Невидимый поблизости
Вдали – в лохмотьях синих,
Он множил рыбьи выплески
Из-под шагов незримых.

Как мое сердце взохало,
Смутилось ненароком,
Когда ступил он походя
На поплавок с прискоком.

* * *

Поедем на озеро Щучье,
Где в шляпах по самые лбы
Стоят толстопято на круче
Во мху боровые грибы.

Рассеяно солнце по хвое,
А тени – по сонному дну.
Где прежде плутали мы двое,
Пойми, каково одному.

Поедем на озеро Щучье,
Там шустрые бурундуки
По кедрам снуют вездесуще
За шишками вперегонки.

На просеке рдеет брусника,
И клюкве поспеет черед.
На озеро осень-портниха
Заплату к заплате кладет.

Поедем на озеро Щучье,
Там все еще шепчет трава
Блаженно, тепло и пахуче
Забытые нами слова.

И были шальные нападки
Дождей пузыристо легки,
И летние сумерки кратки,
И сны о тебе коротки.

* * *

Дорога к тебе – электричка,
Трамвай до конечной, лифт.
Погасла последняя спичка.
И вспыхнул осиновый лист.

Он сорван тебе у подъезда –
Восторга осенний лоскут.
Но мимо дремотного кресла
Упав, огорченно потух.

Отвечу бывалой любовью
На пытку заученных ласк!
Но переглянулись с тобою
Бесхитростные зеркала.

И стало досадно и странно:
В какое ни гляну из них –
Блистаешь одна постоянно,
А я ни в одном не возник.

Наверно, и сам я всего лишь
Твое отраженье и вздох.
Отпустишь, когда соизволишь,
И тенью скользну за порог.

Очнусь в электричке осенней,
Пока, беспечальный вполне,
За слоем твоих отражений
Свое не увижу в окне.

ЖЕЛАНЬЕ СНЕГА

Еще не снег – желанье снега.
Предчувствиями окрылен,
Проснусь, томительно яснея
Одновременно с трех окон.

Обычно с северо-востока
Хлестал исчадьем светлоты…
А нынче, медленно и строго,
Благословенно – с высоты.

Лишь половина каравая
Растет, воздушна и пышна,
На подоконнике – другая
Растет, стеклом отражена.

Пока еще все кошки серы,
А птицы чуткие немы,
За веерным распахом двери
Облепят хлопья кутерьмы.

И вознесет неумолимо
Давно желанная мечта –
С утра за сотворенье мира
Приняться с чистого листа.

Где ни корысти, ни расчету,
Не место горестям и злу…
И с этой тайною – под щеку
Крыло положу́ и засну.

ПОДЪЕЗД

Гитары дряблый звон.
Откуда в парне хмуром
Тоска чужих времен,
Жаргон шпаны и тюрем?

Кем лагерная боль
Завещана парнишке,
Не знающем, как соль
Съедает в кровь подмышки?

Как взросло пацаны
Молчат – не станут хлопать.
И руки их в штаны
Задвинуты по локоть.

* * *

День начинается с ветра.
Снегом взлохмачен пейзаж,
Где начинается с кедра
Самый простой карандаш,

Прямолинейный посредник
Между тоской и листом
С полною гроздью последних
Ягод за стылым окном.
Кто там в открытые двери
Ломится: трезв или пьян?
День начинается с веры,
Что не напрасно мне дан.

* * *

Март в обертке целлофановой.
Березняк, грачей заманивай
Гнездами вразвес!
На чердак три долгих месяца
Снег карабкался по лестнице,
А за сутки слез.

Подрезает солнце лезвием
Вместе с заячьим созвездием
Млечную лыжню,
Что продляла прямослойные
То лучи, то тени в хвойнике,
То печаль мою.

Столько слышано и видано,
Пережито, что обыденно
Слушаю в себе
Вечной боли прорастание
К птицам, травам на проталине,
Лыжам на тропе.

И к черемухе обветренной,
На которой, как прилепленный,
Светится лишай.
Всякой жизни, каждой малости
Говорю в порыве радости:
Здравствуй и прощай!

День ощупывая точечно,
Просверкает ливень солнечно
По большой земле –
Жизнь проходит – время славное,
Жаль, порою возле главного.
Возле – не во зле.

* * *

Свернул за угол белый сполох
Дремотно инистого дня,
И гул, что шел со мной бок о бок,
Недолго потерял меня.
Втянул безлюдный переулок,
Неосквернённый вороньём,
Из суматохи, шуб и сумок,
Где хам торгуется с ворьём.
Где разнопёстро и нелепо
Торчат киоски-терема...
– Как хорошо, – вдохну я неба
И облак выдохну, – зима!
Не тишью мужественно ясной,
Обдало сердце чистотой.
Казалось, встретился не я с ней,
Она искала встреч со мной
Среди базарной громкой мути,
Где заправляет ложь и блажь,
Где этой благостной минуты
Вовек не купишь, не продашь.

* * *

Сосульки –
Ампулы с лекарством.
От горькой смуты февраля
Прописаны синичьим мартом,
Звенят,
Мальчишек веселя.
Не усидеть в глуши квартиры,
Где бродят призраки и сны,
Когда по улице –
Не ты ли? –
Спешишь, не чувствуя вины
За боль,
С которой был оставлен
В неразберихе звездных стуж,
Опять меня морочить давним,
Как новостью из первых уст.

Хохочешь
И ручьями дразнишь,
И насылаешь птичий гам...
И скомкан лист,
И двери настежь –
Сосульки бросятся к ногам.

ТРИ СЫНА

Отец оставил сыновей –
Вопросы без ответа –
Как жить по совести своей,
Не бедствуя при этом.

Один в погоне за рублем
Исколесил полсвета,
Мечтал купить на юге дом.
Вся жизнь ушла на это.

Другой, ни беден, ни богат,
И оттого, что холост,
Разбил окрестности под сад.
Сад вымерз в лютый холод.

Торопятся молва и суд
За третьим, самым меньшим.
Три сына у него растут,
И все от разных женщин.

А мать одна, белым-бела,
Нема от сожаленья,
Что дочери не родила
Себе на утешенье.

* * *

Засохли старые берёзы,
Обвисли кроны –
Ровнял обочины бульдозер,
Подрезав корни.

А над прохожими скрипели
С тех пор, сутулясь:
Однажды листья улетели
И не вернулись...

* * *

Зелёные выплески листьев.
Сырая весенняя сонь.
Попробуй, худое замыслив,
Незрелое деревце тронь.
Потом, если всё-таки честно
Слагаешь простые слова,
Ты недосчитаешься песни
Синицы, дрозда, соловья...

БОЛЬШЕВИК

Переломил газету пополам –
Страна в раздрае, мафиях и взятках.
И заходил по крашеным полам
В носках, едва заштопанных на пятках.

Над церквой, что бурьяном поросла,
Колокола послышались как будто...
И мысль на душу грешную легла
О новом беспощадном русском бунте...

Бессмысленном, припомнил... по углам
Пошарил взглядом в поисках чего-то.
И снова посмотрел на Божий храм,
Не восстановленный с 17-го года.

* * *

Может, случайно прохожий
Вынет из плотного мха
Камень, на сердце похожий,
И поразится слегка,

Что животворные корни
И капиллярная сеть
Нежной планеты упорно
Взялись его отогреть
И растворить в перелесье,
И рассосать под землей
Боль, обратившую сердце
В камень, оставленный мной.

* * *

Под знаком Рыбы в год Змеи,
За десять дней до смерти Сталина,
Отца из лагерной зимы
Окликнул я и смолк подавленно –
Мать грудью мне заткнула рот...
За августом с дождями долгими
Он по амнистии придет
И обожжет глазами горькими.
Вобьет под притолоку гвоздь,
Повесит колыбель плетеную
И раскачает между звезд
Мою планету полусонную.
Где странствовал? Куда взлетал?
Срывался в бездны неизвестные?
Но бас отцовский возвращал
Всегда в родное равновесие...
Заботы не могли избыть
В глазах его угрюмой горести.
Однажды перетерлась нить,
И я сполна хлебнул бездомности.
Да что я разумел, пацан,
Когда среди застолья тесного
Он запускал в окно стакан
И начиналось сумасшествие...
Мрачнела даль от воронья,
Друзья ножи лихие прятали...
И кочевала жизнь моя
Из рук отцовых в руки матери...

ПРОПУЩЕННОЕ СЛОВО

Писал поспешно, бестолково.
Перечитал накоротке,
Нашел – пропущенное слово
Зияло бездною в строке,
Ухабом посреди дороги.
На льду озерном полыньей...
Затем уверенные строки
Бежали ровной колеей.
Ты вовремя остановился
И вставил слово потому,
Чтоб человек не провалился,
Идя по следу твоему.

* * *

Когда не знаю, что творю,
И мается душа,
Крючок закину в тень свою
И вытащу ерша.
Колючий вид – тоска и злость –
Не трудно оробеть...
Как долго, милая, пришлось
Таким меня терпеть!

ЛЕСНОЕ УТРО

Из мешковатой паутины,
Посеребренной сентябрем,
По горстке бисера и дыма
В свои корзины зачерпнем.
И не успеем удивиться,
Как озабоченно ловка
С плеча вертлявая синица
Прицельно склюнет паука.
Из синей сутеми[1] черники
По кромке, а не напролом,
В сановной сытости топтыгин
Прокосолапил босиком.

[1] Суте́мь – сумрак.

Без недоверья и боязни
Шагаем в радужную тьму.
И даже тюбик едкой мази
От насекомых ни к чему.
Кружат стрекозы с интересом,
Вильнула ящерка по мхам...
Мы этот мир назвали лесом,
И он целительней, чем храм.
Ложатся тени над теченьем
По счету равные лучам –
По ним, мерцающим ступеням,
Господь нисходит по утрам.

Давайте порассуждаем...

1. Какое значение в стихотворении «Ночь поезда» придает поэт слову «сон»? Как вы представляете тишину вагонную «шириной с билет почти»? Как вы думаете, в чем смыл рассуждений и наблюдений лирического героя в стихотворении «Ночь поездом»?

2. Как ощущает себя лирический герой стихотворения «В тумане» на лоне природы? Как создается в стихотворении образ окружающей природы? Как вы думаете, от чего сердце лирического героя «взохало» и «смутилось ненароком»?

3. Чем привлекает лирического героя стихотворения «Поедем на озеро Щучье...» возможность выехать на природу? Какие детали, приметы окружающей природы ему дороги?

4. Как вы поняли, чем является дорога к любимой для лирического героя стихотворения «Дорога к тебе – электричка...»? Можно ли по этому стихотворению сказать о том, какими настроениями проникнуто чувство любви? Если да, расскажите об этих настроениях. Как вы думаете, какую роль в этом стихотворении играет «осиновый лист», который был сорван для любимой «у подъезда»?

5. Как вы думаете, чем вызвано «желанье снега» в одноименном стихотворении? Какие надежды связывает лирический герой со снегом и чему его уподобляет?

6. Насколько узнаваема вами картина, нарисованная в стихотворении «Подъезд»? Как бы вы ответили на вопросы, которые заключены в первых двух строфах?

7. Как вы представляете себе день поэта, который «начинается с ветра»? Можно ли судить о том, для чего поэту дается день, если судить по стихотворению «День начинается с ветра...»?

8. Какое качество, какую образную примету сообщает марту деталь, заявленная уже в первой строке стихотворения «Март в обертке целлофановой…»? Как вы поняли главную мысль этого стихотворения? Можете согласиться с ее справедливостью? Почему?

9. Каким предстает окружающий лирического героя мир в стихотворении «Свернул за угол белый сполох…»? В чем видит лирический герой спасение от тех черт окружающей действительности, которые вызывают у него антипатию?

10. Какой предстает природа в стихотворении «Сосульки – ампулы с лекарством…»? Какие детали, образные выражения вам более всего запомнились, понравились? Чем? Какие настроения вызывает это стихотворение? Какое отношение к человеческим делам имеет нарисованная в этом стихотворении картина природы?

11. Как бы вы определи жанр стихотворения «Три сына»? В чем, на ваш взгляд, смысл рассказанной истории? Кто из трех сыновей, на ваш взгляд, наиболее симпатичен? Почему?

12. Почему в стихотворении «Засохли старые берёзы...», по замечанию поэта, «однажды листья улетели и не вернулись...»? На какие размышления настраивает эта лирическая миниатюра?

13. Как вы думаете, к кому в первую очередь обращена миниатюра «Зелёные выплески листьев…»?

14. Какой предстает история России в стихотворении «Большевик»? Как вы думаете, в чем смысл такого названия стихотворения?

15. Как вы поняли смысл стихотворения «Может, случайно прохожий…»? Что вас более поразило в этом стихотворении?

16. Какой предстает история страны и семьи в стихотворении «Под знаком Рыбы в год Змеи…»? Как взаимосвязаны эти истории? Что, на ваш взгляд, понимает лирический герой под «родным равновесием» в этом стихотворении?

17. Как вы думаете, применимы ли для поэзии Владимира Волковца такие слова, как «писал поспешно, бестолково»? Если да, в чем вы это заметили? Какую характеристику получает понятие «пропущенное слово» в одноименном стихотворении? Каково значение пропущенного слова, если оно вставляется лирическим героем в текст для того, «чтоб человек не провалился»?

18. Каким предстает образ лирического героя в стихотворении «Когда не знаю, что творю…»? Чем вас привлекает такой образ, а может быть, отталкивает?

19. Какой предстает природа в стихотворении «Лесное утро»? Какие наиболее выразительные детали замечает автор? Как вы думаете, дает ли это стихотворение представление о том, какими должны быть отношения между природой и человеком? Если да, расскажите о том, как вы это поняли.

20. Напишите небольшое сочинение о лирике Владимира Волковца на тему «Сон старинный затяну про любовь и родину».

ВЭЛЛА (Айваседа)
Юрий Кылевич
(р. 1948)

Автор стихов, рассказов, миниатюр, которые печатались в еженедельнике «Литературная Россия», в журналах «Жизнь национальностей», «Мир Севера», «Нева», «Полярная звезда», ««Северные просторы», «Сибирские огни», «Сибирское богатство», «Стерх», «Урал», «Югра», в коллективных сборниках и альманахах, в хрестоматиях «Литература Тюменского края. Кн. 1, 3» (1996), «Страна без границ. Кн. 1» (1998), в антологии «Литература Югры: 1930–2000, Кн. 1, 2» (2001, 2002).

Вышли сборники стихов и прозы на русском языке «Вести из стойбища» (1991), «Белые крики» (1996), «Охота на лебедей» (2001, в соавторстве с Т. Юргенсон), «Поговори со мной: Книга для ненецкого студента и для того, кто хотел бы послушать ненецкую душу» (2004), на ненецком, русском и французском языках «Триптихи» (2001).

Стихи переведены на английский, венгерский, французский и эстонский языки.

Член Союза писателей России с 2000 года. Лауреат премии «За подвижничество» Института «Открытое общество» (1998).

Творчество Юрия Вэллы проникнуто романтическим отношением к жизни, он не только оригинально видит этот мир, но и своеобразно его воссоздает в своих произведениях, представляющих собой синтез поэзии и прозы, ибо, признается сам художник, «трезвые прозаические куски как бы дополняют, разъясняют более эмоциональные поэтические строки».

Источник творчества, как и самой манеры писать, – богатейший пласт народных преданий, сказок, легенд лесных ненцев. Все это богатство сохраняется и сохранится во многом благодаря писателю Юрию Вэлле, который и на русском языке умеет передать национальный колорит и свежесть образного мышления своего народа. «Поэзия, – считает он, – заставляет душу человека вывернуться наизнанку, а это не всегда хорошо». Однако творчество самого Юрия Вэллы способно «переворачивать душу», и не только читателя, но и автора, в чем сам он искренне признается: «… Но после дождя раздвинутся тучи и выглянет солнце, с окраины стойбища поднимутся комары и мошки, и с болота по краю озера на бор к дымокуру потянутся олени, и в этот момент начинаю понимать, что я юный чумазый мальчик в оленеводческой семье, а многие истории, попавшие в книги «Поговори со мной» и «Белые крики», вовсе случились не со мной, а слышал я их вечерами возле огня в чуме или в избушке от своей бабушки».

ЗЕМЛЯКУ, ПОСЕЛИВШЕМУСЯ В ГОРОДЕ

Добрый олень с выпадением первого
снега возвращается туда, где он родился.

Ненецкая пословица

Если по первому снегу
Олень не вернулся в родное стадо,
Значит, его задрали
Волк или росомаха.
Если орлан-белохвост
Бросил гнездовье,
Значит, нашел где-то место безлюдное.
Если сестра моя – лебедь
С весенней песней юности
Не покружилась над моим чумом,
Значит, погибла от выстрела...
А если
Ты не зверь беззащитный
И не перелетная птица,
Если крылья твои целы,
Но дорогу не вспомнил
В стойбище матери,
Какую причину придумаешь ты себе?

ОБЛАКО В НЕФТИ

Ежегодно весной, во время паводка, по
реке Ватьёгану со стороны Повховского
месторождения плывет толстая пленка
нефти. Нам стало очень трудно жить...

Из заявления местных жителей
в исполком Аганского
сельского Совета

По Ватьёгану плывет
Нефть, нефть, нефть.
Лодку, сети и весло
Пропитала нефть.
Щуку вспорешь –
Нож в нефти.
За водой для чайника
Некуда идти.

Ноги у оленей
Пропитались нефтью –
От соседей прибежали
С бедственною вестью.
Даже у вороны
Брюхо пожирнело.
Облако на небе
Тоже почернело.
На подоле чума
Масляные кляксы.
Лес мой перечеркнут
Черной полосой...
Олененок детства,
Что так горько плачешь?
Я твой нос чумазый
Вымою росой.

* * *

Здесь была сосна...
Срубили сосну – остался пень.
Здесь росла береза...
Бульдозер выдрал ее с корнями
И гусеницами стальными в липкую грязь вмолол.
И осталась серая глина, от жары растрескавшаяся.
В озере плескалась рыба...
Поленился трубопрокладчик проверить трубу,
А там была маленькая трещина, затертая глиной.
Заполнил
нефтедобытчик
нефтью
трубу
до отказа,
Она и лопнула.
Сегодня в том озере даже водоросли не растут.
Однажды родился человек...
Человек этот,
Возможно, – Ты.
А что, если ты уже не человек?
А что, если ты уже себя
топором
под корень?..

НА УРОКЕ

Идет в школе урок родного языка. Учитель дает детям такие слова: киври (колодец), суван (навес для нарт), пухул (стойбище). Маленький Семен переводит эти слова с хантыйского на русский и добавляет от себя:

– У нас есть киври, у нас есть суван для нарт, наш пухул красив летом.

Бедный мальчик! Он говорит есть, а я знаю, что это было. Было, и уже два года, как его стойбища нет, его родное стойбище попало под Покачевское нефтяное месторождение, на месте его пухула, сувана и киври, на ягельном бору, где он бегал босиком наперегонки с длинноногим олененком, возвышается стальной великан – Буровая Вышка. А маленький Семен с матерью сегодня живет в поселке в стареньком колхозном домике.

МОЛЧАНИЕ

Вообще-то бабушка моя была разговорчивой. Но иногда, идя вдоль берега, остановит меня, опустит свою корявую, легкую, иссушенную временем руку мне на голову, стоим и молчим перед спокойными водами реки. Но наши сердца не молчат. Они продолжают беседовать. Незримо-неслышно она передает мне свои ощущения, свое восприятие мира. Нет, она не передает мне своих мыслей. А я начинаю видеть ее глазами нашу залитую солнцем прохладную реку, я начинаю слышать ее ушами дальнее курлыканье журавлей за болотом, я начинаю воспринимать ее сердцем наше стойбище и каждый звук, каждый шорох, каждый вздох в нем...

ЗА ЧТО?

Проходя мимо, заглянул вчера на родовое кладбище Айпиных. Что там делается! Большинство могил раскопано. Это не следы звериных когтей, это следы человечьей лопаты. Что же здесь искали? Кто? Клады, которых не нашли в лабазах на Священном Бору? Останки Золотой Бабы, которую ханты хранил и лелеял от осквернения нигде иначе, как в собственной душе?..

Вот лежит отброшенный в сторону сопревший кис певца Щимки. Из него торчит кость, наверное, бывшая нога? Не та ли, которую он повредил однажды, когда вез подростком послевоенный обоз с рыбой в Сургут?

А на соседней, тоже разграбленной могиле Айсыра? Остатки костра. Две рогульки наспех. Пробитый котелок на поперечине, покачивающийся как маятник. И белый череп в нем. Что же это такое, люди?..

Невольно закрыл глаза и представил:

Вот лежу я на окраине погоста, вырытый чьим-то хулиганством-любопытством, и корявая незаконченная мысль скребется в насквозь иссушенном черепе: «За что так-то?..»

КАК ПРИКАЖЕТЕ НАЗЫВАТЬ?

А он действительно, наверное, счастливей меня? Ведь он не переживает, не болеет за опустошенный лес, за перерытый бульдозером бор, за заваленную дорогой речку. У него душа чиста, ему все «до лампочки». Он с легкостью будет выполнять любую работу, какую ему укажет его начальник, лишь бы только вовремя получать свой «длинный рубль» и ежемесячно откладывать энную сумму на «жигуль».

Он еще два-три года поработает и уедет. А мне после него всю жизнь жить здесь на перерытой, перетоптанной земле, с переломанными деревьями и с замазученными озерами и реками. Мне уже негде будет добывать пушнину и мясо, негде вылавливать рыбу на строганину, негде пасти оленей. А он в это время будет гнать на солидной скорости легковой автомобиль по Ялтинскому шоссе, рядом с ним будет сидеть его счастливая жена и уже в который раз будет слушать, раскрыв рот от восхищения, его рассказ о том, как на зимнике Новоаганск – Бахилы он догонял и давил колесами своего «Урала» песцов.

Как-то он задавил на дороге соболя, и после этого товарищи-шоферы прозвали его Шоболятником.

Когда он заезжает ко мне в стойбище и когда наш разговор заходит слишком далеко, он меня в лицо называет лесным диким человеком. А как мне прикажете его называть?..

У ТЕЛЕВИЗОРА

Радость и беда живут
всегда рядом.

Ненецкая пословица

Сегодня радость в стойбище
Большая –
Мой дядя в чуме телевизор
Поселил,
Трещал огонь в печи,
Барахтались перед экраном дети,
А дед сидел в тени
И подбородок теребил.
На голубом экране
Фильм сменялся фильмом.
Тревоги, плачи, песни
И улыбки
Большого мира
В этот малый мир лились,
А дед молчал.

Сидел в тени,
Нахмурив брови,
И подбородок теребил.
Парил,
Парил над водопадом парашют,
Как облако,
Как птица,
Как одуванчик;
Менялись выраженья лиц
У тетки,
У детей,
У дяди,
У соседей,
Пришедших поглядеть обнову,
У бабушки,
Но дед не удивлялся.
Он был хмур сегодня.
За спинами сидел в тени
И, сдвинув брови,
Подбородок теребил...
А вечером
Мне по секрету бабушка сказала,
Что вчера
У дороги на буровую
Дед откопал
Две туши обезглавленных оленей,
Полмесяца назад пропавших
В соседнем стойбище.

ХОЛОДНЫЙ БУЛЬВАР

Триптих

1

Когда над крышами дымы,
Как взмахи крыльев, поднимались
И уносились
За лес.
За синие, до дна промерзшие озера.
За дальние снега,
Что над сугробами искрят.

Тогда мои мечты и чаянья
Ложились на те снега
Холодною лыжнею неудачи.
И каждый день мне невезенье!
Сегодня –
Песец обходит стороной мои капканы.
Сегодня –
Лось чутко сторожит мои шаги.
Сегодня –
За соболем бегу –
Мне ноги изменяют.
И лыжи спотыкаются в снегу...
А там.
В другом конце зимы.
Быть может.
День другой
В твои глаза уже не так глядит.
Быть может.
На запорошенном крыльце по-прежнему стоишь.
Из-под ладони глядя мне вослед...
Но только почему-то
Теперь я взгляда твоего не чувствую –
Как прежде.

2

Меж тобою и мной
Москва на бульварной осени
В троллейбусных стеклах
Покачивается.
Ты не идешь, а влетаешь.
Под звонкий снегопад.
Навстречу тебе
Из подземного перехода на Пушкинской площади.
Почти задыхающийся от одиночества.
Выныриваю.
Улыбка твоя
Мне затопляет глаза.
Кажется.
Не выдержат пуговицы
Расширяющейся изнутри радости.
Еще шаг.

И крылья твои
Коснутся моих усталых плеч.
Как долго я ждал этого прикосновения!..
Но ты пролетаешь мимо.
И только концы твоих крыльев
Больно задевают мои глаза...
Мне б только не ослепнуть!

3

Твой самолет улетел.
Я остался один
В незнакомом мне городе.
Где не с кем поссориться:
Я остался один
В незнакомом мне мире.
Где не с кем поговорить.
И со всех сторон
Сдавливает меня
Немой город.
В котором некому сказать слово:
Каменный город.
В котором некого любить:
Скупой город.
Где я никому не нужен.
Где никто не нуждается во мне...
Какой сегодня ужасно холодный день!

ШАЙ-ИКИ

Рассказ

Сосны бежали по обе стороны дороги, как сказочные олени, цепляющие рогами небо. Раздавалась звонкая песня полозьев в морозной стыни. Клубы пара вырывались из ноздрей оленей, и словно белое облако стелилось над дорогой. Звенел в воздухе стук копыт и окрик человека, прогоняющего упряжку.

Мы ехали на водораздел охотиться за песцом, за белкой и за диким оленем. Водораздел – это «спина Земли», так говорят наши старики, это граница тундры и тайги, это начало двух рек.

Дорога длинная. По ней в старину ездили ненцы и ханты за продуктами и за порохом к сургутским купцам. По этой дороге ездили друг к другу жители двух округов, и в пути рождались ненецкие и хантыйские песни и сказки. Но чаще всех ездит здесь Шай-ики. Потому что его моховая изба – жилище из колотых досок, утепленное мхом, – стоит возле самой дороги.

Шай – по-хантыйски и по-ненецки – чай, а ики – мужик. Прозвали его так за то, что он любит пить очень крепкий чай. Если кто-нибудь, едущий на водораздел или обратно, заглянет к нему, не уедет он от Шай-ики, не отведав крепкого душистого чая, копченой рыбы – пинтэра, острой мороженой брусники и клюквы, не выслушав множества сказок и песен. Много знает Шай-ики хантыйских и ненецких загадок и головоломок. Проезжающим он устраивает интересные состязания для ума.

Три ночи мы провели под звездным небом, бросив под себя на кучу лапника оленьи шкуры и укрывшись поверх кумышей[1] морозным эхом. Шесть раз вспыхивал наш походный костер, подогревая нам завтрак и ужин. Три раза мы распрягали оленей и три раза вновь запрягали их в дорогу. И вот к концу четвертого дня наши олени почуяли запах стойбища и ускорили шаг.

Жилье Шай-ики, огороженное оградой из жердей, куда по утрам загоняют оленей, стояло в густом сосняке. Сам моховой дом казался холмом среди высоких сосен, а позади возвышался на четырех ножках с зазубринами большой крепкий лабаз. Возле зимовья ровными рядами стояли нарты, каждая из которых имеет свое название и назначение. С краю поставлена мужская повседневная рабочая нарта. Следующая за ней – для выезда в гости, в поселок сдавать пушнину или для участия в состязаниях. Упряжь ее отделана резными костяными украшениями. Она стройная, высокая, аккуратная. В ее очертаниях словно звучали крики погони на соревнованиях. И я почувствовал голос нарты: «Садись, прокачу!».

С другого края стояли две женские нарты. Сделаны они попроще, но обе прочные, устойчивые, ходкие. А когда я глянул на следующую, тоже женскую, я чуть не ахнул. Два передка ее – словно пара первых весенних лебедей, тревожно вглядывающихся в снежную круговерть капризного северного мая. Четырнадцать ножек из прочной березы – тонкие, стройные, похожие на ножки молоденьких оленят. Впереди две поперечины – выгнутые спины двух соболей. Мне захотелось подойти и погладить их ладонью. Нарта была застелена белой, как туман, оленьей шкурой. На ней должна сидеть только красавица. И тогда, кажется, нарта сама, без оленей, способна сорваться с места и унестись в лесотундру вслед за вьюгой. Попробуй догони!

Рядом с девичьей нартой хозяйственные шипу, нгутту, пяйкан[2] выглядели убогими и неуклюжими.

Над моховой избой высоко в небо столбом поднимался дым и летели искры. Мы распрягли оленей, вошли в жилье. Чай уже готов. Нас садят за стол, и начинается обычный традиционный разговор.

– Как там народ поживает?

– Да ничего, помаленьку живут.

---

[1] Кумы́ш (кумши, совик, гусь) – верхняя мужская одежда, чаще – с капюшоном, надевается зимой поверх малицы.

[2] Шипу (шыпу), нгутту (нуттус), пяйкан (пяй канн) – хозяйственные нарты – грузовая, без настила и продуктовая.

– Пусть будет полным их счастье! А как люди в низовье реки?

– Да вроде плохой вести не слышно было.

– А что нового в магазине?

– Печки жестяные привезли на самолете, очень удобные для кочевья, маленькие охотничьи топоры, которые заказывали осенью, кожу-юфть для оленьих упряжей и для пошива осенней обуви. А еще привезли нарядные женские шали...

– Надо было наведаться в поселок, давно там не гостили. Пора пополнить запасы продуктов.

Семья Шай-ики большая, но с родителями жила только одна дочь Аринэ. В прошлом году, говорят, приезжали к ним сваты, но она не уехала, то ли по собственной воле, то ли из-за родителей. Я взглянул в левый дальний угол и встретился с ее глазами. Щеки ее вспыхнули, как две спелые клюквины. Сердце мое не по моей воле часто забилось...

Лица моих друзей стали розовыми от выпитого, от тепла, на них играли блики пламени огня чувала – открытой хантыйской печи. Шай-ики повеселел, начал шутить. Жена его, крепкая, подвижная женщина, освобождала от чешуи очередную щуку для строганины. Легкие руки Аринэ разливали по чашкам горячий душистый чай, подкладывали ровные ломти хлеба, которые впитали в себя жаркий дух глиняной печки. Я представлял, я видел, как ее проворные пальцы собирали эту клюкву, которая искрилась сейчас и алела в белой эмалированной миске. Я выбрал самую крупную ягоду и долго катал, грел ее между губами...

Уставшие после долгой дороги, мои товарищи быстро заснули. Шай-ики долго, негромко, протяжно пел песни. Жена немного ворчала. Они изредка переговаривались между словами песен охотника.

– Эй, имей[3], завтра наши гости будут, наверное, отдыхать у нас, у них олени устали, – говорил хозяин.

– Ну конечно, куда им спешить, успеют еще доехать, пока посильный снег для оленей.

– Сколько у нас мяса осталось?

– Мало, икей[4]. Всего на один маломальский обед.

– Которого бы оленя нам забить?

– Ну конечно, сына Бурундучихи, – отвечала хозяйка.

– Эй, имей, жадность в роду твоих родителей всегда презиралась. У третьего сына Турпанихи и мясо мягче, и жирку побольше.

– Смотри, икей, ты хозяин, тебе и решать. Только не говори потом, что тебе ездить на дальние угодья не на чем. Ведь сын Турпанихи уже начал ходить в упряжке.

– Ничего, имей, у нас их пока еще хватит, чтобы ездить каждый день на отдохнувших оленях. Когда-то к нам еще гости приедут?!

---

[3] И́мей – обращение к жене, к женщине.

[4] И́кей – обращение к мужу, к мужчине.

И он снова запел песню. В ней говорилось о вороне, который выклевал быку глаза, о щуке, которая обманула человека, и о чудовище, поскользнувшемся на мокрой от слизи доске, на которой разделывали рыбу.

Я засыпал. Мое тело, измученное непривычной дорогой, отдыхало в тепле. Было бездумно, но хотелось чего-то. Как-то не мог понять, чего же это мне не хватало? Мысль кружила где-то рядом. Она завладевала мной и отступала, не зацепившись. Так я и заснул.

Ночью проснулся от холода. Сквозь окно на потолке на меня ласково смотрели звезды, словно тихо, но настойчиво говоря: «Спи, спи, спи...», а сами невидимыми колюче-холодными пальцами прощупывали мои ноги и все тело. Возле ног у меня лежал женский лебяжий тянт[5]. Я натянул его на себя и уткнулся носом в выдровый воротник. Мне стало уютно и тепло. В голове шевельнулась догадка: «Наверное, она положила». И я снова провалился в сон.

А назавтра новый день радовал душу охотника. За ночь выпала тонкая пленка пороши, которая нетронутой свежестью лежала на нартах, на подволоках – лыжах, подклеенных шкурами, – на наших вчерашних следах. Стряхнув с верхней жердины ограды снег, взлетела на ветку ближайшей сосны звонкая сорока. Над стойбищем клубился белый, словно живой, пар и садился на ближние ветви пушистым инеем.

Но одна нарта, рабочая нарта Шай-ики, была выдернута из общего ряда и ярким контрастом выделялась среди других присыпанных. Снег с нее был сметен, а упряжь лежала на снегу, ожидая оленей. От нарты в лес тянулась свежая лыжня, поверх которой виднелся тоненький непрерывающийся след. Это сзади волочился юркий кончик тынзяна[6] – хозяин ушел за оленями на пастбище – каем.

С появлением оленей зимний лес словно ожил. Словно все вокруг – изба, ограда и деревья – пришло в движение.

Хозяйка вышла из двери с мешочком, стала кормить оленей накрошенной сушеной рыбой. Олени сразу окружили ее со всех сторон. Она приговаривала:

– Эй, Бурундучиха, я ж тебя покормила, отойди, дай место другим. А ты, сын Ветра, чего стоишь в сторонке? Подойди, не стесняйся. Как у тебя, Железный Пень, голова? Не болит? Эх ты, потерял вчера рог, давай скорей стряхивай и второй. Ведь он тебе будет мешать. А это кто такой нахальный? А, это ты, Гагаренок. Ну, на тебе кусочек повкуснее. Скоро хозяин будет приучать тебя ходить в упряжке. Наверное, впервые он тебя впряжет между твоей матерью и Железным Пнем. С ним тебе будет легко привыкать к работе. На тебе еще кусочек...

Следом за последним оленем вошел в загон Шай-ики. На цепи за изгородью весело прыгали собаки, оглашая лес звонким лаем. В дальнем углу, за нартами, сцепились рогами два сильных самца – хора. Это местный олень почуял чужака.

---

[5] Тянт – женская распашная шуба из лебяжьих шкурок.

[6] Тынзян – аркан.

Старик с утра был в веселом настроении. Он бросил подволоки на нарту и задорно объявил:

– А ну-ка, молодежь, чья рука тверда и чей тынзян лучше расправляется? Кто мне поймает сына Турпанихи? Вон он виднеется из-за спины вашей пестрой важенки.

Мы посмотрели туда, куда указал Шай-ики. На нас были устремлены пугливые зоркие глаза, и вздрагивали настороженно торчавшие из-под гладких, отполированных рогов чуткие уши. Олень словно понял слова хозяина, и каждая мышца на теле готова была к сопротивлению.

Из двери с большой деревянной чашкой в руках вышла Аринэ. Она услышала последние слова отца и с какой-то лукавой хитринкой зыркнула на нас из-под нарядной шали. Но молча глядела жена старого охотника. На ее лице была написана жалость к животному и еще что-то, без чего не может жить испытавшая трудную кочевую охотничью долю, умудренная опытом жизни женщина.

За оградой весело лаяли собаки. Они словно смеялись над нашими промахами. Шай-ики подтрунивал, сидя на нарте:

– Я знал ненца, который произвел на свет хозяина того тынзяна, что лег, как повязочка для штанов, на жирный зад оленя. Конечно, тот ненец не промахнулся бы. О его твердой и точной руке знали не только его сородичиненцы, но и добрые слухи о нем ходили и среди моей родни – среди охотников-ханты. Юноши нашего времени сейчас бы уже сидели возле пылающего чувала и насыщались теплой, как молоко женщины, кровью молодого хора. А с вами, наверное, мне придется порядком поголодать.

Некоторые наши броски были такими неуклюжими, что Шай-ики валился от смеха на спину. Нам, молодым, после школы жившим и работавшим в поселке, а потом служившим в армии, потомкам оленеводов и охотников, лишь когда-то в детстве игравшим с оленятами, нам, людям, только что вернувшимся к древнему, пока еще нужному занятию наших предков, конечно, надо много времени, чтобы научиться не только искусству метания тынзяна, но и другим житейским навыкам.

Это было красивое зрелище! Шай-ики смотал свой аркан, сбросил с головы капюшон малицы, зачем-то поправил на поясе ножны, а когда мимо него пробегали олени, насторожился, вытянулся, кажется, даже чуть-чуть подпрыгнул и резким движением руки и всего тела сделал бросок. На какую-то долю секунды петля словно замерла над мечущимся стадом, а потом выхватила из самой гущи именно того оленя, которого мы целое утро пытались поймать.

Я кинул теперь уже ненужный тынзян на свою нарту. Пожилая женщина, втянув голову в плечи, ушла в дом. Перед входом в сенях слышно было, как Аринэ брякала ведрами и кастрюлями. Шай-ики повел упирающегося оленя за жилище к святой стене.

Мы помогали старику. И вскоре из вспоротого нутра животного к морозному небу поднялся теплый терпкий ароматный пар – возможно, это и есть священный дух только что жившего оленя. Шай-ики вынул из брюшины и

бросил на снег тяжелую печень. Она лежала багровым пятном на холодной скатерти и все еще пульсировала.

Мы только заканчивали разделку туши, а в моховой избе над жарким пламенем чувала висел большой чугунок, над которым колдовали тонкие, но сильные, все умеющие руки Аринэ – трудолюбивые руки будущей жены охотника, будущей чум-хозяйки, обработчицы пушнины, мастерицы по пошиву теплой и нарядной меховой одежды. Я мысленно представил, как эти нежные пальцы ласково лягут на голову шустрого мальчугана, готового в любой миг веселым вихрем ворваться в самую гущу оленьего стада, мальчугана – будущего сына охотника – ее сына. И мне так захотелось, чтобы этот не существующий еще мальчик был моим сыном…

В этот день я несколько раз чувствовал на себе то лукавый, то веселый, то нежный, то задумчивый взгляд девушки. От ее взглядов мне становилось жарко и прибавлялось силы, за моими плечами словно вырастали крылья, я готов был лететь над стойбищем, над стадом оленей, над лесом. Так было и тогда, когда после обеда Шай-ики устроил нам на улице что-то похожее на состязания. Он просовывал тынзян сквозь мою малицу из одного рукава в другой, а я через его плечо видел в приоткрытую дверь моховой избы краешек любопытной цветной шали. Когда холодная плетеная кожа коснулась под одеждой моего тела, я вздрогнул – она словно прошила меня насквозь. На удивление всем, я быстро разобрался в этой национальной головоломке оленеводов. Но я-то знал, что без молчаливой помощи Аринэ еще долго бы мне пришлось путаться на конце непослушного тынзяна.

А потом мы состязались в точности и дальности метания тынзяна, в ловкости и силе. Мы прыгали через нарты, пытались стоять на одной руке, исполняли всевозможные акробатические трюки, и Шай-ики не только объяснял, как это делается, но и сам во всем участвовал. Он словно помолодел, стал выше ростом и шире в плечах. Он не уступал нам ни в силе, ни в ловкости, а в чем-то даже превосходил.

Вдруг собаки тревожно залаяли. Лес замер. Олени насторожились. Хозяин прислушался. Где-то вдали на юге послышался гул. Глаза Шай-ики искали объяснения тревоги на наших лицах.

Это был вездеход. Он, словно паук, подполз к самой ограде и заглушил все звуки. Олени испуганной кучкой прижались к дальнему углу загона. Остро запахло гарью выхлопных газов.

Еще летом по открытой воде пришли по реке катера, и рядом с нашим поселком выгрузилась сейсмопартия. Часто возле поселка в тайге можно было встретить группу людей с замысловатыми приборами или вездеходную машину. Но в такую глушь они еще ни разу не забирались.

Они направлялись к истокам. Спросили о прочности льда на речках и озерах, много шутили. Поблагодарили хозяев за поданный к обеду жареный олений язык и мозги, за рыбный пинтэр и уехали. А мы уже не могли продолжить прерванных игр. С чего бы мы ни начинали, наши разговоры возвращались к проехавшим геологам...

На закате подморозило. Ярко сияли крупные звезды, но звучно, словно выстрелы, трещали деревья – погода обещала потепление, снегопад и, возможно, метель.

Перед сном Шай-ики снял со стены старенький, потертый нингюх и протяжно пел песни, мягко задевая смычком струны-жилы. В мелодиях, издаваемых хантыйским музыкальным инструментом, слышались то нудные завывания вьюги в длинной северной ночи, то звучные песни молодых лебедей на закате весеннего солнца, то скрип оленьей нарты в морозной стыни, то бормотание скупой старухи, то тревожный зов важенки заблудившегося олененка. Пел нингюх, пел старик, пела его моховая изба, пела зимняя долгая ночь. На потолке, на стенах, словно сполохи полярного сияния, играли блики пламени огня, догоравшего в чувале. И в какое-то мгновение было непонятно, то ли еще старик пел, то ли уже в моем теле отзывался голос моих далеких предков...

Утром я случайно заметил, что Аринэ украдкой подошла к моей нарте, быстро огляделась, сунула под оленью шкуру сверток и убежала. Когда мы отъехали от стойбища, я развернул его. Это был качин – поясная сумочка для охотника. Она была расшита ярким орнаментом, который среди мастериц называют «Ветка Молодой Березки». Говорят, этот орнамент должен нести весть о любви. Конечно, такому подарку позавидует любой мужчина. Внутри качина я нашел спички, иголку с ниткой и совсем маленький отрезанный уголок девичьей шали. Сердце мое ликовало. «Ах ты, радость моя, Аринэ, Аринэ! Ах ты, песня моя, Аринэ, Аринэ!..»

Отдохнувшие олени весело бежали, выбрасывая из-под копыт комья снега. Впереди на легкой нарте ехал Шай-ики. Он вызвался проводить нас. У меня было чудесное настроение. Я еле сдерживал желание обогнать товарищей. Олени чувствовали мое состояние и бодро перебирали ногами, поигрывая между собой.

Вчерашний вездеход уехал в этом же направлении. Иногда он шел прямо по оленьей дороге, поднимая и разбивая ее стальными гусеницами. Многие деревца, стоявшие вдоль зимника, он подмял под себя, и теперь они, обломанные, изрезанные, без сучьев, с ободранной корой, торчали из машинного следа. По такой колее нарты шли тяжело. Они переваливались с одной гусеничной борозды на другую. Мои товарищи переругивались, используя русские выражения в смеси с ненецкими и хантыйскими. Случалось, какая-нибудь нарта с вещами опрокидывалась. Мы ставили ее на дорогу, перевязывали вещи и снова ехали дальше. Шай-ики терпеливо молчал, но потом и он начал ворчать. Иногда он даже корил себя за то, что поехал не на рабочей, более устойчивой, нарте.

На крутом спуске возле реки Вампуты нарта нашего Шай-ики ударилась о свежий сломанный пенек. Старик улетел в сугроб. Олени испугались, рванули в другую сторону. Нарту кинуло во вторую колею, и там, зацепившись за сломанную мерзлую березу, с хрустом выдрало с одной стороны две задние ножки.

Старый охотник, выбравшись на дорогу, растерянный, стоял у поврежденной нарты. Он даже попытался посмеяться над своей неловкостью, но это не получилось. Шай-ики перебирал в руках обломки ножек и тихо и беззлобно, как самому себе, говорил вдогонку стальной машине:

– Неужели человек, работающий в ыспичиции, не мог сообразить, что мне по разбитой им дороге будет тяжело ехать? Неужели он не мог пустить свою железную нарту стороной, чтобы не ломать санный след? Неужели теперь так всегда и будет?

Шай-ики, сгорбившись, присел на корточки и бесполезно примеривал обломки на место, а в морщинах под глазами блестели две капли, которые жгли и меня...

Прошло несколько лет.

В один из последних мартовских дней мы – актив промохототделения – заседали в просторном кабинете управляющего. Подводили итоги закончившегося охотничьего сезона и намечали план завтрашнего праздника – районного слета рыбаков, охотников и оленеводов.

Пока мои товарищи обсуждали, как и чем премировать лучших промысловиков, я заглянул в отчет молодого, недавно работающего у нас охотоведа. И вот что там вычитал:

«...За три дня полетов на вертолете вдоль водораздела и прилегающей местности в районе новых нефтяных месторождений мною обнаружено всего одно стадо диких северных оленей, насчитывающее семь голов. Из них четыре особи женского пола. В этом районе никто из местных жителей давно уже не живет, поэтому я исключаю возможность нахождения здесь домашних оленей...»

Рядом со мной сидел пожилой ненец-охотник Аули. Когда заседание закончилось, я показал ему отчет молодого охотоведа.

– Однажды, помнишь, мы охотились на вершине рек Ватьёгана, Вампуты и Вынгапура? – заговорил Аули. – Там, на чистом болоте, посреди тундры, лежащей на самой Спине Земли, на наших глазах соединились два стада диких оленей. В каждом из них было голов по триста. Мне не хочется верить, что из этих оленей осталось всего семь... Ты же знаешь, что диких оленей наши предки называли Добычей Для Счастья. О какой же добыче теперь нам мечтать?..

А в это время на крыльце конторы, щуря глаза от яркого весеннего солнца, сидел совершенно седой, но с бронзовым от загара лицом старик и что-то веселое рассказывал окружавшим его молодым охотникам, собравшимся на свой традиционный слет. А на коленях у старика беспокойно крутился бойкий узкоглазый мальчуган – мой младший. Запрокинув голову, разинув рот, он преданно глядел в лицо деда снизу вверх...

В последние годы старому охотнику не повезло. Под его родовыми угодьями было открыто месторождение нефти, и оказалось, что проектировщики одну из буровых запланировали как раз в той точке, где находилась

его моховая изба. Старик долго отказывался уезжать... Но это уже другой рассказ. Хочу только добавить, что сейчас он живет в поселке в благоустроенном доме, построенном шефами-нефтяниками. Но осенью, когда выпадет первый снег, старый охотник подолгу молча стоит лицом на север и глядит-глядит в сторону своих родных угодий. Все знают, что в этот миг к нему подходить нельзя.

Ты, читатель, конечно, догадался, что этот седой старик и есть мой тесть. Мне так захотелось назвать его именем героя моего рассказа, но... Шай-ики мной выдуман, человека по имени Шай-ики нет.

Конечно, жаль, что нет человека с таким именем. Но меня всегда окружали люди с похожими именами: Чачи-ики, Кошпи-ики, Пахки-ики, Нюрох-ики, Андри-ики... И я благодарю судьбу за то, что вокруг меня и сейчас живут люди, чьи поступки, черты характера, чьи мысли и эпизоды жизни составляют вместе одно целое – моего Шай-ики. Конечно, немного грустно, что этого человека нет. Но, когда я разговариваю со своими земляками, я говорю со своим Шай-ики – человеком старшего поколения, у которого я учусь житейским навыкам, трудолюбию, искренности, веселью, щедрости души, любви к родной земле.

И есть у меня просьба к тебе, читатель. Можно сказать, личная просьба.

Жизнь моих земляков резко изменилась с началом нефтяных разработок. Оленеводы и охотники лишились многих ягельных пастбищ и охотничьих угодий. Из-за чьей-то халатности погибают водоемы-живуны и задыхается рыба... Горький вопрос: «Неужели теперь так всегда и будет?» – я не раз слышал от своих земляков. И хочется, чтобы вы, приехавшие осваивать богатства недр Севера, не забывали о том, что здесь всегда жили и живут коренные обитатели – люди, жизнь которых, как и всех нас, зависит от цельности и благополучия природы.

Давайте порассуждаем...

1. Как вы понимаете мысль поэта о том, что «поэзия заставляет душу человека вывернуться наизнанку»? Можете вы согласиться с этим утверждением? Обоснуйте свое мнение. Если поэзия способна на то, о чем пишет Юрий Вэлла, то почему «это не всегда хорошо»? Поразмышляйте на эту тему.

2. Как построено стихотворение «Земляку, поселившемуся в городе»? Какой прием использует в данном случае поэт. Попытайтесь ответить на вопрос, который задает поэт «земляку, поселившемуся в городе».

3. Что несет природе и человеку нефть, если судить по стихотворению «Облако нефти»? Насколько, по вашему мнению, убедительна и правдива картина, нарисованная поэтом? Какое решение проблемы предлагает поэт? Насколько действенным представляется вам такое решение проблемы?

4. Какой предстает картина мира в стихотворении «Здесь была сосна…»? Узнаваема ли, на ваш взгляд, такая картина? Обоснуйте свой ответ. Как бы вы ответили на вопросы, которые звучат в финале стихотворения Ю. Вэллы?

5. Как вы думаете, в чем смысл заметки «На уроке»? О чем хотел рассказать нам автор?

6. О каком молчании рассказал Ю. Вэлла в одноименной заметке? Каким, на ваш взгляд, должен быть человек, чтобы с ним можно было беседовать в молчании, чтобы «сердца не молчали»?

7. Прокомментируйте историю, рассказанную в заметке «За что?». Как вы думаете, можно ли найти хоть какой-то вразумительный ответ на вопрос, поставленный в качестве ее заглавия?

8. Как вы думаете, человек, о котором поведал Ю. Вэлла в заметке «Как прикажете называть?», и в самом деле счастливей автора? Если да, почему? Как бы вы ответили на вопрос, которым заканчивается эта заметка?

9. Чем стал телевизор для обитателей «малого мира» в стихотворении «У телевизора»? Как вы думаете, с чем связано то, что у телевизора дед «был хмур», только ли с тем, что «у дороги на буровую откопал две туши обезглавленных оленей»? Поразмышляйте на эту тему.

10. В каком пространстве живет лирический герой первого стихотворения из триптиха «Холодный бульвар»? Это пространство и его характер как-то сказываются на настроении лирического героя? Если да, в чем вы это заметили? Как вы представляете себе пространство, когда поэт пишет: «А там, в другом конце зимы»?

11. Как вы поняли смысл образа, которым открывается второе стихотворение из триптиха «Холодный бульвар»: «Меж тобою и мной Москва на бульварной осени»? Каким предстает окружающий мир в этом стихотворении? Как, вы думаете, можно представить образ той, навстречу которой идет лирический герой этого стихотворения? Если да, расскажите подробнее о своих представлениях.

12. Каким предстает образ города в третьем стихотворении триптиха «Холодный бульвар»? Как характеризует лирического героя стихотворения замечание о том, что в этом городе «не с кем поссориться»? Как вы думаете, дает ли это стихотворение представление о том, в каком городе или каком пространстве лирический герой хотел бы оказаться? Аргументируйте свое мнение.

13. Каким предстает мир традиционной жизни коренных народов Севера в рассказе «Шай-ики»? Что в этом мире, в этих традициях особенно дорого автору?

14. Как вы думаете, в чем основной конфликт рассказа «Шай-ики»? Какие события, факты свидетельствует о характере конфликта? Как вы думаете, видит ли писатель возможности его разрешения? Если да, то в чем?

15. Напишите небольшое исследование на тему «Мир глазами романтика Юрия Вэллы».

КОЗЛОВ
Сергей Сергеевич
(р. 1966)

Первый рассказ опубликован в 1989 году в областной газете «Тюменский комсомолец». Проза печаталась в областных периодических изданиях, в еженедельнике «Литературная Россия», в журналах «Врата Сибири», «Мир Севера», «Наш современник», «Сибирское богатство», в коллективных сборниках и альманахах.

Опубликованы книги прозы «Ночь перед вечностью» (2000), «Последний Карфаген» (2004), «Время любить» (2006), «Облака» (2008), «Скинькеды» (2008). Повесть С. Козлова «Мальчик без шпаги» экранизирована.

Член Союза писателей России с 1999 года, зампредседателя правления Ханты-Мансийской окружной организации Союза писателей России. Лауреат премии Губернатора Югры в области литературы (2004), литературной премии им. В.П. Крапивина и литературного конкурса им. А.Н. Толстого (2006).

Главная проблема прозы Сергея Козлова кроется в попытке ответить на триединый вопрос: «Кто мы? Зачем мы? Куда мы?» Ответить в диалоге со своим читателем, диалоге прямом и честном, не уходящем от парадоксов, трагедий и несуразностей нашего века. Его повести и рассказы вбирают в себя современную жизнь, не безоблачную, порой очень жестокую, но без смакования безобразий и повреждений человеческой натуры, без любования лихостью и дикостью подрастающего поколения. И самое главное – действительность, воспроизведенная в его прозе, – не безнадежна. В ней есть светлое, созидающее, в ней есть герои, которые не согласны с тем, чтобы вырастали поколения «мальчиков без шпаги».

Многое в прозе С. Козлова обращено к подрастающему поколению, и это не поучительно-дидактические наставления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», не попытка просто зафиксировать то, какие они есть, современные подростки, и еще раз сказать о том, как мы теряем очередное поколение. Нет. Прозу писателя пронизывает стремление помочь этим подросткам не потеряться в этом мире, не потерять человеческое.

Писатель умеет выстраивать сюжеты своих произведений так, что они привлекают читателя не внешней эффектностью, «закрученностью» или обилием приключений, а важностью, философичностью происходящего. Важностью для читателя, который ежедневно сталкивается с этими же проблемами, событиями, героями. Писатель не обязательно дает ответ на сложные вопросы, как поступать в той или ной ситуации, как относиться к тем

или другим людям: проза С. Козлова – не учебник. Но сама их постановка, умение поднять социальное на эстетический уровень – это уже много.

Образное, насыщенное метафорической мыслью слово Сергея Козлова – это и еще и слово благодарности: «Я благодарен Богу за все, я люблю свою Родину, свою семью, своих друзей и поэтому я счастлив, невзирая ни на что… Если даст Господь сроки, будут и новые строки!»

БЕКАР

(becarre)

> Если ты не можешь подняться и не хочешь смириться – ты обречён на гибель… Талант (фанатичная работа в какой-либо области) – искрящее замыкание в цепи жизненной энергии.
>
> *В. Гаврилин. «О музыке и не только...»*

1

Неистовая была пурга. Даже пушкинским бесам стало бы тошно.

«Невидимкою луна»? Белёсым размытым пятном в едва угадываемом направлении.

Снежные заряды били в лицо колкой слепящей массой, дороги и тропы сровнялись с единой волнующейся гладью кипенного моря, в котором, как корабли, терпящие бедствие, утопали двухэтажные типовые дома и разнокалиберные коттеджи. Вся окружающая действительность замыкалась вихрем в пространстве двух шагов видимости, и только низкий, но иногда срывающийся на фальцет, стон недалёкой тайги напоминал, что мир вокруг был огромен, а сегодня ещё и страшен. Редкие уличные кобры-фонари испуганно качали головами, но не могли толком раздвинуть бушующую мглу даже в метре вокруг себя. Минус тридцать на пару со шквальным ветром загоняли всё живое в любые возможные укрытия. И на обертон низкой протяжной ноты пурги срывались то пассажи, то длинные ноты с разрываемых струн-проводов, тянулись из арфы длящегося вдоль домов неровного штакетника и гуляющих в пределах снежных завалов ворот. След человека или автомобиля исчезал в молочном клубящемся вареве уже через минуту. Так, в ногу с ветром, наступала северная пустыня. Ёмкое и самое точное русское слово «стужа», выпав из звёздной стыни, пикировало в метровые сугробы, эхом неслось над землёй и снова дыбилось в мутное безразличное небо.

И хоть была у Василия распространённая русская фамилия Морозов, но ни тепла, ни комфорта в этот вечер она не добавляла. Согнувшись тупым

углом, отталкиваясь от земли, словно каждый шаг – это предстоящий прыжок, он медленно преодолевал мятущееся пространство по направлению к музыкальной школе. И в то время, когда все пятнадцатилетние сверстники прилипли к экранам телевизоров, погружаясь в очередной сериал о бандитах, или, в лучшем (худшем?) случае, подпирали стены подъездов за ничего не значащими разговорами, он самоотверженно шёл на встречу со своей учительницей по специальности Изольдой Матвеевной. Три месяца назад паренёк из северного поселка победил на областном конкурсе юных пианистов, и теперь предстояло выступить на конкурсе всероссийском. Ради этого, говорила Изольда Матвеевна, надо работать и день и ночь, и в жару и в стужу, и не жалеть себя, потому как грани настоящего таланта оттачиваются кропотливым тяжёлым трудом.

Ох уж эта Изольда Матвеевна. Худощавая высокомерная женщина с тонкими, как пишут в книгах, точёными чертами лица, тёмными, почти чёрными глазами, умеющими неморгающе долго и пристально смотреть на собеседника через линзы модных очков. В ней нельзя было угадать учителя музыки, больше она была похожа на строгого завуча или даже судью. Тонкие, но, тем не менее, красивые губы Изольды Матвеевны имели особенность мимически передавать тысячи выражений её отношения к происходящему. За семь лет работы с учителем Василий научился читать эту мимику, особенно в отношении проделываемой им за пианино или роялем работы. Малейший изгиб уголка рта – и Морозов уже знает: «загнал» пьесу или нарушил пальцовку, отчего можно впасть в «спотыкач». А вот когда всё шло, как по маслу, Изольда Матвеевна уплывала взглядом в задумчивую даль и начинала наматывать на длинный тонкий указательный палец локон каштановых волос у виска. Но – малейшая ошибка – и этот палец мог дёрнуться так, что из уст её вырывался ругательный шёпот от досады и боли одновременно, но смысла его Василий никогда не понимал. Казалось, учительница говорит на другом языке.

Все эти годы Изольда Матвеевна вела «сибирского самородка» (так она его порой называла) к большой сцене. Переживала только, что Василия поздно отдали в музыкальную школу, когда ему исполнилось девять лет. В музыке, как и в спорте, раньше начнешь – больше надежд на лавры. Но уже через год Морозов легко читал с листа пьесы, рассчитанные на пятиклассников детской музыкальной школы, а технике его нынешней игры могли позавидовать выпускники консерваторий. Кроме того, Василий пытался сочинять сам, но именно в этом направлении творчества их взгляды чем дальше, тем больше расходились. Изольда Матвеевна пичкала Василия музыкой в её понимании прогрессивной: от «Прометея» того же Скрябина до Шнитке. Прослушав дома «Прометея», он тут же сел за пианино и на память сыграл скрябинскую «Прелюдию для левой руки»… До диез минор. Эта пьеса была похожа на полотна импрессионистов. От неё веяло дождём и туманом, под такую музыку хотелось созерцать… «Прометей» был по-

хож на беспорядочную танковую атаку… И никакого света и цвета в этом произведении Василий не слышал и не видел. И удивлялся, как в одном композиторе уживались две таких разных стихии, и почему одна из них победила?

Василий покорно не на один раз прослушивал принесенные учительницей диски, хотя от авангарда и полистилистики его изрядно коробило. Да, соглашался он с Изольдой Матвеевной, мысль есть, техника изумительная, подходы неожиданные, но почему-то душа не поёт. Бьётся мысль, рвётся, но куда?! Из современных композиторов Василию больше нравился Георгий Свиридов. При упоминании о нём у Изольды Матвеевны один уголок губ приподымался, а второй, напротив, уходил вниз. «Ну это же лубок, Вася, – как-то снисходительно начинала говорить она, – конъюнктура. Ты же умный человек». Вася жал плечами. Спорить с учителем на полную катушку он не решался, да и не хватало ему всей этой терминологии, чтобы уверенно и аргументировано отстаивать своё мнение. Ему больше нравилось воспринимать музыку сердцем, а не рассуждать о том, из каких она сплетается форм, стилей и приёмов. Получалось, чем ближе музыка к какофонии, тем она прогрессивнее. И очень удивился Василий Морозов, когда на областном конкурсе услышал от продвинутых студентов музыкального училища, что Моцарт – это попса. Именно за его мелодизм и доступность. До сих пор он считал попсой то, что неслось со всех телевизионных каналов, радиостанций и миллионными тиражами наполняло рынки компакт-дисков и кассет. «Ну, тут они откровенно перебарщивают, хотят казаться умными, этакими избранными, – пояснила Изольда Матвеевна озадаченному ученику. – Моцарт – это классика. Возьмем, скажем, математику. Разве можно сейчас её представить без таблицы умножения? Моцарт – это таблица умножения в музыке». «Значит, – ещё больше удивился Василий, – Пушкин – это таблица умножения в поэзии?». «Ты, как всегда, быстро схватываешь, – вскинулись уголки губ, – но, заметь, я не сказала, что это просто, как дважды два, таблица умножения как раз позволяет нам множить, преумножать, понимаешь?..» «Понимаю», – кивнул Василий, но сравнение всё равно показалось ему обидным. Изольда Матвеевна словно прочитала его мысли: «Но разве можно недооценивать изобретателя колеса, если теперь все им пользуются?! Но изобретать колесо во второй раз не стоит. Лучше попробовать найти что-нибудь своё…» «Самолётный двигатель?» – предположил Василий, чем вызвал восторг учительницы, но про себя продумал, что и взлёт, и посадка самолёта без колёс не обходятся. «Всякая настоящая поэзия должна быть глуповата», вспомнил вдруг прочитанное в дневнике у композитора Гаврилина, но приписываемое Пушкину.

Вчера ученик 10 класса средней школы и выпускного класса школы музыкальной Василий Морозов написал странную (наверное, под воздействием Изольды Матвеевны) с темпом prestissimo пьесу «Пурга». Построенная на беглых неправильных, каких-то кривых арпеджио и лихо закрученных

вокруг едва заметной мелодической оси секвенциях, с вколоченными в этот водоворот внезапными синкопами, эта пьеса должна была определенно понравиться учительнице музыки. Но в этот вечер Василий невольно подумал о том, что накликал своей композицией пургу настоящую, именно такую, какую он представлял себе, нащупывая на клавишах мелодический ход, выстраивая общую картину над нотными листами. Есть общепринятое выражение: озвучить. Озвучить фильм, к примеру. А как быть с обратным? Скрябин вслед за Римским-Корсаковым попытался «расцветить» музыку, но, в сущности, синтез искусств от обратного так и остался уделом одержимых экспериментаторов. Нет, нельзя продуктами питания написать натюрморт, а раскрашенными электрическими лампочками излить душу. Впрочем, Изольда Матвеевна возразила бы на это развёрнуто и развесисто. Зато «Русский этюд», сочиненный Василием месяц назад, она удостоила только одним словом: «вторично».

Нет, сегодня Василий шёл на встречу с Изольдой Матвеевной не спорить. На дебаты о вкусах времени не оставалось. Чуть больше месяца до конкурса. Хотя шёл он сквозь январскую пургу не только на занятие, не только на встречу со старым роялем “Petrof”, белые клавиши которого пожелтели, как зубы пожилого человека или курильщика (зато голос оставался, как у новорожденного): Василий надеялся застать в школе Аню. Несмотря на такой мороз.

Одноклассница Аня в достижении своих целей была такая же упрямая и целеустремленная, как Изольда Матвеевна. Мечтала поступить в консерваторию и потому уговорила родителей платить учителю за дополнительные занятия, ковыряя часами сложнейшие фуги, чтобы развить технику. Изольда Матвеевна разумно совмещала дополнительный заработок с подготовкой Василия к конкурсу. Тем более что директором ему было дозволено заниматься в актовом зале, Аня же сидела в отдельном кабинете. Но после они обычно вместе возвращались домой. Иногда Аня заходила в зал, чтобы послушать игру одноклассника, и тогда сердце Василия тревожно саднило, зато выталкивало из своего объема душу прямо в руки, а пальцы, в свою очередь, колдовали звук… Изольда Матвеевна начинала крутить каштановый локон.

Ещё два года назад Василий не замечал тихую Аню Гордееву. Нет, не то слово. Замечал, конечно, но увидел её по-настоящему только 1 сентября этого года, когда она опоздала на линейку. Десятиклассники «пристреливались» друг к другу после прошедшего лета, иронически поглядывали на суетящихся учителей, деловито крутили в руках мобильные телефоны и делились последними новостями. И вот, когда физруки и преподаватель ОБЖ с трудом подогнали всех под одну линейку, вот-вот должен был появиться директор, из-за угла выбежала Аня. Увидев строй, резко остановилась, выискивая глазами своих. И Морозов опять же не заметил бы её, если б не присвистнул стоявший неподалёку Брагин из 11 «В». Василий отследил

взглядом, разумеется, не свист, а взгляд Брагина, который восторженно и липко скользил по Аниной фигуре.

Рывок ветра поднял за её спиной русую волну длинных волос. Казалось, ветер подхватил их и замер в своём порыве, чтобы ощутить их чудесную шелковистость и слиться с ними по всей длине. Такие волосы у нынешних девушек даже в глубинке были редкостью. А ещё вихрь так облепил фигуру Ани лёгким платьем, что Василий поймал себя на мысли: ему тоже хочется присвистнуть вслед за Брагиным. Устыдившись такого неприличного порыва, он опустил глаза, но буквально через миг поднял их, приветливо помахал Ане рукой: мы здесь! И вот уже она рядом, благодарно коснулась его плеча: мол, спасибо, помаячил. А ученик десятого класса Василий Морозов вдруг перестал слышать многократно усиленный динамиками голос директора, да и всех вокруг, пытаясь определить, объяснить в себе совершенно новое чувство, каковое возникло от присутствия рядом Ани Гордеевой. Чувство, правда, было более похоже на мимолётное предчувствие, из тех, что яркой вспышкой высвечивают душу и не находят разумного толкования запредельной, мистической эйфории переживаемого человеком момента. Миллион пронёсшихся в голове недосказанных мыслей закончился неожиданным восклицательным знаком: Василий понял, что с этого момента Аня для него значит много больше, чем все окружающие.

Ему захотелось заглянуть ей в глаза, и он робко повернул в её сторону голову, набивая на всякий случай в уме дежурную фразу. И (о чудо!) фраза не понадобилась, Аня тоже повернула к нему лицо, брызнула из-под прищуренных век приветливой лазурью, улыбнулась, и слова в этот миг перестали что-либо значить. В доли секунды Василий запечатлел в своём сердце образ девочки, именно в сердце, даже почувствовал, как он там отразился и запомнился. Весь, до последней пушинки на щеке и маленькой родинки под правым ухом. Отозвался и тёплой волной нежности вернулся в голову.

Аня смотрела уже в сторону командного действа школьной линейки, а Василий ещё некоторое время любовался её профилем и только сейчас заметил, что с другой стороны навстречу ему смотрит Витя Брагин, а рядом с ним ухмыляется его закадычный друг Макс Вознесенский.

Парочка эта (не разлей вода) слыла в школе отменной шпаной ещё с начальных классов, но при всём при том учились Брагин и Вознесенский неплохо, ибо другого им не позволял родительский статус. Отец Брагина был директором муниципального торгового предприятия, а у Вознесенского – не последней шишкой в администрации. Помимо повальных пропусков уроков Витя и Макс были инициаторами маленьких катаклизмов (от взрыва петард в школьном туалете до массовой драки после дискотеки) и водили дружбу со шпаной настоящей, которая есть ныне (да и была всегда) в каждом населённом пункте. За дружбу они платили родительскими деньгами в ближайших кафе, ночным извозом на отцовских иномарках, а в обмен имели угрюмую и вескую поддержку братвы в проблемных ситуациях. Ка-

кое-то время Василий находился в ближнем круге их компании, его ценили за ум (это неправда, что там признают и уважают только тупую силу), ну и за то, что он может, как Шарапов, и Чайковского, и «Мурку» слабать. Сам он не напрашивался, но как-то его позвали, и он пошёл. Пиво, карты, разговоры о драках, машинах, сексуальном опыте – всё это было для Василия пустым звуком, привлекало другое – в этом кругу ощущалось ни с чем не сравнимое чувство мужского единения, и он сам не мог себе объяснить, почему для него так важно быть своим для ребят, с коими у него совершенно разные интересы. Василию, согласно его наклонностям, придумали необидную (по сравнению со многими) кличку – Маэстро. Старшие ненавязчиво оказывали юному музыканту покровительство, не позволяя другим ни словом, ни делом задевать его самолюбие, и даже шутки (приколы) в отношении Морозова были вполне безобидными. Зато Морозова в любое время могли попросить взять в руки гитару подыграть на трех блатных аккордах или самому исполнить какую-нибудь (чаще всего народную) песню. Василий не отказывал, а однажды даже пришлось играть на ультрасовременном синтезаторе в ресторане. Одной из девушек вдруг захотелось услышать Шопена. Ресторанные лабухи (так называли музыкантов) Шопена или не знали или забыли. Клавишник любезно (а может, за отдельную плату) выставил для Василия подходящий тембр, оставив в левой руке плывущую электронную массу для фона. В итоге получилось нечто современно-классическое: тема струилась электропиано, а общий гармонический фон витал в космосе, где парсеки отбивались редким мягким ритмом. Нечто подобное Василию приходилось слышать в исполнении японской пианистки Кейко Матсуи. Когда Морозов закончил пьесу, зал с минуту молчал, а потом взорвался рукоплесканиями и пьяным восторгом. Смягчился даже вышибала-охранник, который сначала не хотел пропускать Василия, потому как тот был в компании младше всех. И даже произнёс знаковое определение стилю: new age. Своеобразный и совершенно нехарактерный авторитет Василия в этой разношёрстной группе молодёжи рос, и долгое время он не знал, как к этому относиться.

Но этим летом Морозов резко устранился от общения с ними.

Как-то ночью после Дня молодёжи накачанная пивом и чем покрепче толпа ребят отправилась к реке, чтобы у костра под рёв блумбоксов продолжить праздник. Собирались обычно у моста, где таёжная река делала небольшой изгиб, а кедровый бор переходил в песчаный пляж. В летнее время эта площадь обычно превращалась в импровизированную шашлычную, а вечером – в место романтических встреч (разумеется, если предварительно обработать себя жирным слоем репеллента). Сюда же приходили старшеклассники после выпускного бала, чтобы вдали от счастливых родителей и подобревших учителей устроить оргию прощания со школой.

Той ночью в гуле толпы обертонила какая-то тревожная нота. Василий слышал её чутким ухом, ощущал стороннее давление излишнего подзавода,

агрессивной энергии, наперёд зная, что ничем хорошим она не выплеснется. Хотел уйти, но не уходил и сам себе не мог объяснить почему. Именно Брагин и Вознесенский были заводилами, от них исходил этот неспокойный фон. Сначала они заводили друг друга, а потом на пару заряжали всех остальных. Кричали громче обычного, задирались, а пьяная развязность уже давно вышла за рамки всех допустимых норм даже в таких компаниях. Старшаки делали им ленивые замечания, но, по всему выходило, с плохо скрываемым интересом ждали какой-то неожиданной развязки.

В безумной дёрганой пляске, казалось бы, все должны были утратить бешеный пыл, но только не Витя с Максом. И когда уже сидели усталые в мутно-молочном предрассветном сумраке белой ночи тесным кругом у костра, поддерживая по очереди тему об инопланетянах, о параллельных мирах и прочей загадочной лабуде, они периодически вскакивали, с гиком гонялись за другом, пару раз чуть всерьёз не подрались. И вдруг Вознесенский откуда-то притащил к костру большого пушистого сибирского кота. Никто даже предположить не мог, что произойдёт в следующее мгновение.

– Шашлык! – дико закричал он и тут же бросил кота в бушующее пламя.

Запах палёной шерсти опередил несчастное животное. Горящий кот вылетел из пламени, не разбирая дороги, бросился в сторону леса. Душераздирающий вопль пронзил сонную дымку над рекой и больше был похож на охрипший предсмертный ужас, замороженный в бесконечно длящемся звуке. Добавившиеся к нему девичьи вскрики и приглушённая ругань парней колыхнули наступающее утро. Мыслью Василий опоздал за событиями, как, впрочем, и все окружающие, только почувствовал, как сжалось сердце, как будто его самого бросили в костёр. Обезумевшему коту не повезло и во второй раз: страх бросил его под ноги Брагину, и Витя «не растерялся», острым носком ботинка поддел его навстречу. Кот подавился собственным воплем, тело его с растопыренными лапами описало в воздухе правильную дугу, и он опять-таки оказался в костре, откуда выпрыгнул уже без крика и ещё раз рванул к спасительному лесу.

– Дурак, – сказал Брагин Максу, – надо было в воду бросить, я ни разу не видел, как коты плавают. Может, он и не умеет.

Даже видавшие виды девицы встали и, ругая напарников «придурками» и «дебилами», с разочарованием на лицах направились по домам. За ними потянулись старшие ребята, поматерив, скорее для порядка, закадычных друзей. Никто не назвал их извергами, и уж тем более никто не дал им в морду. Не сделал этого и Василий, в сознании у которого ощущение гадливости от увиденного сменилось презрением к собственной трусости. Он вообще промолчал и даже не решился уйти в числе первых, вынужденный слушать подробности впечатлений Брагина и Вознесенского о палёном коте. Ему вспомнился недавний разговор с отцом о человеческих слабостях. «Трусость, – сказал отец, – самое гадкое и самое плохое из того, что может жить в сердце человека, потому как трусость позволяет злу существовать

в этом мире». И в этот момент Василий больше ненавидел не Брагина с Вознесенским, а самого себя.

– Как тебе ария кота, Маэстро?! – спросил его Макс.

– Фальшиво, – ответил более про себя самого Василий. – Пойду домой.

По пути в сознании печально звучало гениальное «Адажио» великого Альбиони…

2

Крыльцо музыкальной школы исчезло в снежной реке, которую гнал вдоль улицы ветер. Маленькие белые смерчи игриво намекали на место, где оно должно было быть. Нащупывая ступеньки ногами в сугробах, Василий подумал, что все эти снежные завихрения можно великолепно озвучить Фантазией-экспромтом до диез минор Шопена. Это было одно из обязательных произведений, на которое Изольда Матвеевна делала особую ставку на конкурсе. Ох, и летела эта шопеновская фантазия приручённым гармоничным торнадо из-под рук Василия Морозова. И, прикрыв глаза, учительница задумчиво теребила локон…

Дверь подалась с трудом, пришлось сдвигать добрый полуметровый сугроб. Так через пару часов занятий можно и не выйти из школы. Представилось: морозное утро, заваленные снегом по самые крыши дома и абсолютная тишина… Нет!.. Едва слышно над белой пустыней звучит первая токката Шпета! Неспешный орган славит готические сосульки, мёрзлую вечность или вечную мерзлоту.

Ожидая спасателей, придётся несколько дней сидеть взаперти… Но именно это Василия устраивало. А что? Чайник и печенье там всегда есть. Рояль и уйма времени, помноженная на долю романтики! Главное, чтобы помимо Изольды Матвеевны, а также единственной и ворчливой, но доброй технички Антонины Ивановны (похожей на «Рапсодию в голубом» Гершвина) в школе была и Аня.

– Ты выстрелил своего Гаврилина? – встретила на пороге Изольда Матвеевна вместо «здравствуйте», «как дошёл», акцентируя на «своего», как будто Гаврилин был родственником Морозова или соучастником в преступлении. Преступление заключалось в том, что Василий настоял: в первой части конкурсной программы, где требовалось исполнение произведений отечественных композиторов, он против угловатой сонаты №3 Шнитке (от Изольды Матвеевны) будет играть несколько небольших: коротенькую гаврилинскую «Русскую», «Вариации на тему Генделя» Эдисона Денисова и пьесу-фантазию Рахманинова. Сергея Васильевича они любили на пару. Василий смог убедить учительницу тем, что в разных пьесах он выгоднее покажет и технику, и разные настроения, короткие произведения можно подать эффектнее, как несколько выстрелов, главное – уложиться в отведенное время.

Но с простенькой (меньше минуты) пьесой Валерия Гаврилина досталось попотеть. Вначале был резвый пассаж, который у Василия получался не как гармонический старт-пробежка, а будто глиссандо заводящегося автомобиля. И дело было не столько в технике, сколько в извлечении звука. Нужно было найти какую-то маленькую тайну, заложенную в этот пассаж композитором. Этого требовала пьеса, этого требовала Изольда Матвеевна, каковая раскладывала музыку не только на математику, но и на движения души. Хотя иногда Василию казалось, что учительница ставит музыку на конвейер. Он жутко не любил «заигрывать» пьесы до автоматизма и возникающего к ним равнодушия. Говорил об этом Изольде Матвеевне, но та лишь сверлила его взглядом и твердила: в любое время дня и ночи ты должен быть готов выйти на сцену и оставить там душу. И заплетающиеся руки не должны тебе помешать сделать это!

– Выстрелил, осечки не будет! – улыбнулся в ответ Василий, он услышал, что в одном из кабинетов Аня «ковыряет» полифонические инверсии Мясковского. – А я тоже кое-что написал. Думаю, вам понравится.

– Надо тачать Баха, а ты занимаешься вольным сочинительством, – притворилась недовольной Изольда Матвеевна.

– Баха мы отбахаем! – с улыбкой пообещал Василий. – Здравствуйте, Антонина Ивановна, – поприветствовал появившуюся из подсобки уборщицу.

– Здравствуй, Вася. И на кой ляд вам все эти Бахи в такую непогодь? – проворчала она в ответ. – С прибамбахом все вы тут.

– Это точно, – согласился Морозов, подавая ей дублёнку и шапку.

– А девчонка-то, – кивнула Антонина Ивановна на сбивчивые звуки из-за соседней двери, – полчаса руки отогревала, какое тут играть? Что вам – памятник поставят?

– Может, и поставят, – холодно осекла её Изольда Матвеевна.

– Поставят, – хмыкнула уборщица, – как генералу Карбышеву. Кино-то, небось, про него смотрели?

– Так, Василий, горячий чай, грей руки, а потом в зал, – уже не слышала её преподаватель, – через четверть часа начинаем, можешь разогреться своим новым сочинением. Хочешь, чтобы Аня послушала?

– Если она захочет, – уклончиво ответил Василий и понял, что не смог скрыть от пронзительного взгляда Изольды Матвеевны нахлынувшего исподволь волнения.

Теперь она обязательно скажет, что ранняя влюблённость помешает ему достичь высоких целей. Именно такое от неё более всего ожидалось. Но она вдруг задумчиво произнесла нечто иное:

– Я в десятом классе влюбилась в стройного, атлетически сложенного гимнаста.

– И? – спросил Василий, который знал, что муж Изольды Матвеевны никакой не гимнаст.

– Он предпочёл другую, и это хорошо.

– Почему же хорошо?

– Я не пошла вслед за ним в цирковое училище, а поступила в музыкальное! – в глазах учительницы мелькнул озорной огонёк: – И теперь мне не надо мотаться по городам за каким-нибудь дешёвым шапито, а всю любовь я отдала музыке. Мой муж, ты знаешь, скромный экономист, которому, как вы выражаетесь, музыка по барабану. Поэтому он любит за двоих меня, а я за двоих люблю музыку, – заговорщически подмигнула, словно состояла с Василием в одной тайной организации.

– Мне кажется, вы любите музыку не только за двоих, а почти за весь наш посёлок.

На эти слова ученика Изольда Матвеевна расплылась в редкой благодарной улыбке и окрылённая отправилась ставить чайник.

Василий вспомнил, как нервно дёргаются уголки губ Изольды Матвеевны, когда волей-неволей приходится слышать несущиеся из автомобилей, квартир и частных магазинов блатные песни или тупую современную попсу. Всякий раз заметно, как она сдерживает себя, и учит этому Василия: нельзя называть всех людей дураками, они несчастные, они не знают величия гармонии… Можно рассказать слепым про голубое или покрытое тучами небо, но они его не увидят, так и с глухими. С той, правда, разницей, что эти глухие сами хотят быть такими.

Аня пришла, когда Василий уже был на сцене. Начал он, вопреки предложению Изольды Матвеевны, с Шопена. Воспользовался её отсутствием. Зато, когда обе уже сидели в небольшом актовом зале, учительница сама попросила:

– Ну, Василий, окажи нам честь своими новыми изысканиями. Как называется твоё новое произведение?

– Эклектичная музыкальная поэма «Пурга»! – наигранно помпезно объявил Василий.

– Это ты вслед за погодой?

– Нет, Изольда Матвеевна, это погода вслед за мной. Не поверите, я вчера сочинял, а сегодня моё сочинение материализовалось. – «Слово-то какое вспомнил!» – сам себя подначил юный музыкант и заметил лёгкую улыбку Ани.

Пьеса начиналась с закрученного хода в контроктаве. Затем вступала правая рука, рассыпая те самые кривые арпеджио в щедром пространстве большой и малой октав, и вдруг обе руки начинали синкопировать аккордами от малой до субконтроктавы, откуда вновь нанизывался изначальный ход. И только теперь в общую музыкальную ткань стала пробиваться мелодия. Палец Изольды Матвеевны, наматывающий локон, выжидательно замер…

– Сначала я думала, что ты решил повторить «Время, вперёд!», – сказала она после более чем минутного молчания, последовавшего за кодой. – Но ты меня приятно удивил, Василий. Твоя мысль начинает догонять твои

руки. Эту пьесу не стыдно показать перед самыми взыскательными слушателями. Если это поэма, то очень похожа на стихи Максимилиана Волошина… Как тебе, Аня?

– Здорово, – ограничила свой восторг одноклассница.

На мгновение Василию показалось, что Аня ему завидует. На такой эффект он меньше всего рассчитывал. Не зря отец после ссор с мамой говорил: «Современную женщину не понять. Такое чувство, что она не хочет быть женщиной, или, во всяком случае, хочет быть немножко мужчиной. Трактор водила, в космос летала, джинсы надела, горы покоряла, начальниц-женщин полно… Но от этого мужчина всё равно не научится рожать!..» Опасность феминизма Василий до конца ещё не осознавал, но в главном был согласен: не понять…

Начиная с первого сентября Аня благосклонно, но как-то меланхолично принимала его ухаживания. И самое обидное, не чуралась и Брагина, который ухаживал за ней, совмещая данное «увлечение» с девицами лёгкого поведения, кои были порой много старше его. В компаниях он щедро делился своим богатым сексуальным опытом. Не отставал от него и Вознесенский. Неужели она не видела и не понимала этого?

Во время осеннего бала на дискотеке Василий в первый раз пригласил Аню на танец. Её близость, её запах сладко вскружили голову, он лепетал ей на ухо что-то несуразное, хотел, но не решился сказать главное. Позволил себе только одно: его рука провела плавное легато вдоль её спины, и (о чудо!) Аня не воспротивилась этому! Но уже следующий танец она неспешно парила с Виктором и с точно таким же выражением лица слушала его бойцовские байки с обычным для него и глуповатым для окружающих похохатыванием. А под конец танца его руки уже свободно дирижировали вдоль её стана. И Аня не оттолкнула его (чего ожидал от неё Василий, который косился на них, безнадёжно подпирая спиной стену актового зала). После дискотеки Брагин предпочёл Ане шумную компанию, и Морозов воспользовался счастливой возможностью без соперничества проводить её домой. Дорогой он всё же решился сказать ей, что она очень много для него значит, что она прекрасна, как самая гениальная симфония… Аня с лёгкой блуждающей улыбкой слушала его, а у подъезда поцеловала в щёку, после чего ошарашенно счастливый Маэстро ещё час бродил по посёлку, раскручивая в уме нежную серенаду для своей возлюбленной. Казалось, до полной взаимности остался только шаг. Ведь на обратном пути он держал в своей руке её руку, чувствовал ласковую мягкость подушечек её пальцев и полагал это вершиной допустимой сейчас близости.

Дня через три, опасаясь неуловимой скоротечности и воздушности сказанного слова, он доверил его бумаге, и на уроке отправил ей пространную записку, где звучало таинственное и ничем не заменимое «люблю», а сверх того – готовность посвятить ей всю свою жизнь, всё творчество, как некогда безутешный Петрарка для своей Лауры. А в ответ получил краткое и поло-

винчатое: «Васенька, ты мне тоже очень нравишься, ты талантливый, ты умница, но я пока не могу понять сама себя». Как человек может не понимать сам себя? Впрочем, бывает, конечно. Или: ах, да, речь ведь идёт о девушке! Но в данном случае это означало одно: полной взаимности, скреплённой молнией первого взгляда и притяжением, преодолевающим земное, здесь нет. Тут пахло каким-то не совсем логичным девичьим расчётом, обидным и осторожным. И тогда, разумеется, представилась спортивная, более зрелая фигура Брагина… В этот день Василий купил себе гантели, хотя Изольда Матвеевна не раз предостерегала ученика: на физкультуре надо быть предельно осторожным. Руки, данные от Бога для извлечения гармонии, следует беречь. Но с гантелями он явно припозднился, качаться надо было с раннего детства. Отец дал несколько советов, но, казалось, мышцы совсем не реагируют на упражнения. И по утрам Василий печально смотрел на своё отражение в зеркале, всячески его критикуя. Мама, со своей стороны, попыталась его успокоить: мол, накачанные мышцы не главное, и каждого Бог создал для выполнения своей, только ему предназначенной задачи. Не могут быть все сильными, умными, красивыми… Это было понятно, но малоутешительно.

– Мама, а за что ты полюбила папу? – задал прямой вопрос Василий.

– За то, что он полюбил меня, – не задумываясь, ответила мать, – он поступал в наш нефтегазовый институт после армии, у него была медаль за Афганистан, пришел на вступительные экзамены в форме… Тогда многие девушки на него заглядывались. Но, честно тебе скажу, я в тот момент на него внимания не обращала. А вот когда он уже после первого курса прицепил к нашему окну в общежитии на третьем этаже огромный букет с запиской для меня… Представляешь, со стороны улицы?! Это показалось мне очень романтичным и оригинальным.

– И ты в него за это влюбилась?

– Нет, я всего-навсего заприметила, кто это сделал. А потом он ещё долго за мной ухаживал. После букета я только лишь позволила ему провожать меня после занятий. Хотя для меня до сих пор остается загадкой, как он забрался по абсолютно ровной стене, где зацепиться не за что, до нашего окна ранним утром…

Заметив на лице сына налёт многообещающей романтичности, способной подтолкнуть к безумным поступкам, папа Георгий Васильевич вздохнул и предостерегающе сдался:

– Я просто нанял за двадцать пять рублей автовышку…

– Автовышку? – разочарованно вскинула брови Наталья Павловна.

– Ну да, такая машина с выдвижной корзиной.

– М-да… – подытожил Василий. – Сейчас, чтобы удивить девушку, надо нанимать, а ещё лучше – иметь лимузин. Или самолёт.

К слову сказать, Брагин частенько разъезжал по посёлку на серебристом «Форде мондео» с тонированными стёклами. Частенько подвозил Аню…

– Вот видишь, сынок, ничего сверхъестественного, за шестнадцать лет последующей совместной жизни он больше ни разу не нанимал автовышку…

– Потому что надо было нанимать то детскую коляску, то стиральную машину, то ещё что-нибудь, но цветы-то дарил! – попытался защищаться отец.

– Да, – подтвердила Наталья Павловна, – два раза в год, на день рождения и день свадьбы. А на восьмое марта дарил бытовую технику или наборы посуды, говорил, что это и есть женские подарки!

В конце октября Аня пригласила Василия в гости. Родители у Ани уехали на несколько дней в областной центр по каким-то неотложным делам, решив, что дочь школу пропускать не должна. Ни общеобразовательную, где училась на одни пятёрки, ни музыкальную, где эти пятёрки с огромным трудом извлекались из потрескавшихся шафранных клавиш рояля “Petrof”. Осень была тёплая и удивительная: небо оставалось ярко-голубым и высоким, как в мае; тайга, прореженная берёзами и осинами, гроздьями примеряла золото, а местами смущалась до багрянца от восхищённых взглядов. Медлительный ароматный воздух еле плыл над водами великой сибирской реки, и оба они подражали неспешному времени, а может, отражали ту самую бесконечность, которую всю жизнь тщетно пытается охватить человеческое сознание. Вместе с рекой за шиворот горизонта неспешно тянулось небо. Ничто не предвещало суровой зимы.

Василий запасся букетом дорогих орхидей, кои привозили в эту болотную Тмутаракань вместе с голландскими розами и герберами коммерсанты, и, по всей видимости, бизнес этот имел успех. Облачился в строгий классический костюм и, немного подумав, прихватил у Лёхи Скворцова бутылку шампанского, пообещав на днях вернуть. «Всё по-взрослому», – так, подбадривая сам себя, постучался в заветную дверь. И с порога был немного удивлён и даже разочарован: Аня встретила его в потрёпанном домашнем халатике, с неприбранной головой и какой-то повседневной озабоченностью в глазах. Точно Василий пришел не на свидание, а списать домашнее задание по алгебре или помочь ей прибраться в квартире к приезду родителей.

Но экзотический букет всё же возымел своё действие. Аня поцеловала Василия в щёку и долго пристраивала орхидеи в вазе на столе своей комнаты. Колдовала с водой и размышляла вслух, как заставить цветы постоять подольше.

– Ты, поди, разорился, Вася? – спросила лукаво.

– Это не имеет значения, – ответил внутренний рыцарь.

– А шампанское? Хочешь выпить?

– Н-ну… – растерялся было Василий, – я думал, букет и шампанское… Почти натюрморт.

– Ну так поставим рядом с букетом или всё-таки выпьем? – улыбнулась Аня.

В этой усмешке Василий интуитивно почувствовал подвох от пра-пра-прабабушки Евы. Не с такой ли покровительственной к чужой наивности улыбкой подавалось к столу яблоко с древа познания? В любом случае сердце ёкнуло, а внешне пришлось подпустить этакой развязности и для вящей убедительности без лишних разговоров пальнуть пробкой в потолок.

Пробка-дура срикошетила и вернулась в макушку Василию. Ойкнув, он хохотнул, Аня же залилась смехом надолго.

– Надо было чуть наклонить, – дала она поздний совет.

– Ничего, так смешнее, – собрался с мыслями Морозов.

Шампанское пили с шоколадом. Говорили о ничего не значащих пустяках, мыли кости одноклассникам и учителям. А после второго бокала Аня включила музыку и вдруг сама пригласила его на танец. Обомлевший Василий как-то неловко (по-пионерски) обнял её за талию. Она же внезапно прижалась к нему всем телом, отчего дыхание сначала остановилось, а потом стало синкопировать с ударами сердца. Нахлынувшая, как цунами, нежность всё же имела в себе холодный ручеек осторожности: как бы чего не сделать неправильно. Сначала он несколько раз поцеловал её в шею, а потом их губы, точно два магнита, нашли друг друга.

Вкус первого поцелуя ни с чем не сравним, нет в человеческих языках нужных прилагательных, если только речь идёт о настоящем поцелуе. Не о тех поцелуях, каковые иногда случаются между молодыми людьми ради эксперимента соответственно принижающему смысл происходящего слову «попробовать». Почему любовь скрепляется устами? Потому ли, что в устах хранится и произносится это самое слово? И значит ли сам поцелуй, что слова больше не нужны? Может, так объединяются не только души, но и слова? Материализуются?

Именно ради того, чтобы продлить чувство первого поцелуя, люди отчаянно борются за любовь, совершают благородные рыцарские поступки, бесстрашно и без оглядки пересекают расстояния и время… Но первый поцелуй может быть только один. Первый. И сохранить его вкус человеческой памяти не под силу. Память о нём в чём-то схожа с общей памятью человечества об утраченном рае.

То, что произошло далее, вконец ошеломило Василия, и в первое мгновение он растерялся, а во второе – опустился на колени. Теперь стал ясен смысл домашнего халата, который так легко слетел с плеч его возлюбленной. А он-то, дурак, и не понял сразу!.. Пораженный девственной первозданной красотой девичьего тела он, содрогаясь, опустился на колени. Как будто Аня являла собой памятник высшей гармонии. Но даже в момент этого таинства не забыло предательски мелькнуть в содрогающемся сознании и собственное жалкое отражение в зеркале. Тело Ани – это и была музыка. Симфония человеческого совершенства. Все античные Венеры мраморно отдыхали, топ-модели из журналов были глянцево и безнадёжно мертвы! И теперь эта детально выверенная божественная гармония открыта ему!

Вмиг (и только сейчас) пришло глубокое осознание поэтического преклонения перед женщиной. Полки, нет, дивизии! Армии склонивших головы поэтов, композиторов, художников… И где-то в последнем ряду худой, ничего ещё не значащий юноша Василий Морозов.

Дверной звонок заставил вздрогнуть обоих. Аня посмотрела на Василия вопросительно (что делать?), а тот пребывал в беспомощной растерянности. Какой демон нажал эту фальшивую клавишу?

Пока в голове Василия рождалась эта смелая и нужная фраза: не открывай, Аня уже набросила халат, затянула на талии поясок, и с каким-то едва уловимым разочарованием, больше похожим на форму лёгкого презрения, протянула своему Ромео руку:

– Ты же не будешь стоять на коленях, когда я открою дверь?

Да, действительно. Нелепо.

И всё! Дверь в эту тайну так же неожиданно захлопнулась, как и открылась.

Или некто вломился в неё?

На пороге оказался улыбающийся Брагин. Без разрешения шагнул в прихожую и, увидев в проёме Василия, спросил:

– О, Маэстро! Ты чё, за нотами зашёл?

Как будто другого повода у Морозова оказаться в этой квартире не было. И, судя по тону брагинского голоса, он такого и предположить не мог. Маэстро, по его понятиям, был вне конкуренции.

– За нотами… – то ли повторил, то ли трусливо оправдался Василий, и тут же увидел, как окатила его гневной лазурью Аня. Взгляд её был окончательным приговором. А слова рассыпали в прах последнюю надежду реабилитироваться за малодушие.

– Да, Вася, вот твой «Детский альбом» Чайковского, – сказала Аня, акцентируя на слове «детский», отчего горечь и обида заполнили душу Василия, и в ней не осталось места ничему другому.

– Слышь, Маэстро, – снова обозначил себя Брагин, – ты извини, мне тут с Аней поговорить надо, – прямой намёк, что «детям» пора убираться…

– Да я вообще-то тоже хотел, – попытался зацепиться Василий.

Ну что было делать? Тут же броситься в драку, чтобы имеющий первый взрослый по боксу Брагин расписал его в этой прихожей и он выглядел бы ещё более жалким, нежели сейчас. Безумству храбрых не поём мы песню. Время, когда можно ещё было что-то изменить, безнадёжно утекало, измеряясь и без того краткими секундами.

– В музыкалке наговоритесь, – подмигнул Брагин по ходу в гостиную (мол, что не понимаешь?) и с удивлением покосился на початую бутылку шампанского.

– Иди, Вася, в музыкалке поговорим, готовься к конкурсу, – торопливо поставила заключительный аккорд Аня.

Он даже не помнил, как оказался в подъезде. И уже на улице вдруг осознал, что похож на испуганного, опалённого, выпрыгнувшего из огнища

кота. Оставалось только напороться на чей-нибудь направляющий пинок. Ненависть к самому себе, ко всему миру чередовалась с какой-то необоснованной обидой на Аню: а может, она сама разыграла весь этот спектакль? Смысл? Показать Маэстро, что он только за роялем что-то значит. Нет, ерунда! Но почему пустила в квартиру этого крысиного короля?

Чтобы удержать подступившие слёзы, Василий до крови прокусил губу. А заодно скомкал в руке рулон «Детского альбома». «Надо же – совсем тряпка! Даже до Щелкунчика не дотягиваю…»

Вернуться! Пнуть дверь ногой и броситься в драку! Биться до последнего и лучше умереть, чем испытывать такой жуткий и невыносимый стыд! Так он думал, и, тем не менее, всё дальше уходил от дома Ани. Лёгкая расправа с противником могла быть только в воображении.

– Господи! – мысленно крикнул Василий в небо: – Почему Ты вместе с талантом не дал мне физическую силу? – И добавил самому себе: – И почему я такой жалкий трус?..

Словно в ответ на его слова из проулка лоб в лоб вывернул Вознесенский:

– Маэстро, привет, куда летишь?

Василий замер, примеряясь, как лучше заехать ему в челюсть. Макс спортсменом не был, и, в принципе, с ним можно было потягаться. Вознесенский не стал ждать ответа и добил лежачего ехидной ухмылкой:

– А Витёк к Аньке попёр. У неё родаки на Большую землю слиняли. Классная тёлка! – позавидовал своему напарнику.

– Да пош-шёл ты… – процедил сквозь зубы Василий и двинулся дальше.

Огорошенный таким поворотом Макс некоторое время смотрел ему вслед и будто опомнился:

– Ты чё, Маэстро, рамсы попутал?! Смотри, как бы похоронный марш не пришлось сбацать!

Похоронный – так похоронный!.. Вернувшись домой, Василий включил на полную катушку реквием Моцарта и плюхнулся на диван лицом к стене.

3

На следующий день они не смотрели друг другу в глаза. Но Аня при этом вела себя подчёркнуто весело. Много смеялась и шутила с подругами, примыкала к шумным компаниям, заигрывала с парнями, а в конце уроков вдруг сама подошла к Василию и прямо спросила:

– Вась, я не поняла, это ты обиделся или я должна обижаться? Что ты ходишь, как в воду опущенный?

– Не надо было открывать дверь, – сказал Василий и тут же понял, что сморозил очередную глупость.

– А я и не собиралась, – надменно улыбнулась Аня.

И, чувствуя какую-то необъяснимую, но ранящую в самое сердце Анину правоту, он злился ещё больше и не мог понять, кто виноват, кроме него.

– Пора становится взрослым, Маэстро, – этак высокомерно посоветовала Аня, и прозвище вдруг показалось очень обидным.

– Угу, – с кривой ухмылкой согласился Василий, – взрослый – это когда ведёшь себя, как троглодит. Видимо, нынешним Джульеттам это больше по вкусу.

– Фи… – изогнула губки, и пошла по своим делам, будто они вообще не разговаривали.

И толкуй это «фи», как хочешь, в диапазоне от легкого пренебрежения до полного равнодушия. Но даже презрительный изгиб губ возлюбленной показался Василию привлекательным, и он понял, что никогда (во всяком случае, в обозримом будущем) не сможет её ненавидеть. Даже если Аня причинит ему боль. Вся мятущаяся буря обиды была направлена теперь только в одну точку – на образ Брагина.

Впрочем, образ не заставил себя долго ждать.

На выходе из школы Брагин стоял, поигрывая автомобильными ключами и, как выяснилось, ждал Василия.

– Маэстро, – окликнул он, – тема есть. Пойдем, пообщаемся. – И повернулся спиной, точно не оставляя никому выбора. По его виду было понятно: ничего хорошего эта «тема» не сулит. Но в данный момент Василию было по барабану. Ниже плинтуса не упадёшь.

Он молча, на автопилоте, направился следом. Но вёл его Брагин, на удивление, не к обычному месту мальчишеских стычек на задах школьного двора, а к своей машине. Ещё больше Василий удивился, когда увидел на заднем сиденье Аню.

«Вот ещё закидоны? – подумал Морозов. – Он что: собирается меня отмутузить при Ане?» – и весь внутренне собрался. Тут же начал прикидывать, как подольше простоять на ногах и биться до последнего. Последнего чего? Прекрасно знал, что удар Брагина поставлен профессионально. Большинству его оппонентов хватает первого. Те же, кому удаётся устоять и дать сдачи, по меньшей мере, сами незаурядные спортсмены или от природы здоровьем и силой не обижены. Морозов же относился к группе этаких середнячков. Даже с точки зрения банального урока физкультуры – ничего примечательного.

– Садись, – деловито кивнул на сидение рядом с собой Виктор, – прокатимся.

Василий минуту раздумывал.

– Садись, не дрейфь.

Аня на вопросительный взгляд Морозова пожала плечами: ничего не знаю. Пришлось сесть и выдавить на лицо невозмутимый вид.

Машина резко рванула с места и, постукивая, словно вагон, на стыках бетонных плит, понеслась в сторону околицы. Выехав на просёлок в таёж-

ном бору, Брагин заглушил двигатель. Для вящей значимости некоторое время молчал. Некурящему Василию в первый раз жизни захотелось помять в руках сигарету, глотнуть едкого дыма и не закашляться, как это было когда-то на школьном дворе.

– Чё, за дурака меня держишь? – оскалился Витёк.

Морозов промолчал, а молчание, как водится, знак согласия.

– Знаю, что держишь, – ещё кривее ухмыльнулся Брагин. – А зря, Маэстро. Мне бы щас по-простому и по-быстрому навалять тебе прямо при Ане, других-то способов у меня нет. Ты так и думаешь, правильно, Маэстро? Ду-умаешь, губёхи не криви. И окажусь я жестоким идиотом, а ты добрым пианистиком. Так? И Аня будет смотреть на меня, как на… – Он на мгновенье задумался, подбирая слово, насилу вспомнил, – на ископаемое. Как их там? Неандертальцы?..

– Да ни о чём я не думал, – раздражённо ответил Василий. – Это же я ушёл, трусливо поджав хвост, а не ты.

– Упс! Правильный ход, Маэстро, пра-виль-ный! – любовно разбил по слогам. – Признавать свои ошибки и слабости надо, особенно если ты намерен их исправить. Но лучше их не совершать. Поэтому я, Маэстро, морду тебе бить не буду. И Вознесенскому скажу, чтоб не лез, а то у него со вчерашнего дня руки чешутся. А всё будет по-джентльменски. Будем бороться за даму сердца. Но, чур, условие: я – без бокса, ты – без музыки! Что скажете, Джульетта? – повернулся к растерянной от происходящего действа Ане.

– Меня Аней зовут, – только и нашлась, что сказать.

– Извини, Аня, – тут же поправился Брагин. – Принимаешь наш стратегический паритет? – и даже сам поразился умному словосочетанию.

– Паритет, это когда вместе, а не когда против, – буркнул Василий, но, похоже, это была никчёмная информация.

Даже в этот (казалось бы, на равных) момент Витёк выглядел этаким старшим товарищем, учителем жизни, задающим тон в любом деле. И Морозову казалось, что он в очередной раз выглядит посмешищем.

– Да боритесь вы хоть с музыкой, хоть с боксом, я вам что – приз?! – Аня резко выскочила из машины и направилась в сторону посёлка.

– Ну вот, обнулила! – смущенно прокомментировал Брагин. – А значит, Вася, мы на равных, – впервые назвал Морозова по имени.

– Вряд ли, Витя, – сомнительно пожал плечами Василий, – я ведь не смогу ходить с ней в ресторан, подвозить её на иномарке после уроков. И что вы в этих тачках находите?

– Машинах! – уважительно поправил Брагин и нежно погладил руль. – Машина – тоже женщина!

– Урчит, дымит… – подлил масла в огонь Морозов.

Брагин мгновенно завёлся:

– Да ты, Вася, дурак полный или прикидываешься! У моей ляльки даже из выхлопа дорогим одеколоном пахнет! Ты с «уазиками» не путай! Не «Жигули» черметовские!

– Не, ну это болезнь какая-то, – пожал плечами Василий.

– Целыми днями клопов на пианино давить – это тоже болезнь. Ещё неизвестно – какая хуже.

– Ладно, пошёл я, – решился Морозов.

– Да уж я подвезу, вот жалко, Аня ушла. Красивая она.

– Красивая. Женственная. Сейчас таких мало.

– Да мне тоже дуры с сигаретами во рту, краской измалёванные, не нравятся. Да ещё металлолома, пирсинг этот, по всему телу навешают. Тату всякие… Дуры.

– Дуры, – согласился Василий. – Это у них самовыражение.

– Слышал я их самовыражение, такого даже такелажник не скажет, когда ему труба на ногу упадёт. В натуре.

– В натуре.

Беседа закончилась вполне мирно, и Брагин подвёз Василия до самого дома. И даже протянул на прощание руку, будто и не соперники они, а партнёры. А далее – каждый занял своё место. Брагин – в шумной команде местных хулиганов, Морозов – у фортепиано. Аня – между ними.

Самое удивительное, что Виктор частенько стал приходить в музыкальную школу, где ждал Аню в коридоре, а иногда приходил вместе с ней слушать Василия. Иногда по-своему выражал восторг исполнительским мастерством Маэстро. Хвалил его собственные композиции. И Василию пришлось ходить на соревнования по боксу и, в свою очередь, не раз восхищаться боевым искусством Брагина. Аня же старательно придерживалась напускного равнодушия ко всему происходящему. Более прислушивалась к себе. И каждый из этой троицы понимал, что бесконечно так продолжаться не может. Тем более что следом за троицей постоянно увивался разочарованный неожиданным джентльменством друга Вознесенский.

4

Конец пакта о ненападении наступил в конце ноября, когда Василий выиграл конкурс. Выиграл – для пианиста звучит особо.

В областной центр ездил не только он, администрация посёлка по просьбе директора музыкальной школы отправила туда ещё нескольких учащихся, среди которых была и Аня. И там Морозов, невзирая на фамилию, дал жару! Уже после конкурсной программы его просили играть ещё и ещё, студенты консерватории диву давались технике сельского школьника, маститые профессора одобрительно кивали, все с интересом слушали его собственные композиции… Когда Василий играл прозрачные «Септимы», «Квинты», «Терции» Игоря Ильина, разученные самостоятельно (и к большому удивлению Изольды Матвеевны), он увидел в зале глаза Ани. До сих пор он был целиком поглощен музыкой. И вмиг чуть не потерял контроль

над скользящими вдоль зебры клавиш руками. Во всяком случае, настроение сменилось. «Терции» добивал уже «на автопилоте», без души.

Аня смотрела на него совсем по-иному. Никогда раньше её глаза не выражали столько проникновенного интереса, будто Василий только что раскрыл перед ней сокровенные тайны бытия, и никто другой до него этого сделать не мог, и никто другой, кроме него. Растерявшись, к неудовольствию богемной публики, Морозов торопливо раскланялся и уступил сцену джазовому дуэту студентов консерватории. На выходе те дружески потрепали его по плечу: «Далеко пойдёшь». Да Изольда Матвеевна метнулась откуда-то из подсобок, радостно (уже который раз за эти дни) обняла его и впервые, как собственного сына, поцеловала в лоб:

– Умница! Вася, ты божественно извлекал звук! У тебя на кончиках пальцев тончайшее чувствительное устройство. Ты превзошел сам себя. Вот из таких «превзошел» и получается настоящая музыка.

– Без вас, Изольда Матвеевна, ничего этого не было бы, – потупился ученик.

– На моём месте мог оказаться другой учитель, а вот на твоём уже никто не может оказаться. Дорога в мир большой музыки открыта! – и тут же прочитала его насквозь. – Ну, беги к Ане, я же вижу: тебе не хочется пожинать лавры, тебя интересует всего один цветок. Ах, как это романтично! Но не забудь, вечером у нас запись на телевидении, будешь исполнять что-нибудь своё. И ещё с тобой хотели поговорить журналисты. Не возражаешь, если я при этом буду присутствовать?

– Ну что вы, Изольда Матвеевна, я к ним без вас вообще не пойду.

– Хорошо, беги, Аня в зале.

Но Аня была уже не в зале. Она ждала его у окна в коридоре, задумчиво смотрела в окно. Когда повернулась к нему, взгляд оставался тот же, что заставил Василия вздрогнуть на сцене.

– Вась, ты – гений, – просто и тихо сказала она.

– Не знаю, – честно признался он.

В этот момент для него не имели значения все его таланты и стремления, потому как Анин образ полностью заслонял их, не оставляя малейшей возможности даже думать о чём-то.

– Ты меня любишь? – так же прямо спросила Аня.

– Да, – не раздумывая, ответил Василий.

– Больше, чем музыку?

– Музыка – это для тебя, – нашелся он.

Она вдруг переменилась в лице, в глазах сверкнула лукавинка от прародительницы Евы:

– А вот интересно, как бы ты это сказал музыкой, что ты чувствуешь?

На секунду Василий растерялся, но только на секунду. Уже в следующий миг он взял Аню за руку и увлёк за собой в первый же по коридору кабинет специальности, где стояло старое пианино «Тюмень». Сел и вдруг

стремительно врезался в клавишный строй двенадцатым этюдом Шопена. «Революционным». И руки, впитывая бурю в душе, полетели… Каждая из них – со своей темой, словно отражали два различных начала, смешивающихся в общий мелодический водоворот. Только блестящий пианист и композитор Фридерик Шопен мог вложить столько порыва, столько страсти и на такой скорости в фортепианное произведение. И Василий Морозов был одним из немногих, кто, спустя почти двести лет, мог повторить его. За две минуты нанизанных друг на друга пассажей, пробитых насквозь аккордами возвышенной темы, Василий сказал больше, чем многолетнее томление и тихие разговоры при луне. Да и какая девушка устоит перед романтизмом Шопена, если только она не предпочитает ему одесские куплеты?

Когда в эфире растаял звук последней ноты, они ещё долго молчали. Первым заговорил Василий:

– Жалко, что мы не родились в девятнадцатом веке, а эту чудесную музыку написал Шопен. Я мечтал бы написать её сам и посвятить тебе. А сейчас я боюсь что-либо писать, сочинять, боюсь повторить, потому что для тебя надо сделать что-то такое, что не сможет сделать никто.

Аня положила ему руки на плечи и с блуждающей улыбкой спросила:

– А что в этом случае могу сделать я?

– Ты уже всё сделала…

– Как? Что?

– Ты – есть…

Не вставая из-за инструмента, Василий взял Анины руки в свои и с содрогающимся сердцем приложил ладонями к губам.

– Вась, я только сейчас заметила, какие у тебя красивые руки.

– Зато всё остальное… Так себе.

– Не себе, а мне! – шутливо поправила Аня.

– Ты серьёзно?

– Да.

Нужно было встать и повернуться к Ане лицом, а Василий не находил в себе сил. Боялся, что сердце от возвышенного и одновременно страстного волнения разорвёт грудную клетку.

– Я когда читаю книги или стихи о любви, мне не хватает параллельного звучания музыки, – пытаясь унять бурю, отвлечься, сказал он.

– На бумагу музыку можно записать только нотами.

– А жаль. Представляешь, кто-нибудь пишет о нас… И звучит Рахманинов.

– А мне почему-то слышится прелюдия и фуга Баха, до-минор…

– Это потому что ты её долго разучивала, – засмеялся Василий.

– А то, – сделала вид, что обиделась Аня, – там после хоть и быстрого, но размеренного тиканья тональной ноты, вдруг такое ускорение, и у меня всегда заплетались руки в этой части… И вообще, Бах такой навороченный.

– Напротив, он математически выверенный. Как теорема Пифагора.

– О! А с математикой у меня – сам знаешь!

– А у меня?!

И оба засмеялись.

Виктор Брагин исчез. Его не было. Исчез криво ухмыляющийся за его спиной Макс. Единственное, чего ещё хотелось – чтобы вообще никого не было рядом. Самый лучший пейзаж: пустынный берег моря на закате… Банально? Зато красиво.

А за окном мелким зерном сыпал снег, зима вступала в свои права. И Брагин, по российским меркам, был не так уж далеко. Каких-то пятьсот километров. И он не исчез. Его просто оттеснила музыка, он отступил перед высоким полётом возвышенного чувства, но такие, как Брагин, не умеют и не могут проигрывать. Поражение для них – это конец всего. Но всегда ли нужна победа любой ценой? И кто определит, что можно вложить в эту цену, дабы не считать её непомерной.

Было ещё два дня, которые Василий и Аня смогли отдать растущему чувству, с перерывами на встречи с журналистами, мастер-классами, посещением концерта симфонической музыки столичных мастеров и ненавязчивой, но всё же осязаемой опекой Изольды Матвеевны.

Ох уж эта тактичная Изольда Матвеевна! Входя в последний день, уже ближе к полуночи в номер, где она жила вместе с Аней, смущенно произнесла:

– Простите, но вынуждена прервать вашу идиллию, завтра тяжелый день.

– Это вы нас простите, Изольда Матвеевна, – встречно извинился Василий, выпуская из своих рук Анины, – мы тут засиделись. Обсуждали последний период творчества… Балакирева.

– Последний период творчества! Балакирева! – и еле сдержала смех. – Может, мне тоже высказать свои суждения по этому поводу?

– Нет, не стоит, Изольда Матвеевна, мы уже всё обсудили, – и выскользнул за дверь.

– Ну-ну… – то ли одобрительно, то ли иронично качала головой учительница.

А Василий возвратился в номер, в котором жил вместе Антоном Брюховецким, весьма тучным флегматиком, которого в музыкалке прочили во всемирные теноры, а в школе общеобразовательной дразнили прозвищем Непаваротти.

– Завтра домой, – грустно сказал Василий.

– Завтра домой, – согласился Антон.

– Может, рванём куда-нибудь, когда ещё попадём в город?

– Да не-е… Не хочу. Надо выспаться.

Другого от Антона ждать не приходилось. Но и Василий быстро согласился с таким развитием событием. Спать – так спать. Во сне можно быть с Анной. И если правильно настроиться, никто не помешает, никто не ворвётся в загадочную и легкую ткань сна.

На обратном пути одиннадцать часов они сидели рядом в стареньком, скрипящем на каждом ухабе «пазике». Все одиннадцать часов тихо разговаривали, и Василий держал Аню за руки. Изольда Матвеевна маячила где-то впереди, перебрасываясь ничего не значащими фразами с водителем, Антон хрустел чипсами, другие пели песни или, наоборот, закрывались от мира наушниками плееров. В дорожном кафе Василий накрыл для Ани отдельный столик. Благо, что первое место в конкурсе сопровождалось премией, равной месячному заработку отца. На эти деньги он купил подарки и отцу, и маме. И Ане…

Велико же было их удивление, когда на свёртке к посёлку, они увидели знакомый «Форд мондео». На трассу Брагин без прав выезжать боялся, а в таёжных джунглях гаишников не сыскать. На этом повороте останавливались все поселковые водители, было такое неписаное правило. Традиция. И Брагин рассчитал точно. Как только ребята высыпали из автобуса размяться, он уже стоял у входа.

– Ну, как успехи?

– Мы везём первое место,– опередила всех Изольда Матвеевна.

– Поздравляю, Василий, – нисколько не сомневаясь, кто обладатель победы, протянул пятерню Виктор.

– Спасибо.

– А я, собственно, за вами. Чего вам в автобусе кости трясти. Долетим с ветерком. Аня, ты как?

– Я как Вася, – робко ответила Аня.

– Ну, тогда поехали. Изольда Матвеевна, вы не возражаете? – спрашивал так, будто приказывал. Было что-то такое в голосе Брагина, какой-то особый тон врождённой наглости, возразить которому рискнёт не каждый.

– Но я отвечаю за жизнь и здоровье всех ребят, – смутилась Изольда Матвеевна.

– Да, если хотите, мы поедем сразу за вами или чуть впереди.

– Н-ну… Не знаю…

– Лады, Изольда Матвеевна, я вашего победителя сразу к пьедесталу доставлю.

Василий стоял растерянный. С одной стороны, Виктор не сделал ничего, что нарушало джентльменское соглашение, которое Морозов считал уже выигранным, с другой, надо было ещё об этом ему сказать, а сделать такой шаг по тем же условиям должна Аня, с третьей, не было ни одной маломальской причины, чтобы отказаться.

– А можно я с вами? – высунулся из дверного проёма Антон, который посчитал, что совместное с Морозовым проживание в гостиничном номере делает их почти друзьями.

– Не, там ещё Возя, – так ласково Брагин порой называл Вознесенского. – Тесно будет. Разве что стройная Изольда Матвеевна нам не помешала бы.

– Нет-нет, я с ребятами, – отмахнулась учительница.

– О! Паваротти, лови компенсацию, – Виктор с улыбкой бросил ему батончик «марса», чем вызвал бурю благодарности вновь проголодавшегося Брюховецкого.

Самое неприятное произошло в салоне «Форда». Макс с ехидной улыбкой сидел на заднем сиденье, Аню Виктор посадил вперёд, рядом с собой, а Василию пришлось довольствоваться компанией Вознесенского, который не преминул поёрничать:

– Садись, Маэстро, места для пассажиров с детьми свободны.

5

Нет, это не был классический любовный треугольник. Это был отрезок, на разных концах которого были Василий и Анна, а в центре маячила точка Брагина. Плюс к тому отрезок этот то тут, то там пересекали хаотичные лучи Вознесенского. Стоило Василию выбрать время, чтобы побыть с Аней наедине, как по наитию появлялся Виктор, а если не сам Брагин, то разыскивающий его Макс.

Аня снова ушла в себя, заставив Василия гадать и мучиться, что значат те три дня на конкурсе. Что, в конце концов, значат те минуты в её комнате, которые возвращались в его воображение всякий раз захватывающим дух видением. Но, как бы ни сильна была страсть, видение с каждым днём таяло. В него по-прежнему разнузданно врывался Брагин, который, к тому же, подчеркнуто соблюдал соглашение. Аня молчала, Василий мучился, Виктор не снижал молодцеватого напора.

Эх, должна же быть в поведении девушки хоть какая-то логика?

В Новый год Василий подарил Ане недорогую золотую цепочку, купленную в городе во время конкурса, Брагин часом позже ответил золотыми сережками, которые, разумеется, стоили много больше. Ни то, ни другое Аня не хотела брать, пришлось уговаривать вместе. Потом был новогодний бал, где два кавалера, как запрограммированные, приглашали свою возлюбленную на танец попеременке.

В конце концов, это стало настолько смешным, что Аня просто ушла со школьного вечера, попросив обоих не провожать её.

– Пат! – прокомментировал сложившуюся ситуацию Брагин и направился с друзьями в кафе.

Василий пошёл домой. Запершись у себя в комнате с телефонной трубкой, после некоторых сомнений он набрал номер Гордеевых. «Позвонил удачно», – ответила Аня.

– Это я, – начал он.

– Слышу, – ответила Аня.

– Я хочу спросить... – и получилось, что с мыслями так и не собрался.

– О чём?

– Ань, ты меня будто специально мучаешь.

– А ты меня?

Некоторое довольно длительное время они молчали, вслушиваясь в дыхание друг друга.

– Можно, я спрошу? – попытался унять сумбур в голове Василий.

– Ты и так всё время спрашиваешь. Ну, спрашивай…

– Ань, тогда у тебя дома… что это было? – и замер, чуть ли не зажмурился.

– Не знаю, дура я была, вот что. Мне показалось, что я именно так должна поступить. Хотелось чего-то… сама не знаю. Теперь стыдно, дура и всё!..

– Да нет, это я дурак был. И Брагин этот появился.

– Он всегда появляется, ты не замечаешь? Может, и сейчас наш разговор слушает.

Василий даже вздрогнул от такого предположения. И тут же стало стыдно от собственного малодушия. В конце концов, договор он не нарушал.

Или нарушал? В зале консерватории… Или – двенадцатым этюдом Шопена?..

– Аня, я тебя никому не отдам, – твёрдо сказал Василий.

– А я ни к кому и не ухожу, – спокойно, будто они триста лет живут вместе, ответила Аня.

– Наверное, мне с ним всё-таки придётся драться.

– Зачем? Чтобы он изуродовал тебя? Мне это не надо.

– Мне это надо. Иначе он всегда будет стоять между нами. Да ещё Вознесенский этот.

– У вас же пари.

– Не пари, договор.

Аня вздохнула так, что у Василия сжалось сердце. Нужно было задать ещё один вопрос. А он почему-то застревал, Василий боялся обидеть им возлюбленную, но всё же решился:

– В тот день, когда я трусливо ушёл, вы там остались… – и не смог договорить до конца.

– За кого ты меня принимаешь, Морозов?! – так и есть, Анин голос плеснул обидой и болью, и Василий от досады прокусил себе губу: ну что за идиот? Одна ошибка за другой!

– Аня, прости, я вовсе не хотел…

– Ты, Вася, ещё ему расскажи! Может, по вашему джентльменскому соглашению вы ещё рассказывать друг другу должны, кто и чего добился на любовном фронте?! Расскажи, Вася, лучше всего при Вознесенском. Представляю его сальную мордочку!

– Ань, что ты! Да никогда! Ты – самая лучшая! Ты просто идеал!

– А ты Морозов!.. Маэстро…– и не договорила, бросила трубку.

И Василий чуть не бросил. В стену.

Но сколько может ещё продолжаться такое состояние? И тут вдруг осенило: ещё полгода! Потом Брагин уедет поступать в институт. Вроде как собирается на физкультурное отделение университета. И у Василия и Ани будет ещё целый год. А до этого? Трусливо ждать, когда ситуация разрешится сама собой? Но что-то подсказывало: сама собой она не разрешится. Где-то сойдётся минус на плюс и будет либо короткое, либо долгое замыкание.

Выдержав паузу, он снова набрал номер Гордеевых, услышал на другой стороне провода дыхание Ани и, не дожидаясь ответа, выпалил:

– Аня, я хочу, чтобы ты знала, я люблю тебя, люблю больше всего на свете, больше музыки, без тебя вся музыка теряет смысл! Прости меня… – и теперь сам первым отключился.

Каникулы прошли в мучительной тоске. Изольда Матвеевна в эти дни уезжала на родину, куда-то в Поволжье, а это значило, что встреч в музыкальной школе не будет. Работать не хотелось, и за все эти дни Василий только пару раз садился за инструмент, чтобы нехотя «проковырять» конкурсную программу. Пытался сочинять, но вдохновения хватило бы только на грустную колыбельную. Зато много и бесцельно слонялся по улицам посёлка, избегая встреч с кем бы то ни было. И много читал. За каникулы осилил книгу Георгия Свиридова «Музыка как судьба», которую привёз из Москвы отец. Гениальный русский композитор оказался ещё и гениальным мыслителем. Благодаря этой книге Василий изменил своё отношение к хоровой музыке, к каковой ранее относился весьма прохладно. Теперь специально выписал через Интернет несколько дисков с церковной музыкой и певческую капеллу Санкт-Петербурга, чтобы услышать хоры Свиридова на слова русских поэтов. После прочтения Свиридова взялся за программного Достоевского. Сначала пришлось заставлять себя идти через простую сложность другого русского гения, а потом захватило…

Аня не звонила. Зато один раз позвонил Брагин, спросил, не знает ли Василий что, с Анной, она сидит дома, от тусовок отказывается. «Не знаешь?» – «Не знаю». «А сам чего сидишь?» – «К конкурсу готовлюсь». «Ну, лады», – вот и весь разговор.

Неожиданное произошло в первый день занятий, которого Василий ждал почему-то как решающего. Какая-то едва уловимая, внутрисердечная, не из ума исходящая интуиция подсказывала: что-то должно решиться. Откуда берётся такое знание?

После уроков, во время обычной толчеи у гардероба, Аня подошла к нему и спросила так, словно они расстались вчера:

– Вася, проводишь меня?

Рядом, как вечное наваждение, стоял, поигрывая ключами, Брагин:

– Да я подвезу, Ань.

– Нет, мы пешком.

В глазах его на секунду мелькнуло злое удивление, но он быстро взял себя в руки:

– Как хочешь. Сегодня вечером в клубе будет концерт. Банда какая-то выступает, из города приехали. Я заеду за тобой?

– Нет, не надо, не хочу я всю эту самодеятельность слушать, – с нескрываемым раздражением ответила Аня.

– Ну так, – скривился Виктор, – у тебя свой Маэстро есть! Да, Маэстро?

– Да, – спокойно ответил Василий, – но и на любительский бокс она бы не пошла.

– Ну-ну…

С этим «ну-ну» и пришлось уходить в неизвестность, спиной чувствуя въедливый взгляд соперника-партнёра.

– Хорошо, что ты вчера позвонил… второй раз, – сказала по пути Аня, – мне вчера так плохо было, а то сначала – со своим дурацким вопросом. Я правда не знаю, зачем я тогда так поступила. Взрослой себя посчитала. Теперь стыдно. Девчонки все про это рассказывают…

– Я ничего прекраснее в жизни не видел! – сколько мог – вложил в голос убеждения Василий.

– Молчи! А то больше не увидишь! – смущенно, но с едва скрываемой улыбкой отмахнулась Аня.

Мир вокруг изменился: стал осмысленно возвышенным, а за таёжными далями угадывалось зовущее будущее. Снова захотелось сесть за рояль и наполнить этот сияющий мир гармонией звука, выплеснуть переполнявшие чувства. Почти сразу закрутилась пока ещё в подсознании мелодия. Но сейчас у неё не было шансов прорваться в этот мир, рядом была Аня…

– Увидимся завтра, на репетиции, – сказала она на прощание у подъезда.

– Завтра обещают жуткий мороз. Я в Интернете смотрел.

– Ну ты же всё равно придёшь?

– Приду.

– Из-за музыки.

– Нет, потому что ты всё равно придёшь.

– Приду.

На том и расстались. И окрыленный Василий нёс на своей щеке легкое прикосновение губ Ани.

Дома же долго силился вспомнить мелодию, что звучала в нём, когда они шли по улице, но она исчезла безвозвратно, как многое из того, что уходит из нашего сознания в другие, неведомые миры, а может – к другим людям. Ведь бывает так: читаешь изложенные на бумаге чужие мысли, а кажется, что они твои собственные. Особенно, если изложены эти мысли талантливо. Или стоящий рядом с тобой человек произносит фразу, которую ты сам хотел сказать, но опоздал на какие-то доли секунды. А бывает: вы оба говорите – одновременно. Чаще всего такое бывает с влюбленными.

Вместо лирической мелодии началась «Пурга». Зато как! Нет, вдохновение – дар Божий, его не заставишь молчать! Правда, можно не обращать на него внимания, как на погоду: ну идёт дождь, ну и пусть себе идёт, или погожий день за окном – а ты прожил этот день и ни разу красоте его не обрадовался.

6

– Здорово, – сказала Аня после похвалы Изольды Матвеевны.

На мгновение Василию показалось, что Аня ему завидует, но она так и сказала минутой позже:

– Вася, я тебе завидую, у тебя такой дар. Мне рядом с таким даром даже немного стыдно за то, что я инструменты мучаю, но просто приятно быть рядом.

– Да, быть рядом, – многозначительно подхватила Изольда Матвеевна. – Быть музой – это тоже дар, и, уверяю вас, даже более редкий, чем гениальность в любом искусстве или науке. Этот дар – дар терпения и самопожертвования.

И вдруг осекалась. Ученики смотрели на неё так, точно она вот-вот произнесёт пророчество, расскажет им всю их жизнь и любовь на сто лет вперёд. Изольда Матвеевна замолчала, выразительным взглядом ответила ученикам, потом сказала:

– Вообще-то талант существует чаще всего не потому, а вопреки. Но так как без труда он как неограненный алмаз, то теперь давайте продолжать работать. Аня – твоя очередь. А ты, Василий, сегодня будешь помогать мне, попробуй слушать Аню критически, мне интересно: какие бы ты сделал ей подсказки. Может статься, твои окажутся точнее, чем мои.

– Да ну что вы, Изольда Матвеевна, – искренне смутился Василий.

Из музыкальной школы они вышли после одиннадцати. Пурга ослабла, небо расчистилось, но звёзды отступили в глубь его из-за огромной полной луны, что склонилась над верхушками сосен, как настольная лампа Бога. Эхом пурги по улицам катилась позёмка. Студёная тишина белой пустыней легла вокруг человеческого жилья, и каждый шаг по свежим сугробам будто рвал из неё клочки газетной бумаги.

– Поздно уже, может, не стоит меня провожать? – засомневалась на перекрёстке Аня. – Тут мне рукой подать.

– Мы можем ещё немного постоять в подъезде, – почти взмолился Василий.

– Ну ладно, пойдём, только, чур, недолго, – и взяла его под руку.

– Как получится, – игриво буркнул Василий.

– Я вот думаю, а если ты выиграешь всероссийский конкурс, в чём я не сомневаюсь, то потом поедешь на международный. Выиграешь его…

– А потом?

– Ну… возьмут без экзаменов в консерваторию…

– Ты поступишь, будем вместе учиться.

– Мой папа данное высшее учебное заведение называет консервой. Представляешь?

– Да я слышал, студенты также говорят. Ань, а ты будешь ждать меня из армии?

– Из армии? Но зачем тебе туда? Там можно… Ты же талант можешь потерять! – Аня даже остановилась, тревожно всматриваясь в лицо Василия.

– Если я не пойду в армию, отец не поймёт. Ты же знаешь, он у меня в Афганистане служил, у него награды есть, ранения. И мне до конца жизни будет стыдно, если я не отдам долг Родине.

– Вася, ты отдашь его музыкой, неужели ты не понимаешь? Ты только посмотри вокруг, сколько сейчас ребят всеми правдами-неправдами увиливают от службы.

– Косят.

– Да какая разница, как это называется?!

– Так и остаются на всю жизнь кривые-косые. Нет, я так не могу и не хочу. Причем постараюсь попасть не в какой-нибудь музвзод, а в нормальные войска. У музыкантов, отец рассказывал, дедовщина жуткая. Да и играют они на разводах, парадах и на жмура…

– На жмура?

– Да, это на похоронах. А я терпеть не могу похоронных маршей. Заунывь нудная! Самому покойнику должно быть тошно. Но ты не ответила на мой вопрос: ты будешь меня ждать?

– Конечно, буду, – Аня остановилась и прижалась к Василию, будто он уже завтра должен был отправиться на службу, – конечно, буду.

– Знаешь, Ань, мне вот сейчас кажется, что такого счастья даже быть не может.

– Какого?

– Такого, когда ты рядом, когда ты моя. Мне кажется, что я тебя так люблю, что мои чувства невозможно выразить ни словами, ни музыкой, ничем нельзя. Откуда такая любовь?

– Не знаю…

– Ань, я тебя спросить хочу, не обидишься?

– Попробуй, – лукаво улыбнулась и прижалась крепче.

– Вот если бы я не был пианистом, не победил на конкурсе, ты бы меня вообще заметила?

– Дурачок ты, Вася, – наигранно обиделась Аня, – заметила бы! У тебя в глазах, когда ты смотришь на меня, знаешь что?

– Что?

– Сама не знаю, как объяснить, но что-то огромное-огромное, светлое и доброе!

– А у Брагина?

– Тьфу, опять вспомнил!

– Забудешь тут, всё равно он где-то рядом.

– А у него, Вася, похоть. Он на меня как на любимую игрушку смотрит… Ты спрашивал, в тот день, когда ты ушёл, что было… Он почти с ходу целоваться полез.

– ??? – вскинул брови Василий.

– Я ему пощёчину влепила и сказала, что таким образом пусть подружек из своей компании обхаживает. Их можно даже не по одной, а сразу группой.

– Круто.

– Удивительно, но он понял. Сразу дал задний ход, разговоры умные повёл.

Они стояли у подъезда и входить в него не торопились. И тому и другому, казалось, что нужно сказать ещё что-то очень важное и нужное. Сказать что-то такое, что поможет им остаться рядом навсегда. Может, немного циничный философ назвал бы это доказательством взаимности, которому необходимо длиться, дабы не допускать и малейшей возможности опровержения. Доказательства должны нанизываться одно на другое, разжигать костёр веры. Они торопятся, потому что нужно сделать запас веры друг в друга на время пусть даже недолгой разлуки.

А поцелуй, который требует себе вечности? А долгое падение в бездонные глаза возлюбленного? А беззвучный и понятный только влюблённым язык прикосновений?

Но вот уже проскакали с телеэкранов лошади ночных «Вестей»… И на первом отзвучали аккорды Свиридова, отбивая неумолимое время…

– Пора, уже совсем поздно, – Аня шагнула в подъезд, Василий механически двинулся следом, втайне надеясь удержать её там хоть на пару минут.

Когда они преодолели первый лестничный пролёт и повернулись лицом ко второму, пришлось остановиться. Сердце Василия дрогнуло, но потом пошло ровно и спокойно: чему быть – того не миновать.

Прямо посреди лестничного марша сидели Брагин и Вознесенский. Судя по количеству окурков и плевков под их ногами, сидели уже давно. Под ногами у Ани звякнула пустая бутылка из-под водки. А на площадке были разбросаны ещё несколько пустых жестянок от колы и пива.

– А вот и наши голубки! – оскалился Брагин.

Он был сильно пьян, и, поднимаясь на ноги, крепко пошатнулся.

– Маэстры, – сплюнул на пол Макс.

– Ну что, Вася, выходит, ты нарушил наше джент… джень… тьфу… соглашение. Нехорошо, Вася, не по-мужски. А что ты, Вася, по-мужски можешь? – Виктор шагнул на одну ступеньку ниже, просверливая Морозова презрительным взглядом.

– По соглашению выбор должна сделать я, – встала между ними Аня, – и я его сделала. Витя, ты ещё найдёшь свою даму сердца.

– А тебя вообще кто спрашивает? – высунулся из-за спины Брагина Макс.

– Аня, иди, пожалуйста, домой, – попросил Василий.

Больше всего он не хотел, чтобы драка происходила при ней. То, что она вот-вот начнется, не было никаких сомнений. Был ещё какая-то надежда на то, что Брагин пьян, но, похоже, злость его быстро отрезвляла.

– Иди, Аня, – снова попросил он, – иначе я себя уважать перестану окончательно.

– Иди, Гордеева, – опять-таки встрял Вознесенский, – Маэстро нам серенаду споёт.

– Ты хоть знаешь, что такое серенада? – спросила его Анна, проходя мимо.

– А нам сейчас Маэстро расскажет.

– Если вы не уйдёте, я позову отца, – предупредила Аня, нащупывая ключом замочную скважину.

– Аня, прошу тебя, не надо, – глухим, не своим голосом напомнил Василий, выдерживая дуэль взглядов с Брагиным.

– Сейчас, я только скажу родителям, и вернусь, я провожу тебя, Вася, при мне они не посмеют…

– Аня, ты не понимаешь, что позоришь меня! – сорвался на крик Василий.

Брагин только скривил губы. Сплюнув на пол, под ноги Морозову, сказал ни к селу:

– Мальчик хочет в Тамбов… – и, когда дверь за Аней захлопнулась, ударил неожиданно и резко.

Василий почти сразу «потерялся», не устояв на ногах, слетел с лестничного марша на промежуточную площадку и, утеряв шапку, сильно ударился головой о стену. Сознание замутилось до тошноты. Зрение ещё полностью не восстановилось, но следующие несколько ударов погрузили его в полную темноту… Успел только пожалеть об одном, что ни разу не ударил. И он уже не слышал, как Вознесенский, очень похожий в этот момент на шакала из мультфильма «Маугли», захихикал, взяв руку Василия:

– Ну что, проверим музыкальные пальчики? Пальчики-баянчики!

Он положил безвольную кисть на ребро ступени и со всей силы опустил на неё подошву берца.

Огненный фонтан боли прошил темноту перед глазами Василия. Дальше он уже не воспринимал происходящее абсолютно. И прежде чем озверевший Брагин вдруг замер, осознав мерзость происходящего, Вознесенский успел попрыгать на второй руке Василия, превращая её содержимое в груду осколков. Но остановить своего подельника не успел. Всё это происходило не больше двух минут, наверху распахнулась дверь, на площадку вышел отец Ани.

– Дёргаем! – крикнул полоумный Макс, и Брагин на автопилоте рванул за ним, в два прыжка преодолев пространство до входной двери.

– Стойте, изверги! – они уже не слышали, как не слышал и Вася Морозов.

В ушах у него совершенно неконтролируемо, но очень чётко звучала тема нашествия из седьмой симфонии Шостаковича. Она нарастала до пульсирующей боли, а когда ему поставили укол, как-то незаметно и плавно перешла в «Болеро» Равеля, чтобы потом затихнуть совсем. Музыка уходила…

На улице Брагин резко остановился и вдруг врезал хохочущему сквозь одышку другу. Макс сел в сугроб и, вытирая кровь с губы, оскалился:

– Витёк, ты чё?

– Ты ему руки сломал!

– Да он этими руками твою тёлку лапал!

– Без тебя бы разобрался! Ты обезбашенный, Возя, садист! – плюнул и пошёл своей дорогой.

– А ты добрый, белый, пушистый и летаешь! Сам-то ему лампочку не хило стрёс! – крикнул обиженно вслед Вознесенский.

7

Василий окончательно пришёл в себя, когда хирург Сергей Иванович вместе с медсестрой Валентиной Ивановной гипсовали ему обе кисти. Первое о чём подумал: «А как теперь ходить в туалет?» – и нешуточно от этого расстроился. Не просить же кого-то расстёгивать ширинку! В голове ощущался пластилин, который сам из себя чего-то лепил, отчего неслабо поташнивало.

– О! Герой окончательно пришёл в себя. Как самочувствие? – улыбнулся врач.

– Не знаю, – честно сообщил Василий.

– Ну да, мало тут никому не покажется. Сотрясение плюс десять переломов! Все пальцы, кроме больших, и ещё лучезапястные! В каком гестапо ты побывал?

– Да тут, недалеко, – попытался пошутить, но вдруг понял самое главное: – Играть смогу?

– Футбол, хоккей, шахматы, теннис, подкидного дурака, преферанс – никаких проблем! Не сразу, конечно…

– На фортепиано?

Хирург замер, заметно растерялся. Профессиональную деловитость в глазах сменило сочувствие. Но он довольно быстро нашелся:

– Так это ты, Вася, наш колхоз на всю область прославил? Говорят, у тебя золотые руки…

– Я про ваши то же самое слышал.

– А! – подмигнул доктор. – Резать не клеить! Но ты нос не вешай. «Повесть о настоящем человеке» читал?.. Там лётчик Маресьев без ног летать смог.

– Читал, – скептически согласился Василий.

– И в отрицательном следует находить положительное. Десять переломов дают тебе освобождение от воинской строевой службы.

– Это меня как раз не радует.

– Ты что, не современный молодой человек?

– Выходит, так.

– Тогда тем более не имеешь права сдаваться. Валь, заканчивай, у меня там ещё клиент с рассечённой губой дожидается. Может, шить придётся, – потом одобряюще посмотрел на Василия. – А одному ты, получается, врезал?

– Как врезал? – удивился Василий.

– Да сидит там у меня один… Вознесенский Максим Леонидович, дожидается, а по совместительству рассказывает участковому, как ты ему губу повредил, а Брагин тебе за это нанес несколько профессиональных ударов в голову, после чего ты упал и поломал себе обе кисти и восемь пальцев. Как в том анекдоте: и так восемь раз. Так зацепил ты его?

– Хотел бы.

– Понятненько, сейчас с тобой закончат, но вынужден оставить тебя в стационаре на ночь, всё-таки сотрясение, мы тебя немножко покапаем, а утром посмотрим.

– А домой нельзя?

– Вась, тебя в полуобморочном состоянии вырвало, вон Валентине Ивановне досталось…

– Извините, – смутился Василий.

– Ничего, – только-то и сказала молчаливая медсестра.

– В коридоре сидит Аня и твои родители, ненадолго я к тебе их пущу.

– Спасибо, Сергей Иванович.

– Да не за что.

Странно, но в этот момент ему больше всего хотелось остаться одному. Возникло странное и неотвратимое чувство мощного перелома, после которого жизнь должна пойти уже иным руслом. Не было обиды или разочарования, но нужно было свыкнуться с новыми обстоятельствами. Что произошло – то произошло, и, честно говоря, Василий вдруг понял, что ему стало легче. Легче потому, что, невзирая на внешнее поражение, подспудно он осознавал победу внутреннюю. В том числе – над самим собой. Нужно было побыть одному, да не получалось.

Труднее всего было успокоить отца, который обещал сломать руки обидчикам и их родителям. Метался по палате, выкрикивал ругательства, но Василий в ответ твердил своё:

– Папа, если ты вмешаешься, это будет не по-мужски.

Мать просто тихо всхлипывала и гладила его по голове. Наконец их оставили наедине с Аней.

– Теперь я вряд ли стану великим пианистом, – грустно, но спокойно констатировал Василий.

– Ты думаешь, это что-то меняет? – Аня гладила торчащие из гипса покрытые белым налётом подушечки пальцев.

– Но ведь ты хотела меня видеть именно таким.

– Хотела, но ещё не всё потеряно. И это не самое главное. Твоя музыка позволила мне увидеть тебя. – Наклонилась к самому уху, обдав лицо чудным фонтаном забранных хвостом волос: – Если ты меня такую бесталанную не разлюбишь, то я выйду за тебя замуж, за тебя, а не за твои таланты. Понимаешь?

Василий чуть не задохнулся от окатившей его с ног до головы нежности, неловко обнял Аню закованными в гипс руками.

– Я ни о чём не жалею, – прошептал он, – главное, что ты есть у меня. Знаешь, мне даже не верится, что счастье может быть таким огромным, оно не вмещается в сердце.

– А я только сейчас начинаю понимать… – легко отстранилась, – войдёт кто-нибудь, мне всего три минуты дали. Я просто зашла сказать…

– Я знаю.

И действительно вошёл, правда, не кто-то, а совершенно конкретный участковый Фёдор Ильич Петренко. Усталый добрый майор милиции. С порога подмигнул ребятам:

– Прошу прощения, но мне тоже надо поворковать с Василием.

– Я пойду, приду сразу после уроков завтра, – понимающе встала Аня.

Василий театрально вздохнул. Мол, ничего не поделаешь.

– Заявление писать будешь? – сходу спросил Фёдор Ильич.

– Чем, дядь Федя? – кивнул на гипсы Василий.

– Я за тебя напишу. Фигуранты известны. Уж как-нибудь вдвоём закорючку-подпись поставим.

– Что это даст, дядя Федя? Даже если я соглашусь, дело всё равно замнут. Вы же знаете их родителей.

– Зря ты так, Вась, отец Брагина сам привёз его и сунул к нам в обезьянник. Но самое интересное, тот сам ему всё рассказал. Другое дело, что свидетелей нет. Вознесенский поёт, что ты ему первый въехал…

– Я знаю, всё произошло быстро, я выключился. Вот за это стыдно.

– Ты не обижайся, придётся взять у тебя кровь на содержание алкоголя.

– Пусть берут. Там всё чисто, – улыбнулся, – Изольда Матвеевна даже запаха не переносит, я себе сейчас представил, как я хотя бы с запахом пришёл на репетицию. Знаете, как она умеет одними глазами выражать своё презрение? Глянет – на месте сгоришь.

– Дело мне всё равно придётся заводить по факту, – сам себе сказал участковый, – а будет, чувствую, висяк, как с мелкой кражей из ларька. Эх, тут же нанесение тяжких телесных… А свидетелей нет. Хреново, Вась.

– Да уж, – согласился Василий.

Рано утром в палату ворвалась Изольда Матвеевна, стряхивая с себя сонную медсестру:

– Почему я в этой деревне узнаю всё последней?! Не останавливайте меня, я должна его увидеть.

Увидела и тут же зашлась навзрыд. Жалостливо поджала свои тонкие выразительные губы и вся затряслась от рыданий.

– Да что же это делается?! Изуверство какое! Васенька, бедный! Ты только не расстраивайся, мы ещё выйдем на большую сцену, – верила сама или нет?

– Изольда Матвеевна, не плачьте, а то я тоже сейчас разревусь, а мне нельзя, – эти слова ученика немного привели её в чувство, хотя слёзы бежать не перестали.

В первый раз Василий видел, как его учительница безоглядно выражает свои эмоции.

– Вася, – продолжала причитать Изольда Матвеевна, – ты не переживай, этот случай всего-навсего бемоль. Временное понижение тона.

– Мне вчера Сергей Иванович про лётчика Маресьева напомнил, – понимающе улыбнулся Василий, – только, я думаю, это не бемоль, Изольда Матвеевна, это бекар. И ниже уже нельзя, и выше дорога закрыта. То есть – ищи третий путь. Я, конечно, буду очень стараться, Маресьев без ног летал, но, мне кажется, асом не был…

– Вась, ты чего такой не по годам умный?! – вспылила Изольда Матвеевна. – Ты сам как бекар! Ни выше, ни ниже! Ты мне это брось!

– Да ничего, Изольда Матвеевна, самое главное, любовь к музыке, которой вы меня научили – это навсегда, а если пострадает техника – сочинять я всё равно смогу.

– Сможешь, – утерла мокрым насквозь платком последнюю слезу учительница, – ты только не сдавайся. Аня как?

– Ночью у меня была.

– Ну и прекрасно, прости, что я так раскисла.

– Я знаю, вы очень на меня надеялись.

– Да я не надеялась, я точно знала… Уже продумывала программу для международного конкурса в Польше. Ах, как бы ты их удивил своим Шопеном. Они бы узнали, что такое по-русски мороз по коже… Нет, Морозов по коже!

Она так сказала, точно Шопен был близким другом Василия.

– Через сколько тебе снимут гипс?

– Сергей Иванович сказал: дней сорок. Потом надо будет руки разрабатывать. Надо мячик для большого тенниса, – посмотрел на руки, – два мячика и два эспандера.

– Я поеду в город, хочешь – привезу? Да о чём я, привезу, да и всё!

– Спасибо, Изольда Матвеевна.

На глазах её снова выступили слёзы, но в этот раз она справилась с собой. Встала, оправилась, глянула в маленькое зеркальце из косметички, хмыкнула на опухшие веки и нос и уже с порога подчеркнула:

– Бекар так бекар, Вася, это всего лишь временный знак! Главное – общая гармония. А знаки просто так не ставят!

Следующим гостем в палате стал отец Алексий. Его увидеть Василий никак не ожидал. Отец Алексий появился в посёлке недавно, после того как всем миром восстановили церковь. Был он молод и худощав, а вьющаяся русая борода была реденькой и несерьёзной. Зато добрыми и пронзительными были серые глаза, и взгляд был такой, точно у человека за плечами целая жизнь. Несколько раз он приходил в школу, разговаривал с ребятами и учителями. Интересно, что раньше некоторых учеников водили к психологам, а теперь – к священнику. Но Василию близко с ним сталкиваться ещё не приходилось.

– Позволишь? Я тут прихожанку соборовал в соседней палате, решил и тебя проведать.

– Проходите.

– Ты можешь называть меня отец Алексий, а можешь просто – батюшка, как тебе покажется правильнее.

– Батюшка? А вы такой молодой.

– Что ж, на Руси так принято, тысячу лет это никого не смущало. А русский язык не только самый красивый, но и самый точный.

Василий так и не знал, как ему лучше называть отца Алексия, потому немного смущался.

– Вы, наверное, пришли, чтобы я не отчаивался, но я не отчаиваюсь.

– Я пришёл, потому что твоя история очень похожа на мою.

– Вот как?

– Да-да, – располагающе улыбнулся священник. – Но сначала расскажи мне, как ты оцениваешь то, что с тобой произошло. Мне известно, что Бог одарил тебя большим талантом музыканта и даже композитора, о твоей победе на конкурсе весь посёлок говорил.

– Было, – согласился Василий, – а теперь уже и не знаю, что от этого останется. Знаете, батюшка, – так называть священника ему понравилось больше, ближе, что ли, человек становился? – все, что со мной произошло – из-за любви к девушке. Но она ещё одному парню нравилась. Он меня на год старше и сильнее. Боксёр. Кандидат в мастера спорта по боксу. Честно говоря, я сначала его боялся и чуть было не сдался. А вот теперь лежу битый, но мне всё равно кажется, что я победил. Потому что свою силу он в общем-то от слабости применил. Обидно, конечно, что я не могу ему как следует сдачи дать, но получается и он ничего не добился. С ним друг был. Кажется, это он мне руки сломал. Смутно всё помню. Участковый приходил, я не стал на них заявление писать. Жалко, конечно, что на конкурс не поеду. И больше всего почему-то учительницу мою жалко, Изольду Матвеевну, она столько

сил в меня вложила, столько надежд, всё напоминала: руки береги… считала, что я запросто поступлю в консерваторию, без колледжа, на фортепианное отделение.

Василий замолчал, собираясь с мыслями, священник внимательно слушал. Почему-то захотелось рассказать ему всё без утайки. И Василий начал заново с 1 сентября. И когда дошёл до сегодняшнего дня, сам собой возник вопрос:

– Вот вы говорите, батюшка, Бог мне дал талант. Ещё я слышал, что зарывать талант нельзя. Притча есть такая, что слуга, который зарыл свой талант, его не преумножил, получается, как бы не преумножил то, что ему было дано.

Священник кивнул.

– Тогда почему Бог позволил у меня этот талант забрать?

– А ты помнишь, как в притче? Таланты – это такие деньги были. Причем очень большие. Золото и серебро в талантах измерялось килограммами. Так вот, два других слуги свои таланты вложили в дело и удвоили их. Как ты правильно говоришь, преумножили. Но могло ведь повернуться и так, что дело не выгорело, и прибыли бы не было, и талант бы был растрачен. Могло?

– Могло, – согласился Василий.

– Итак, первое: Господь каждому даёт ту меру таланта, которую он может вместить. Поэтому: одному – пять, другому – два, третьему – один. И с каждого спросит за данное. И каждому даёт согласно его способностям. И важно не струсить, пойти на разумный риск, чтобы преумножить эти таланты, а не сидеть над ними, как Кощей над златом. Вспомни слова своего отца о трусости. Очень правильные слова. Ты не закапывал свой талант, но и не ценил его. А кое в чём проявил малодушие. Та же история с котом. Так вот, Василий, до поры до времени у тебя всё шло как по маслу. Так? Всё давалось легко, и не с легкой ли иронией ты смотрел на упорный труд твоей возлюбленной? То, что тебе давалось легко, она постигала с огромным трудом.

Василий потупился, он только что рассказал об этом сам, но другими словами.

– И ты полагал, что так будет всегда, – продолжал отец Алексий. – Ценил ли ты в достаточной мере, что было тебе дано? Помнил ли ты о том, кто тебе это дал, или ты горделиво полагал, что тебе это и так положено? И ещё вот о чём вспомним: Брагину тоже дан был талант, пусть не в искусстве, пусть в спорте. И вот два ваших таланта пересеклись. За то, как он употребил свой талант, он сам и ответчик. Господь дал, Господь спросит, и уж понятно, что не Он вёл руку Брагина, наносящую тебе удары, а неправильно понятая Брагиным высшая свобода, да бесы, которые под той рукой тут как тут. Но мы вернёмся к твоему дару. Твоему таланту выпали испытания, как выпали испытания твоей любви. Правильно?

Василий согласно кивнул. Теперь он уже опережал озвученную мысль батюшки. Он уже всё понял, но продолжал вежливо слушать.

– Любовь испытание выдержала и стала прочнее, так?

– Значит, испытание таланта тоже должно принести свои плоды! – не выдержал Василий.

– Да, я в это верю. Когда я учился в семинарии, нам рассказывали интересную историю из жизни Сократа. Этот греческий философ жил задолго до Рождества Христова. Однажды в день рождения этого философа к нему пришли его ученики, и каждый принес ему что-то в дар. Но один ученик был настолько беден, что не имел ничего и, пока шло поздравление Сократа, сидел понурясь. Он встал самым последним и сказал: «Дорогой наставник! Ты знаешь, что я нищий, мне нечего дать тебе. Единственный мой дар – я отдаю тебе самого себя как раба. Делай со мной, что хочешь!» И Сократ сказал: «Это самый драгоценный для меня дар. Я принимаю его, но лишь с тем, чтобы вернуть потом тебя самому тебе в еще лучшем виде!»

– Здорово! – восхитился Василий. – Обязательно расскажу всё это Изольде Матвеевне! И Ане… Можно?

– Можно. Только помни о том, что понимание слова раб Божий разнится от принятого в обществе понимания слова «раб». Быть рабом Бога – это счастье и надежда. Если бы мы могли принадлежать Господу всем умом, всем сердцем и душой! Если мы не рабы Бога, значит – мы рабы этого мира, рабы диавола, рабы собственного эгоизма. И тут как раз важно, чтобы Господь не прогнал нас во тьму, как недостойных рабов. Помнишь конец притчи о талантах?

– Да. Знаете, батюшка, я, честно говоря, читал только детскую Библию.

– Значит, настало время взять в руки, пусть и такие, – он улыбнулся, глядя на гипс, – Священное Писание. Я вот каждый день понемногу читаю. Это как родниковой воды испить, как чистого воздуха глотнуть.

– Но вы сказали, что моя история похожа на вашу? Расскажите!..

– Представь себе, что в школе я занимался парашютным спортом, удачно всё складывалось. А вообще я мечтал поступить в Рязанское военное училище воздушно-десантных войск. Слышал о таком?

– Слышал.

– И поступил! И всё было хорошо…

– Как по маслу?

– Точно. Но уже на третьем курсе во время одного из тренировочных прыжков я неудачно приземлился, повредил позвоночник. О дальнейшей службе не могло быть и речи. Никакое лечение, никакие тренировки не помогли бы. Точка, и всё! Ни про какого Маресьева врачи и слышать не хотели. Честно говоря, я тогда думал, что жизнь моя на этом кончилась. Мечта в буквальном смысле разбилась о землю.

– Да… не позавидуешь.

– Не знаю, сколько бы продлилось моё безысходное отчаяние, а самое главное – я не понимал, почему так произошло именно со мной? Были ребята, у которых всё получалось много хуже, чем у меня. А они могли вновь и вновь подниматься в небо, с гордостью нести службу и называть себя десантниками. А я вдруг оказался на обочине, – отец Алексий на минуту замялся, снизил на полтона: – Только тебе скажу, никому не скажешь?

– Никому.

– Я тогда неумеренно пить начал. Это у русского человека блажь такая – горе заливать. Но было ли горе-то? Так вот, преподавал у нас один легендарный подполковник. Он побывал на всех войнах, которые в том числе называют локальными конфликтами. От наград у него левый борт кителя перетягивало. И когда я собирал уже вещи ехать домой, он пришёл ко мне и сказал: «Знаешь, Алексей, самое страшное в жизни это не то, что произошло, это когда не знаешь, почему. Я столько похоронил товарищей, что всякий раз, когда я думаю, что мне плохо, я вспоминаю их близких: жён, матерей, детей. И мне становится стыдно, потому что им хуже, чем мне. Однажды я услышал одну важную мысль, которая теперь всегда со мной. Говорят, есть три главные тайны: когда мы умрем, от чего мы умрем и где мы будем после смерти». «Где вы это услышали?» – спросил я. «На проповеди», – ответил он. «Вы что, верующий?» «Конечно, – удивился он моему вопросу, – как же можно выбирать работу, на которой каждый день нужно быть готовым умереть, и не быть верующим? А знаешь, что слово «служба» лучше всего соответствует только двум профессиям: военной и священника?» Так, Василий, я оказался в духовной семинарии… А бекар – это ты интересно придумал… Ниже нельзя и вверх. Я разовью твою мысль – вверх можно, но только согласно предписанной гармонии. Кажется, я не нарушил правил музыки, применяя их к правилам духа?

– Нет! Всё точно! У меня даже рифма родилась: если есть Икар – будет и бекар! Я бы так не смог мысль подвести и сказать.

– Смог бы, просто нужно немного опыта.

– Мой отец воевал в Афганистане, и когда мы приезжаем в город, он всегда идёт в церковь и заказывает там молебен за упокой. И всегда жалеет, что не все его погибшие сослуживцы были крещены. Он рассказывал, что сам крестился после войны, когда вернулся домой. А вы молитесь за тех, кто когда-то с вами учился?

– Обязательно. И за победу, и за упокой. Некоторые из моих друзей уже погибли на Кавказе. И не только за них, а за всё российское воинство надо молиться.

– Хорошо, что вы пришли, – признал Василий, – мне намного легче стало. Теперь не кажется всё таким бессмысленным.

– Вот и слава Богу, а мне ещё надо с соперником твоим повстречаться. Ничего не имеешь против? – вопросительно вскинул брови отец Алексий.

– Нет, да и как я могу возражать. Может, ему даже нужнее, чем мне.

Соперник пришёл в этот день последним, когда Василий всеми правдами и неправдами отпрашивался у Сергея Ивановича домой.

Брагин хмурой тенью нарисовался в палате, молча сел на табурет у кровати Василия. Прежде чем сказать что-либо, он сидел некоторое время, опустив голову. Так и начал говорить в пол:

– Вась, я так не хотел. Участковый сказал, что ты не стал писать заявление, хотя Гордеевы готовы выступить свидетелями. Отец мне выговорил, что заступаться не будет… Короче, можешь сломать мне руки. Вот, – и в подтверждение он вытянул вперёд руки, кончики пальцев заметно подрагивали.

– Вить, ты же знаешь, что я этого делать не буду, – ответил Василий.

– Да, стрёмно получилось. Я себя таким дерьмом чувствую. Макс тоже хотел прийти. Но его отец запер. И правильно. Самое поганое то, что ничего исправить нельзя. Отец мне сказал: никаких тебе институтов, пойдёшь в армию. Я думаю, правильно. А тебе что врачи говорят: сможешь играть?

– Они не знают. Наверное, так, как играл, уже не смогу. Буду сочинять. И буду много работать.

– Слышь, Вась, если чем надо будет помочь, можешь в любое время на меня рассчитывать.

– Ладно.

Снова повисла неловкая тишина. Каждый думал о своём. В какой-то момент, Василию вдруг показалось, что это не Брагин ему, а он Брагину изломал жизнь. Даже совестно стало. Не такое ли чувство выгоняло русских женщин на улицы, когда мимо шли этапом колодники. И подавали им еду или одежду – кто что может, хотя вчера каждый из этих угрюмых, закованных в цепи людей мог вынести всё вчистую из их небогатого дома, ударить ножом или топором, снасильничать… Надо спросить об этом у отца Алексия.

8

В июне Василий уже мог играть токкату и фугу ре-минор Баха, не очень ровно, но уже цельно. Руки, как раньше, не летели, более того, некоторые пассажи давались через боль. Между делом он мял в руках теннисные мячи, которые привезла Изольда Матвеевна, и эспандеры, что привез из города отец. Невзирая на предоставленную директором отсрочку, он пошел сдавать выпускной экзамен в музыкальной школе по специальности. Отыграл так, как это мог сделать любой среднестатистический ученик, но ему поставили явно завышенную пятёрку, хотя все, и в том числе Василий, понимали: это за прежние заслуги. Зато после обязательной программы он порадовал и учеников, и преподавателей двумя новыми произведениями: сонатиной, которую он написал специ-

ально, чтобы разрабатывать руки, и фортепианным ансамблем, который они исполнили в четыре руки с Аней.

Аня тоже сдала на свою заслуженную пятёрку. Теперь им оставалось главное: окончить общеобразовательную школу. Изольда Матвеевна продолжала заниматься с обоими. Василий нацелился на теоретико-композиционный факультет, Аня – на фортепианное отделение.

В июле Морозовы и Гордеевы, внимая просьбам детей, вместе выехали на юг. А остаток лета Василий ходил к отцу Алексию, чтобы поближе познакомиться с церковным пением.

Поздней осенью пришло письмо от Брагина, который лежал в ростовском госпитале после ранения, полученного на Кавказе. Сам он писать не мог, поэтому за Виктора это сделал сосед по палате.

«Здравствуй, Василий! У меня всё хорошо. После учебки попал в разведроту, а это очень почётно. Правда, повоевать толком не пришлось, да и реальных боёв теперь не так много. Не поверишь, к нам сюда приезжали группа «ДДТ» и Юрий Шевчук. Хорошие ребята, настоящие мужики. Они уже не в первый раз приезжают. Дали концерт. Знакомые песни подпевала целая дивизия. Слышал ведь: «Что такое осень?..» А вокруг действительно осень! А когда он пел: «Это всё, что останется после меня», пацаны даже плакали. Были и новые песни. Классно! Говорят, ещё приедет «Любэ». А я сразу вспомнил про тебя и твою музыку. Знаешь, здесь даже классику бы слушать стали, я представил, как бы ты мог здесь сыграть, и все наши парни тебе бы аплодировали. А я бы гордился.

Даже если ты мне не ответишь, хочу, чтобы ты знал, почему это письмо пишет под мою диктовку мой сосед Вадик. Рядом со мной взорвалась мина, и я получил осколочное ранение. Самое интересное, что два осколка прошили насквозь ладони, а один засел в черепушке. Из-за этого осколка и придётся здесь ещё поваляться. Ребята, глядя на мои руки, смеются, а я вспоминаю ту злополучную ночь. Наверное, теперь мы точно в расчете, хотя ты, я это знаю, зла не держал.

Кстати, а Макс сейчас в экономическом колледже. Замутил какие-то дела, уже купил себе тачку. Даже фотографию прислал. Странно, но у него всё хорошо. И – с руками, и – с головой. Но, может, так и должно быть?

Ане от меня огромный привет. Если бы мне сейчас писала сюда письма такая девушка, я был бы самым счастливым человеком на свете. Ну вот вроде и всё.

Хотя нет.

Хорошо, что я попал сюда, отсюда жизнь выглядит совсем по-другому. Если с руками и головой всё будет в порядке, попробую поступать в военное училище. Чувствую, это моё. Так что – держись, Маэстро.

Мл. сержант Брагин».

Давайте порассуждаем...

1. Как вы думаете, удается ли писателю создать в повести «Бекар» убедительную картину жизни современной деревни, школы? Если да, то какие наблюдения писателя показались вам наиболее запоминающимися, выразительными?

2. Как представлена в повести музыкальная тема? Умеет ли, на ваш взгляд, писатель увлекательно рассказывать о музыке и музыкантах? Обоснуйте свой ответ обращением к тексту. Какую роль выполняет музыкальная тема в повести «Бекар»?

3. Расскажите о том, как вы поняли то, в чем заключается сложность взаимоотношений Ани и Василия? Могли бы вы назвать эти отношения красивыми, вызывающими зависть и уважение? Если да, то как, по вашему мнению, писателю удается показать и сложность, и красоту отношений этих героев?

4. Насколько убедительным и логичным, на ваш взгляд, выглядит финал повести? Прав ли писатель, когда все у него завершается благополучно? Может, на его месте следовало наказать «плохих парней», тем более, что один из них так ничего и не понял? Порассуждайте на эту тему.

5. Как вы поняли смысл заглавия повести? Можете представить себе продолжение, развитие судеб героев, которое осталось за пределами повествования? Каким может выглядеть будущее героев в свете того смысла, который вы увидели в названии повести?

6. Охарактеризуйте повествовательную манеру С. Козлова, к примеру, то, как он развивает сюжет, как описывает героев и окружающее пространство (например, природу), как говорят его герои?

7. Напишите небольшое сочинение-рассуждение или эссе на тему «Человек и музыка в понимании С. Козлова (на примере повести “Бекар”)».

КОНЬКОВА
Анна Митрофановна
(1916–1999)

Первые сказки на русском языке опубликованы в 1967 году в окружной газете «Ленинская правда». Сказки и легенды печатались в журналах «Мир Севера», «Северные просторы», «Сибирские огни», «Стерх», «Урал», «Югра», в коллективных сборниках и альманахах «Огонь-камень» (1981), «Братство» (1982), «Сибирские сказания» (1991), «На семи холмах соцветие» (1995), «Эринтур» (1996), «Последнее пришествие» (1998). Ее произведения включены в хрестоматии «Литература Тюменского края. Кн. 1, 3» (1996), «Лукоморье» (1997).

Опубликованы сборники сказок и легенд «Сказки бабушки Аннэ» (1985; 1993), «Элт минып Ивыр – Вожак Ивыр» (1991), «Свидание с детством» (1996). А. Конькова – автор романа-сказания «И лун медлительный поток» (в соавторстве с Г. Сазоновым; 1982, 1990, 1994).

Произведения А. Коньковой переведены на английский, венгерский, польский и чешский языки.

Член Союза писателей СССР с 1989 года.

Заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского автономного округа. С 2001 года – Почетный гражданин Ханты-Мансийского автономного округа (посмертно). Награждена орденом «Знак Почета».

Сказки и предания Анны Митрофановны Коньковой – это не только сохранение словесного художественного богатства мансийского народа, но и обогащение его своей фантазией и вдохновением. Ее герои – талантливые и добрые люди, имеющие свое представление об этом мире и о месте человека в нем, свое понимание добра и справедливости. Это герои, которые понимают себя частью целого, поэтому готовы ради этого целого на бескорыстные и бесстрашные поступки.

А. Конькова умеет увлекательно строить сюжет, рассказывая о самых простых, казалось бы, вещах, умеет находить самобытное слово для воплощения своих, идущих из глубины веков сюжетов. Ее произведения представляют собой удивительный сплав, синтез правды и вымысла, реальности и чуда, волшебства. И все это ради того, чтобы рассказать об умении и необходимости жить в мудрой гармонии с родной суровой природой, с обитателями этого прекрасного края.

«Духовную жизнь округа сегодня, – уверен Еремей Айпин, – невозможно представить без А.М. Коньковой, нашей бабушки Аннэ, матери матерей нашей древней и суровой Югры. Анна Митрофановна – это

мудрость, это доброта, это совесть моей земли. И поэтому вечно живут ее сказки и легенды, радующие сердце и душу каждого, кто с любовью прикоснется к ним».

ВОЖАК ИВЫР

Легенда

В Евру манси пришли очень давно. Может, с тех пор прошло сотыр тал – тысяча лет, а может, и того больше.

Вот как это было.

Однажды зимой пришли к манси враги. Как пришли – собой всю землю накрыли. Как пустили стрелы – солнце и небо закрыли. Сильные манси, храбрые манси тоже много стрел навстречу вражеским пустили. Стрел в воздухе кружилось больше, чем комаров летом. Стрела в стрелу попадала, стрела стрелу побивала.

Маленький Паломей в ту пору впервые был на охоте – далеко угнался за лосем. Теперь, радостный, возвращался домой с добычей. Его тугой лук висел на левом плече, а справа, на поясе, из берестяного складника торчали острые стрелы.

За плечами, на лямках из кедровых корней, нес Паломей берестяную напу[1] с лосиным сердцем и лосиной головой. Сяду, думает, рядом со взрослыми охотниками и буду рассказывать им, как охотился. Отрежут ему мужчины верхушку лосиного вареного сердца, подадут и скажут: «Это нашему молодому охотнику Паломею».

Но когда он вернулся домой, кроме старого слепого Петотки никого не нашел.

Петотка сказал Паломею:

– Всех побили враги. Я один остался. Пойдем, сынок, к дальней лесовней юрте.

– Дедушка, я не знаю дорогу туда.

– Я тебе, Паломей, буду рассказывать. Сейчас нам надо идти к лесной янге[2]. Бывал там?

– Бывал.

Паломей взял дедушку за руку и повел. Много ли, мало ли прошли, дедушка остановился и стал прислушиваться.

– Ты что, дедушка, может, устал?

– Нет, сынок, вон в том кедраче я слышу плач ребенка.

Теперь и Паломей услышал. Он отпустил руку дедушки и побежал на плач. В темном кедровнике увидел пайву – берестяной кузов, он висел в

---

[1] На́па – разновидность берестяного короба.

[2] Я́нга – урочище с определенными характеристиками: моховое, топкое болото, поросшее сосновым мелколесьем.

густых ветках кедрача и чуть-чуть покачивался. Снял пайву. В ней лежал ребенок, завернутый в заячьи шкурки. Принес пайву к дедушке Петотке. Дедушка опустился на колени возле пайвы, стал ощупывать руками. Нащупав теплый сверток, заохал.

– Ай-е, Белый, Светлый День, бедная женщина знала, что не выживет, так бросила на родную землю малое свое зернышко.

Паломей надел пайву на спину, и пошли они дальше. Шли, садились отдохнуть, снова шли.

– Дедушка, теперь куда? Янга кончилась, дорога раздвоилась.

– Ты, сынок, за янгу веди меня, а та, другая дорога к Карасьему озеру ведет.

Дед шел и думал: «Вот, Ели Торум, подземный бог, почему не прогрыз из-под земли дыру и не взял, не проглотил в свое подземное царство всех врагов? А ты, Номи Торум, небесный бог, почему допустил, чтобы враги пришли на нашу землю?»

Потом услышал радостный крик Паломея:

– Дедушка, Апонька-Халь – Апонькина Березка! Я ее сразу узнал!

Собака чуть остановилась и быстро побежала в сторону деревни с мертвым щенком в зубах. Мальчик обернулся и стал звать ее:

– Халь! Халь! Иди к нам. Зачем в деревню бежишь, там нет живых людей. Иди к нам, вернись, Халь!

Но Халь скрылась из виду. Паломей всхлипнул.

– Хоть бы Халь с нами осталась.

– Ты, Паломей, не плачь. Это она от горя обезумела. Вернется к нам.

В пайве заплакал ребенок.

– Светлый, Белый День! Однако ребенок будет сильным, когда вырастет. Слышишь, Паломей, как он громко плачет. Скорее бы нам прийти к юрте да накормить его.

Только присели отдохнуть, вернулась Халь. Паломей обрадовался, стал ее гладить, ласкать, убирать налипшие комочки снега на животе. Низ живота у нее отвис, два ряда упругих сосков торчали в разные стороны, как зубья деревянных граблей. Дедушка тоже потянулся к собаке и наткнулся на тугие соски, ощупывал их, гладил, а из них медленно подавалась теплая жидкость. Петотка подумал и заговорил вслух:

– Сынок, давай попробуем покормить малыша. Вынимай его из пайвы, дай обнюхать собаке.

Собака обнюхала сверток из заячьих шкурок, потом Паломей обмыл ее соски и приложил к ним ребенка. Накормили малыша и пошли дальше. Шли долго, медленно, к лесовней юрте пришли поздно.

Вскипятили из снега чай с чагой и уснули. Утром проснулись оттого, что кто-то наступил на спящего Паломея. Паломей открыл глаза и удивился:

– Дедушка, а малыш уже ходит, ноги-то, ноги-то какие крепкие! – Хотел назвать его, а имени не знает. – Дедушка, как малыша зовут?

–Да пока никак. Подумай, найди ему имя.

– Дедушка, назовем его Ивыром, так звали моего отца.

И стал Ивыр расти быстро. И скоро стал больше и сильнее Паломея.

Как-то утром старый Петотка вышел из лесовней юрты и учуял запах дыма. Встревожился: «Однако, мой чувал еще спит, я его не топил. Откуда взяться запаху дыма? Не враги ли опять жгут людей в каком-нибудь стойбище?». Сердце его сжалось, заныло. Он сразу подумал о своих малышах: «Что будет с Паломеем и Ивыром?».

Разбудил мальчиков, рассказал им. Паломей и Ивыр оба выскочили на улицу и тоже почувствовали слабый запах гари. Петотка приложил ухо к мерзлой земле, чтобы узнать, не стонет ли матушка земля от множества ног врага. Ничего не услышал. После долго ее гладил, припадал к ней щекой.

Пока Паломей взбирался на высокий кедр, чтобы рассмотреть даль, Ивыр уже кричал с самого высокого дерева:

– Отец, я вижу далеко-далеко, ни дыма, ни людей нет.

Но с этого дня тревога не покидала их.

А тут еще потерялась Халь. Мальчики ходили по лесу, кричали, звали ее – она не приходила. Куда могла деваться собака?

– Кто знает, – сказал дед. – Могла встретиться со зверем и погибнуть.

Потом Халь вернулась, но не одна, с ней пришел пес солнечного цвета. Обрадовались возвращению собаки.

– Ты, Паломей, видел в нашем стойбище такого пса? – спросил дед.

– Нет, – ответил Паломей. – Может, дедушка, он от добрых людей?

– А если от плохих людей – врагов наших? – спросил Ивыр как взрослый.

– Может, от добрых людей, может, от плохих, кто знает, – раздумывал Петотка.

Он велел привязать пса и найти лиственничную губу-гриб, принести, размочить в горячей воде и сделать человечка.

Ивыр сходил в лес, принес губу-гриб и принялся за работу. Посмотрит на Петоту, на Паломея, помочит гриб, побьет его тяжелой палкой и опять режет.

Человек получился мягкий, белый, гладенький. Потом из бересты сшили складничок[3], положили человечка туда, привязали складничок за ошейник солнечного пса. Пса увели в лес и отпустили: может, приведет доброго человека.

В эту же ночь пес вернулся и привел хозяина – охотника из другого стойбища. Охотник забрал Петотку с его детьми в свое стойбище. Хорошо и долго жили здесь манси.

Пришло время каслать, и Ивыр ушел искать новое место. Долго ходил. Вернулся радостный. Старый вожак Вындыр выслушал рассказ Ивыра и сказал:

– Люди, я стал старый, слабый. Вам нужен молодой, сильный вожак. Я думаю, теперь вожаком будет Ивыр. Он нашел новое место для нас. Там речки, богатые рыбой. В урманах много непуганых зверей. Но это место за большим, страшным болотом. Если пойдем, враги никогда больше не придут.

---

[3] Скла́дник – сумка для охотничьих и иных принадлежностей, ранее из бересты, позднее – из брезента.

Манси во всем стойбище обрадовались, они знали Ивыра – смелого, ловкого охотника.

Зимой, когда речки и болота застыли, Ивыр откаслал со своим стойбищем к страшному болоту. Когда подошли, разожгли высокие костры, приготовили пищу. Старые женщины разошлись во все стороны, стали уговаривать Болотного Духа – Комполэна: окуривали его пихтовым дымом, угощали пищей, просили Комполэна пропустить их на бор к речке с прозрачной водой. Пока женщины договаривались с Болотным Духом, остальные сидели тихо, боясь пошевелиться, и не прикасались к пище.

Утром пошли по болоту. Много прошли, но вдруг болото закачалось, поднялась над людьми грязная болотная вода ледяным паром. А над ледяным паром поднялся до полнеба Комполэн. Одна его нога была высокая лиственница, другая нога – с круглым конским копытом.

На его крик поднялись все болотные чудища – одноглазые и многоглазые, похожие на ощипанных ворон с длинными клювами, закричали, запрыгали, страшно захохотали, и все начали забрасывать людей влажным мхом и болотными кочками – не хотели пропускать в богатый урман. Все перемешалось: ледяные брызги, мох, кочки и чудища. Не стало видно ни солнца, ни белого дня.

Люди уже силу потеряли – приготовились переходить в подземное царство. И только Ивыр продолжал бороться с болотными чудищами. Кулаки заболели – он вывернул березовую оглоблю из нарты, бил их оглоблей.

Чудища повалились в болотную пасть и заполнили ее своими телами. Потом сам Комполэн набросился на Ивыра, а Ивыр изловчился, поймал его за деревянную ногу, выдернул ее, забросил далеко в болото.

Закачался Комполэн на конской ноге и запрыгал на ней – искать свою деревянную ногу. Ивыр провел людей через болото.

Скоро они пришли в бор. В темноте добыли огонь, разожгли костры. Обсушились, хорошо отдохнули и чуть свет снова пошли. Шли белыми борами. Деревья потрескивали от мороза, как будто вздрагивали, пугались людей. Снег вокруг был увит косами звериных следов. Собаки, почуяв запахи зверей, рвались с поводков – тянули своих хозяев-охотников по их следам.

Семь дней, семь ночей прошло. Манси пришли к речке со свежей, прозрачной, как слеза Номи Торума, водой. Зашли в лесовние юрты, сделанные Ивыром, и крепко уснули.

Назавтра охотники пошли на охоту. Вернулись с богатой добычей. Наварили лосиных голов, посадили на самое почетное место вожака Ивыра. Угощали его лосиными глазами, языками. Рассказывали о богатых зверями урманах. Вожак слушал охотников, радовался со всеми. Потом закашлялся, повалился на снег и умер: устал, видно, очень бороться.

Долго жили манси в этих краях, богатых добычей. После смерти вожака Ивыра назвали они свою деревню Еврой – Ивыр Павыл, речку тоже Еврой – Ивыр Я.

Старый вожак Вындыр сказал людям стойбища: «Место, где сидел Ивыр, – священное. Теперь на этом месте будет сидеть его душа».

И когда охотники варили лосиные головы, на столе прямо у сиденья Ивыра всегда стояла берестяная чашка, куда клали горячие лакомые куски мяса. И, рассказывая об удачной охоте, обращались к душе Ивыра. А молодым охотникам позволяли своими руками класть в чашку Ивыра глаз лося и верхушку горячего сердца.

После смерти Ивыра старый Петотка ослаб и стал собираться в подземное царство. Все чаще он упрашивал Паломея вернуться на место старого стойбища.

– Ты, Паломей, выбери себе жену и вернись на место старого стойбища. Там души наших предков, их нельзя оставлять.

И ушел Паломей.

Дорогу, по которой ушел Паломей, до сих пор манси называют Палам Лёнх – Пелымская дорога. Место, где стал жить Паломей, стали называть Палам Павыл – деревня Пелым, и речку Палам Я – речка Пелым.

Много воды убыло в речке Пелымке, много раз приходили морозные зимы с тех самых пор, когда вернулся Паломей к священным местам своих предков. Постепенно сюда пришли первые русские самоходы и опальные люди. Манси учились говорить на русском языке, а русские овладевали мансийской речью.

С тех давних пор завязалась дружба между людьми мансийского племени и русскими.

И деревня Пелым превратилась в город Пелым. Манси до сих пор называют его Палам Ус – город Паломея, а русские – просто Пелым.

1991

СТАРШИЙ БРАТ

Легенда

Это было низко и высоко, близко и далеко, на небе и на земле. В Верхнем мире, в небесных летних избушках жили-поживали Солнце и Луна, брат и сестра. Они жили дружно. Без лишних разговоров и споров они поделили труд небесный. Солнце днем сияло, Луна – ночью. Солнце рано вставало, дочерей своих поднимало и на работу отправляло. А дочерей у Солнца было много, как забот, – с утра до вечера не сосчитать. И все они походили одна на другую, и звали их одним именем: Поссам – Лучик. Если бы солнце каждой имя выбирало да именины справляло, так и работать бы некогда было.

Слетят рано утром Лучики на землю, обогреют, приласкают птиц, зверей, леса, былинки и песчинки. Всем на земле становится радостно. Так они с утра до вечера и трудятся. Утренняя заря их с неба опускает, а вечерняя – на небо поднимает, чтобы Лучики могли сил набраться.

Луна же днем до блеска серебряные звезды песком натирала, вечером по небу их рассыпала, светом зажигала – строго следила, чтобы звезды куда-нибудь не закатились, не пропали, да ночные птицы их не исклевали. Чтобы они ярче светили, показывали тропы к лесовым и рыбацким избушкам запоздавшим рыбакам и охотникам.

У Луны был сын, звали его Кота. Он был ленив, совсем не помогал матери. Спал долго: спит-спит, проснется, схватит со стола кусок, проглотит его на ходу, запрыгает и запоет:

Титтиров Кота, Коттиров Кота.
Титтиров, Коттиров,
Коттиров, Титтиров.
Титтиров Кота, Коттиров Кота.

Прыгает он по небу то на одной ноге, то на другой. Так прыгает-прыгает и продавит небо – сделает отверстие в нем. После этого и сам не залатает его, и матери ничего не скажет, убежит. Вечером Луна не заметит это отверстие, сыплет звезды по небу. Попадет какая-нибудь звезда в него, упадет на землю и затеряется.

Не могла Луна справиться с сыном и пошла тогда к брату Солнцу и попросила его:

– Брат, возьми Коту к себе, он меня совсем не слушает.

– Сестра, я тебе давно говорил, что дитя надо учить, пока оно поперек лавки лежит, а вдоль ляжет – будет поздно. Давно я замечаю, что у Коты ни на что нет желания. А без желания легко дается только лежание. Ну да ладно, присылай его ко мне.

Но Кота не пошел к дяде на обучение, убежал на небесную гору и стал с нее скатываться до самой земли. Свернется клубочком и катится, только пыль серебром над ним кружится. Докатится до земли, ударится о твердую землю, полежит, встанет, потрет ушибленное место и снова взбирается на небо да катится.

Не понимает, что больно небу. Давно оно устало от проказ Коты и решило его наказать.

Как-то Кота скатился до земли и сильно, до звона в голове, ударился о пень. Лежал, стонал, не мог подняться. Небо только того и ждало – прижалось своими краями к земле, точно прозрачный чуман[4] опрокинулся.

С трудом Кота поднялся с земли. Туда пойдет, сюда пойдет – не найдет дверей на небо. Бегал взад-вперед, сердился, кричал, плакал, после побежал вокруг земли. Бежал, бежал и устал. Пошел. Шел, шел – устал. На четвереньках пополз. За семь дней, семь ночей семь раз вокруг неба обошел, но нигде ни лаза, ни небесных дверей не отыскал.

Мать Луна встревожилась, загоревала. За ленивое дитя сердце матери больше болит. Каждую ночь она серебряную лестницу с неба до земли спускала, но Кота не умел смотреть в небо, не увидел лестницу.

---

[4] Чу́ман – берестяной кузовок, обычно для ягод.

Вот так он и остался жить на земле. Плохо Коте стало: комары его кусают, хвоя колет, холод отнимает у него последнее тепло. Еду он привык со стола брать, а на земле ни ягод, ни грибов, ни вкусной травы не видел, не находил. Совсем ослаб. Свернулся щенком под кустом, тихо плакал и вспоминал свою небесную жизнь.

Шел мимо рыбак, увидел Коту, подобрал его и принес в летнюю рыбацкую избушку. Долго отпаивал ухой, а после стал кормить рыбой. Осенью поехал рыбак в зимние избушки, в стойбище и найденыша с собой взял. Собрались старые рыбаки и охотники, спросили его:

– Ну, поведай, откуда ты взялся на нашей земле?

Мудрые манси выслушали рассказ Коты и молвили:

– Мы тоже когда-то были жителями неба. Ты будешь нашим небесным братом, оставайся с нами, помогай нам жить.

Приняли Коту в большую дружную семью народы манси. Все уважали небесного Коту. Дети угощали его самой вкусной едой – сурвякой. Женщины почитали Коту, как древнего мудрого старика: появлялись перед ним только в платке, покрывающем голову и лицо. Ступали мягко, разговаривали тихо при виде его. Охотники добывали оленей, лосей и всегда приглашали своего небесного брата поесть головы этих священных зверей. Так продолжалось до тех пор, пока мудрые старики не покинули земную жизнь и не оставили Коту хранителем древних заветов. Остался он теперь самый старый в стойбище.

Манси рождались и умирали, а Кота все жил и жил. Может, столько лет жил, сколько хвоинок на огромной лиственнице. И чем старше становился, тем придирчивее спрашивал с молодых исполнение древних заветов, чаще сердился. Лицо его сделалось страшным, отросли и заострились когти, тело покрывалось шерстью, и стал он походить на грозного зверя – Медведя. Дети в страхе с криком убегали от него, а взрослые манси тоже начали сторониться своего старшего брата.

Однажды увидел он женщину вблизи шайтанского амбара, рассердился, закричал на нее, замахал руками. В другой раз набросился с кулаками на охотника, который перед уходом в лес прощался с женой:

– Ты что, не знаешь, что нельзя встречаться с женщиной перед охотой? Звери убегут от тебя и птицы улетят! Не будет тебе удачи! – с этими словами схватил он женщину, потащил в сторону.

Женщина в ужасе закричала. На крик сбежались все люди стойбища.

Тогда охотники взяли луки, стрелы и сказали Коте:

– Ты наш старший брат, но ты очень злой. Ты Вуйанщих – зверь-старик, свирепый Медведь, уходи от нас.

Натянули они для острастки луки, нацелили стрелы и прогнали его в самые глухие, темные урманы.

Медведь так рассердился на охотников, что от злости еще более длинной бурой шерстью покрылся. А вместо человеческих слов из его горла неслось рычание.

Но охотники уже не боялись его и говорили:

– Что нам бояться своего старшего брата? Ему – дорога, а нам – другая.

С тех давних пор Медведь живет в макол – земляном доме, ходит тайными тропами урманов, хоронясь от охотников.

ЗАЙЧОНОК И КОМПОЛЭН

Сказка

Подрос Зайчишка. И теперь без отца и матери гулял в лесу. Как-то возвращался домой и повстречал в лесу голодного Колонка. Тот облизнулся, оскалил острые зубы, выпустил сильные когти и бросился на Зайчонка. Но Зайчонок не оробел. Он прыгнул через Колонка и помчался в глубь леса. Бежал-бежал, чуть не наскочил на Лося.

– Ты что, малыш, носишься, как угорелый? Чуть с ног меня не сбил, – пошутил Лось.

– Дядя Лось, спрячь меня! За мной гонится Колонок, – задыхаясь от бега, прошептал Зайчонок.

– Знаю-знаю я эту соболиную породу. Им бы только обижать добрых зверей, – ответил Лось. – Но ты, малыш, не бойся, Колонок сюда не придет. Он слышал о моих рогах и копытах.

Посмотрел Зайчонок на красивые, сильные рога Лося, на его копыта и подумал: «Хорошо иметь такие крепкие копыта и сильные рога».

– Дядя Лось, а ты никого не боишься? – печально вздохнув, спросил Зайчонок.

– А кого мне бояться? Я никого не пугаю, никого не обижаю, и меня никто не трогает.

– Я бы тоже хотел никого не бояться, но всех боюсь. Это, наверное, потому, что нет у меня копыт на лапках и рогов на голове, – тихо промолвил Зайчонок.

– Ты, малыш, напрасно так говоришь. Тебе даны длинные, увертливые ноги. Это совсем не плохо. – И добавил: – Земля и небо одним умом живут. Они знают, кому что дать.

– Я хочу, чтобы у меня были такие рога, как у тебя, дядя Лось.

– Зачем тебе такие рога?

– А я хочу, чтобы все меня боялись.

– Кого боятся – того не любят. От таких даже друзья уходят, – сказал Лось.

– Нет, я не хочу, чтобы от меня уходили друзья, – подумав, проговорил Зайчонок.

Добрые, мудрые слова Лося успокоили Зайчонка. Он поблагодарил его и побежал домой. Но их разговор подслушал злой Болотный Дух – Комполэн и решил посмеяться над малышом. Он обернулся Лосем и вышел навстречу Зайчонку.

– Малыш, я думал-думал и решил тебе подарить свои прошлогодние рога. Пойдем в Маленький бор, они там лежат.

Когда пришли в бор, Комполэн сделал ногой ямку в земле, поставил над ней рога.

– Ну вот, ложись в ямку, прижмись головой к рогам и жди, когда они прирастут к твоей голове, – предложил Комполэн.

Он ушел в темный лес и громко захохотал. Зайчонок долго лежал-лежал, да устал, есть захотел.

– Ну-ка, – подумал, – пошевелю головой, может, уже рога приросли.

Только он пошевелил головой, рога упали и придавили уши Зайчонка. Он застонал от боли и, упираясь всем телом в землю, начал тянуть из-под рогов уши, а уши только растягивались. Измучился Зайчонок, потерял последние силы и заплакал.

Недалеко от того места, где лежал и плакал бедный, обманутый Зайчонок, прогуливалась мама Мышь со своими детьми. Она подошла ближе к нему.

– Ах, бедняжка! – сказала Мышь и крикнула своим детям, – дети, скорее залезайте под голову Зайчонка, выгребите землю из-под его ушей!

Мышата выгребли землю, углубили ямку, освободили ушки Зайчонка.

А он с тех пор хорошо запомнил Комполэна и не стал верить ему.

КАК ОКУНЬ ПОЛОСАТЫМ СТАЛ

Сказка

Зайчонок хорошо бегал наперегонки. Очень ему хотелось этому научить своего любимого друга Выдренка.

«Пойду-ка, – думает, – научу бегать Коротконожку». Он так шутливо называл своего друга.

Прибежал Зайчонок к речке, где жил Выдренок, а тот лежит у самого берега и медленно шевелит своим маленьким хвостиком, похожим на дождевого червячка.

– Ты что, Коротконожка, нежишься? Давай бегать наперегонки!

– Я устал. Лучше присядь возле меня да расскажи, с кем бегал и кого обогнал.

Зайчонок начал было хвастать, а Выдренок как закричит:

– Ой-е! Кто-то меня за хвост поймал! Аю-аю! Больно мне! Ой-е! Тащит меня в реку кто-то!..

Видит Зайчонок, что Выдренок все дальше и дальше от берега двигается.

Поймал он друга за лапки, тянет его к себе и кричит:

– Соболята! Лисята! Бегите, помогите мне!

Прибежали соболята, лисята, ухватились за Зайчонка, помогают ему тянуть. Стараются они, но Выдренок – ни с места.

Тогда Зайчонок крикнул Утке:

– Утка, нырни, пожалуйста, в воду, узнай, кто поймал моего друга!

Утка крякнула своим утятам:

– Кря-кря, прячьтесь скорее в камыши! – прыгнув при этом в воду.

Утята были послушными, с одного слова понимали свою мать: шлеп-шлеп по воде, да и скрылись в камышах.

Утка вынырнула из воды и закрякала:

– Кря-кря! Это он – он, обжора! Он тогда моего утенка за лапу поймал.

– Да что ты все «кря да кря», говори толком, кто поймал моего Коротконожку? – остановил ее Зайчонок.

– Да кто же еще, как не толстошкурый Окунь!

Тянут зверята Выдренка, кружит над ним Утка, бьет крыльями и крякает:

– Вот так, так, тяните, не отдавайте Выдренка злому, горбатому Окуню.

Вот уже у Выдренка спина показалась из воды, а за ним и голова Окуня.

Крутит Окунь злыми желтыми глазами, тянет Выдренка к себе.

– Кря-кря! – кричит Утка. – Вы посмотрите, еще и не отпускает его хвостик. Вот разбойник! Вот ненасытный! Вот мы сейчас его проучим! Дети мои, утята, берите по хворостинке, хлещите его. А я буду клевать в голову.

Хлещут утята Окуня, где ударят – там на его шкуре полоса остается.

Утка его клюет – сердится Окунь, краснеют его передние плавники от злости.

Наконец, выпустил он изо рта хвостик Выдренка и скрылся под водой. Чуть отплыл, высунул голову и засмеялся.

– Ха-ха, а мне и не больно, совсем не больно. У меня шуба толстая. А ваш Выдренок пусть никогда не играет возле воды своим хвостиком, не дразнится. Если снова будет такое, поймаю и уж точно утащу его к себе, – прокричал Окунь.

Тут метнулся он высоко над водой, изогнулся, как радуга в небе, и ушел в свое царство.

С тех давних пор Окунь стал полосатым и с красными передними плавниками.

«ХОЧУ – НЕ ХОЧУ»

Сказка

Хорошо жили Заяц с Зайчихой. И поесть у них было что, и попить родниковой воды хватало. Только вот детей у них не было. Каждый день они приводили к себе чужих детей, обмывали их, причесывали, приглаживали и угощали самыми вкусными лакомствами.

Как-то пригласили в гости бабушку Рябчиху с ее внучатами. Поглядела бабушка Рябчиха на Зайца с Зайчихой, как они любят да голубят чужих детей, и сказала:

– Будет у вас, Заяц и Зайчиха, сын, обязательно будет!

И правда, скоро у Зайца и Зайчихи народился Зайчонок, Туйтсам – Снежок.

Родители были очень рады: мать от сыночка не отходит, ночи не спит, апу – люльку качает, колыбельные песни напевает. Сынок растет быстро – вот уже лесные звери ему ножки подарили, птицы, что с юга вернулись, на крыльях ему язык принесли. Но вот беда: сыночек и не играет, и не ест, все капризничает, ко всему, что увидит, лапки тянет да кричит:

– Нирам, нирам! Хочу, хочу-у-у!

Дадут ему то, что просит, он подержит, посмотрит и снова кричит:

– Ат нирам! – Не хочу-у-у!

Мать без устали уговаривает сыночка, отец без отдыха по лесу носится, сочные листочки собирает. Придет из леса с полной ношей, устанет, еле-еле на ногах держится, и к сыночку:

– Снежок, смотри, какие вкусные листочки щавеля я тебе принес, попробуй.

Попробует Снежок листочки щавеля и закричит:

– Ат нирам! Не хочу-у-у!

Отец очистит от кожицы молодые стебельки дудника, подаст сыну:

– Возьми, сынок, – это самые вкусные стебельки. Их даже лоси на верхосытку едят, чтобы большими да сильными быть.

Зайчишка откусит, не разжует и не проглотит, а снова кричит:

– Не хочу-у-у!

– Ну, вот что, завтра все пойдем в лес. Ты, Снежок, погуляешь, поиграешь со зверями, поищешь по своему вкусу пищи и аппетитно поешь, – как-то говорит отец.

Пошли они в лес. Снежок не играет со зверятами и не ищет себе пищу, а кричит:

– Не хочу гулять! Хочу домой, хочу-у-у!

Услышала его тетушка Лиса, неслышно к нему подкралась, стоит и улыбается, поигрывает своим хвостом: то так его повернет, то эдак, то с мордочки комариков смахнет.

Увидел Снежок хвост тетушки Лисы и реветь перестал, смотрит на пышный хвост. Смотрел-смотрел, а потом сорвался с места, побежал к отцу с матерью. Прибежал, посмотрел на их хвостики и сказал:

– Ай-е-хась, ой-ео, папа с мамой у меня бесхвостые.

И чтобы рассмотреть свой хвост, начал кружиться вокруг себя. Кружился-кружился – не увидел своего хвоста. Присел, потянулся лапкой, нащупал свой хвостик-пуговку и заплакал:

– Не хочу, не хочу такой хвостик! Хочу такой, как у тетушки Лисы.

Уговаривают его отец с матерью, а он и слушать родителей не хочет, на весь лес кричит:

– Нирам! Нирам! Хочу-у-у! Хочу-у-у!

Тут тетушка Лиса подошла к нему и говорит:

– Ну, полно кричать. Так и быть, подарю уж тебе свой старый хвост.

Принесла она свой старый, потрепанный хвост и пришила к хвостику Зайчишки кедровым мятым корнем, легонько его шлепнула, потом подтолкнула и сказала.

– Ну побегай, похвастайся новым хвостом.

Снежок рванулся с места, побежал к отцу с матерью, обежал вокруг них, потом покрутился вокруг себя, поиграл хвостом и побежал с радостным криком в лес:

– Эй, звери-и-и, посмотрите, какой большой и красивый у меня хвост! Вы никогда не видали у зайцев таких хвостов!

А звери только смеялись над хвастуном.

Проголодался Зайчишка, схватил по пути щавелечку. Вкусно. Дальше бежит, только хвост мелькает меж стволами деревьев. Увидел его зоркий Орел в небе, снизился, схватил Снежка за хвост и понес к себе на обед. Испугался тут Зайчонок и закричал:

– Ай-ее, ой-ео, что это такое? Хвост, ты куда меня несешь?

Бьет лапками Зайчонок, крутится на хвосте. Трепыхался-трепыхался и упал на землю. Сидит, трет ушибленные места и говорит:

– Нет, хоть и мал хвост, да мой. Большой хвост, да чужой.

МЯСНЭ И ЗАЙЧОНОК

Сказка

На берегу речки стоял маленький-маленький домик. В нем жила бабушка Петось со своей внучкой Мяснэ. Мяснэ дружила с Зайчиком. Каждое утро, только солнце осветит землю, обсушит росу, Зайчонок уже бежит к девочке. Прибежит он к домику и кричит:

– Мяснэ, вставай. Пойдем на берег и будем из песка строить чумы, лесовые избушки.

Мяснэ еще маленькая, хочется ей поспать, но услышит Зайчонка, встает и бежит к нему играть.

– Спала бы подольше, сидела бы потише, так нет, надо играть и последнее платьишко рвать. А я совсем ослепла: не то что сшить новое – даже старое залатать не могу. Хватит бездельничать, – ворчит бабушка. – Надо учить Мяснэ шить!

На другое утро бабушка говорит внучке:

– Мяснэ, вставай, солнце осветило все углы нашей избушки. Сегодня будешь учиться шить.

Усадила она внучку, взяла узорный ватлан[5], сняла с него крышку, достала вышитую подушечку-игольницу, нитки и разноцветные лоскутки.

– Внученька, – говорит бабушка Петось, – прежде надо знать, что иголку в рот брать нельзя, в свое платье втыкать нельзя, на пол бросать тоже

[5] Ва́тлан – женская сумка либо туесок для швейных принадлежностей.

нельзя. Иголку надо на место прибирать – в подушечку-игольницу втыкать. Вначале надо отстричь короткую нитку, конец нитки заострить, потом в ушко иголки вдеть, узелок завязать, только тогда можно шить. Посмотри, как я буду делать.

Но внучка слушала и не слушала бабушку. Все бабушкины слова ей в одно ухо влетали, а в другое – вылетали. Она все думала, как они с Зайчонком будут играть.

Однажды бабушка собралась рыбу ловить и говорит:

– Мяснэ, вот тебе мой халат – залатай его. Я пошла.

Взяла Мяснэ ватлан, бабушкин халат, уселась на крыльцо и принялась за работу. Оторвала нитку, не заострила ее и начала вдевать в ушко иголки. Иголка завертелась, засмеялась:

– Ой-ой, что ты, Мяснэ, делаешь, мне щекотно. Ой-ой, хи-хи-ха-ха!

Вертелась, вертелась она и уколола Мяснэ палец. Девочка отдернула руку и выронила иголку, а она покатилась к реке, упала в воду и утонула. Заплакала Мяснэ горько: жалко иголку, и палец болит. Прибежал Зайчонок, скачет вокруг Мяснэ, спрашивает:

– Что, Мяснэ, плачешь?

Ничего она не отвечает, слезами заливается. Зайчонок присел у ее ног и тоже завсхлипывал. Мяснэ услышала, как плачет ее друг, и спрашивает его сквозь слезы:

– Миленький Зайчонок, ты-то отчего плачешь?

– Я плачу потому, что тебя жа-алко-о-о!

И Мяснэ рассказала, что с ней приключилось. Зайчик погладил ее и сказал:

– Это не беда. Сейчас я найду твою иголку.

Долго Зайчонок искал в воде и вдруг в зарослях увидел сразу несколько иголок торчком.

– О-о-о! – воскликнул он. – Целая игольница. Вместо одной иголки вон сколько я нашел. Вот Мяснэ будет рада!

Схватил он иголки и заревел:

– Ай-ее-е! Ой-е-е! Аю-аю! Больно, больно!

Подбежала к нему Мяснэ, слетелись бабочки, прискакали лягушки. С кедра Бурундучок спрыгнул. Из воды высунул свою темную мордочку Выдренок. Все увидели, что вытащил Зайчонок на лапке огромного Ерша. Бросились они помочь Зайчику стащить с Ерша пестрый халат. А Ерш сам надул щеки до белизны, замахал плавниками и вырвал свои острые колючки из лапки Зайчонка, шлепнулся в воду.

– Аю-аю! – плачет Зайчонок.

– Ква-ква! – квакнула старая Лягушка. – Высасывай скорее ершовый яд! После ершового укола костоед приключается.

Высосал Зайчонок ершовый яд из лапки, завязала Мяснэ ему лапку листочками подорожника. Поблагодарил Зайчик девочку и снова при-

нялся искать иголку. Бродит Зайчик в воде, а над ним свищет, сердится Ветер:

– Что ты тут в воде бродишь, мешаешь мне?

Взмахнул Ветер крыльями, перекувырнул Зайчика в воде. И выбросил на берег. Зайчонок вскочил на ноги, заухал:

– Ух-ух-ух, ну и Ветрище, что со мной сделал?

Стряхивает Зайчик воду со своей серенькой шубки, слышит – шипит волна:

– Вшис-с–с! На, возьми свою иголку.

Оглянулся Зайчонок, увидел иголку на берегу, схватил ее и закричал:

– Мяснэ, эте-э-э! Вот она, твоя иголка!

Мяснэ взяла свою иголку и, как учила бабушка, сразу ее воткнула в узорную подушечку-игольницу. Потом отстригла короткую нитку, пальцами пригладила ее конец – заострила и без труда вдела в ушко иголки. Обрадовалась и проговорила ласково иголке:

– Ах ты, умница, миленькая трясогузка с длинным хвостом. Дай-ка, на конце твоего хвостика сделаем узелок и начнем зашивать бабушкин халат.

Мяснэ шьет быстро, а Зайчик помогает ей, придерживает, чтобы халат не скользил. Только они управились с починкой, выглянул из воды Ерш и говорит:

– Что же это вы со мною сделали? Вернулся я в свое ершовое царство, а меня не то что соседи, а даже родные дети, ершата, не узнали. Говорят: «Нет, это чужой отец. Наш был с темной спинкой и конопатинками по бокам, а этот – весь цвета песка. И прогнали меня. Как я теперь без родных детей буду жить?»

Плачет Ерш, стекают его слезы в реку, темнеет вода и прибавляется. Вот уже тесно стало ей в речке, она полезла на берег, где похаживал Зуек-береговушка. Взглянул Зуек на большую воду и подумал: « Видно, вернулась весна». С перепугу взмахнул он крылышками и запел звонко свою весеннюю песенку про талую воду:

Тял вить, тял вить!

Витя тял, витя тял!

А вода все прибывает, заливает зеленые береговые травы, грозит затопить птичьи гнезда. Напугались Мяснэ с Зайчиком, побежали к Ершу и попросили его:

– Ерш, не плачь, пожалуйста, сейчас тебе сошьем новый халат с красивыми узорами.

Тут вернулась с рыбалки бабушка и показала, как шить. И вскоре халат был готов и надет на Ерша. Он посмотрел на свое отражение в воде, радостно заулыбался: очень ему понравился халат с ершовыми узорами.

Он поблагодарил Мяснэ и Зайчонка и уплыл в глубь реки. Вода в реке посветлела и вошла в свои берега.

Бабушка посмотрела на иголку в игольнице и сказала:

– И мала, и хрупка, а сила в ней велика.

КАЖДЫЙ ДРУГОМ СИЛЕН

Сказка

Зайчонок с Выдренком друг без друга жить не могли. То Зайчонок бежит к Выдренку, то Выдренок – к Зайчонку. Как-то прибежал Выдренок к другу и зовет его купаться. Зайчонку стыдно признаться, что плавать не умеет, он и говорит:

– Я уже сегодня купался, три раза переплывал реку, до самого дна нырял.

– Ну, тогда пойдем с песчаной горки кататься.

– Туда мне мама запретила ходить. Там волки живут.

– Ну, пойдем полежим, погреемся на валежине, послушаем ее сказки. Там совсем безопасно. Если подкрадутся к нам Лисица или Росомаха, мы с валежины – бульк в воду, и нет нас.

– Тебе хорошо, ты – бульк и ушел под воду, а я как? Я и плавать-то не умею.

– Так ты только что хвастал, что реку три раза переплывал!

– Я пошутил, – сознался Зайчонок.

– Ну пойдем на валежину, – настаивает Выдренок, – там что-нибудь придумаем.

Пошли они к валежине. Смотрит Зайчонок, лежит она на самой быстрине реки и покачивается. Бегут струи воды через ее вершину, путаются в ее старых ветвях, журчат сердито:

– Лежит колодой прямо у нас на пути: ни проехать, ни пройти.

Только Зайчонок с Выдренком ступили на валежину, а с нее – бульк-бульк мелькнули искорки маленьких глазок-бусинок. Зайчонок испуганно сжался и лапки с места сдвинуть не может.

– Ну, что ты? Иди, иди, не бойся. Это мои братья и сестры отдыхали на валежине, грелись на солнце, на зиму в себя солнечного тепла набирали. Увидели, что мы тоже хотим погреться, и ушли в воду.

Лег Выдренок на валежину, вытянулся, прижался к ней, и цвет его шубы слился с цветом старой валежины.

– А ты, Зайчонок, ложись вон туда, где над валежиной свисают ветки черемухи. Там тебя тоже не будет видно.

Только они улеглись, как из-за поворота реки показался рыбак. Плывет он на своей долбленой лодочке и песни напевает:

Я на лодке своей по реке родной
Куда захочу, туда поплыву.
Рыбы наловлю, мяса добуду
И ягод нарву – детей накормлю.

– Не бойся. Все выдры здесь отдыхают, и никогда их ни рыбаки, ни охотники не видят, проплывают мимо, – говорит Выдренок.

– А я и не боюсь, – храбрится Зайчонок.

Рыбак плывет возле вершинки валежины. Скребут лодку старые, сухие ветки. Жалеет рыбак валежину:

– Надо же, куда ты, бедная, упала. И лежишь без пользы, только мешаешь.

Рассердилась валежина, ворохнулась, шевельнулась, качнула лодку рыбака, чуть не вывернула его из лодки и молвила:

– Я лежу на воде, а вода лежит на земле. А ей ни одна песчинка, ни одна былинка не лишние. На земле все к месту, все на месте и с великою пользою. Вот если бы я на себе не качала коротконожек, где бы они отдыхали и грелись на солнце? Как бы они от людей и зверей спасались на своих ногах?

Задумался рыбак и прошептал себе:

– Правду говорят старики наши, что дороги, где бы они не лежали – на земле, на воде ли, – многому учат человека.

Проплыл рыбак, Выдренок вскочил на лапки и весело запел:

У рыбака глаза узеньки,
А мои круглые, как бусинки.
А я его вижу, а он меня – нет.
Я его вижу, а он меня – нет.

Успокоился Зайчонок, смотрит на валежину и спрашивает:

– Что ты, старая, все дрожишь и качаешься?

– О, я когда-то тоже была молодая и красивая, стояла на высоком берегу, у всех на глазах. Солнце отдыхало в моих ветвях, птицы мне песни пели, река сказки волшебные рассказывала.

Но однажды Виткась, злой Дух Воды, подгрыз мой берег, и я упала в воду. Долго я тогда плыла по реке. Налетел на меня ветер, разбежался, взбил воду в волны, разогнал их дикими, белыми оленями. Забросили меня волны на берег, а корни мои засыпали речным песком. С тех пор я качаюсь-качаюсь – не накачаюсь. Рвусь-рвусь – не вырвусь. Плыву-плыву – не уплыву...

Убаюкала валежина зверят, они заслушались ее сказок и не заметили, как вышла из кустов голодная, вся в клочьях, Лиса. Чует она зверят, а увидеть не может.

Заметил ее Выдренок, сказал тихонько Зайчонку:

– Вон к валежине прибило пенек, прыгай на него.

А сам скатился с валежины и скрылся под водой.

Прыгнул Зайчонок на пенек, а Выдренок высунул лапки из воды и погнал толчками пенек к противоположному берегу.

Лиса хлебнула от злости воздуха, затявкала:

– Тяв-тяв-ав-ав, как жаль, что сразу не рассмотрела я вас!

Ушла Лиса, повернул Выдренок пенек к своему берегу. Зайчонок прыгнул на берег и убежал домой. Дома, запыхавшись, рассказывает маме:

– Ты знаешь, мама, чуть меня Лиса не съела. Спас меня мой друг Выдренок.

– Хороший у тебя друг. Спасибо ему.

– За что спасибо, за что спасибо? Я тоже однажды спас его от горбатого Окуня, – похвастался Зайчонок. – За что тогда я его спас?

– Сынок, добро делаешь – не кайся, а худом – не похваляйся, – сказала мать сыну.

Давайте порассуждаем…

1. Перескажите содержание легенды «Вожак Ивыр». Как представлена в этой легенде история народа манси, его быт и нравы? Как представлена и какую роль выполняет в легенде природа?

2. Как характеризует таких героев легенды, как Петотка, Паломей, Ивыр, их поведение?

3. Как вы думаете, о чем эта легенда? Только ли о том, откуда пошло название Пелым, или смысл легенды гораздо шире? Аргументируйте свое мнение.

4. О каком понимании мира, его устройства свидетельствует, на ваш взгляд, начало легенды «Старший брат» («Это было низко и высоко, близко и далеко…»)?

5. Как представлена в легенде «Старший брат» жизнь народа манси, его традиции, характер отношений между людьми?

6. В чем, на ваш взгляд, смысл, познавательное и поучительное значение легенды «Старший брат»? В чем смысл ее названия?

7. Какие нравы царят в мире животных, если судить по сказке «Зайчонок и Комполэн»? В чем, на ваш взгляд, заключается поучительное начало этой сказки?

8. О каком понимании, видении мира животных свидетельствует сказка «Как Окунь полосатым стал»? Чему учит, к чему, на ваш взгляд, призывает эта сказка?

9. Перескажите содержание сказки «Хочу – не хочу». В чем заключается ее поучительное начало?

10. Какова главная идея сказки «Мяснэ и Зайчонок»? Чем эта сказка запоминается прежде всего?

11. Можете ли вы согласиться с тем, что смысл сказки «Каждый другом силен» раскрыт уже в ее названии? Обоснуйте свой ответ.

12. О каком понимании окружающего мира, и прежде всего мира животных, свидетельствуют сказки А. Коньковой? Как такое понимание характеризует народ манси, его философию видения мира, его эстетику?

13. Напишите небольшое сочинение на тему «Мир легенд и сказок Анны Митрофановны Коньковой».

КОНЯЕВ
Николай Иванович
(р. 1954)

Повести и рассказы Н.И. Коняева печатались в еженедельниках «Грань», «Литературная Россия», в журналах «Жизнь национальностей», «Крестьянка», «Литературный Азербайджан», «Лукич», «Мир Севера», «Нева», «Наш современник», «Сибирское богатство «Урал», «Элита-Region», «Югра», в коллективных сборниках и альманахах, в антологии «Литературa Югры: 1930–2000. Кн. 2».

Автор книг прозы «Сборщик дани» (1992), «Перековка» (1993), «Чужая музыка» (1994), «Околоток Перековка» (1996), «Отголоски-отзвуки» (2000), однотомника избранных произведений «До поры до времени» (2005).

Главный редактор окружного литературно-художественного альманаха «Эринтур (Поющее озеро)».

Член Союза писателей России с 1994 года.

Ответственный секретарь Ханты-Мансийской окружной организации Союза писателей России (1997). Член правления Союза писателей России (1998). Сопредседатель Ассоциации писателей Урала (2000). Делегат X (1999), XI Внеочередного (2000) и XII (2004) съездов Союза писателей России.

Лауреат премии Губернатора автономного округа в области литературы (2001) и Всероссийской литературной премии им. Д.Н. Мамина-Сибиряка (2004).

Заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского автономного округа (2005).

Проза Н.И. Коняева – это постоянное обнажение проблем и противоречий современной жизни, обращение к героям, которые не хотят жить только интересами собственного желудка, а знают и зов сердца. Эти герои никак не хотят и не могут смириться с прагматичностью коммерческого понимания жизни, с «синдромом рыночного затмения», как метко выразился писатель, с бездушным характером «демократических преобразований».

РУССКИЙ ХАНТ

Рассказ

– А ну-ка, тормозни, браток!

Джип «Гранд Чероки» резко сбросил скорость, съехал на обочину шоссе в полукилометре от стольного града югорского края Ханты-Мансийска.

Водитель-охранник – типовой новорусский «бычок» с короткой тонкой стрижкой, в светлых джинсах, в тенниске, в очках «хамелеон», с шарами узловатых бицепсов на тренированных руках, легко выскочил из машины и открыл перед боссом дверцу.

Предприниматель Векшин – уже немолодой, медлительный мужчина с пеплом седины на волосах, в униформе дельца средней руки (белоснежная сорочка, модный яркий галстук с малиновым отливом, синий костюм-двойка в светлую полоску), выйдя, потянулся с наслаждением, привстав на острые носочки цвета спелой вишни туфель фирмы «Mario Bruni»:

– Сникерсни, браток, немножко!

Водитель-охранник понимающе кивнул.

– Да вот сюда ныряйте, Пал Иваныч! – указал блеснувшими стеклами «хамелеонов» на заросли малинника в стороне от сбегавшей по склону, усыпанной рыжими сосновыми иголками пешеходной тропки.

Векшин не ответил, не разомкнул замок из сцепленных на затылке пальцев. Покачиваясь, словно бы в раздумье, с крутояра всматривался вдаль. Там, впереди, блестел Иртыш, трудно шла груженная щебнем самоходка, туда-сюда сновали «крымы» и «обянки», а крутояр по обкошенной пойме с редкими, оставшимися после спада воды блюдцами озер, опоясывала безымянная протока, в половодье спрямляющая путь до судоходных рек и речек. Вдоль берега виднелись мальчишечьи фигурки с удочками в руках...

– Ты вот что, отдохни чуток в машине, а я спущусь к протоке, посмотрю.

– Что там смотреть-то, Пал Иваныч? – оторопел водитель-охранник. – Невидаль какая! Пацанва щурят там ловит! Ехать надо – времени в обрез!

– Не твоя забота, покури! – сказал, как отрубил, предприниматель и добавил уже на ходу дружелюбно: – Из администрации позвонят, скажешь, мы в пути.

– То гнали, как шального, то перекури... – Водитель-охранник выдернул из заднего кармана джинсов мобильник, набрал номер, коротко кому-то что-то сообщил и уселся на свое водительское место так, чтоб был обзор всего участка берега, к которому по глинистому, скользкому от недавнего дождя склону неуклюже спускался Векшин. – Ну вот куда его нечистая несет? Вывозится в глине, как потом в администрацию? – Достал из надорванной пачки сигарету «кэмел», прикурил, насладился первой глубокой затяжкой и отпал на спинку кресла. – Водилово дело холопье!

А Векшин, балансируя руками, цепляясь за свисающие над тропой колючие стебли малинника вперемежку со жгучей крапивой, чертыхаясь, спустился с крутояра, оглядел красные, в мелких занозах, ладони, вытер о штанины.

Протоку от яра отделяла узкая песчаная полоска, а у самой кромки воды, по колено в бурой ленте ила стояли неподвижно трое пацанов.

Векшин подошел, встал за смуглыми спинами увлеченных рыболовов.

– На что, бойцы, рыбачим?

«Бойцы» и голов не повернули. Мало ли проезжих спускается к протоке поглазеть! Но двое ответили вяло:

– На кишку...

– На червя!..

– Так на кишку или червя?

– А кто на че! – обернулся, наконец, и третий – худенький курносый мальчуган лет десяти-двенадцати, с большими серыми глазами. Шмыгнув носом, уточнил. – Я, дак, например, на щучью жабру!

– Ну и как, берет?

– С утра на все подряд хватала, даже на окурок, а щас чего-то плохо – жор, наверно, кончился, залегла, зараза. Ну, ниче, мы подождем... К вечеру опять оголодает. Куда на фиг денется!

– Это точно! – согласился Векшин, с интересом оглядев бойкого на слово мальчугана. Тот, в свою очередь, с любопытством оглядел его и, переступив с одной, затонувшей в иле по колено, на другую, увязшую по щиколотку, ногу, неуверенно спросил:

– А у вас закурить не найдется?

– Нет, не найдется, боец. Не курю. Сам не курю и тебе не советую – вредно.

– Фигня все это, блин! Фигня и пропаганда! – зло парировал юный рыболов.

Похожие друг на друга как две капли воды два черноволосых мальчугана в одинаково синих замызганных шортах (вероятно, близнецы, предположил Векшин) переглянулись, прыснули с ужимками.

– Он, дядь, с пеленок курит!

– И не только курит!.. – собрался доложить другой, но курносый вдруг ощерился.

– Р-разговорчивые, блин! Вам слово не давали!

Близнецы на всякий случай промолчали.

– Ух, какой ты лютый! – оценил «бойца» предприниматель и обратился сразу ко всей троице: – У кого, добытчики, удочка найдется для меня?

Близнецы переглянулись, но смолчали. Курносый тоже отвернулся, будто не расслышал. Сменил наживку на крючке и забросил снасть.

– Что, нет ни у кого? – не поверил Векшин. – Тогда вот что, друг горячий! – обернулся он к курносому. – Хочешь покурить? Уши пухнут, да? Дуй вон к тому джипу, наверху, спросишь у водилы сигарету, скажешь, я велел – он даст. Покури, я порыбачу.

Курносый просиял. С трудом высвободил ноги из чавкающего месива, шмыгнул носом и вручил самодельную удочку Векшину, даже посоветовал:

– Лучше на кишку попробуйте! На жабру че-то не берет!

– Ладно. Дуй за сигаретами, пока уши не отпали!

Мальчуган вприпрыжку пустился к крутояру, почти на четвереньках прытко стал взбираться по тропе наверх.

В туфлях соваться в ил было безрассудно. Векшин разулся на бугре, снял носки, пиджак и галстук, до локтей закатал рукава рубашки. Невдалеке из-под песка торчал обугленный обломок плахи. Раскачав, не без усилий выдернул его, принес и скинул в ил. Плашка держала. Испытывая известное каждому заядлому рыболову нетерпение, взял у близнецов «уснувшего» щуренка, осколком тонкого стекла вспорол бестрепетной рыбешке белое брюшко и, запустив вовнутрь, к жабрам, указательный палец, зацепил кишку, оторвал у основания. Разрезал кишку надвое, утолщенным, прочным концом нацепил на крючок, заученным с детства движением вздернул так, чтобы наживка не висела неподвижно, как изолировка, а скользила бы по леске от зарубочки на кончике крючка до свинцовой капельки-грузила. И, как в детстве, прежде чем закинуть приготовленную снасть, трижды сплюнул на наживку.

– Ну, ловись рыбка, большая и маленькая!

Урожденному ханты-мансийцу не нужно объяснять, что такое ловля щурогаев! Назвать рыбалкой это древнее занятие уважающий себя рыбак не решится ни в шутку, ни всерьез. Это не добыча и не промысел. Скорей, забава, отдых, состязание таких, как курносый с близнецами, «бойцов», готовых сутками торчать на берегу по колено в холодной воде или вязком иле; досуг не озабоченных делами «молодых» пенсионеров, сочетающих приятное с полезным; это не рыбалка в привычном смысле слова, но школа юных рыбаков, прививка страсти и азарта на всю последующую жизнь, ибо никто не возразит, что ловля щурогаев – азартнее рыбалки обычной поплавочной удочкой, когда сидишь часами неподвижно, тупо уставясь в поплавок; азартней блеснования, когда момент заглота щукой тройника в глубине из-за тяжелой снасти порой не ощутишь; а для кого-то и азартнее подледного ужения...

Легким подергиванием удилища Векшин повел леску из глубины на себя, направил вдоль берега, и вот он – желанный рывок! Натянутая леска вдруг метнулась в сторону. Не ожидавший столь быстрого клевка, он нелепо рванул удочку вверх. Сорвавшись, щуренок шлепнулся в песок за его спиной. Вяло трепыхнувшись, тотчас и сомлел, едва вздымая жаберные крышки... Векшин подобрал рыбешку. Совсем еще малек!

Он и не услышал, когда спустились с крутояра курносый, а за ним и водитель-охранник. Мальчонка первым делом подбежал к рыбешке.

– Что, дядь, поймали, да? – За ухом у него торчала желтым фильтром сигарета.

– Как видишь. О, да ты запасся, парень! Как тебя зовут-то?

– Денис меня зовут!

– Ну, отдохни, Денис, маленько!

– Да мне-то че, рыбачьте! – расщедрился курносый. – У меня в пакете запасная есть.

– А что же ты молчал, когда я спрашивал про лишнюю?

Денис, не моргнув, оправдался:

– Лишней нет, есть запасная! Хотите, вам ее продам?

Водитель-охранник снял свои «хамелеоны».

– Наш человек, Пал Иваныч!

Векшин усмехнулся.

– Да ты жучок, Денис! Жуча-а-ра! Платную услугу, значит, предлагаешь? Ладно, так тому и быть. Рынок – для всех рынок. Называй цену!

Мальчуган слегка смутился.

– А сколько вы дадите?

– Надеюсь, хватит доллара?

– Реально!

– Что-что? – не понял Векшин.

– Договорились! – пояснил Денис.

– Ну ты, боец, не лох, однако! – оценил предприниматель. Кивнул водителю-охраннику. – Дай ему зеленую!

Тот заглянул в полиэтиленовый пакет, извлеченный Денисом из углубления в песке. Брезгливо сморщил нос: в пакете вяло трепыхнулись щурогайки.

– Пал Иваныч, может, хватит? Ехать надо. Через пять минут начнется вскрытие конвертов с конкурсными заявками!

– Вот через пять минут и поедем! А пока позвони и скажи, что задержимся... Ну, соври там что-нибудь!

– Ох, Пал Иваныч!.. – Водитель-охранник достал из кармана бумажник, протянул Денису сложенную вдвое долларовую купюру. – Держи, мироед!

Денис, разгладив на коленке, рассмотрел ее, затем сложил и сунул в кармашек серых шортов.

– Дядь, вы новый русский, да? – поинтересовался у Векшина.

– Ну какой я новый? Я, скорее, старый. Старый русский хант... Ведь я вырос в Хантах. Сейчас живу в Сургуте, а когда был пацаном, таким же вот, как ты, тоже рыбачил на этой протоке. На блесну, на петлю... Тогда протока была полноводной, как речка... Из медной проволоки делали петельку, привязывали к удилищу, опускали в воду... Только вплывет в нее щурогайка, дернешь удилище вверх на себя, и петлей захлестывает рыбину... Знай выкидывай на берег! Ловил когда-нибудь на петлю?

– Не-е... Сейчас петлей на речке только в Шапше ловят! Деревенские. Не хило, я видел... А джип на горке ваш?

– Джип-то? Мой. А что?

– Значит, новый русский. Старым джип не по карману. Классная машина! Можно, я помою?

– Ну нет, боец, не надо.

– За пару долларов, а, дядь?

– Есть кому помыть!.. Что-то рано ты, Денис, на долларах зациклился! – заинтересовался Векшин. – Или нужда заставила?..

– А кого, блин, не заставила? – с недетской убежденностью в глазах выкрикнул Денис. – Папка на похмелку просит, матушка – на хлеб. На рынке тоже надо сунуть, чтоб не прогоняли...

– Стоп, а папка что, он разве не работает?

– Отработался, ага... Он у нас больной. С войны. Ему лечиться нужно...

– С какой, Денис, войны? Ему сколько лет?

– С какой, какой! С чеченской! Вы будто, дядь, в другой стране живете! Ему осколок от гранаты в голову попал, он у нас маленько не в порядке...

– Вот теперь понятно. Сочувствую, браток... Ну а на рынке ты кому и за что обязан?

– Да-а! – отмахнулся Денис. – Я там щурогайку бабкам да картошку с огорода продаю. А без бумажки прогоняют все, кому не лень...

– Без бумажки худо, – согласился Векшин.

Денис выдернул на берег щурогайку.

– Ну ниче, я этот рынок скоро под колпак возьму. Сам буду там порядки наводить. Хватит им командовать! Они меня еще узнают! – Он грозно шмыгнул носом.

– Кто это – они?

– А то вы, блин, не знаете! Везде сейчас они. Мы их скоро свергнем на фиг. Пусть летят на свой Капказ, у себя командуют. А дома будем мы. Сами будем с рынков стричь!..

– Вот как?! Непростой ты парень...

В эту самую минуту клюнуло опять. Удилище в руках согнулось вопросительным знаком. Векшин рванул его через плечо, и, на мгновение блеснув над головой живым серебряным кольцом, щурогайка плюхнулась к ногам. Он попытался схватить ее левой, свободной рукой, но рыбешка скользнула между пальцами и затрепыхалась в иле, юзом уходя к воде.

– Ногой! Ногой ее зажмите! – закричал Денис. – Дяденька, ногой, а то уйдет!

Выронив удилище, Векшин сделал шаг навстречу ускользающей рыбешке и, увязнув в иле, повалился, выкинув вперед обе руки и все же захватив растопыренными пальцами правой облепленную грязью щурогайку. В положении упора лежа высвободил ноги. С зажатой в пальцах рыбиной обмыл в протоке руки и взошел на бугорок.

– Ах ты, змейка! – щелкнул ногтем по открытой пасти мелкой хищницы с окровавленными жаберными щелями. – Ах ты, змейка, уронила босса в грязь! В грязь лицом, негодница, уложила!

... И клев настал. Он не успевал забросить снасть, как хватала щурогайка, заглатывала наживку, приходилось силой выдирать крючок из пасти, разрывая жабры или брюхо. Осклизлыми, окровавленными пальцами

вновь цеплял наживку и, потеряв счет времени, вытаскивал щуренка за щуренком...

Денис раззадорился тоже. Наладил запасную удочку, забрел в воду по колено, с особой удалью и шиком выдергивал рыбешек так, что они срывались с крючка уже на берегу, трепыхались там и сям в песке. Он их уже не складывал в пакет поодиночке, а собирал всех сразу, когда менял наживку...

На противоположном берегу высадился десант рыболовов из подъехавшей на велосипедах ребятни. Засвистели, рассекая воздух, лески...

Водитель-охранник вновь спустился с крутояра с мобильником в руке.

– Пал Иваныч, вас!

– Кто? – спросил, не отвлекаясь, Векшин.

– Комитет по экономике. Требуют каких-то объяснений!

– Вот и объясни, в конце концов, просто и доходчиво, – вспылил внезапно Векшин, – что я снял свою заявку! Все объяснения дам завтра. Лично. Мэру. Все! И выключи мобильник! Не маячь перед глазами!

– Вам виднее, как прикажете...

Один из вновь прибывших мальчуганов с первого заброса выдернул крупную щуку-травянку. Хищница успела проглотить крючок, сорвалась с перекушенной лески, затрепыхалась на отмели. Рыбак в акробатическом, немыслимом прыжке упал на нее сверху, прижал голым животом...

– А-а-а! – завопил он истошно, обалдев от удачи.

На помощь счастливчику кинулись приятели. Выдернув бьющую тяжелым хвостом полуметровую щуку из-под живота удачника, отволокли ее подальше от воды. Сгрудились вокруг хищницы, шумно восторгались, измеряли, взвешивали добычу на глазок...

– Ты смотри-ка, – удивился Векшин. – Хороша зубастая! И как она сюда попала?

Присев на корточки, водитель-охранник молча кивнул, отмахнулся от мошкары сосновой веткой, настраиваясь на долгое ожидание.

А мошкара наседала. Векшин отбивался от назойливо атаковавших жгучих насекомых, мокрыми руками стирал их с грязного лица и шеи, стряхивал черными катышами сухой – тыльной стороной ладони. Раскатал до искусанных в кровь щиколоток безнадежно заляпанные илом брюки, кутал голову в наброшенный пиджак, но мошкара проникала под рубаху, жгла голени, глаза, уши...

– Вот же зараза какая – нет от нее никакого спасения! – кряхтел и ругался вполголоса Векшин. – Орлы! Нет ли у кого комариной мази?

Мази у «орлов» не оказалось.

– Как же вы терпите этих скорпионов?!

Но на мошкару Денис и близнецы не обращали внимания, будто бы для них ее не существовало...

На том берегу выловленную щуку наконец-то усмирили, и счастливый рыболов, весь в песке и глине, ликуя, демонстрировал добычу, подняв кукан над головой.

Бросив свои удочки, Денис и близнецы молча кинулись к нему через протоку вброд, взбаламутив воду.

– Вот же бесенята! – Векшин сменил наживку. – Как-то в детстве, лет пять-шесть мне было, здесь, на этом месте, на блесну рыбачил с плотика – женщины ковры, половики на нем стирали-полоскали, – стал вполголоса рассказывать водителю-охраннику. – И вдруг схватила щука! Такая, веришь, крупная – волна пошла кругами. Я к берегу пытаюсь подвести ее – куда там, силы не хватает, прет, как торпеда, в глубину. А плот бревенчатый, сосновый... И вот я поскользнулся да в воду лицом – плюх! Голова в воде, а ноги на плоту. Но удочку держу, вцепился мертвой хваткой. Щука бьется так и эдак, круги выписывает – водит, но она уйти не может, и я не подтяну... А был со мной приятель. За ноги схватил, а что делать дальше – с испугу сообразить не может. Держит меня за ноги, а я в воде уже по пояс пузыри пускаю. Но удочку держу! Вот что удивительно! Сколько так барахтался, не помню – помню только, парень подоспел... Мотоцикл мыл, увидел. Вытащил меня, а я уж посинел. Но удочка в руках. А на блесне, поверишь, щука – килограмма три. Из меня вода фонтаном хлещет – нахлебался до ушей, надо бы домой, да боюсь – отец накажет за мокрое белье. Разделся, выжал трусы, майку, на травку разложил, щуку – на кукан, а сам опять рыбачить. К вечеру иду домой. Вот, мечтаю, мать меня похвалит! Такую щуку добыл на уху! А не подумал, что на солнце щука-то уснула, а пока я обсыхал, запашок дала... Мать принюхалась: где взял? – Сам выловил на блесну! – Тебе такую не осилить! – Не поверила мне мать. Так, браток, обидно было... Такими испытаниями щука эта мне досталась!

Денис и близнецы вернулись с того берега.

– На что они там ловят? – поинтересовался Векшин.

– На лягушку, дяденька! Щас и мы попробуем, не такую выловим! Вам лапку оторвать?

Водитель-охранник сплюнул брезгливо, нацепил «хамелеоны» и, не сказав ни слова, направился к крутояру. Векшин тоже отвернулся.

– Нет уж – лучше на кишку!

Мальчуганы какое-то время возились с лягушкой, препираясь, разделывали ее. Закинули снасти со свежей наживкой, но и мелочь на лягушку не цеплялась, и крупная – травянка – не брала...

А невидимое в наслоениях бурых облаков августовское солнце неспешно завершало дневной оборот. Светлая полоска низкорослого заречного ивняка за пойменной луговиной на глазах померкла...

Клев резко прекратился. Векшин водил леску вдоль берега, изредка подергивал снасть. Побелевшая наживка едва держалась на крючке, волочилась по мягкому дну, цепляясь за водоросли, вздымая нити желтой мути; серебристые мальки то шарахались по сторонам, то непостижимым образом вновь сбивались в стайку. Изредка из глубины стремительно выскакивал изумрудный, с карандашик, щуренок, но не хватал безрассудно наживку, а замирал перед ней, словно сомневался – что-то тут не так!

Денис и близнецы сворачивали снасти.

– Все, пора и меру знать! – поставил точку Векшин.

– Куда теперь прикажем, Пал Иваныч? – с показным равнодушием спросил водитель-охранник, бросив беглый взгляд на предпринимателя, вывоженного илом с ног до головы.

– В Сургут. Домой... И первым делом – в сауну... Но сначала подбросим коллегу до рынка. Ему еще работа сегодня предстоит. – Векшин подтолкнул к машине мальчугана. – Садись, боец. Прокатимся. Да смотри мне, чтоб пакет не лопнул. Тогда точно мыть салон заставлю!

– Почему бы не подбросить! – Водитель-охранник дружески хлопнул по плечу Дениса. – Свой человек. Видно птицу по полету!

– Да, – со вздохом согласился Векшин. – Свой-то свой, да жалко парня.

– Это почему же? Что его жалеть? Такой нигде не пропадет! Верно, брат Денис?

«Брат» Денис смущенно хмыкнул и пожал плечами. Водитель-охранник внимательно поглядел на Векшина.

– Целый день понять вас не могу! – Он завел машину, сдал назад, выруливая на шоссе. – Такой заказ сегодня упустили! Ведь ясно ж всем, как дважды два, – заказ на поставку был ваш! В администрации сейчас голову ломают – почему вы не явились. Мэр будет сам звонить. Странный вы сегодня, Пал Иваныч!

– Не странный, а дурак! – Векшин легко, от души, рассмеялся. – Дурак дураком. Ты хоть никому там, в Сургуте, не рассказывай, как на конкурс в Ханты съездили, а то ведь обсмеют...

– Да мне-то что! – Водитель-охранник любовно огладил баранку и прибавил газу. – Тем более, дурака, осознавшего себя дураком, дураком уже не назовешь!

– Ну-ну, полегче мне на поворотах!

– А рыба ваша где? Улов-то, Пал Иваныч?

– Да на кой он мне!.. Денису вон отдал, пусть реализует. Разве это рыба? Баловство одно. Да и жена, признаться, с этой рыбой не поймет.

– Это почему же?

– Так ведь не стерлядь, не осетр!

– А я думал, не поверит, что сами наловили! – Водитель-охранник от души расхохотался.

– Не к добру развеселился, гляди лучше на дорогу! – вяло буркнул Векшин, но не смог сдержать улыбки. – Ничего! Не смертельно. Упустили заказ на поставку сегодня – ухватим завтра. Что нам стоит дом построить! Верно, нет, Денис?

– Ухватим, делать не фиг!

– Денису можно верить! – Векшин достал из нагрудного кармана пиджака визитку. – Держи, браток, на память. Будет худо – позвони, что-нибудь придумаем. И спасибо за рыбалку. Душу отвел в кои веки!

– Душу отвести можно было в отпуске, – угрюмо возразил водитель-охранник. – Вы ж на той неделе на Лазурный берег, в Ниццу, улетаете. Вот где рай-то для души!

– В Ницце, дорогой мой, безусловно, рай. – Векшин сладко, словно сытый кот на солнцепеке, потянулся. – Вот только щурогаев там не ловят!

МАЛЫГИ

Рассказ

В воскресенье был на рынке. Битый час бродил вдоль крытых торговых рядов, присматривался, приценивался, но покупать ничего не покупал и уходить с пустыми руками не торопился. На торговцев, что в сумрачный осенний день за прилавками от холода приплясывали, и внимания-то не обращал – все они в последнее время кажутся мне на одно лицо, примелькались. А тут будто кто-то локтем в бок – глянь-ка, кто перед тобой. Глаза приподымаю – боже мой, Малыга. Юрчик!

Молодая темноликая женщина в наброшенной на плечи меховой куртке сидела на складном низком стульчике, в руке держала дымящуюся сигарету и прямо-таки складывалась напополам от сотрясавшего ее смеха. А Малыга, землячок мой, на корточках подле нее. Коренастый, головастый, в коричневой кожанке, с выбритым затылком, со знаменитой на деревне резиновой улыбочкой от уха до уха... Зубы скалит. Забавляет.

«Да Малыга ли это? – все еще не уверяюсь, не решусь окликнуть. И так, и этак погляжу, и сбоку, избоку гляну, – нет же, нет, не обознался. Он. Рот не укоротишь. И седелку носа не выпрямишь. Как у нас в деревне старики говаривали – куда породу денешь? Малыгина порода!»

Торговка между тем ненароком встретила мой взгляд, кивнула на меня собеседнику: обслужи, мол, покупателя. Тот в два прыжка к прилавку с наигранной учтивостью:

– Чего изволим, сударь?

«У-ухарь-купец!»

По разложенным напоказ шмоткам туда-сюда глазами пробежался, соображая, очевидно, что бы там такое могло меня привлечь.

– Юрчик? – спрашиваю тихо. – Малыга? – уточняю неуверенно.

На уголках его фамильных безразмерных губ повисла глуповатая улыбка, веки дрогнули, подглазья сбежались в розовые сеточки, но тотчас и разгладились, улыбка улетучилась, а глаза вдруг обрели холодный, хамский блеск...

– Малыги вон, на входе, с протянутыми шапками! – ответил-отчеканил он и отвернулся, и добавил, выдавив сквозь зубы, обращаясь не ко мне, а уже к торговке. – Нашел мне тут какую-то малыгу!

Вот так оплошал я!

Вот так отбрил меня земляк!

Да и поделом. Какой же он теперь Малыга?

* *

Жил-был в моей деревне мужичок один. Малыгиным его не называли даже в сельсовете. Так Малыгою и помер...

А интересный был мужик! Таких, как он, теперь по всей России наверняка уже не встретишь. Не знаю, как насчет добра, но зла этот неказистый мужичонка с белесыми бровями точно никому не причинил, разве только самому себе по недомыслию природному...

Но прежде чем об Юркином отце, немножко о Малыге-деде. Юркин дед был тоже малый интересный. Жива история о том,

Как Малыга-дед уехал на войну

Погрузили призванных на колхозные подводы, чтобы везти в райцентр, на сборный пункт. Мужики, кто пьян, кто трезв, с семьями прощаются, бабы голосят. Малыжиха, бедняга, громче, горше всех. Шутка ли, одна с семерыми остается. Заламывает руки, в голос причитает, наказывает мужу:

– Да не потеряйся там иде-нибудь! Держися мужиков! Доедешь, так письмишко черкани... Листик положила, огрызок положила...

Малыга недоумевает:

– А растуды твою кулему! Как же черкану, если я неграмотный!

– Да попроси там мужиков! Мужики помогут!

– Так ведь табаку, небось, потребуют!

– Ну и отсыпь щепотку!

Малыга – скрепя сердце:

– Ну, если на закруточку! – И, озадаченно моргая, спохватывается вдруг. – Тю-ю, куда ж я напишу-то? Ты ж мне адрес не оставила!

Мужики со смеха попадали с подвод.

А бедная Малыжиха слезами обливается.

– Глупой. Совсем глупо-ой! Чую, не воротисси!

– Ладно хоронить-то! Буде причитать!

– А как не причита-ать? Семеро сиротами останутся! Другой под пулю не полезет, а ты сглупу сунесси. Чует мое се-ердчишко!

– Да растуды твою кулему, я вам навоюю! – хорохорится Малыга. – Одного-двух уложу, свою норму выполню – к покосу ворочуся. Ставь к покосу бражку!

– Глупой ты, разглупо-ой!..

Как в воду глядела Малыжиха. Ни «листик», ни «огрызок» Малыге не понадобились – уехал и пропал. Ни письма, ни похоронки... Сэкономил на закрутку.

А старшенькому – Прошке – в ту пору шел двенадцатый годок...

На восемнадцатом он женился. Взял из соседнего села дочку фуражира Федору Коновалову – деву нелюдимую и мрачную. Жена у фуражира молодою померла, оставила в наследство дочь на выданье и полный двор скотины – Федора управлялась. С хозяйством засиделась...

И сразу пошли дети. В двадцать три имел Малыга четверых парней – Ермоху, Степку, Ваньку и грудного Юрчика. Все, как один, большеголовые, безбровые, губастые...

– Ну, Малыга, наклепал, как по трафарету! – смеялись мужики.

Тот самодовольно усмехался:

– Зато все мои, никто не скажет, что есть лишние!

Чумазые, сопливые, малыжата день-деньской носились шумной стайкой. Обуви не знали с Пасхи до Покрова, случалось и по снегу шлепать босиком, но никакие хвори к ним не приставали. Новые штанишки получали к осени, перед самой школой. Малыга покупал черного сатину, Федора шила шаровары с широкими, шуршащими штанинами на резинках снизу. К новым шароварам полагались свеженькие майки. То-то было радости!

Детей Малыга по-своему любил и баловал по-своему. Как-то раз Федора отправила его в райцентр за сандалиями старшим. Малыга заглянул в универмаг, перебрал всю обувь, выставленную там на обозрение. Вид «дырявых» сандалет его обескуражил. Решил купить ботинки, но выданных Федорой денег хватало только на Ермоху. Задумался Малыга: купишь одному – остальным обидно будет. И чтобы никого не обделить и не обидеть, плюнул на ботинки и сандалии, купил пол-ящика конфет...

Баловать-то баловал, но если расшалятся, то и цыкнуть мог. Да так, что вся четверка во главе с Ермохой горохом рассыпалась под кроватью и без звука выжидала, когда тятька сменит гнев на милость.

Сыновей Федора стригла ножницами наголо, но оставляла чубчики. Деревенские подтрунивали:

– Ребятишки, для чего вам мамка чубчики оставила?

– А чтобы тятька из-под койки мог вытаскивать!

В обед Федора выходила из избы и с крыльца звала:

– Ермо-ошка! Сте-епка! Ва-анька! Ю-юрка! Марш домой обедать!

Четверо срывались с места, где б ни находились.

Федора ставила на стол алюминиевую миску размером с добрый таз со щами или окрошкой. Малыга сам разламывал ковригу и начинал хлебать. За ним по старшинству – Ермоха, Степка, Ванька, Юрчик. Хлебали мол-

ча и сосредоточенно. Федора подливала. Наевшись, пили чай вприкуску с серым сахаром. После чая дружно шмыгали вспотевшими носишками, но из-за стола не выходили раньше отца с матерью.

В избе – ее купил Малыге тесть по случаю женитьбы – добра всего и было, что сундучок с Федориным приданым да огромная русская печь. Как бы жарко ни натапливали избу, тепло в трескучие морозы быстро выдувало, и Малыга приспособился согревать детей в печи, чем однажды напугал до полусмерти нагрянувшего тестя...

Входит тесть в избу с мороза, руки потирает, сосульки из бороды выщипывает.

– Ставь, зять, самовар – до костей пробрало!

Малыга с печи да к порогу, шубу с тестя принимать.

А из-под печного свода высунулись головы, измазанные сажей. Одна, другая, третья...

Тесть, оторопев, оттолкнул Малыгу, попятился к порогу:

– Свят, свят, свят!.. Помилуй мя!..

– Да што ж вы, тятя, напужались? – удержал Малыга. – То внуки в печке греются!

В тусклом свете лампы тесть не сразу разглядел внучат. Ермоха, Степка, Ванька, Юрчик, как хомячки из норки, выползли на свет на дедов голос.

– Де-еда, это мы!

Тесть не сдержался и загнул:

– Что ж ты, мать твою!.. родных детей сажаешь на ночь в печь?!

– Так Федора утром хлеб пекла, – невозмутимо объяснил Малыга. – Чего жару пропадать?

Тесть и поначалу-то не очень жаловал Малыгу, а с годами между ними возникло отчуждение. Но на людях зять разрыв скрывал. В деревне часто вспоминали,

Как Малыга к тестю за мясом ходил

В молодости он одно время работал молотобойцем. За день молотом намашется, аппетит взыграет, а дома на столе негусто. Вот и размечтается к обеду.

– А што, – скажет кузнецу, – возьму да в воскресенье к тестюшке смотаю. Тестя навестю... Тестя навестю... да мяса принесу. У тестя мя-яса – некуда девать. Чего душа желает! Схожу да принесу... Куда ему, беззубому, столько ужевать?

И день, и два, и три одно и то же кузнецу твердит. Ждет не дождется воскресенья.

И вот приходит в понедельник. Кузнец интересуется:

– У тестя был, Малыга?

Молчит, будто не слышит. Из кузни да на улицу, с улицы да в кузню. То угля, то прут несет для ковки, то бадью воды... То у наковальни, то у горна топчется.

Кузнец не отступается.

– Ну, сбегал к тестю, нет?

Малыге некуда деваться.

– Та-а, чего там... Сбегал.

– Ну и что принес?

Опять из кузни да на улицу, с улицы да в кузню...

Кузнец в усы ухмылку прячет, упорно добивается.

– Мяса много ль припер?

– Та-а, множко ль на себе припрешь?! – вскрикнет жалобно Малыга. – Вот поеду на кобыле, разом привезу!

Однажды пополудни на остановке из городского автобуса вышел пассажир. Средних лет мужчина – солидный, судя по осанке. В сером длиннополом пальто с каракулевым воротником, в каракулевой шапке, в шикарных кожаных ботинках...

Вышел, огляделся и, перебросив из одной руки в другую легкий чемоданчик, направился к видневшейся за почтой двухэтажной школе.

Но подошел и – растерялся.

– Дети, где тут проживает председатель сельсовета? – спросил у пробегавших мимо малыжат.

– А во-он, где флаг над крышей!

Приезжий с чемоданчиком взял курс на красное полотнище на соседней улице.

Зашел в приемную. В приемной секретарша.

– Вы к кому, товарищ?

– К председателю.

– Так нет его...

– А где же он?

... Через четверть часа секретарша знала, что представительный мужчина заехал в гости к председателю, с которым прошлым летом в областной больнице лежал в одной палате, где они сдружились и обменялись адресами. И вот ему командировка выпала попутная – как не воспользоваться случаем, не навестить приятеля?

Секретарша – ох да ах, какая, дескать, незадача – председатель укатил с утра в райком, будет только к вечеру, придется подождать. И хоть ей было в новость, что председатель летом лежал в какой-то там больнице, уточнять из деликатности не стала, провела нечаянного гостя в комнату приезжих, включила самовар, угостила чаем.

От чая гость размяк, разговорился. Как, мол, поживаете, каковы успехи, виды, то да се, да пятое-десятое...

Секретарша отвечала:

– Жаловаться грех. Иван Михайлович у нас председатель знатный...

Такой непринужденный, легкий разговор.

Но гость с чего-то вдруг обеспокоился.

– Иван Михайлович, сказали? Разве председателя зовут Иван Михалычем? А не Прохор Ерофеичем?

– Не-ет, Иван Михалычем...

– А как давно он председателем?

– Да уже лет десять.

– Де-есять?! – гость привстал со стула, промокнул платочком взмокшую макушку. – А он сказал, что председателем его избрали год назад... Простите, как его фамилия?

– Кого? – вконец смешалась секретарша.

– Да председателя-то вашего!

– Иван Михалыча? Захаров!

Гость вымучил улыбку и слегка сбледнел.

– Не Малыгин разве?

Секретарша хлопнула длинными ресницами. Вот когда дошло! Аж зрачки расширились.

– Не к Малыге ли вы, часом? Отроду он не был председателем. Ни «а», ни «б» не понимает. Во-он его изба, из окна видать!

– Хороша изба! А двухэтажный особняк?

Тут уж секретарша не сдержалась, прыснула в ладошку.

– Во сне ему приснился особняк. Он только прошлым летом солому с крыши сбросил!

Заночевал гость в сельсовете, а утром, спозаранку, взяв слово с секретарши о неразглашении конфуза, втихомолку укатил.

Секретарша дала слово, да только как же его сдержишь в нашей-то деревне?

Когда Малыга шел в своей рыжей «полканке» (он и летом не всегда с головы ее снимал), лица было не видать. Не вспомню без улыбки,

Как Малыга со мною здоровался

Крикнешь через дорогу:

– Здравствуйте, дядя Малыга!

Он как споткнется на ходу. Уцепится за шапку, чтобы не слетела, головой повертит.

– Слушай, с кем ты поздоровкалси?

– С вами, дядя Малыга.

– А чего ты поздоровкалси?

– Нас же так учили!

– Мамка с папкой, што ли?

– В школе!

– В шко-ле? Ишь ты! И со всеми вас здоровкаться учили?

– Да!

– И со мною тоже?

– Да... И с вами тоже.

– Ишь ты, прямо интересно! Так вот и сказали: и с Малыгой – тоже?

– Нет, так не говорили, – промямлишь и пойдешь в смятении.

Но Малыга не отстанет.

– А ты куда пошел, парнишка?

– Что еще, дядя Малыга?

– Так ты ж со мною поздоровкалси?

– Ну, поздоровкался... А что?

– Ты прямо молодес! Ты поздоровкалси, а я ессе и не ответил... Здравствуй, коль не шутишь! А если пошутил, стречь не попадайся – уши оторву!

Учились малыжата из-под палки. Раньше, чем таблицу умножения, осваивали трактор и комбайн. В школе их тянули до восьмого класса, зажмурясь, вручали свидетельства и с облегченным сердцем выпроваживали в жизнь. Все уходили в ПТУ. А после ПТУ подавались в город. Тропу туда проторил Ермоха. Устроился подсобником на табачную фабрику. За Ермохой уехал Степан, за Степаном – Иван, за Иваном – Юрчик. И все – на табачную, в одно общежитие. Оттуда через год уходили в армию. Отслужив, с недельку гостили у родителей и возвращались в город, уже кто куда. Лишь Юрчик задержался. Но его Малыга выпроводил сам...

Служил Юрчик в Германии. Явился ясным соколом, гуляет день, другой и третий... И ладно бы – гулял, а то закуролесил. Все норовил продемонстрировать приемы, которым обучили его в армии.

– Желающие есть? В Германии, камрады, с этим делом глухо! – Он становился в раскоряку, раскачивался и потряхивал кистями, приглашая к поединку.

То ли парни в самом деле опасались оказаться поверженными Юрчиком, то ли не хотели осрамить вояку перед деревенскими девчатами, но в борьбу с ним не вступали.

Однажды на кого-то он все ж таки нарвался. Пришел домой к полуночи в разорванной «парадке» и с «орденком» под глазом...

Поглядел Малыга да и заявил:

– Вот что, сынка милый! Не оставил дурь в Германии, так свези-ка ее в город, сбрось где-нибудь подальше от отцовских глаз!

Вскоре после Юрчиковой свадьбы Федора вдруг сдала – исхудала, пожелтела. Весной слегла и уж не встала, не помогли ни бабки с их наговорами-снадобьями, ни врач с таблетками-уколами – истаяла на мужниных глазах.

После смерти матери Ермоха, выросший в начальники производственного цеха, привез отца к себе. Сын жил в пятиэтажке напротив автовокзала. Балкон его квартиры на четвертом этаже просматривался с «нашей» две-

надцатой платформы. Попервости Малыга под разными предлогами часто появлялся на вокзале.

В ожидании подхода «своего» автобуса отъезжавшие в деревню мужики облепляли скамью на перроне. В это время из толпы где-нибудь в сторонке выныривал Малыга...

– О-о, Малыга! – «удивленно» восклицали мужики. – Не с нами ли в деревню?

– Та-а, чего там делать!

– Присядь с нами на минутку!

– Некогда. Пойду.

– Что за дела такие спешные?

– Мало ли... Кручусь! – но подходил, здоровался.

– А то присел бы, покурил.

– Некогда тут с вами! Дальше побегу!

Проходит пять минут, пятнадцать, полчаса прошло. Мужики и покурили, и наговорились, и новости последние Малыге передали, и по другому разу курево достали – Малыга все стоит.

– Да присядь, Малыга!

– Не, я побежал!

Вот и автобус на подходе.

– Привет там от меня! – напутствует Малыга.

* *

Там же, на вокзале, я свиделся с Малыгой осенью. За месяц до его тихой и спокойной, в глубоком сне, кончины. Тогда при встрече он узнал и окликнул меня первым. Присели на скамью.

– Ну, как вы тут, дядя Малыга?

– Та-а... Мы теперь как все, – отмахнулся он. – Живем по-городскому. Три раза на дню за стол садимся! – Тихо засмеялся и, вздохнув, добавил, выдав неосознанно самую, по-видимому, суть произошедших в его жизни перемен. – Едим три раз на дню, и каждый – из отдельной чашки...

ЧУЖАЯ МУЗЫКА

Рассказ

Жуткую весть привез Витька Скобелкин...

Был день как день. Суббота. С утра Таисья управилась по хозяйству, в доме вымыла полы, в баню воды натаскала. С часок поокучивала картошку и, томясь неопределенностью, вышла за калитку. Оказалось, вовремя. Только что пропылил городской автобус и остановился в аккурат против дома Скобелкиных.

«Однако прибыл на побывку мой дед!» – Таисья обрадовалась и встревожилась разом. Подумала, отпустили Ивана из больницы на субботу-воскресенье в баньке помыться. Но знала и другое: если сегодня отпустили, значит, на той неделе не выпишут, неизвестно, сколько пролежит. Худо, стало быть, дело.

Вот уже месяц лежал Иван в областной больнице, язву желудка признали. Пичкали деда таблетками, поили микстурами, запретили то и это, но главное – курево. Без курева он заскучал, сделался капризным, несговорчивым. А улучшения не наступало.

Таисья из-под руки всмотрелась в приезжих.

Первой из автобуса вышла Марфута Вдоль-и-Поперек, сродного Иванова брата, Тимохи Киселева, жена. Круглая, с красным отечным лицом, в кофте на булавках вместо пуговиц. Одышливо мимо прошагала, не поздоровалась.

«На свидание ездила к Тимохе», – догадалась Таисья.

Тимоху осудили осенью. В уборочную ночью загнал комбайн во двор сельповского шофера Пашки Кудленка и за полтора червонца ссыпал в короб бункер пшеницы. Кто-то, видимо, донес. Кудленок мужик изворотливый, вышел сухим из воды, а Тимоха пострадал. Иван до суда с глазу на глаз с ним встречался. О чем говорили – неведомо, только Марфута с тех пор дулась...

За Марфутой Вдоль-и-Поперек Витька Скобелкин показался, через дорогу к дому поковылял. В одной руке – картонная коробка, другую – свободную – над головой вскинул, пальцы в кулак.

– Здра жла, теть Тас!

– Ба-а, сосед! Здоровкались уже!

– Так-то – утречком! – Витька подошел. Вид праздничный: свежая стрижка, пестрая рубашка, наглаженные брюки. В улыбке расплылся. – Не меня ли поджидаешь?

Автобус лязгнул дверцей, дальше попылил. «Нет моего Ивана, вздохнула Таисья. – В понедельник буду ждать».

– А то кого же, – ответила Витьке. – Стою вот, гадаю, куда мой соседушка с утра запропастился. А он – вот он, с городу явился. Да блестит, как стеколушко. Нешто в лотерею выиграл?

– В лотерею невезучий, но в музтоварах кой-чего отхватил. – Витька тряхнул коробкой.

Таисья разглядела на крышке изображение.

– Радио, однако?

– Сама ты радио! Не видишь – маг. Иностранния. Вон, не по-русски написано...

– Тогда коне-ечно, если не по-русски! Не баран чихнул. И сколько она стоит, эта иностранния? Рублей сто, не меньше?

Витька пренебрежительно сплюнул в сторону.

– За сто рублей купишь, ага. Патефон с ручкой. Я на эту музыку весь капиталец бухнул.

– И не жалко?

– Капиталец-то? Не-а. На то и трудимся, теть Тас, чтоб чего-нибудь куплять!

– Братовья увидят – выцыганют, – предсказала Таисья. – Они хитрые у тебя, братовья-то. Свои денежки в кубышку, а на твои косятся. Не давай, ну их!

– Жирно будет! – Витька любовно огладил коробку. – Пойду опробую капиталиста, дам заразе испытание. Приходи, теть Тас, как управишься. Брейк-танец будем репетировать.

– Приду, – обещала Таисья. – Вот только туфли на шпильках надену, чтоб звончей стучать. Заводи свою иностранию.

Витька хмыкнул, к калитке пошел. Обернулся.

– Теть Тас, чего Натаха-то давеча приезжала?

– Соскучилась, вот и приезжала.

– Просто так? И ниче не сказала? Интересно, тесто пресно, – Витька плечами пожал недоуменно.

Таисья ухо навострила.

– Ну-ну, договаривай!

– Да Марфута Вдоль-и-Поперек разное болтает. Будто в магазине у Натахи ревизия.

– Ну и что, что ревизия?

– Да будто у них там растрата. Или – излишки. Будто шерстят их там!

Таисья от Витьки рукой заслонилась.

– Чего ты собираешь-то?

– Не пужайся, теть Тас. – Витька засмеялся. – Или ты Марфутушки не знаешь? Ей соврать, что в лужу дунуть. Как дядю Тимоху посадили, всех бы за решетку упрятала, в каждом вора видит. Ну ее!

– А я не испугалась, с чего ты взял? – поспешно ответила Таисья. – Я за дочь спокойна. Марфуте верить как? Всю деревню грязью облила. До нас очередь дошла.

– Ну, значит, я пошел! – За Витькой щелкнула калитка.

Таисья, ошарашенная вестью, побрела на огород. Вновь за тяпку взялась. Вскоре от Скобелкиных скрежетом и воплями ударила Витькина иностранния. Таисья присела на краешек навозного вала, разделявшего соседские огороды...

Звучала музыка чужая, непонятная.

Таисья любила старую Витькину музыку. В сенцах под окном у Скобелкиных с давних пор стоял громоздкий приемник с проигрывателем. Витька часто и подолгу гонял на нем одни и те же пластинки, Таисья знала их наперечет. Ей особенно нравилась «Ах, Наташа». «А-ах, Наташа, что-о мне делать?» – вопрошала певица, и душу бередила песня. «Старый сад» тоже

любила. «На свете ничего не повернуть назад...» Золотые слова. Много добрых песен имелось у Скобелкиных. И Таисья любила их больше за то, что все они были песнями дочериной молодости. И Витькиной тоже. Обоим уже по тридцать...

Теперь у Натальи своя семья, другая жизнь, иные песни. А у Витьки все прежнее. Уж как за Наташкой ухлестывал – в зятья прочили. Не судьба. В одно лето взялась молодежь на мотоциклах гонять. Как с ума посходили. Шум, треск. Предупреждали: быть беде. Куда-а там! Выходить выходили Витьку, но на обе ноги охромел – коленные чашечки побил. Все мимо прошло – армия, женитьба. На подхвате у шабашников подвизался – наряды им писал. За то держали, что дед Скобелкин пустил их на постой в старую избу. Будто из семнадцати годов никак Витька не выйдет. Те же пластинки и Наталья на уме. А Наталья, дуреха, потешается, ей в забаву...

Ох, Наташка, Наташка! Спроста ли, в самом деле, приезжала?

Дочь в последнее время приезжала редко.

«Конечно, – в сердцах укоряла Таисья, – вы теперя опушилися, в стариках не нуждаетесь!»

Дочь отвечала: «Купим скоро «Москвича» – глаза намозолим, не обрадуетесь!»

«Москвича» купили – с гаражом проблема. «Вот гараж построим!..» И гараж построили. Тут зятю квартиру дали. Двухкомнатную, в центре города. А квартиру до ума довести – на полгода работы. Опять причина. Потом о дачке заговорили...

А в среду прикатила. Нежданно-негаданно. Одна. Таисья как раз окучивать начала. Спину разогнула – глазам не поверила: Наташка! Бежит огородом. Тяпка выпала из рук – не с Иваном ли беда?

«Соскучилась, мама. Слов нет, как соскучилась!» – Наталья в щеки мать нацеловала, в дом потянула, сели пить чай. «Три дня в счет отпуска взяла», – сообщила.

Тараторила без умолку и, как в детстве, ластилась, а глаза – печальные. Таисья недоброе заподозрила: «Ты не от Стаса ли сбежала? – спросила осторожно. – Не поругалась с ним?»

«Да ты чего себе вообразила? – вскинулась Наталья. – Стас мой золото мужик. Непьющий, некурящий... Все до копейки в дом несет. С чего бы нам ругаться? Ангелочек мой Стасик!»

«Что правда, то правда, – согласилась Таисья. – Ты нос перед ним высоко не задирай, попусту не фыркай».

Посидели, поговорили – вновь на огород. Наталья до купальника разделась. Взяла в руки тяпку – ловко получалось, не отвыкла. Витька на обед прошел. Наталью увидел – работе конец. Музыку завел. До позднего вечера «Ах, Наташу» гонял. Вечера тихие – далеко слышно. Наталья слушала-слушала – вздохнула: «Вот бы мне хоть на денечек в прошлое вернуться. Устала я, мама. Знала б, как устала!»

«Еще бы, – посочувствовала мать. – Три часа в такую духотищу в автобусе томилась. И я, рогожа старая, на огород с дороги загнала!»

Наталья рассмеялась. Странно как-то рассмеялась...

Не утерпела Таисья. Тяпку бросила, в дом зашла. Передник на себе сменила и – к Марфуте Вдоль-и-Поперек. Разбираться. Решительно настроилась...

На ходу распахнула калитку. В углу двора высилась горка березовых чурок. У крыльца, острой мордочкой тычась в ступеньку, истошно визжал поросенок. Двери сеничные настежь. В избе топилась печь. Стойким духом распаренной картошки шибануло в нос. В чугуне, обдаваемом накипью, пыхтело поросячье месиво. Запустение глядело из углов... У печи, сложив руки на колени, недвижно сидела хозяйка. Медленно повернулась на шаги, большие тусклые глаза сузились в ядовитом прищуре.

– Пожа-а-аловала, значит? Не побрезговала к ворам-то?

От вызова Таисья уклонилась. Улетучилась воинственность. Жалость к Марфуте сковала. Была Марфута Вдоль-и-Поперек – стала мяч приспущенный. Лицо – отечное, серое, в складках, веки – красные, припухшие, под глазами – сине. Несладко, видно, без Тимохи.

– Потчевать не стану и присесть не предложу!

– Не язык чесать пришла. – Таисья приступила к делу – Кто тебе про Наташку наплел? Иль сама со зла придумала?

– С чего бы я придумала? Ни полслова не прибавила. За что купила, за то и продала.

– У кого купила?

– У людей. Есть, которые все знают. И ты тоже знаешь. Не ломай комедию.

– Да про что я знаю-то?

Марфута нервно рассмеялась. Черная, с горошину, родинка на щеке вверх-вниз забегала.

– За деньгами дочка приезжала. Чтоб растрату покрыть, от суда откупиться. Все-е ты знаешь, не юли!

Таисья побледнела, по лицу ладонью провела.

– Говори, да отвечай за свои слова!

– А-а, не ндра-а-авится? Не ндравится в ворах ходить? Вы чистенькие, да?

– На чужую копейку не зарились!

– Зато дочь не побрезговала!

– Ты мою дочь не марай!

– Зна-аем, на какие доходы дочка твоя распушилась. На трудовую копейку этак не размахнешься. Проворовалась!

Кровь в виски бросилась Таисье, в глазах, как от удара, потемнело.

– Вре-ешь, бесстыжие шары!

– Не ндра-а-авится, ага?!

– На один аршин всех не меряй! – Таисья задыхалась. – Мои живут честно. У Наташки мужик работяга, и сама без дела не сидит!

Марфута тоже распалилась – щеки пятнами пошли.

– У Натахи оклад девяносто. И Стас не тыщи получает!

– Сколько ж в тебе злобы! – враз обессилела Таисья. – За Тимоху мстишь? Кому? Мне или Наталье? Или – Ивану? Разве он Тимоху посадил? Жадность Тимоху в тюрьму загнала!

– А вы не стройте честных из себя! – талдычила Марфута. – Вам тащить неоткуда, потому и не тащите. Все воруют. Кто где может, там и тащит. Один больше, другой меньше. Все! Ишь, че-естненькие мне!

– Врешь ты все, Марфута!

– Слушай, раз пришла. Слушай правду-матку! – брызжа слюной, ликовала Марфута. – Все заворовались! Поголовно! Все! На Тимоху, бедного, молитесь, он за всех страдает. И пусть Иван твой дочерю стыдит, а не моего Тимоху!

С прежней силой у Скобелкиных гремел магнитофон. Витькины братья с женами, как всегда по субботам, сходились к родителям. Пора было доить корову, управляться по хозяйству, но Таисья не спешила, рукам не искала заделья. И в дом бы не входила... Там, куда ни глянь, везде Натальины следы. Заколки для волос на подоконнике, духи на холодильнике, раскрытая на выкройках «Крестьянка».

Ох, Наташка, Наташка! Трое суток дома побыла, а сколь тоски наделала. Лучше бы совсем не приезжала!

Не верилось в Марфутины сплетни, но душу сомнение точило.

«А вдруг?.. А что, если... Зачем-то ведь являлась?»

Ни сном ни духом не ведала Таисья, какую думу неотвязную принесет суббота...

Три года назад Наталья приезжала с мужем на первомайские праздники. «Машину, мама, будем покупать!» Таисья сразу-то мимо ушей пропустила, а ночью раздумалась: на какие шиши покупать? Машину! Всю жизнь с Иваном спины не разгибали, просвету в работе не видывали, раньше срока состарились, а всего-то и скопили на дом. И копейкой не гнушались. Поросят на продажу откармливали, картошку выращивали. Мясо, масло, молоко, овощ всякий – все свое, не куплено. Горбом доставалось. У Ивана, может, оттого и желудок нарушен, что всю жизнь всухомятку. То он в поле, то в лесу, то на покосе... Кто там горячего спроворит? А дочка с зятем раз – и в дамки. Машину покупать!

Наутро Стас с Иваном в лес уехали. Делянку под дрова отвели в тот год аж в десяти верстах. Иван с корня навалил загодя, оставалась раскряжевка, и, чтоб туда-сюда впустую не мотаться, мужики отправились с ночевой. Случай у Таисьи подвернулся – остались с дочерью вдвоем. «Вам не свекор со свекровью на машину отвалили?» – спросила как бы походя. «Еще чего, – с гонором ответила дочь. – Сами с усами!» – «Большие ведь деньги!» – «Деньги, мама, не проблема. Проблема – где достать!» Таисья походила-походила – снова как бы ненароком: «В Бобровке, слышно, про-

давщица сбедокурила. Яблоки по рубель шестьдесят продала за рубль семьдесят, а разница в карман. Стыдобушка и срам. Трое ребятишек и мужик – директор в школе». Наталья глаза округлила, ойкнула тихонько. «Ты чего это, мама, держишь себе на уме? Неужели думаешь, что я...» – «Ничего такого я не думаю, – устыдившись, перебила мать. – Уж и сказать-то ничего нельзя!» У Натальи слезы проступили на глазах от смеха. «Ты чего себе вообразила? Оклад, конечно, невелик, но ведь плюс и прогрессивка. Стасу двести рэ установили, премия приличная. Первый мастер в городе по телекам. Не за спасибо крутится, понятно. Хочешь жить – умей вертеться. Деньги сами не придут, деньги делать надо. Такая, мама, жизнь настала».

И хоть слово «делать» немножко покоробило, Таисья успокоилась. «Сделать» – не украсть. Другая жизнь – иные песни... Разве все понять?

Поздно вечером зашел Петро Козырев – бригадир шабашников. В запыленных кирзачах, в пропахшей деревом спецовке. Лишь Тимоха Киселев выше Козырева ростом. Борода у бригадира не то что у Стаса – три хилые волосинки – густая, с проседью, в опилках. Такую видела Таисья на картинке в книге, что на этажерке. Каждый вечер для Петра Таисья оставляла литр молока. Он заходил после работы – дом из бруса ставили совхозу, залпом осушал банку, утирал усы ладонью. Таисья улыбалась одобрительно. «Так я же взрос на молоке!» – пояснял Петро.

И сегодня он привычно прошел к холодильнику, взял в свои медвежьи лапы банку, влил полнормы внутрь усов и бороды.

– Это, – сказал, отдышавшись, – завтра стюкаю ворота. Как и обещал.

Таисья, любуясь Петром, машинально кивнула.

Ворота – тоже дочери придумка. «Ты с Петра копейки не бери», – перед отъездом наказала. «Почему? – удивилась Таисья. – Молоко – не вода, оно денег стоит». – «Не бери, я с Петром договорилась, он ворота сменит. На всей середке лишь у вас ворота развалились, грибком уже взялись». – «Давно с отцом об этом говорим, – подхватила Таисья, – то тесу нет, то самого не дождусь из больницы». – «Будут вам ворота!» – обещала дочь...

Петро допил молоко, вручил банку Таисье.

– Добре, тетка!

Таисья прикрыла за ним дверь, разобрала постель, потушила свет. И, вопреки опасениям, сразу заснула.

Свет за окном легко проткнул июньский сумрак, белый отсвет метнулся по горнице, скользнул по лицу. Таисья приоткрыла глаза, раздвинула занавески, прильнула к стеклу. С дороги к забору медленно двигался грузовик.

«Кого серед ночи несет?» – Села на постели, со спинки стула сдернула халат, набросила на плечи. Кряхтя и морщась от боли в суставах, поднялась.

Грузовик, чихнув у забора, заглох. Не зажигая света. Таисья вышла на улицу. Взбренчав сырой цепью, запоздало взлаял Витькин кобель Кум. С крыльца Таисья разглядела мужиков в кузове. В одном по росту угадала Петра, в другом – вертлявом коротышке – Кудленка Пашку.

Задний борт кузова с грохотом отпал.

– Вы чего? – окликнула Таисья. – Чего вы тута позабыли?

На машине замерли.

– Напугала! – сплюнул Петро Козырев. – Матерьялу вот привез... На ворота.

Через забор полетел брусок, другой, третий... Россыпью ахнули на землю тесины.

И до Таисьи вдруг дошло: краденые брусья. И лес тоже краденый. Потому и ночью привезенные...

– Стойте, – вскрикнула она. – Не сгружайте. Кто велел?

Кудленок подмигнул.

– Не трусись, хозяйка. Под навес перетаскай, и все дела. Кто там разберет, откуда доски?

– Ты это, тетка, не дури. – Посуровел Петро. – Иль мне больше делать нечего, как с досками таскаться?

– Мне ворованно не нужно!

– Да идите вы! – махнул рукой Петро. – Что, у меня своя лесопилка? Дочь твоя о том не знала?

Осеклась Таисья. Знала. И Наташка, и она, рогожа старая, знала. Но не подумала, чем обернется. В мыслях не держала.

– Давай гони в гараж! – приказал Петро Кудленку. – Неровен час, попухнешь с этим тесом!

Кудленок прытко вскочил в кабину, Петро сплюнул под ноги и молча ушел.

Таисья по брусочку, по тесинке стаскала привезенное под навес. Что оставалось делать?

Теперь заснуть оказалось непросто. Таисья долго лежала с открытыми глазами, поминутно взглядывала в окно. То ей чудилось шарканье шагов, то казалось – тень скользнула через дорогу. Задремывала и видела Тимоху Киселева, растрепанную Марфуту, повисшую на мужнином плече, дочь с упреком в смеющихся глазах... «Ты чего это держишь себе на уме?» – вопрошала Наталья. «Все молитесь на Тимоху, он за всех страдает!» – ликовала Марфута.

Вновь пробуждалась Таисья, таращилась на потолок. Мысли о дочери одолевали. «Ох, Наташка, Наташка! Наворочала девка делов! Хорошо, что Иван не приехал сегодня...»

Вспомнился вечер после суда над Тимохой. «Не больно ли с ним круто?» – с надеждой на сочувствие спросила у Ивана. «Что, пожалела? – взвился Иван. – В войну лебеду жрали? Почему тогда не воровал? Тогда б и я, может, пожалел. А сейчас – не жалко. По заслугам!» – «Охо-хо! – вздохнула Таисья. – Нешто, правда, жизнь другая?»

Ах, эта Витькина новость! Тес этот, будь он неладен!

Таисью знобило. Она с головой накрылась одеялом, боком вжалась в перину, но дрожь не унималась. Сбросила с ног одеяло, взад-вперед по горнице прошлась. Сняла с гвоздя Иванову фуфайку...

На востоке коромыслом высветлялся краешек неба. Фиолетовый сумрак ночи переходил в предрассветную синь. Тихо было. Таисья подошла к штабелю, постояла в раздумье. У Скобелкиных скрипнула сеничная дверь. Таисья вздрогнула, метнулась в сторону, под навес. Жаром опалило лицо, во рту осушило.

Витька в трусах и майке вышел на крыльцо. Зашел за угол. Звонко шлепнула резинка трусов...

– Прости меня, грешную. Господи! – перекрестилась Таисья. Запахнула на себе фуфайку, сдернула со штабеля тесину, взяла конец под мышку. Прямиком по улице до стройки – метров сто, не больше, а в обход – все двести. Огородом, задворками, проулком... Двести метров позора.

Рассвет встретила на ногах. Начался новый день. День как день. Воскресенье. Таисья подоила корову, процедила молоко. Отдохнуть на крылечко присела. У Скобелкиных музыка заиграла. «А-ах, Наташа, ах, подружка!» – полилась старая песня. Хорошая песня. Таисья встрепенулась, вслушалась. «Вот и выцаганили братья иностранию, – догадалась. – Остался Витька на бобах!».

1988 г.

СТАРИННЫЙ ГОРОДСКОЙ РОМАНС

Рассказ

1

Тридцать лет назад Степан Аркадьевич, в ту пору просто Степа, Степушка, Степок, удивил родных и близких: он поступил учиться. В техникум. Финансово-кредитный. А вышло так.

Степан вернулся в Почекуево из армии, где честно отслужил свое водителем. Возил высокое начальство – генерала авиации, был с ним на дружеской ноге, но главное – проникся искренней любовью к старинным городским романсам...

Поселок Почекуево, к счастью почекуевцев обойденный громкой славой нефтяных и газовых сокровищниц, лежал на левом берегу Оби. Зимой по самые макушки крыш в сугробах, летом – в зелени густого кедрача, Почекуево, казалось, дремало беззаботно все двести лет своей истории. На центральной площади против здания райкома тусклым куполом высилась церквушка, где на загаженном собаками полу хранилась соль в кулях для местного заводика, который, хоть и выглядел невзрачным, в грязь лицом не падал с момента основания, даже экспортировал рыбную продукцию в дружескую Венгрию

и черную икру в райкомовский буфет. Вблизи теснились, как опята, конторы и конторки, хилый леспромхоз и ветхий краеведческий музей, известный тем, что сохранил до наших дней бумаги декабриста К...

Водителю в поселке выбирать не приходилось – целил в леспромхоз. Там, в леспромхозовской столовой, работала Верунька. Славная девчушка. Веселая и с выдумкой. На стене повесила плакат: «В столовой вежливым и скромным будь и наизусть усвой одно – поел, попил, не позабудь тарелочки подать в окно!» Степан охотно подавал свои тарелочки и донимал любовно повариху.

– Опять, стряпуха, ложки грязные?

Верунька горячилась, и под ее халатиком приятно волновалась розовая грудь.

Целил в леспромхоз, но угодил в райфинотдел. Там, подсказали ему вовремя, уволился водитель. Пришлось опять возить начальство. Полный, большеротый и задумчивый заведующий райфо оказался парнем свойским, хоть и без вежливых манер. Он мог и нахамить под настроение, но, нахамив, переживал, поскольку был отходчив.

За рулем водитель от избытка сил и чувств постоянно пел, и городской романс сдружил его с заведующим.

– Спел бы, Степ! – просил начальник в светлую минуту. Степан не заставлял себя упрашивать.

– Любимую?

– Ну да.

Водитель с чувством запевал:

Я встретил ва-ас – и все былое-е
В ат-жившем се-ердце а-жи-ло,
Я вспомнил вре-е-мя за-ла-тое,
И сердцу ста-ала так тепло...

Заведующий вздыхал о чем-то потаенном.

– Эх, Степа-недотепа! Счастливый ты мужик. Потому что ни хрена еще не петришь!

– А чего мне петрить? – удивлялся Степан. – Мне пока все ясно. Газуй себе по жизни!

В один из солнечных погожих дней, когда Степан, вернувшись от Веруньки, намурлыкивал под нос веселенький мотивчик, заведующий райфо откинулся на спинку мягкого сиденья, раздумчиво спросил:

– Что, Степа, так и думаем всю жизнь крутить баранку?

– А че? – захлопал Степа длинными ресницами.

– Да как же это «че»? Тебе учиться нужно.

– Я одиннадцатилетку кончил!

– Глядите на него! То разве грамотешка? Горе с тобой, Степа!

– С меня и этого довольно. Звезд с неба не хватаю, в начальники не рвусь... Век живи, век учись, а результат известен.

– Брось, Степа, эту философию! – осадил начальник. – Она для дураков. А ты, я вижу, парень правильный. Голова набита не мякиной, видишь много, спрашиваешь мало... С твоим-то, Степа, котелком не за рулем сидеть бы, а по праву руку... около меня. Уважать себя, Степушка, надо!

– Я и так уважаю.

– Уважает он, глядите на него! – Заведующий прищурился и выпалил внезапно. – Хочешь, Степа, замом сделаю? Зама, понимаешь, сотворю! Чуешь, как звучит?

– Да бросьте вы смеяться!

– Я не смеюсь – серьезно предлагаю. Давай учиться будем, парень. Шоферить – ума не надо. И медведь сумеет, только покажи. Я сам когда-то начинал с руля. Крутил-крутил баранку, а потом дошло: одно дело – шоферить, другое – ездить на машине. Чуешь, Степа, разницу?

Степа хмыкнул и пожал плечами. Заведующий печально резюмировал:

– Ничего-то ты не понял, потому что зеленый еще. Но когда-нибудь поймешь. Еще и обо мне не раз вспомянешь. Вот, скажешь, был начальник, так начальник, на путь-дорогу истинную вывел. Короче, Степ, подумай хорошенько.

Ни хорошенько, ни плохонько водитель думать не желал, к вечеру забыл о разговоре. А начальник, оказалось, помнил.

– Ну как? – спросил через неделю. – Надумал или нет?

– О чем вы, Пал Матвеич?

– Да все, дружок, о том.

Степа рассмеялся от души.

– Да ну, – сказал он, – что вы! Тут женитьба на уме, а вы ко мне с учебой.

Начальник психанул на Степино «Да ну!».

– Остановись, жених!

Степан притормозил.

– Чтоб завтра документы в техникум послал! Не пошлешь – уволю. Из него, из недотепы, человека лепят, а он – «Да ну». – И, не дав опомниться Степану, закруглил спокойно: – Не сомневайся – запросто поступишь. Сдай на троечки, и все. Остальное – дело техники. Отучишься – к себе возьму. Мне молодежь толковая нужна. А ты, я вижу, прирожденный зам. Лови момент, пока я добрый!

– Так ведь свадьба на носу!

– Ты, Степа, баб еще не видел. Погоди. Невелика потеря – повариха. Ведь ты орел!

– Ну-у, знаете!

– Вот-вот. Потом вспомянешь про мои слова.

Вечером Степан крутнулся перед зеркалом, оглядел себя в профиль и анфас, в глаза поглубже заглянул. Ничего орлиного в себе не обнаружил. Нос как нос. Утиный. Подбородок круглый. Волосы – прямые, брови – коротышки. Глаза какие-то бесцветные... Словом, не начальник. Даже и не зам.

– Черт его, начальство, знает, – бормотнул он неуверенно. – Со стороны, наверное, видней.

В тот же вечер он всерьез задумался о будущем. А почему не поступить, пока предоставляется возможность? Котелок не заржавел, думать в состоянии. Диплом не помешает. Какое-никакое, а все ж – образование.

Поехал.

Поступил.

Но пока учился, свойского начальника в чем-то уличили, перевели куда-то на другую должность. К новому – вальяжному и строгому – Степан не пожелал. Свежеиспеченный финансист устроился в инспекцию госстраха. Когда друзья осведомились, где и кем он трудится, он простодушно отвечал: инспектором госстраха. Друзья хватались за животики: как Деточкин, ага? Инспектор не на шутку распалялся и, заикаясь от волнения, сбивчиво и путано объяснял им разницу межу страховым инспектором и страховым агентом. Когда же объяснять надоело, стало представляться всем подряд сотрудником райфо. Так звучало более внушительно. И главное, почти без дураков: райфо и райгосстрах ютились под одной дырявой крышей.

К новой должности нужна была привычка. Степан сначала уставал от писанины и даже, было дело, подумывал уволиться – скучной показалась работенка. Тянуло все-таки к машине. Когда же, наконец, освоился, стал рассуждать примерно так: работа как работа, с рядом преимуществ. Шоферил – царапины и ссадины с пальцев не сходили, мазут, бывало, не соскоблишь, теперь же руки как у пианиста. Да и кем он был тогда? Степой-недотепой. Мальчик на посылках. А теперь кой для кого и Степан Аркадьевич. Мелочь, но приятная. Диплом, опять же, не права – непросто потерять.

С возрастом Степа стал Степаном Аркадьевичем даже для друзей. К сорока годам он заимел солидное брюшко, глубокие залысины и троих детей: двух девочек и мальчика. Когда они ходили в школу и, случалось, схватывали двойки, он доставал диплом, где черной торжественной тушью старательной рукой были выведены круглые пятерки и, тыча в них пухленьким пальцем, внушал: вот папка ваш учился!

Лишних денег в доме не водилось, жили скромно, на зарплату, но дети вышли в люди. Старшая жила на юге, преподавала в институте, младшая работала врачом, а сын служил в погранвойсках. Жена работала учителем, она была покладистой, с ней жилось легко. Степан Аркадьевич числился в ударниках, его портрет бессменно красовался на Доске почета. Его ценили в женском коллективе за добросовестность в работе, смысл которой заключался в том, чтоб взять побольше платежей и меньше выдать возмещения с целью превышения доходов над расходами, от чего зависела зарплата. Еще – за безотказность, редкую усидчивость и красивый почерк. Он, бывало, и открытки ко Дню Советской Армии подписывал себе собственноручно. От командировок не отлынивал. Женщины просили: Степан Аркадьич, родненький, съезди за меня туда-то и туда-то, сделай то-то, то-то... И Сте-

пан Аркадьич, хотелось или нет, сдвигал на край стола бумаги, собирался, ехал. Конечно, не совсем за так. Надо было на рыбалку или на охоту, без обиняков выкладывал: девоньки, прикройте. И «девоньки» без всяких прикрывали.

К своим за пятьдесят он сохранил отменное здоровье. До тридцати лет не курил. После, правда, на рыбалке и охоте крепко пристрастился. Зато зимой ходил на лыжах, летом бегал вокруг дома...

По вечерам любил помечтать с женой, как, выйдя на заслуженную пенсию, уедут к дочери на море, купят скромный домик, станут жить-поживать, внуков наживать. Хорошо мечталось.

2

Однажды приснился Степану Аркадьевичу сон. Он увидел себя молодым, за баранкой райфовской «Победы». Веселым Степой-недотепой. И рядом – бывшего начальника. Павел Матвеевич был необычно угрюм.

«Спел бы, что ли, Степа».

«Какую, Пал Матвеич?»

«Любимую, дружок».

«Сейчас изобразим», – Степан расправил плечи и выдал в полный голос:

Я встретил ва-ас – и все былое-е
В ат-жившем се-ердце а-жи-ло...

Как всегда во сне бывает, песня зазвучала сильно и свободно. Как бы сама по себе. Повисла, отделилась, поплыла:

Я вспомнил вре-емя за-ла-тое,
И се-рдцу ста-ла так тепло...

Павел Матвеевич прискорбно вздохнул.

«Душевно, Степ, поешь!»

Степан Аркадьевич – Степушка довольно усмехнулся и... открыл глаза. И тотчас впал в уныние. Как если бы во сне явилась к нему первая любовь...

Весь день преследовала песня. По дороге на работу, в душном кабинете, в тиши пустой квартиры. В ушах звучало неотвязно:

Как поздней о-осенью па-рою
Бывают дни, быва-ает час...

Тоска сжимала сердце. Сны, как ни странно, повторялись. Степан Аркадьевич видел себя молодым и беспечным, ветреным немножко Степой-недотепой за баранкой любимой «Победы». Ее давным-давно списали, свезли

на переплавку, взамен приобрели «Москвич», но снилась лишь «Победа». Он будто въяве ощущал тепло баранки, кислый запах папирос угрюмого начальника, и эти ощущения будили в нем тревогу. Утром через силу плелся на работу, сидел мрачнее тучи. С девяти до восемнадцати корпел он над бумагами, звонил по телефону, вел с кем-то разговоры и курил, курил...

Новая начальница, а их сменилось на его веку немало, впервые высказала недовольство:

– Вам, Степан Аркадьевич, не с бумагами б работать, а прям не знаю с чем. Все документы пересыпали вонючим табаком. Я вас не узнаю.

– Вы сильно не ругайте нашего Аркадьича! – полушутя, полусерьезно вступились сослуживцы. – Он все-таки у нас единственный мужчина. Обидится, уйдет, что делать станем без него?

Степан Аркадьевич робко улыбнулся.

– Все, девки, может быть. Возьму вот и надумаю.

– Уж не в райфо ли лыжи навострил? – насторожилась новая начальница.

– Можно в райфо. Давно к себе зовут.

– А что в райфо-то? Что – в райфо? У них оклады меньше наших!

– Да так оно, – кивнул инспектор, – от добра добра не ищут.

Но и через месяц тоска не унялась. Степан Аркадьевич раздражался по любому поводу.

Однажды неожиданно забрел в ту самую столовую, где так любил обедать Степой-недотепой. Столовая ничуть не изменилась, разве что вместо вазочек с рябинами стояли вазочки с салфетками да на стене висел плакат иного содержания: «Хлеба к обеду в меру бери, хлеб – драгоценность, им не сори!». Степан Аркадьевич постоял посередине зала и подошел к раздатчице.

– Чего тебе? – буркнула девица в замызганном халате.

– Здесь работала когда-то поварихой Вера... Вера Парамонова... Не помните? Веселая такая!

– Много здесь перебывало веселых и находчивых! Разве что посудомойка? Тоже Верка. Ветеранка... Но не Парамонова... А сами поглядите!

В амбразуре для посуды маячила косматая старуха... Степан Аркадьевич с минуту постоял, повернулся, вышел...

Супруга вечером спросила:

– А ты зачем в столовую ходил?

– Да так, – пожал плечами, – шел мимо и зашел.

– Странно, – хмыкнула жена.

Как-то душной белой ночью он вышел покурить, и ноги понесли его через дорогу. Он очутился подле гаража, дрожащими руками вынул из пробоя проржавленный замок, не закрывавшийся на ключ беспечным нынешним водителем, по-воровски – с оглядкой и на цыпочках – прошел вовнутрь, в сыром тяжелом полумраке бетонированного склепа разглядел райфовский «москвичок», нащупал сверкнувшую никелевую ручку и, повернув,

легонько дернул на себя – дверца мягко отошла. Он сел на пассажирское сиденье, обтянутое пледом. Когда глаза привыкли к полумраку, увидел в гнездышке панели кругляшок брелока. Холодный крупный пот покрыл глубокие залысины. Степан Аркадьевич безотчетно передвинул свое тело на водительское место и тут же испугался дерзкой мысли, вывалился боком из машины. Сердце учащенно билось... Он закурил и успокоился. Затем, раздвинув створки ворот, обитых жестью, втиснулся в машину. «Москвич», как сытый кот, лениво заурчал, дернулся и плавно покатился, пересек райфовский двор, выехал на главную дорогу. Будто оттолкнувшись от неровности асфальта, помчался, набирая скорость, в сторону шоссейки. Степан Аркадьевич вел «Москвич» уверенно, рисково, точно никогда не выпускал руля из рук. И все в нем пело, ликовало...

Я встретил ва-ас – и все было-ое
В ат-жившем се-ердце а-жи-ло!..

Домой пришел под утро. Осторожно лег, закрыл глаза. Но было ощущение полета! Будто все еще он мчался по шоссейке, и вот уже послушная машина взмыла над асфальтом и понеслась навстречу ветру, а он, не видя полотна дороги, упругой силой запрокинутый назад, – летит, летит, летит!..

Ночная вылазка успешно повторилась через месяц, через две недели, через день...

Степан Аркадьевич как с ума сошел! Все, что было им заслужено за годы безупречного труда и трезвости мышления – почет и уважение, – с невероятной легкостью ставилось на карту. Всего лишь ради нескольких минут неизъяснимого восторга! Он сознавал, что совершает глупость – да что там глупость! – преступление, ведет себя как бесшабашный малолеток, искатель приключений! Но, увы, не мог остановиться...

Гром грянул осенью, в начале сентября, дождливой темной ночью. Степан Аркадьевич вел машину по уже привычному маршруту, веселый перепляс дождя по крыше «москвичонка» казался музыкой. Он пел:

Я встретил ва-ас – и все было-ое
В ат-жившем се-ердце а-жи-ло!..

Невдалеке от аэропорта, из-за крутого поворота, скрытого стеною кедрача, ударил ослепительный сноп света, и в тот же миг через дорогу метнулась чья-то тень...

«Пеше…» – молнией сверкнуло в голове. Рывком крутнул баранку влево и дабанул по тормозам. Машину бросило в кювет и развернуло, ударило о столб. Раздались лязг металла, треск разбитого стекла...

Утром был переполох. Райфовский шоферюга с пеной на губах кричал на виноватого инспектора. Новая начальница сосала валидол. Женщины испуганно шептались. Степан Аркадьевич с гипсом на руке, с разбитыми

губами, безмолвный, бледный и подавленный, сидел в углу, не поднимая глаз. Днем с Доски почета испарилась фотография лучшего инспектора. Партийная ячейка родного учреждения готовила суровое собрание. Супруга, не способная принять на веру робкие попытки объяснений, впервые усомнилась в порядочности мужа. Назревали скандал в семье и судилище с райфо. До суда, однако, дело не дошло. Ущерб Степан Аркадьевич сразу возместил.

Но вскоре он вновь напомнил о себе: вздумал увольняться. Новая начальница, приняв заявление за обиду на строгач, что влепила сгоряча лучшему инспектору, стала отговаривать. Уверяла, что все давно забылось, что она способна где-то и понять – бывало с ней такое, хотелось сотворить бессмысленную глупость. Бросить все бумаги, полисы, свидетельства, засесть за выкройки и швейную машинку. Выговор она готова хоть сию минуту снять, выговор – пустяк, тем более, ему до пенсии всего-то ничего...

Степан Аркадьевич был неумолим.

– Уж вы, прошу нас, не держите, – отвечал на уговоры. – Поеду к старшей дочке, внуков буду нянчить... Поеду, не держите.

Расстались хорошо. Степан Аркадьевич угощал шампанским. Женщины просили написать, как только доберется и устроится. Он всем все обещал.

Через год в инспекцию пришло письмо из Симферополя. Степан Аркадьевич слал сердечные приветы, сознавался, что скучает. Но в коллективе ему сразу не ответили, а потом, как водится, забыли...

А Степан Аркадьевич на новом месте жительства в должности вахтера общежития благополучно доработал до законной пенсии. Недавно он осуществил заветную мечту – с рук приобрел автомобиль. В хорошем состоянии. Дети помогли. По воскресеньям он, супруга, дочь с семьею выезжают за город. Там он уединяется, лежит на пахучей траве, подолгу наблюдает облака. И с грустью думает о том, как, в сущности, нелепо прошла жизнь.

Давайте порассуждаем...

1. Как вы думаете, почему писатель решил назвать свой рассказ «Русский хант»?

2. Насколько убедительно, по вашему мнению, выглядит описание рыбной ловли в рассказе? Насколько красиво, увлекательно повествуется об этом процессе?

3. Как вы поняли то, почему предприниматель вместо того, чтобы участвовать в конкурсе на получение выгодного заказа, остановился половить рыбу с неизвестными ему мальчишками? Насколько, на ваш взгляд, убедительна эта причина? Поразмышляйте на эту тему.

4. Как вы поняли слова Векшина: «В Ницце, дорогой мой, безусловно, рай… Вот только щурогаев там не ловят!»? Напишите небольшое сочинение-рассуждение или эссе о том, как вы поняли смысл процитированной фразы героя.

5. Расскажите о том, каким вы представляете себе героев рассказа, носящих прозвище Малыги. Чем они запоминаются читателю в первую очередь? Есть ли в их поведении что-то особенно интересное, привлекательное? Если да, то что именно?

6. Как вы считаете, таким героям, как Малыги, хорошо живется в современном мире или плохо? Аргументируйте свой ответ.

7. Как вы поняли смысл рассказа «Чужая музыка»? Прокомментируйте слова героини: «Все заворовались! Поголовно! Все!»

8. Охарактеризуйте поступок героини, которая возвращает на стройку привезенный ей ночью тес. Может, и не стоило этого делать: молоко-то она свое строителю давала?

9. Как вы думаете, какую роль играет в рассказе история Витьки Скобелкина с его покалеченными ногами, неудавшейся любовью к Наталье, иностранным магнитофоном и т.п.?

10. Расскажите о том, как вы поняли смысл названия рассказа.

11. Какой выглядит жизнь поселка Почекуево в рассказе «Старинный городской романс»? Какова философия жизни Степана (Степана Аркадьевича)? Насколько вам нравится такая философия? Насколько радикально меняет наладившуюся жизнь героя приснившийся ему сон? Как вы думаете, чем можно объяснить поведение героя в истории с ночными прогулками на «Москвиче»? В чем, по вашему мнению, заключается смысл названия рассказа «Старинный городской романс»? Аргументируйте свое мнение.

12. Попытайтесь охарактеризовать стиль писателя Н.И. Коняева. Расскажите, к примеру, о том, как вы восприняли использование им просторечных слов («попервости», «поздоровкалси», «есси» и т.п.). Использование таких и им подобных слов способствует пониманию авторского замысла или, наоборот, затрудняет? Порассуждайте на эту тему.

ЛУЦКИЙ
Сергей Артемович
(р. 1945)

Первый рассказ Сергея Луцкого был опубликован в журнале «Юность». Он является постоянным автором журналов «Октябрь», «Роман-газета», «Наш современник», «Сибирские огни», «Врата Сибири», еженедельника «Литературная Россия» и других периодических изданий, как московских, так и региональных.

С. Луцкий автор книг прозы «Десять суток, не считая дороги» (1980), «Яблоко в желтой листве» (2000), «Варианты Надежды Вилоровны» (2005), однотомника избранных произведений «Ускользающее время» (2005).

Рассказы переведены на арабский, дари (Афганистан), украинский и удмуртский языки.

Член Союза писателей России, Лауреат премии губернатора ХМАО-Югры в области литературы за 2003 год и Всероссийской премии им. Д.Н. Мамина-Сибиряка за 2006 год.

Герои Сергея Луцкого – наши современники, живущие в непростое, переломное время, очень разные, но все убедительно выписанные, представленные живыми и узнаваемыми. Мир его прозы – это мир, в котором мы живем, но писателю удается подняться над бытом, над повседневностью, удается заставить задуматься над смыслом жизни.

«Я не склонен преувеличивать значение волевого начала в судьбе каждого из нас, – размышляет С. Луцкий. – К несчастью, бывает так, что семья, в которой человек родился, окружение, в котором вырос, другие обстоятельства не позволяют ему жить иначе. Однако и то правда, что многие все же вырываются из «идиотизма деревенской жизни», стремятся к более достойному существованию, а главное – добиваются его. Что же касается миссии совестливых людей, которые якобы должны жертвовать собой ради блага односельчан, лично мне видится в этом изрядная доля лукавства».

И еще одно замечание писателя: «Что касается правды жизни, то люди, как правило, предпочитают ей истории с хорошим концом, где добро торжествует, а зло наказывается. Это многим помогает жить. Другое дело, насколько подобные произведения имеют отношение к настоящей литературе – той, где тон задают Гоголь, Тургенев, Толстой, Шолохов, другие большие писатели…»

Произведения самого Сергея Луцкого имеют отношение, как представляется, к настоящей литературе.

ОСКОЛОК ИМПЕРИИ

Рассказ

Участковый Плесовских копал картошку, когда услышал недалекий выстрел.

Удивляться, в общем-то, было нечему – охотничий сезон на водоплавающую птицу уже открылся. Настораживало другое: стреляли близко. Хотя и это можно было объяснить – озера и старицы подступали к поселку вплотную. Как раз на них опускались пролетающие утки.

Когда спина участкового под адидасовской курткой уже взмокла, ударила калитка на тугой пружине.

– Опять кого-то черти несут, – проворчала жена Лена, распрямляясь и глядя в сторону дома. Неполное ведро картошки покачивалось в ее руке, обтянутой грязной резиновой перчаткой. За почти десять лет службы Плесовских она так и не привыкла, что к мужу могут обратиться в любое время. – Гос-с-поди, греческая смоковница!.. Опять у нее проблемы.

В голосе Лены слышалась чисто женская неприязнь. Мало того, что идущая от калитки Машка Сардакова напропалую гуляла, так весной у нее еще умер ребенок. Выполз вечером за порог и угодил в лужу. За ночь вмерз в нее. Машка в это время спала пьяная.

– Евгений Сергеевич, – еще издали заговорила Сардакова льстивым голосом, – вам из сельсовета дозвониться не могут. У Батаева ЧП. Осколок империи его медведя застрелил... То есть Ефим Егорович Сигильетов медведя застрелил.

То, что почти у каждого здешнего жителя была кличка («погоняло» – говорила молодежь), Плесовских знал. Знал и то, что многих называли по имени-отчеству не из уважения, а потому, что иначе легко было запутаться в многочисленных членах нескольких хантыйских родов, проживающих в поселке.

А вот почему Машка Сардакова заговорила таким голосом, он мог только догадываться. Машка закодировалась и уже третий месяц не пила. Ее даже взяли техничкой в поселковую администрацию, где она по совместительству выполняла обязанности посыльной.

«На всякий случай прогибается, – подумал Плесовских. – Похоже, не надолго ее кодирования хватит...». Сильно пьющих участковый не любил, и в поселке это хорошо знали.

Через несколько минут он – уже в форме и с официальным выражением лица – шагал в сторону рыбкооповского магазина. Низкорослая Машка Сардакова едва поспевала следом. Что, впрочем, не мешало ей без умолку тараторить.

– Этот Ефим Егорович вообще оборзел. Считает, все ему можно. Отец рассказывал, он такой крутой раньше был! Если олени в колхозе пропадут, сам воров находил, милицию вызывать не надо. Всем говорил, скоро

коммунизм наступит, нужно только хорошо работать и не пить. Прикольно, ага?.. Совсем одичал на своем стойбище! За что медведя застрелил? На него даже нефтяники приезжали смотреть. Медведь как негра увидел, так забился в угол клетки, испугался. Нормально, ага?..

Машка забежала сбоку, искательно заглядывая Плесовских в глаза. «Точно, сорвется скоро», – понял тот. С негром, инженером российско-американской нефтяной компании, действительно вышло смешно. К русским и ханты, которые частенько останавливались возле клетки, медведь привык. А вот черного человека увидел впервые. Мужики потом рассказывали, что медведь дрожал, прикрывался лапой и даже обделался. Может, привирают. Но негр обиделся, это точно.

– Правильно журналист его тогда назвал – настоящий осколок империи. Додуматься надо, лучше всего для хантов колхоз! Вот придурок!.. Мы что, дети, чтобы на нас всю дорогу давить? Воспитатели!.. Мы как люди жить хотим, свободно. Чего нас воспитывать, этого нельзя, того нельзя... Я правильно говорю, Евгений Сергеевич?

Об истории с журналистом Плесовских тоже слышал. Несколько лет назад – он еще здесь не работал – приезжал корреспондент из Москвы и попросил, чтобы его познакомили со старожилом из аборигенов. Что-то там ему для экзотики нужно было. Дед Сигильетов как раз находился в поселке, с ним и познакомили. О чем они разговаривали, никто толком не знает. Только потом в поселковой администрации корреспондент качал головой и советовал внимательно присмотреться к старику. Не приемлет демократических преобразований. Может на других плохо повлиять. Даже не из застойных времен человек, а какой-то сталинист отпетый.

– Вы как представитель власти поддерживаете меня, Евгений Сергеевич? Хант тоже человек, свобода выбора у него должна быть. Жить надо, как хочешь. Согласно общечеловеческим ценностям. Я правильно понимаю?..

Плесовских покосился на нее. «Наслушалась телевизора... Сегодня и запьет, – окончательно уверился он. – Как раз зарплату в администрации выдавать будут». То ли специалисты в райцентре были слабые, то ли еще по какой причине, но на поселковых кодирование практически не действовало. Начинали пить по новой, когда хотели.

У рыбкооповского магазина стояла внушительная клетка, сваренная из армированных прутьев. Внизу ее темнела непонятная издали груда. Рядом топтались несколько мужиков, курили и негромко переговаривались.

– Здравствуй, Сергеич, – вроде бы по-свойски, но в то же время уважительно протянул руку фермер Батаев. Это был мужчина средних лет с бледным лицом, по виду язвенник.– Ерунда какая-то вышла, Сергеич. Думал пристрелить мишку по снегу, а видишь, опередили. – Батаев просунул ногу в белой кроссовке между прутьями и толкнул темно-коричневую груду, оказавшуюся мертвым медведем.

– Что сейчас с ним делать? Какая в сентябре шкура?.. Больше провозишься.

Плесовских тоже просунул в клетку ботинок с высокой шнуровкой и толкнул колыхнувшуюся массу. Казалось, медведь спит. Крови видно не было, лишь пологий лоб над полуоткрытыми глазами был мокрый, будто по шерсти потекло масло.

Мастерский выстрел.

– Кого-нибудь подозреваете? – как полагается, спросил Плесовских. Медведь принадлежал Батаеву, хотя фермер и держал его не на подворье, а рядом с магазином. Здесь постоянно крутились дети, подкармливали медведя хлебом и дешевыми конфетами.

– Я вообще-то не видел, а вот мужики... – заговорил Батаев. Глаза у него бегали.

Он был совсем непрост, этот человек, знающий, чего хочет от жизни. Раньше Батаев, участковый слышал, заведовал местным отделением зверопромхоза, принимал у хантов пушнину, обеспечивал их боеприпасом и платил зарплату. А когда зверопромхоз прикрыли, не запил, не слонялся без дела, как многие промысловики, а подался в фермеры. Под это дело районная администрация давала хорошие ссуды.

– Так кто стрелял?

– Да вот говорят... Мужики, кто?

– Осколок империи. Он.

Участковый помолчал.

– Будете заявление писать или договоритесь между собой?.. Чего так водкой-то несет? – Плесовских повернулся к мужикам.

Те задвигались и отступили на шаг.

– Мы чего... Это от мишки, он пьяный был.

– Поили, что ли?

– Граммульку. Сам попросил.

Батаевский медведь был чем-то вроде бесплатного цирка в поселке. Кто его приучил к водке, неизвестно, но пил он с большой охотой. Обхватывал обеими лапами поллитровку, сгрызал крышку и, обливаясь, урча и закидывая голову, тянул из горлышка. Захмелев, вел себя, как шебутной мужик – ревел и пробовал раскачать клетку. Плесовских однажды сам видел.

– Ну так что? Решили?

Фермер потер ладонью шею, помялся.

– Тут вот какая ситуация, Сергеич... Медведь, конечно, мой, но подарил его дед Сигильетов. Так что вроде как и его тоже... – Батаев глянул в сторону мужиков. Лицо у него светилось честностью. – А с другой стороны, охоту открыли только на утку и гуся. До районной инспекции дойдет, спросить могут, где, мол, были. На ваших глазах происходило. Не знаю даже...

Плесовских усмехнулся. Хитрован!

– Пошли, – бросил он и зашагал от магазина.

Мебель в избушке Сигильетовых была убогая. Непокрытый стол, две табуретки, железная койка в углу... У порога сидела на корточках старуха и стирала в корыте с мятыми боками.

Плесовских много раз приходилось бывать в домах местных жителей, и каждый раз у него начинало саднить сердце, когда он видел эту бедность. А ханты, казалось, не придавали этому никакого значения.

– Здравствуйте, – поздоровался он. Батаев держался на полшага сзади. Худой высокий старик (он сидел, но рост был виден и так) повернулся и посмотрел на них большими и мутными за стеклами очков глазами. В руках он держал какие-то листки.

– Здравствуйте, – с достоинством отозвался старик и снял очки, к которым вместо дужек была приспособлена резинка. Хохолок седых волос остался торчать на затылке. – Из-за мишки пришли? Я музей разговариваю. Сиди здесь, Антонина.

Антонина, красивая румянолицая хантыйка, устроившаяся перед стариком на табуретке, неуверенно посмотрела на Плесовских и сделала было движение подняться. Участковый успокоил ее:

– Ничего, ничего. Мы подождем.

– Участковый тоже говорит, сиди, – довольный тем, что Плесовских не стал проявлять власть, отозвался старик. – Участковый уважает музей.

Плесовских сдержанно улыбнулся:

– А почему бы не уважать?..

Антонина, директор краеведческого музея, ему нравилась. Мало того, что симпатичная, так еще толковая, недавно окончила институт в Питере. Не так часто это среди здешних жителей случается. Досадно было лишь то, что девушка отчего-то сторонилась его. Хотя своего отношения к ней Плесовских никак не демонстрировал.

– Тогда я покурю во дворе, – торопливо сказал Батаев и с готовностью прошмыгнул бочком за дверь, стараясь не задеть стирающую старуху.

Дед Сигильетов прищелкнул языком и насмешливо развел руками.

– При советской власти тоже плохой люди был. Однако ханта за бутылку работать не заставляли, – проговорил он, явно имея в виду Батаева. – Сейчас можно, сейчас пожалуйста... Здесь я молодой. Тысяча шесть штук белка добыл. Фотографировали, грамота давали, отрез на костюм давали, – он протянул Антонине пожелтевшую вырезку из газеты.

В отличие от большинства поселковых, говорил Сигильетов с сильным акцентом. Чувствовалось, всю жизнь провел в лесу, а русский выучил в детстве, когда жил в интернате, и успел с тех пор его изрядно подзабыть.

– Ты просила, я стойбища привез. Возьми газету музей, пусть музей будет. Кому отдам? Умру скоро. Грамоты тоже бери, много дали.

Антонина осторожно приняла ветхую вырезку, негромким, волнующим Плесовских голосом сказала:

– К верхним людям торопиться не надо. Торум всех в свое время позовет.

– Э, Торум! Я в Торума не верю, нет его.

– Ваши отец и дед верили, почему вы не верите?

Девушка быстро посмотрела на Плесовских. По всему чувствовалось, присутствие участкового сковывает ее. Она вдруг перешла на хантыйский язык, и выражение лица у нее стало таким же, как в избушке Натускиных. Упрямым и замкнутым.

Тогда случилось то, что Плесовских до сих пор понимал плохо. Грамотный человек, пять лет в Ленинграде прожила, а... Бабка Натускина умирала от старости. Она пережила всех своих детей, внуки перебрались в Покачи, и присмотреть за ней было некому. Когда Плесовских вместе со специалистом по соцзащите поселковой администрации (это она подняла тревогу) вошли в избушку, от смрада невозможно было дышать. В тряпье на полу лежала высохшая мумия и слабо постанывала.

«В дом престарелых отправим, – заявила специалист, грудастая громкоголосая женщина. – Хоть помоют и накормят». «Не надо, – сказала Антонина, ее взяли с собой переводчицей. – Я буду за ней ухаживать». – «Она твоя родственница?» – «Нет. Она от русской пищи умрет». Специалист обиделась: «Чем наша пища плохая?.. Ты еще шамана вместо фельдшера позови».

Директор музея упрямо наклонила голову: «Не надо ей мешать. Ханты лучше умирать дома. Так всегда было». – «Ты это серьезно? – округлила глаза специалист по соцзащите. – Сама тоже лечиться не будешь, если прижмет?..» Антонина промолчала. Приводила она кого-нибудь в избушку Натускиной – чем черт не шутит! – камлать над старухой или нет, Плесовских не знает. Но до самой смерти бабки ходила к ней. В дом для престарелых так и не дала отправить.

– Торум! Торум!.. Витька, – возбуждаясь, быстро заговорил по-русски и стал совать в руки Антонины какие-то фотокарточки дед Сигильетов. Он поглядывал на участкового, словно призывал в союзники. – Пьяный был, облас перевернулся, Витька утонул. Нет мой сын!.. Вовка, дочки муж, ноги отморозил, отрезали. Дочка его кормит, пенсию один пропивает, протезы ходить не хочет. Хорошо?.. Тоже возьми, стеклянный ящик положи. Внук четырнадцать лет, костер зимой зажечь не может, мордушку поставить не может, пить водку – может!..

Антонина опять что-то сказала по-хантыйски. Старик досадливо хлопнул себя по коленкам, деланно засмеялся. Чувствовалось, ему, пожилому солидному человеку, не полагается так горячиться в разговоре, особенно с женщиной, но уж очень, видно, за больное задела Антонина.

– Раньше молодые были, меня боялись, председателя боялись, милиция боялись, – с трудом подбирая слова, но все же по-русски отвечал он, поглядывая на Плесовских. Вены на его худой шее вздулись. – Сейчас никого не боятся! Воруют, пьют, баня не ходят. Трахома еще нет, вши есть, туберкулез есть. Это хочешь назад было? Как дед жил и отец жил? Такой Торум надо?..

Спокойствие давалось Антонине нелегко. Ее румяное лицо раскраснелось еще больше, стало пунцовым. Она тоже заговорила по-русски:

– Были туберкулез и трахома, это правда. Но душа у ханты была живая, царь и купцы ее не могли убить. А коммунисты хотели нашу душу уничтожить. Это хуже, чем туберкулез и трахома.

Похоже было, что и она говорит это не столько для того, чтобы возразить деду Сигильетову, сколько для участкового.

– Ты тогда не жила, откуда знаешь?! – вставая с койки, закричал старик. – Почему говоришь?! – И перешел на хантыйский.

Он, видимо, сказал что-то оскорбительное, потому что молчаливая старуха у порога замерла, не вынимая из корыта мокрых рук, а Антонина вскочила с табурета и, мотнув полами городского плаща, стремительно вышла за дверь.

Плесовских чувствовал себя неловко, будто присутствовал при семейной ссоре. Дед Сигильетов достал из кармана мятую пачку «Примы» и закурил. Руки у него прыгали.

Участковый переложил с колена на колено папку из кожзаменителя, кашлянул. Нужно было работать. Однако старик заговорил первым:

– Как ребенок мишка был, маленький сын. Оленя молоко ему на стойбище давал, из соски поил... Витька утонул, Вовка ноги отрезали, внук учиться не хочет, водку любит – нет родных...

Из путаного рассказа можно было понять, что в позапрошлом году кто-то из дальних родственников оставил у старика на стойбище медвежонка. Мать убили в берлоге, а недельного сосунка пожалели. Дед Сигильетов к нему привязался. Пока было можно, держал на стойбище, потом подросший медведь стал пугать оленей. Пришлось привезти в поселок и отдать фермеру – в лес мишка уходить никак не хотел.

– Еду поселок – хорошо, радуюсь! Мишка увижу, поговорю, ласковый мишка, всё понимает... Витька пил, Вовка пьет, внук пьет. Приехал – мишка пьет! Лес жить не хочет, ягода есть не хочет, берлога спать не хочет. Пить – хочет! Зачем такой зверь?..

Досада и горечь в голосе старика были такие, что Плесовских не сразу спросил:

– Так вы его за это застрелили?

– Да! – с изумлением, словно удивлялся, что можно было поступить по-другому, подтвердил старик.

– Ружье зарегистрировано?

– Регистрировано.

– Документ где?

– Стойбище лежит.

Плесовских кивнул на старую, с вытертым ложем тулку на стене:

– Оно? Из него стреляли?

– Да, – простодушно сказал старик.

Плесовских поднялся, снял с гвоздя ружье, переломил пополам. Из стволов резко пахнуло порохом.

– Пока у меня побудет. Документ привезете, верну. Порядок должен быть.

На лице у деда Сигильетова мелькнули обида, но он тут же согласно закивал головой:

– Да, да, порядок! Понимаю!..

Плесовских удовлетворенно кивнул. Со стариками работать легко, у них еще прежняя закваска. Надо так надо. Это молодежь по пустякам лезет в бутылку. Наслушаются телевизора...

Ни во дворе, ни на улице Батаева видно не было. «Жучара, – подумал участковый. – Смылся... Потому, наверно, и язва у него – все думает, как бы выгадать».

Плесовских тоже знал, что на дальних протоках на Батаева рыбачат несколько поселковых ханты. Пушнину сейчас сбыть тяжело, а рыбу в городе продать можно. Денег Батаев хантам не платит, рассчитывается водкой. Тех это, видно, устраивает – с заявлением никто не обращался. Да и есть ли сейчас такая статья, чтобы за это привлекать?.. Другие времена.

А насчет тулки он, Плесовских, правильно сделал. Как бы старик за сородичей не принялся. Пьющих в поселке с избытком. Прошлой весной, во время межсезонья, когда связь с городом была только вертолетом, Плесовских пришлось взять в осаду одну из избушек. Там засел пьяный ханты с ружьем и палил во всех подряд.

«Ты, главное, горячку не пори, – сказал по рации начальник районной милиции, тертый калач, прослуживший на северах добрых два десятка лет. Рация трещала и подвывала. – Не вздумай штурмом брать. Ты следи, чтобы никто ему водку не носил. Протрезвеет, сам сдастся». – «Товарищ полковник, может, группу захвата?.. Застрелит еще кого-нибудь. И к власти неуважение». – «Ага, сейчас я тебе вертолет со спецназом отправлю, – спокойно сострил начальник райотдела. – Ты где служишь? Умей находить с аборигенами общий язык. Привыкли, понимаешь, на Большой земле... В общем, действуй. В смысле, не пори горячку. Само должно устаканиться».

Вышло так, как и говорил полковник. Ханты протрезвел и вышел из избушки безоружный. Покорно молчал, когда Плесовских надевал ему наручники. Так же покорно сидел в вертолете, склонив к коленям взлохмаченную, давно не стриженую голову. Впору было пожалеть его, если бы этим же рейсом не увозили в город двух раненых.

«А может, не мешать деду? Он сейчас на взводе, пусть разберется с алкашами, как считает нужным...», – мелькнула мысль. Плесовских тотчас прогнал ее. Мало того, что криминал, так ведь еще и не поможет.

Работа, что ли, в поселке для хантов появится? Зверопромхоз восстановят? Или водкой в рыбкооповском магазине перестанут торговать?.. Нет, правильно сделал, что забрал тулку. Правильно.

Серенький денек к обеду разгулялся. За рекой горел золотом красивый, как у Левитана, березовый колок. Редкие осины бросались в глаза густым свекольным цветом. Вода с заливных лугов сошла в этом году поздно, и хозяева спешили запастись сеном. По противоположному низкому берегу ползала казавшаяся отсюда маленькой сенокосилка, звук тянувшего ее шестиколесного «муравья» был едва слышен.

«Посуху картошку докопаю», – с удовольствием подумал Плесовских, щурясь на пробивающееся солнце. Подбросив плечом сползающий ремень тулки, он заспешил домой.

Возле краеведческого музея участковый придержал шаг. Здесь стояли вывезенные с заброшенных стойбищ лабазы на высоких столбах с хитроумными – от мышей – вырезами. Рядом просторно расположились летние и зимние хантыйские жилища – приземистые, крытые берестой или плотно обложенные дерном. Чуть в стороне виднелся широкий загон с дымокуром, вокруг которого, участковый знал, олени спасаются летом от гнуса.

Общий тон этих экспонатов под открытым небом был неброским, серым. И, наверно, оттого, что стойбище выглядело забытым, каким-то обездоленным, казалось: время здесь остановилось. А если и двигается, то едва заметно, как сочится густая кедровая смола, наглухо запечатывая и чешуйки коры, и неосторожного муравья, и случайно коснувшегося крылом комара.

Сейчас острота уже не та, а раньше Плесовских чувствовал себя здесь так, словно смотрел по видику фильм про внеземную цивилизацию. Чуждое все и непонятное. Другой мир. Другая, непохожая жизнь.

«Интересно, а какими русские в первый раз хантам показались? – вдруг подумалось ему. – Бородатые, с длинными лицами, круглоглазые... Черти! Точно, черти!..»

Участковый усмехнулся.

Из обшитого вагонкой административного здания музея вышли Антонина и молодые учителя – муж и жена, тоже националы. Как и Антонина, одеты они были в непривычные для поселка длиннополые светлые плащи, но разговаривали по-своему. И совсем не смутились, не перешли на русский, когда увидели участкового. Судя по всему, учителя заходили в музей, чтобы всем вместе отправиться на обед.

Подавленной после разговора с дедом Сигильетовым Антонина не выглядела. Но Плесовских все равно захотелось сказать ей что-нибудь хорошее, ободряющее.

– Вы меня, Антонина Акимовна, в прошлый раз, честно сказать, поразили! Не каждый в наше время согласится ухаживать за беспомощным старым человеком, верно? Да к тому же еще чужим!..

Поравнявшись с молодежью, Плесовских прищурился, заулыбался. Он немного рисовался. И эти слова, и игривый прищур – всё для Антонины. Она ему все-таки нравилась, хотя рассчитывать женатому человеку здесь было явно не на что. Не девушка – кремень.

Учителя и Антонина с интересом посмотрели на него.

– Вы про Дарью Прохоровну?

– Ну да, про Натускину.

Молодежь переглянулась.

– А вы бы своего Бояна в дом для престарелых сдали?

– Бояна? – Плесовских сдвинул фуражку на лоб, комично почесал в затылке. – Если хороший баян, не сдал бы. Сам бы играл!

Девушки засмеялись, парень с редкими жесткими усами снисходительно усмехнулся.

– Вещий Боян, это из «Слова о полку Игореве». Слышали о таком? – Молодое высокомерие к не слишком грамотному менту чувствовалось в его голосе.

– Приходилось.

– Дарья Прохоровна для нашего народа все равно, что для русских Боян или для греков Гомер. Она сказительницей была. Про нее в учебниках написано. Вы хотите, чтобы мы такого человека сдали в богадельню?..

Напористая молодежь. Новое поколение. Национальная интеллигенция, как в газетах пишут. Этим палец в рот не клади.

– А что же вы только о Натускиной позаботились? – заговорил он, понимая, что раздражаться сейчас нельзя. Но уж слишком бесцеремонно вел себя молодой учитель. Да еще в присутствии Антонины.– Почему на алкоголиков не обращаете внимания, не боретесь? Почему не защищаете земляков, когда их внаглую обманывают? Почему насчет работы вашего голоса не слышно?..

Парень пренебрежительно усмехнулся:

– Вы считаете, надо против ветра писать?.. Наш народ всегда пил. И ничего, многие столетия живет и жить будет. И купцы его всегда обманывали. Тоже не смертельно.

– Так ведь спивается же!..

– А это уж позвольте не согласиться. Не сопьется. Компенсаторные возможности у ханты велики. У вас, например, сколько детей?

– Один, – помолчав, ответил Плесовских. Похоже, этот салага брал над ним верх.

– А у нас с женой трое. Хотя мы моложе вас.

«Может, зря мы в их жизнь лезем?! – в сердцах подумал участковый. – Может, пусть живут, как хотят? Пьют, детей морозят, прохиндеи пусть их обманывают!.. Другой мир, свои законы».

– Участковый! – вдруг закричали сзади истошным голосом. – Участковый! Осколок привязался!..

Плесовских обернулся. По улице бежали два или три подростка, за ними, заметно поотстав, Машка Сардакова. Она и кричала. Машка прижимала к груди куртку, под которой было что-то спрятано. Сзади всех ковылял старик Сигильетов и размахивал палкой.

– Отдохнуть по-человечески не дает Осколок сраный! – От запыхавшейся Машки несло водкой. Волосы растрепались, на лице – праведное возмущение. Машка мотнула головой на разбегающихся между потемневшими брусовыми домами подростков, цепкой рукой перехватила бутылку под курткой. – Я их заставляю? Сами приходят!.. Задержи его, участковый, он убить меня хочет. Задержи, виноват будешь!..

От прежнего заискивания не осталось и следа. Наглая опустившаяся бабенка. К тому же малолеток спаивает.

– Завтра зайдешь ко мне. И чтоб трезвая! – жестко приказал Плесовских. Честно говоря, он был рад, что больше не нужно спорить с учителем.

Антонина и молодые учителя отвернулись, всем своим видом показывая, что происходящее их не касается.

– Да ладно тебе!.. – с пьяной фамильярностью Машка попробовала хлопнуть Плесовских по плечу. Она хотела сказать что-то еще, но оглянулась назад и припустила по дороге, громко матерясь.

На деда Сигильетова и в самом деле было страшно смотреть. Застывшее лицо со всклоченными седыми волосами, неистовый взгляд, побелели вцепившиеся в палку пальцы. Он пробовал бежать, но получалось это плохо. В конце концов, дед добрел до участкового и остановился, трудно, со свистом дыша.

– Витька река утонул... – с паузами заговорил он так, словно искал защиты. – Вовка пьянка ноги отморозил... Внук оленя боится, умрет один лесу... Скажи, почему так?

Голос у старика делался все тише, плечи опускались, пальцы, сжимающие палку, слабели. Этот когда-то неукротимый человек уже не возмущался и не требовал, а только бессильно и горько недоумевал.

Он вдруг перешел на хантыйский. Плесовских ничего не понимал, лишь снова и снова отмечал знакомое «Витька», «Вовка».

И столько отчаяния и боли было в голосе старика, что Плесовских только смотрел на него и молчал.

2003

ДОМОВОЙ

Рассказ бывшего горожанина

– Ходит... – шепчет Света.

– Что?

– Ходит, говорю... – жена кивает на потолок, и я чувствую, как напряженно замирает рядом ее тело.

– Тебе показалось. – Мне хочется, чтобы мой голос прозвучал как можно небрежней. – Это ветки по крыше стучат, ветер вон какой.

Света не отвечает. Она все так же напряжена, несколько секунд еще вслушивается, потом, быстро вскочив с постели, торопливо убирает в телевизоре звук.

Теперь и я слышу что-то вроде шагов на чердаке. Ветки черемухи, которая растет возле нашей избушки, так стучать не могут. Но мне надо успокоить жену, и я зеваю, буднично говорю:

– Завтра спилю, ложись.

Света какое-то время еще прислушивается к шагам наверху. Они быстрые, кажется, кто-то невысоконький, суетливый ходит по чердаку из угла в угол, на минуту остановится, будто задумавшись, потом опять принимается торопливо топотать.

– Ложись, ложись, все нормально. Сама подумай, кто здесь может быть?

Света вздыхает, идет за фанерную перегородку, и я слышу, как она поправляет на Танюшке одеяло. Сонное дыхание дочери, исходящий от нее покой, видимо, приглушают Светины страхи. Тем более что топотание вверху замолкает.

– Странно все это, – роняет жена и, выключив наш старенький черно-белый телевизор, ложится в постель.

Я знаю, о чем она сейчас начнет говорить – это уже не в первый раз, – и потому засовываю руку ей под голову, придвигаю ближе к себе.

– Ладно, спи. Завтра ветки спилю, и все прекратится.

– Странный дом. Странная деревня... – сонно бормочет жена. Через минуту она уже посапывает.

Мне не спится. Я осторожно высвобождаю руку из-под ее головы и, стараясь не шуметь, поднимаюсь, иду на кухоньку. Открываю заслонку и курю в открытую дверцу печки. Тихо, только слышно, как стучит будильник и возятся в подвале мыши. Я представляю темный, глухой простор вокруг нашего домика, его непостижимую древность и безразличие ко всему живому – и мои плечи ознобно вздрагивают.

В деревне наша семья недавно. Хотя о том, чтобы уехать из города, мы с женой поговаривали несколько лет. Поначалу это было нечто необязательно-мечтательное – хорошо бы, мол, избушку в деревне купить, и чтобы небольшой огород рядом, тепличка... Потом, в конце восьмидесятых, когда приходилось рыскать по магазинам в поисках хоть каких-то продуктов, наше желание оформилось отчетливей.

В самом деле, можно ли так зависеть от цивилизации, как городской человек? В деревне посадил огород – и осенью с картошкой, капустой и многим другим. Принес из колодца воды – и нет тебе дела до того, работает или не работает водопровод. Заготовил на зиму дров – и в доме тепло. Ты почти не зависишь от других людей, от того, что власть устроила со страной.

Окончательным толчком стал постперестроечный бардак. На ту зарплату, которую мы со Светой с задержками получали, едва удавалось сводить

концы с концами. Танюшка как-то сказала, не по-детски вздохнув: «Мы в этом году даже яблок не ели». Так что долго думать не пришлось, когда появилась возможность уехать на Север – там (вернее, здесь) Свете обещали место бухгалтера в деревенской администрации. Со временем надеялся найти работу и я. Собрались и переехали мы быстро, будто спасались от стихийного бедствия.

Новичков везде принято дурачить. Я не удивлюсь, если сегодняшние шаги на чердаке тоже из этой серии. Не могу без улыбки вспоминать смятение, в которое приводило моих дам таинственное постукивание в окно. Началось это в августе, когда мы только что приехали и вселились в пустующую избушку. По вечерам неожиданно раздавалось: тук-тук... Пауза, и опять: тук-тук... Я откидывал занавеску, всматривался в темноту, но никого не видел, естественно. Тогда выходил во двор, но и там никого не было. В конце концов, оказалось, что это «постукалочки». В угол окна пацаны подвешивали на нитке маленькую картофелину, а с другим концом нитки прятались где-нибудь в бурьянах за оградой. Время от времени они дергали за нитку, и картофелина постукивала в стекло. Так здешние мальчишки заявляли о своем интересе к нашей дочери, новой в деревне девочке. Всего лишь.

Были и еще случаи. Они поначалу тоже казались таинственными, но затем им находилось объяснение...

Спать! Я тушу сигарету, закрываю печную заслонку. Завтра утром поднимусь на чердак и все выясню. Наверняка и на этот раз обойдется без мистики.

События следующего дня заставляют меня чесать в затылке. На чердаке я не обнаружил никаких следов. Да и откуда, собственно, им взяться? Если бы наш домик находился в городе, можно было бы предположить, что это бомжи забираются на чердак ночевать – поближе к теплому дымоходу. И неосторожно при этом топают. Но в деревне бомжей нет. Тогда откуда все же шаги? Вчера я их слышал отчетливо.

Я еще раз внимательно осматриваю полутемный чердак. Обмазанный глиной внушительный дымоход, уходящий вверх, к крыше, какие-то потрескавшиеся старые туфли с задранными носками и полуистлевшее тряпье в углах, брошенное прежними хозяевами избушки... На всем – мохнатый слой пыли...

На мгновение мне становится не по себе. Меня вдруг охватывает чувство, которое я испытал вчера возле печки, когда представил бесконечный темный простор вокруг нашего жилища. Ощущение чего-то чужеродного и не очень дружелюбного.

Начинает казаться, что у чердака существует своя жизнь, потаенная и непонятная мне, приезжему человеку. Чувство это мимолетное, но острое, и я с облегчением вздыхаю, спустившись по лестнице вниз.

– Ну как? – слышу из-за ограды. – Разобрался?

Это Света. Румяная, разогревшаяся от ходьбы, она стоит у калитки. Неужели уже двенадцать часов, начало обеда в администрации?.. Мне казалось, что пробыл я на чердаке минут десять – пятнадцать, не больше.

– Ветки по крыше стучали, что еще, – говорю я и смотрю на жену правдивыми глазами. – Сейчас возьму ножовку и спилю.

Света укоризненно качает головой.

– Что ты лапшу мне вешаешь? Ты ветки еще осенью спилил, когда бури начались!.. Пошли в дом, – и уверенным хозяйским шагом она направляется впереди меня.

Я еще под впечатлением пережитого на чердаке, но, тем не менее, усмехаюсь про себя. Никак не могу привыкнуть к тому, как Света за последнее время изменилась. В нашей семье она всегда была на вторых ролях, однако здесь, в деревне, стала другой. У нас с ней все хорошо, мы по-прежнему всерьез не ругаемся, но я с удивлением смотрю, как хватко она управляется с печкой, как моет полы, шлепая босыми ногами по мокрым доскам и высоко подоткнув халат, как может до пота гонять чаи, обмахиваясь ладонью...

Она вошла в деревенскую жизнь так легко, будто выросла здесь. Все-таки, видимо, сказываются гены бабушек, они у Светы обе деревенские. И зря, выходит, я боялся, когда мы ехали сюда, – ведь не всякая городская женщина способна осилить здешний быт.

– Это он, – говорит Света уже в доме, устраивая на плечики свое недавнее приобретение, модную в деревне собачью шубу.

– То есть?

– Он, – повторяет жена и что-то шепчет, преувеличенно артикулируя губами.

– Домовой? – догадываюсь я.

– Тс-с! – Света предостерегающе поднимает палец. – Нельзя вслух говорить, так женщины на работе сказали!.. Ты не смейся, я серьезно.

– Голимая правда, – подначиваю я, специально употребляя местное словечко.

Жена словно этого и ждала. Она принимается напористо допытываться:

– А как ты объяснишь, что по чердаку кто-то ходит? А почему у меня кастрюли с полки падают постоянно? Почему счетчик шуршит, когда все в доме выключено?..

– Ты еще вспомни, как шест с антенной скрипел.

– Ну и что? – не сдается жена. – Может, это он шест качал, а не ветер!..

С телеантенной тоже была история. Когда выпал первый снег и подули северные ветры, моим дамам стало казаться, что вокруг нашей избушки кто-то упорно ходит – настолько отчетливо раздавался скрип снега. Больше всего Свету пугало, что утром никаких следов нельзя было увидеть. В итоге выяснилось, что это терся о стену дома и скрипел шест с антенной, раскачиваясь от ветра.

– Женщины на работе говорят, его надо задобрить. Мы ведь, как въехали, ничем его не угостили. Он недоволен.

– Ты сто граммов поднеси, здесь это любят, – посмеиваюсь я. Света машет рукой:

– Ну тебя! С антенной ладно, а почему счетчик шуршит?.. Ага!

С электросчетчиком у нас действительно происходят странные вещи. Ни с того ни с сего он вдруг начинает тихо пощелкивать, журчать, словно заводит одному ему понятную песенку. И это при всех выключенных лампочках. Сначала я думал, что счетчик неисправен и позвал здешнего электрика. Оказалось, все нормально. Света считает, что это домовой со счетчиком играет. Логика у нее железная: раз объяснить не могу, значит – домовой.

– Делай что хочешь, – в свою очередь машу рукой я. – Ублажай своего домового. Только пообедать не забудь, полчаса до конца перерыва осталось.

Вечером Света непривычно долго возится на кухоньке. Ложась в постель, она говорит:

– Ночью не ходи курить, ладно? Ты его спугнешь. – В ее голосе слышится странная умиротворенность.

– Кого? – не сразу понимаю я. – Домового, что ли?

– Смейся, смейся, – Света устраивается поудобней, она уже вся в предвкушении «Санта-Барбары», очередная порция которой вот-вот начнется по телевизору. – А ты обратил внимание, что сегодня никто по чердаку не ходит?..

– Когда все выяснится, ты сама будешь смеяться.

Жена не считает нужным отвечать, таинственная улыбка бродит по ее лицу. Мне интересно знать, что она придумала, но засыпаю я на этот раз быстро, раньше, чем заканчивается «Санта-Барбара». И лишь утром, собирая Танюшку в школу, обнаруживаю на кухоньке ломоть хлеба и чашку, полную молока.

– Это для кого? – спрашивает дочь.

– У мамы спроси.

– Я знаю! – вдруг радостно шепчет Танюшка и делает большие глаза. – Это мама его угощала!..

В се словах столько интереса и веры, что я невольно хмурюсь. Похоже, игра зашла слишком далеко. А Танюшка огорченно добавляет, внимательно осмотрев чашку с молоком и хлеб:

– Не стал есть. Опять будет хулиганить!..

На следующую ночь мы просыпаемся от грохота. На кухне упала с полки кастрюля. На мое ворчание, надо, мол, хорошо ставить посуду, Света и прибежавшая из-за своей перегородки в ночной рубашке Танюшка не реагируют. Они только понимающе переглядываются. А через день у нас дома

появляется котенок с непомерно большими ушами, которого дочь выпросила у кого-то из одноклассников.

– Кошки с домовыми дружат, – авторитетно поясняет она. – Домовые от этого добрее становятся.

– Ну-ну, – хмыкаю я. Однако уверенности во мне поубавилось. Счетчик у нас по-прежнему шуршит даже при выключенных электроприборах, и раза два в неделю обязательно слышны шаги на чердаке.

Зимние вечера в здешних местах удивительны. В полнеба полыхает закат, черные ели пестры от лежащего на ветвях снега, занесенные по окна избы будто присели, прячутся в сугробах...

От всего вокруг веет покоем и древностью. Так было, наверно, и сто, и тысячу лет назад. Этот неохватный закат, тонущая в снегах деревня, неспешная, скучноватая, но все же до конца непостижимая жизнь за стенами домов...

От города у нас осталась привычка гулять по вечерам. Если, конечно, не вьюжит и мороз позволяет. На этот раз Танюшка взяла с собой котенка. Она его закутала в старое махровое полотенце, время от времени заботливо склоняет к нему голову и спрашивает, не замерз ли он. Котенок испуганно смотрит на снег, на свернувшихся клубком у калиток больших лохматых псов, и глаза у него величиной с блюдце.

– Какой домовой с таким трусом подружится! – фыркает Света. Танюшка принимается защищать котенка. Разговор у них возвращается к любимой теме. Мне мои дамы надоели со своим домовым до чертиков, но ничего сказать я не могу. Сразу начинаются ехидные вопросы, как я объясню то-то и то-то. И главное, почему ничего не делаю, чтобы это прекратилось. Но что можно сделать, если сам не можешь ничего понять?..

– Все! Хватит, – вдруг говорит Света и решительно останавливается посреди деревенской улицы с высокими голубыми сугробами по обочинам. – Идем домой. Я с ним сама поговорю.

– С домовым, мам? – голос у Танюшки замирает от ужаса и восторга.

– С домовым. Только чтобы не мешали. Слышишь, папа?

Я пожимаю плечами. Положение у меня дурацкое. Относиться к этому всерьез не позволяет здравый смысл, а возразить нечего.

– Идите, я сейчас, – говорю уже у нашей избушки. Нахожу себе работу: беру лопату и принимаюсь отбрасывать снег от калитки.

Дома я появляюсь через полчаса. Топаю, отряхиваю с валенок снег, растираю прихваченные морозом уши.

– Тихо! – еще в тамбуре встречает меня дочь и ведет за руку в комнату, усаживает на диван. – Посиди здесь.

Я слышу Светин голос на кухне, но что она говорит – понять невозможно. Угадывается лишь тон, интонация. Жена то напевает, то ее голос вдруг переходит на шепот и его почти не слышно, то она произносит

что-то повелительное, властное, то опять появляются уговаривающие нотки...

Слышать все это странно, даже дико, но я молчу. Что-то древнее, непостижимое начинает чудиться в голосе жены – почти такое же, как этот простор вокруг избушки, как сокровенный свет зимней зари, как затаенная жизнь забытой в снегах деревни.

– Поговорила, – Света наконец появляется в комнате. Она такая же, как обычно, может – чуть бледнее. «Пошаманила?» – так и подмывает меня спросить, но я сдерживаюсь, понимаю, насколько это сейчас неуместно.

– Чаю хочешь?

– Хочу, – говорит жена и тяжело опускается рядом. – Устала... Покрепче сделай.

Интересней всего то, что с тех пор непонятные события в нашем доме прекратились. Не падает больше посуда с полок, никто не ходит по чердаку, и даже счетчик перестал напевать свои странные песенки.

Иногда я ловлю себя на том, что пристально смотрю на Свету.

Самый, казалось бы, близкий человек, знакомый во всех подробностях, до мельчайших складочек на теле...

– Ты что так смотришь? – перехватывает мой взгляд жена.

– Ничего. Тебе показалось, – я быстро отвожу глаза.

И чувствую, как ознобный холодок пробегает между лопатками.

ЛЮБИТЕ ИСКУССТВО, ГОСПОДА!

«… Ввиду того, что Вы, Ваша Светлость, принадлежа к числу вельмож, столь склонных поощрять изящные искусства, оказываете радушный и почетный прием всякого рода книгам, наипаче же таким, которые по своему благородству не унижаются до своекорыстного угождения черни, положил я выдать в свет Хитроумного идальго Дон Кихота Ламанчского под защитой достославного имени Вашей Светлости и ныне с той почтительностью, какую внушает мне Ваше величие, молю Вас принять его под милостивое свое покровительство…»

И так далее – еще с десяток строк изысканно-велеречивого текста.

Господи, думалось мне в молодости, зачем самоуничижался Сервантес перед каким-то вельможей?! Он, великий писатель, – и так прогибался перед надутым грандом в гофрированном воротнике и широкополой шляпе с перьями! Где, в конце концов, его испанская гордость?!

Став постарше, я с грустью понял, что художнику – писателю ли, живописцу, актеру – приходится искать покровительства у сильных мира сего. Ведь что такое наше искусство? Эфемерность. Настоящая власть в руках других. Людям искусства приходится угождать им, чтобы заработать на ку-

сок хлеба. Какие уж тут достоинство и гордость. В большинстве случаев они только поза.

В последнее время мне все чаще думается о другом. Кто знал бы сейчас, спустя столетия, об этом герцоге Бехарском, маркизе Хибралеонском, графе Беналькасарском и прочая, прочая, если бы не Сервантес? Посвящение ему «Дон Кихота» вырвало имя испанского гранда из забвения, в которое канули и более известные в свое время имена.

Любите, любите искусство, господа!..

КЛЫКИ ВЫРАСТАЮТ РАНЬШЕ...

Целиком выражение звучит так: клыки вырастают раньше, чем зубы мудрости. К сожалению. И даже несчастью. Каждый раз вспоминаю его, когда слышу ерничание какого-нибудь полуграмотного мальчика или девочки, оценивающих прошлое и его знаковые фигуры. Человек поживший не позволил бы себе говорить подобное по телевидению или в газете. Эти позволяют.

Им еще невдомек, что их используют. Молодое, по сути своей животное желание ниспровергать, отвоевывая место под солнцем, циничные умные дяди берут на вооружение, направляя на то, что этим дядям мешает. Так было во время Гражданской войны с ее жестокими юными комиссарами, потом – в коллективизацию, когда пионеры писали доносы на отцов, а комсомольцы с остервенением раскулачивали. А оголтелые хунвейбины в Китае? Их руками власть расправилась с интеллигенцией, наследницей великой культуры.

Пройдет время, у вчерашних мальчиков и девочек прорежутся зубы мудрости. Многие из них поймут, что были неправы. Особенно тогда, когда на них самих власть натравит новых молодых, глупых и клыкастых.

ТЕРПЕНИЕ БУКСИРОВ

С нашего огорода Вах как на ладони. Конец июня, но вода в реке еще прибывает, все ниже становится кромка противоположного берега. Заливные луга на той стороне вполне соответствуют своему названию – покрыты мелкой водой.

Но не на это обращаешь внимание прежде всего. Суда на реке – вот предмет интереса. Ловишь себя на мысли, что за зимние месяцы соскучился по их виду.

Большие, с двухэтажной рубкой теплоходы, толкающие перед собой тяжело груженные баржи со щебнем – кажется, вода вот-вот захлестнет

низко сидящие борта. Теплоходы поменьше, гонящие вверх по течению одну, а то и две аппарельки, прилепившиеся к их бокам. Какой-нибудь чумазый буксир, натужно тянущий на длинном тросе посудину с жилым вагончиком и видавшим виды бульдозером… Заказчикам не до шика, фрахтуют любые суда, лишь бы успеть по большой воде доставить на место грузы.

Смотришь, как появляется из-за поворота реки такой буксир, как томительно медленно, по-черепашьи двигается в твою сторону. Ты уже половину грядки успел прополоть, а буксир все еще на подходе, никак не одолеет эти несколько сотен метров.

Невольно думаешь: а ведь впереди у него сотни не метров, а километров! Какое надо иметь терпение, чтобы одолеть этот путь, его выматывающее душу медлительность и однообразие!..

Не так ли и наша жизнь? Достигает цели тот, кто последователен и упорен. Кто способен преодолеть тоску и медлительность бытия.

Терпеливые буксиры на реке – метафора жизни.

С УТРА ДО ВЕЧЕРА

Рассказ

Часы показывали начало седьмого, а окна уже обозначились. От их синевато-молочного света все в доме было видно. Это в ноябре-то месяце.

Вера Тимофеевна поднялась с постели, но, еще не дойдя до окна, поняла, что просто выпал снег, оттого и светло. И правда, огород был весь белый, по веткам яблони сверху будто кто провел известкой… Вот и зима.

Можно было бы еще с полчаса полежать, но Вера Тимофеевна знала – больше не заснет, а что без толку валяться. Она накинула поверх ночной рубашки старый истончившийся халат из байки и вышла в приделок. За занавеской всхрапнула свекровь.

Раньше шести в школе появляться не стоило – баба Поля, сторожиха, не любила, когда ее рано будили, – и Вера Тимофеевна зажгла обе конфорки, на одну поставила чайник, а на другую большую закопченную кастрюлю с картошкой для кабана.

По ногам тянуло. Она включила в кладовке свет, достала валенки. Валенки были старые, растоптанные, но для дома сойдет. Вера Тимофеевна с удовольствием сунула в них ноги.

Стало уютно, и даже показалось, что сломанная нога не так ноет. Вот, оказывается, почему ныла – к снегу…

Вера Тимофеевна попила чаю, убавила огонь под закипевшей картошкой и оделась.

Воздух на дворе был легкий, чистый и пахнул только что разрезанным арбузом. Вера Тимофеевна вышла из калитки и переулками направилась к

школе, оставляя четкие следы на нетронутом снегу. Снег она про себя пожалела – первый, растает. И сразу же обеспокоилась: опять крыша потечет. Неделю перед этим стояла сухая холодная погода, и Вера Тимофеевна хоть вздохнула свободней – всю осень только и знает, что новые банки на чердаке расставлять, и вот опять… Надо дранку менять, совсем сгнила. Как избу поставили, так с тех пор не меняли.

Проходя мимо единственного в поселке пятиэтажного дома, она по привычке посмотрела на окна квартиры на четвертом этаже, где жила дочь с семьей. Окна были темные, значит, еще спят. Да и куда им торопиться, зятю на работу к восьми, а дочь может хоть весь день проваляться – с начала месяца в декрете. Мишку бы накормить не забыли…

От мысли о внуке тревожно сжалось сердце. Вот уберется в школе и заглянет к ним.

Сторожиха баба Поля, прежде чем открыть дверь, приложила из освещенного коридора к стеклу ладонь, всмотрелась, кто это стучит.

– Да я, баба Поля, я!

Сторожиха щелкнула замком и впустила.

– Я… Вчера двое каких-то всю ночь вокруг околачивались. Говорила военруку, выброс ты эти свои ружья, а то еще порешат. Вон что вокруг творится-то…

Баба Поля – мрачноватая старуха с бородавкой на переносице, зимой и летом смуглая, похожая на цыганку. Чем-то она Вере Тимофеевне напоминала свекровь, хотя схожего между ними вроде было мало. Сторожиху побаивались не только ученики, но и молоденькие учительницы, присланные недавно после училища.

Сегодня баба Поля, кажется, была в хорошем настроении. Выспалась, наверно. Она закрыла за Верой Тимофеевной дверь на ключ, торопливо зашаркала следом и, догнав, ухватила за рукав.

– Пошли, чай у меня… Хороший, со слоном.

Обижать старуху не хотелось, и Вера Тимофеевна прошла за ней в каморку возле раздевалки, где обычно баба Поля коротала ночные часы. Воздух здесь был тяжелый, на тумбочке, что рядом с продавленным диваном, стояла пачка индийского чая с нарисованным синим слоном, на котором сидел бородатый человек в чалме и белых штанах. Сторожиха достала из тумбочки стаканы, целлофановый пакет с сахаром, принялась разливать заварку из маленького чайничка. А сама все нетерпеливо поглядывала на Веру Тимофеевну, собираясь, видимо, что-то спросить.

– Выдохлася заварка, с вечера-то хорошая была. Ничо, сейчас чайник закипит… Так ты говоришь, мать народила тебя в рубашке? Счастливая, значит, должна быть?

– Да вроде не жалуюсь, – сказала Вера Тимофеевна, удивляясь таким разговорам. С чего бы вдруг? – У меня не хуже, чем у людей.

– Ну да, счастливая! Сколько тебе годов-то? – вроде как бы обрадовалась баба Поля.

– Сорок шестой.

– Вот, молодая. А мужика нет. Такой смертью помер – хуже нельзя. Счастливая!..

Вера Тимофеевна ничего на это не сказала. Несколько секунд посидела с неподвижным лицом. Потом молча поднялась и пошла к чулану возле туалетов, где хранились веники и ведро со шваброй.

Сторожиха ее не удерживала, будто и не сама только что зазывала на чай. Было во всем ее виде что-то нехорошее, злорадное.

Муж у Веры Тимофеевны в самом деле умер рано. Тяжело умер. Точнее, погиб. Случилось это почти четыре года назад, когда дочь лежала в роддоме. Мотоцикл, на котором Вера Тимофеевна ехала с мужем посмотреть только что родившегося внука, сбил встречный грузовик. Шофер, сразу протрезвев, выскочил из машины, увидел ничком лежащую женщину в кювете и пытающегося приподняться мужчину на обочине, быстро оглянулся – дорога была пустынна – и решил, что свидетелей ему не надо. Развернул грузовик и направил на мужа Веры Тимофеевны. Проехал по нему передними колесами, а потом и сдвоенными задними. И еще раз…

Его так и не нашли, этого зверя. В милиции сначала взялись вроде горячо, а потом все как-то само собой сошло на нет. Капитан, который вел дело, под конец так и сказал Вере Тимофеевне: «Что вы все ходите? Не воскрешу я вам мужа, понимаете? Или вам надо кого-нибудь посадить обязательно?» Что тут скажешь. Соседи говорили, следователю или взятку сунули, или он просто лодырь, и советовали так это не оставлять. Вера Тимофеевна подумала-подумала. Мужа и в самом деле не воскресишь. Так дело и закрыли, все ничем кончилось.

Но это потом. А сначала о смерти мужа ей долго не говорили. Она пришла в себя в больнице только на вторые сутки, у нее была разбита голова, и нога оказалась сломанной. После двух операций дело понемногу пошло на поправку, но родные, навещая Веру Тимофеевну, говорили, что муж куда легче ее – его, мол, даже в больницу отдавать не пришлось, дома отлежится. Все знали, жили они с мужем хорошо.

Только перед выпиской врач посоветовала подготовить Веру Тимофеевну. В майской теплый день пришла дочь и, глядя испуганными глазами, сказала, что отца нет, умер. Вера Тимофеевна не поверила, рассердилась, но дочь, положив ей на койку спеленатого Мишку, достала из сумки похоронные фотографии. Вера Тимофеевна посмотрела на них и тихо заплакала.

Так и осталось в ее памяти: солнечный день после долгого ненастья, в открытое окно палаты заглядывают зеленые ветки сирени – и эта весть, принесенная дочерью…

Сначала Вера Тимофеевна убрала коридоры. Прошлась веником, а потом налила воды в ведро, бросила туда соды и хорошо протерла линолеум

шваброй. Она открыла фрамуги, и свежий, пахнущий снегом воздух хлынул в помещение.

Классы убирать не надо было, это делали после уроков ученики. Вера Тимофеевна перешла в спортзал. Здесь она включила полный свет и тоже сначала подмела, а потом стала мыть дощатый крашеный пол. Доски от ребячьей беготни местами облупились, и мыть было не так легко, как в коридорах, но Вера Тимофеевна любила работать в спортзале. Простора здесь, что ли, было больше, света.

За работой понемногу сгладилась обида – недобрая все-таки она старуха, баба Поля, – и Вера Тимофеевна уже спокойно думала о муже, детях, о себе.

Конечно, ждешь от жизни только хорошего, думаешь, что ты какая-то особенная – недаром в рубашке родилась, мать-покойница не раз об этом рассказывала, – а жизнь по-всякому поворачивается. Но если разобраться, то и несчастной себя назвать нельзя. Правда, с мужем такое случилось и дочь не очень радует, зато о Боре, сыне, никто плохого не скажет. Серьезный, самостоятельный парень. Недавно командир части, где Боря служит, прислал письмо – благодарит, что вырастила такого сына… Да и самой ей здорово повезло, могла ведь и вовсе не родиться, не жить. Мать ее в девушках родила – обманул соседский парень, обещал жениться, а сам уехал из их мест, пропал с концами. Мать сколько раз подбивали сделать аборт, а она не захотела. Счастье? Конечно, счастье.

А что отчим ей достался добрый, любил как родную, разве не счастье? Вера Тимофеевна до сих пор без комка в горле не может вспоминать, как он пошил ей красивые ботинки ко дню рождения – отчим немного сапожничал – и поставил на табурете возле топчана, где она спала. Это ей-то, которую ребятишки в деревне дразнили нагулянной, не принимали с собой играть. Она тогда вскочила с топчана и, забыв о своей робости, прижалась к его ноге, а отчим гладил ее голову большой своей ладонью…

Что ни говори, было у нее в жизни хорошее. И сейчас один только внук сколько радости приносит.

За такими мыслями Вера Тимофеевна не заметила, как убрала спортзал. Осталось протереть пыль, которой здесь всегда собиралось много – ребята на физкультуре бегают, в футбол играют. Вера Тимофеевна пошла, сменила воду, тщательно прополоскала тряпку.

Возвращаясь в спортзал, она заглянула в каморку возле раздевалки. Баба Поля все еще пила чай, лицо у нее было сердитое, будто пить чай заставляли ее против воли. Вера Тимофеевна только головой качнула.

– Ты свет-то экономь, нечего во всю ивановскую! Сама знаешь, сколько теперь платить приходится, – бросила вслед баба Поля. Видно, все же заметила ее.

Вера Тимофеевна протерла пыль в спортзале, потом еще вымыла туалеты и в начале девятого вышла из школы. Во дворе уже собирались ребятиш-

ки, но в помещение их баба Поля не пускала, отгоняла от двери – ждала, когда придут учителя.

На улице развиднелось. Но свет еще желто горел в домах и на столбах вдоль центральной улицы поселка, по-старому еще именовавшейся Ленинской. Воздух был мутноватый и влажный, по всему чувствовалось, снегу лежать недолго.

Поглядывая по сторонам и здороваясь с нечастыми встречными, Вера Тимофеевна направилась к пятиэтажному дому, где жила дочь. Тропинки были уже протоптаны, а возле школы ребятишки успели их даже накатать.

Дверь открыла дочь.

– Это ты… – Она неуклюже, громоздко повернулась, прошла в комнату, тяжело опустилась на неубранную постель перед работающим телевизором, откуда, видимо, только что поднялась.

Вера Тимофеевна разделась и заглянула на кухню. Так и есть! На столе грязные тарелки, пустая бутылка из-под водки, куски черствого хлеба валяются. Мишка, внук, стоял у окна на стуле, смотрел на улицу и ел один из кусков, зажав его в кулаке.

– Баба! – радостно закричал он, увидев Веру Тимофеевну. Торопливо слез со стула и бросился к ней, не выпуская из руки хлеб. Майка на нем выбилась, колготки были с дырой на коленке.

– Валя, вы ели? – Вера Тимофеевна взяла внука на руки.

– Не хочется что-то, – не поворачивая головы от телевизора, вяло ответила дочь. – Мам, у нас двойняшки в роду были?

Вера Тимофеевна хотела сказать, что о двойне в их роду она не слышала, а вот в рубашке родятся, но вспомнила бабу Полю и промолчала. Она взяла на кухне за горлышко пустую бутылку и спросила, показывая ее дочери:

– Опять?

Та скучно взглянула на бутылку.

– Не я это – Толька… Мам, я двойню рожу, наверно. Не хочется…

Вера Тимофеевна с сомнением смотрела на дочь. Она не верила, что Валя не пила. Еще когда молодые не получили квартиру и жили у нее, она не раз замечала: дочь выпивает наравне с зятем.

Зять Анатолий работал в совхозе на «Беларуси», частенько калымил – кому что подвезет, кому огород вспашет, бензин продаст, – деньги у него и кроме зарплаты водились. Чуть ли не каждый вечер молодые у себя в комнате за перегородкой выпивали. А ночью спали так, что не добудишься. Однажды Мишка полчаса надрывался, а они не слышат. Вера Тимофеевна не выдержала, поднялась, на костылях – нога еще была в гипсе – добралась до их комнаты, а вот как ребенка к себе перенести? Молодых будить не захотела – они, раскидавшись, были в таком виде, что самой смотреть неудобно, и их в краску вгонишь. Кое-как взяла Мишку на одну руку, ухватилась зубами за пеленку для надежности и поковыляла к себе. А когда

опустила внука на постель – заплакала. А если бы уронила по дороге или сама на него упала?..

– Валь, нельзя тебе. На ребенке скажется, – укорила Вера Тимофеевна. – Каким родится?.. И сама, гляди, во что превратилась. Мишка вон некормленый, сухой хлеб ест. И дорогая теперь водка, лучше бы колбасы купила.

– Колбаса, что ли, дешевле? – вяло огрызнулась дочь. В глаза она не смотрела. Ее отекшее, в пигментных пятнах лицо было безразличным, нечесаные волосы падали на лоб.

Вера Тимофеевна вздохнула. И не сказать нельзя, и отчитывать совестно – взрослая женщина. Да и нелегко ей сейчас. Вера Тимофеевна по себе знала, как даются последние недели беременности.

– Вот что, собери-ка грязное белье, постираю, – сказала она. – Только быстро, у меня картошка на газе стоит.

Черноглазый, в деда, Мишка понял, что бабушка собирается уходить, и плаксиво затянул:

– Ба-а-ба, я в гости хочу-у…

– Ладно уж, пойдем, – сказала Вера Тимофеевна. Она не могла смотреть на внука без затаенно счастливой улыбки. Сама принялась его одевать в коридорчике, где висела Мишкина одежда.

Белья набралось много, большой узел. Вера Тимофеевна приняла его у дочери, придавив коленом, покрепче затянула.

– Мам…

Вера Тимофеевна подняла глаза. Валя смотрела на нее и ничего не говорила.

– Ну?

Дочь помялась.

– Пусть Мишка поживет у тебя. Хоть до весны…

Вера Тимофеевна ничего на это не сказала. Надела на внука пальто, подпоясала ремешком и, уже открыв дверь, в сердцах бросила:

– Это чтобы вам никто пить не мешал? Так, что ли?

Дочь смотрела на нее и молчала. Вздернутый на большом животе халат открывал отекшие ноги с голубыми венами.

Придерживая внука за ворот пальто одной рукой, а второй ухватив узел с бельем, Вера Тимофеевна медленно спускалась по лестнице. Разве она против, чтобы Мишка пожил у нее, если бы все было нормально? Сейчас у дочери хоть какая-то забота и ответственность, а если она заберет внука, та за холодную воду не возьмется. И так в квартире грязи по колено, халат постирать не может – весь в пятнах на животе. Беззаботная, вся в свою бабушку, свекровь Веры Тимофеевны. Той тоже хоть трава не расти. А водка! Другая удерживала бы мужа, а эта готова наравне пить. Беременная-то!

В переулке, заметив накатанную дорожку, внук вырвал у Веры Тимофеевны ладошку и бросился вперед. Ему еще не было четырех лет, но бежал

он уверенно, быстро, а когда покатился по глянцево отсвечивающей дорожке, ноги в меховых сапожках расставил твердо и ловко. Мужичок…

У Веры Тимофеевны дрогнуло сердце от нежности. И ухватками своими, и черными глазами внук напоминал ей мужа. Его и Мишей в честь деда назвали…

Свекрови дома не оказалось. Хорошо еще, газ под картошкой догадалась выключить. Не раздеваясь, Вера Тимофеевна принялась мять картошку, в теплое месиво добавила отрубей и, вдыхая сытный пресный запах, понесла кастрюлю в сарайчик – кабан, утратив всякую солидность, голосил так, что было слышно за несколько домов.

– Сейчас, сейчас… – Вера Тимофеевна поставила кастрюлю на снег, открыла висячий замок и, перегибаясь через загородку, вывалила из кастрюли в таз.

Кабан, удовлетворенно, низким басом похрюкивая, ткнулся в еду. Стоять ему было уже тяжело, и он опустился на задние ноги, пробовал есть сидя. Вера Тимофеевна похлопала его по налитому твердому загривку, поросшему белесой жесткой щетиной, потормошила. Кабан даже не шелохнулся. Килограммов под сто пятьдесят весит. К Новому году можно будет колоть.

Потом Вера Тимофеевна затопила печь, накормила Мишку и поставила греть воду, чтобы замочить белье. Беспокоила крыша. Вера Тимофеевна приставила лестницу и поднялась на чердак. Здесь пахло пылью и стоялым воздухом, сквозь слуховое окно проникал слабый свет. Вера Тимофеевна обошла чердак, заглядывая в жестянки, густо расставленные в местах, где крыша протекала. Жестянки были пока сухие.

Надо, надо дом перекрывать, почти двадцать лет дранке, сгнила. Купить бы к Бориному приходу из армии шифера, а Боря бы перекрыл. Нужны деньги, а где взять? Было кое-что на книжке – до аварии работала дояркой, получала хорошо, – но все отдала молодым на обстановку, когда те получили квартиру. И правильно – чего бы сейчас стоили ее четыре тысячи?.. Разве что у свекрови занять? Она в прошлом году свой дом продала. И сообразила, сразу взяла в магазине на все деньги золотых часов – из-за дороговизны они годами пылились на витрине. Но что та дороговизна по сравнению с нынешней… Так что деньги у свекрови не пропали – в любой момент может отвезти часы в город, сдать в комиссионный. Купят, богатые люди сейчас есть, вот сколько их по телевизору показывают.

Вот хорошо было бы! Боря в мае вернется, а летом дом перекрыть можно. Не хочется, а придется у свекрови просить взаймы, иначе шифера не купить. Надо с ней сегодня поговорить.

Когда самое необходимое по хозяйству было сделано, Вера Тимофеевна села за машинку – закончить сватье юбку, матери зятя Анатолия. Давно пора отдать, обещала.

Она шила, время от времени поглядывая во двор, где внук сначала лепил снежную бабу, а потом принялся бросаться снежками в боязливо ступаю-

щих по снегу кур. Из головы не выходила мысль о дочери. Тоже надо что-то делать. Сопьются ведь оба, дочь и Анатолий, от людей стыдно.

Под стрекот машинки мысли текли свободно, и Вере Тимофеевне подумалось о том, что как все-таки странно в жизни бывает. Валя и Боря, брат и сестра, от одних отца и матери, а разные. Дочь пошла характером в свекровь, а сын – в мужа и свекра, те тоже были рассудительными и добрыми. Когда свекор заметил, что всю работу по хозяйству свекровь на нее, с двумя маленькими детьми, свалила, сказал Мише, чтобы начинал строиться. Он поможет. А свекровь и в самом деле не то что ленивая, а какая-то беззаботная и ко всему безразличная. Непонятно, как хозяйственный свекор терпел ее. Могла, например, забыть скотину накормить. Или замочит белье, поставит в угол за дверь и вспомнит о нем тогда, когда вонь по избе пойдет.

Как-то Вера Тимофеевна – было ей тогда немногим за двадцать – пошла в райцентр за хлебом. Это туда семь километров и обратно семь, автобусы в ту пору еще не ходили. Вернулась уставшая, ноги мокрые – как раз была осень. Заходит в избу, а там рев в два голоса. Дети сидят в кроватке, ноги вниз свесили, ручонками за прутья держатся, глаза от слез опухли. А свекрови хоть бы что, устроилась возле окна и картинки в «Огоньке» рассматривает. Это у нее любимое занятие, картинки в журналах смотреть, до сих пор любит. Вера Тимофеевна остановилась у порога и не знает, за что первое хвататься: то ли детей успокаивать, то ли мокрые сапоги снимать, то ли печь растапливать – время к обеду, вот-вот свекор с Мишей придут, а свекрови до этого словно и дела нет. Смех и горе.

Главное, что и помочь было некому. Замуж Вера Тимофеевна вышла не в своей деревне, а познакомилась с будущим мужем на строительстве металлургического комбината в Казахстане, куда поехала по комсомольской путевке – молодая была, нового хотелось. Парней там оказалось много, а их, девчат, мало, так что от ухажеров отбоя не было. Некоторые оказались очень нахальные, особенно бывшие зеки, разное случалось. Но с Мишей у нее как-то быстро и хорошо сложилось – почувствовали они, что ли, сразу друг друга, – слюбились, как говорили у них в деревне. Расписались через две недели. Потом Миша увез ее к себе на родину, он болеть в Казахстане стал. Там летом жара под сорок, а у него сердце оказалось слабым. Приехали в этот поселок, где Мишины родители жили. Конечно, пришлось мириться, не у родной матери живешь. Все самой приходилось делать. Ну да ничего, к работе ей было не привыкать – в семье она старшая, кроме нее у матери еще трое детей от отчима родилось, так что забот с ними хватало. И сам отчим был без ноги – на фронте оторвало, – не всякую мужскую работу мог делать, что-то и ей с матерью приходилось. Одним словом, к работе была приучена, справлялась и у свекрови. Зато с Мишей у них все хорошо было, это давало силы. Любили друг друга, будто только что поженились, а сами уже не первый год жили. Миша, Миша, что ж хорошим людям век такой короткий?..

Мягко стучит машинка, бежит из-под лапки строчка. Хорошая юбка получается, сватья останется довольна. А может, с ней поговорить, пусть подействует на Анатолия? Сватья авторитетная, в семье ее слушаются. Раньше Вера Тимофеевна работала с ней на ферме, так сыновья все время приходили помогать. Анатолий тоже. Взрослые парни, а что мать скажет, то и делают: за коровами уберут, силос по кормушкам разбросают, а его запах терпеть тоже нужна выдержка, особенно молодому. Точно, надо с ней поговорить. И случай удобный будет, когда сватья за юбкой придет.

От решения поговорить с матерью Анатолия Вере Тимофеевне стало даже как-то радостно. Будто все уже наладилось – зять и сам пить бросил, и Вале не разрешает… Ей до того захотелось увидеть сватью, что она, быстро закончив юбку, решила не дожидаться, когда та за ней зайдет, а завернула обнову в газету и торопливо оделась. Сама отнесет.

Во дворе она позвала Мишку и пошла вместе с ним по хорошо знакомой дороге за поселок, к ферме. Снег под ногами уже потемнел, был влажен и податлив. Вера Тимофеевна опять с беспокойством подумала о протекающей крыше.

Мать зятя она застала моющей бидоны. Сухопарая, резкая, сватья окатывала бидоны горячей водой из шланга, засунув руку по плечо, быстро терла внутри тряпкой. Лицо и руки у нее были красными, от бидонов валил пар. Все у сватьи выходило споро и ловко.

– Ты про Лунохода своего знаешь? – закричала она, увидев Веру Тимофеевну. Сватья всегда так разговаривала, криком. – Если на мой характер, выгнала б такую! Подумай, четверо золотых часов на церковь отдала, мать сказала, вместе они в Егоршино ходили – не знаешь, что ли?

Вера Тимофеевна сразу не поняла.

– Какой луноход?.. – Потом спохватилась: – Ты про свекровь мою?

– А то чью!

Свекровь в поселке прозвали Луноходом за то, что любила ходить по окрестным деревням и часто ездила в райцентр. Что ее гоняло – сказать трудно. Но после того, как свекровь продала свой дом и перешла жить к Вере Тимофеевне, дня не было, чтобы она куда-нибудь не пропадала. Соседям говорила, родню навещает.

– На церковь отдала?..

– Турнула бы в шею, ни минуты не думала! – кричала сватья, выливая воду из бидона в цементный сток. Мутная вода дымилась и стремительным потоком катилась вниз. – Она у тебя сколько живет, а хоть рубль дала? Не видит, тебе тяжело, не на ферме ты, а как там платят – известно! В Егоршино, тунеядцу тому – в рай захотела, дура старая!.. – Сватья разгорячено выпрямилась, лицо у нее было злое, красное, руки парили. – Раньше попов ругали, смеялись только так, а сейчас все верующими заделались! По телевизору показывают, по радио выступают, готовы задницы попам целовать. Тьфу, придурки!..

Вера Тимофеевна зачем-то потерла ладонью газету, в которую была завернута сватьина юбка, посмотрела вниз, на цементный пол коровника. Вот и нашла деньги на шифер, вот и починила крышу…

– Ладно, Маня, – сказала она. – Часы ее, пусть сама распоряжается.

– Как ладно, Вера! Удивляюсь я на тебя! Никто из детей брать к себе не хочет, так она невестке на шею села! Старшие дочери ее не хотят, а живут дай бог. Знают свою мамочку! Или не понимаешь? Ты чего такая? Как с луны свалилась, честное слово!..

Вере Тимофеевне говорить об этом не хотелось.

– Посмотри. – Она протянула сватье сверток с юбкой. – Пошила, как ты хотела.

Сватья перестала кричать, вытерла мокрые руки и осторожно приняла сверток. Она развернула юбку, приложила к себе, стараясь не касаться халата, в котором работала. А Вера Тимофеевна, видя ее изменившееся, ставшее довольным лицо, заговорила о главном, что не давало покоя – о дочери и зяте.

Сватья выслушала ее, а потом, заворачивая юбку опять в газету, пообещала:

– Будь спокойна, я с ним поговорю! Я ему растолкую. Он у меня дорогу в магазин забудет!..

Столько было в ее голосе твердости, что Вере Тимофеевне и спокойней, и в то же время боязно стало – достанется Анатолию… Помогло бы только.

Вскоре она уже шагала от фермы обратно, поглядывая, чтобы Мишка не отстал и не влез в коровьи лепехи. Думала о сватье. Сватья, она такая – если что решит, обязательно добьется. Случай был, ее младшего и Борю призывали в одно время. Вера Тимофеевна постеснялась пойти в военкомат просить, чтобы Борю отправили служить куда-нибудь недалеко – оказывается, есть такое положение, сейчас это можно. А сватья ничего, пошла, упрашивала, ругалась, а настояла-таки на своем. Она с мужем уже два раза к сыну ездили, он в соседней области служит. Боре бы так… Он-то попал в десантные войска. Когда приезжал в отпуск – в синем берете, в тужурке, из-под которой выглядывает тельняшка, золотистый шнур от плеча, – красиво, ничего не скажешь. Даже если и не сын, приятно смотреть. Плохо другое. Десант сейчас во все горячие точки суют. А точек этих…

Не дай Бог, не дай Бог!

К обеду у нее обычно начинает раскалываться голова – авария даром не прошла. Боль распирает череп, с вязкой мучительной силой давит на глаза, заставляет где-нибудь приткнуться и раскачиваться из стороны в сторону – так вроде легче становится. Таблетки ничего не дают, сколько их Вера Тимофеевна перепила. Кажется, вынеси в это время все из дому, ее саму убей – она пальцем не пошевелит. Все ей делалось безразличным, ни на что

сил и желания не было. Так что надо до обеда все главные дела переделать, а то потом не до того будет.

Вера Тимофеевна убралась в доме, разогрела вчерашний суп, накормила внука и сама вместе с ним поела. Чувствуя, как начинает поднывать и ломить в том месте на голове, где делали операцию, она помыла посуду, замешала болтанку кабану и понесла в сарайчик.

Кабан ее встретил утробным ленивым похрюкиванием – наверно, еще не успел проголодаться. Он сидел посередине ставшим ему тесным закута и смотрел из темноты по-звериному светящимися красными глазками.

– Вставай, вставай! – сказала Вера Тимофеевна, проходя к нему в закут. И толкнула ногой, сгоняя с места.

Она взяла тяпку и принялась сгребать навоз к стоку. Потревоженный кабан недовольно похрюкивал, но недовольство его было ленивым, будто заплыло, как он сам, жиром.

Вера Тимофеевна бросила ему на подстилку свежей соломы и, глядя на тяжелые движения большой белесой туши, опять подумала, что к Новому году кабана можно будет колоть. Вот и деньги на шифер! На всю крышу не хватит, но все же. Мясо продаст, его в момент расхватают, если цену не заламывать, и сало тоже. Конечно, самой мало что останется и Валиной семье меньше дать придется, ну да что делать. Все же выход. Крышу перекрывать обязательно надо. Хотя бы там, где течет.

Пора было укладывать Мишку спать. Вера Тимофеевна вылила болтанку кабану в таз, закрыла сарайчик и вернулась в дом.

– Михрютка! – позвала она.

Внук где-то затаился и не отвечал.

– И где же это наш парень? – громко заговорила Вера Тимофеевна и стала ходить по избе, всюду заглядывая. Она догадывалась, внук спрятался за занавеской, где стояла свекровьина кровать, но вида не подавала. – Куда это он запропастился? Может, цыгане украли? Да что мы без Михрютки делать-то будем?..

Внук не отзывался. Вера Тимофеевна представила его затаившуюся хитрую мордашку и не выдержала, откинула занавеску. И от того, что увидела, екнуло сердце.

Мишка и не думал прятаться, он увлеченно рассматривал картинки в журнале, который лежал на табурете возле кровати свекрови.

Вера Тимофеевна тут же упрекнула себя – ребенок, ему интересно. Рано пугаться… Она взяла внука на руки и отнесла на свою постель. Раздела, уложила и сама рядом прилегла. Может, голова пройдет, сильнее не разболится.

Мишка немного покапризничал, но уснул быстро. Вера Тимофеевна тоже задремала.

И за недолгие минуты дремы ей представилось лето, она на высокой лестнице где-то в саду рвет вишни, вишни темные, глянцевые, вот-вот

брызнут соком, а на ветках яркие пятаки солнца. Ее окликают с земли, она смотрит вниз и сквозь листья видит мужа. «Так он не умер!» – думает Вера Тимофеевна то ли во сне, то ли наяву и быстро спускается по лестнице, радостно торопится вниз. Лицо у мужа серьезное, он смотрит на нее, подняв голову. Вот Вера Тимофеевна уже чувствует на своем теле его руки. У нее обморочно, сладко замирает внутри, но она почему-то знает, что в саду они не одни, кто-то есть еще, и потому говорит: «Ты что, подожди…» Он ждать не хочет, увлекает в дощатый домик на колесах – они уже вроде не в саду, а где-то на полевом стане, домик стоит посреди примятой стерни, – муж крепко прижимает к себе, целует в губы, знакомо гладит руками…

Вера Тимофеевна просыпается, она дрожит, во всем теле слабость. Несколько минут лежит неподвижно, слезы текут из глаз, скатываются на подушку. Родной мой, ну что же так случилось с нами, за что?..

Плачет она тихо, стараясь не разбудить внука.

Постепенно обида и горечь, как все в этой жизни, проходят, их вытесняют будничные беспокоящие мысли. Пока внук спит, надо пойти в школу, убрать два первых класса. Уроки у первоклашек уже закончились, а убирать классы сами, как ребята постарше, они пока не могут. Убирает Вера Тимофеевна, убирает днем после уроков, чтобы на следующее утро не тратить на это время.

Осторожно ступая по половицам, она одевается и, выйдя на крыльцо, мягко щелкает замком. Лишь бы Мишка, пока ее не будет, не проснулся и не испугался, что один.

У калитки ее поджидает радость. Еще издали сквозь дырки в ящике для газет она видит синий конверт – в таких обычно приходят письма от Бори, сына. Вера Тимофеевна торопится, ставшими неловкими пальцами открывает дверцу жестяного ящичка и достает письмо.

От Бори!..

Она прячет письмо во внутренний карман старенького пальто и на легких от счастья ногах идет к школе. Сейчас читать не будет – потом. Сейчас ей достаточно того, что письмо есть, вот оно, на груди.

Возле школы происходит что-то неладное. Слышны злые крики бабы Поли, она мечется по асфальтированному пятачку перед школьными дверьми и пробует ухватить увертывающихся мальчишек то ли из шестого, то ли из седьмого класса.

Пацаны ее не боятся, дразнятся, но близко к себе подпускать все же остерегаются, а один, слепив из мокрого снега ком, запускает бабе Поле в спину. Сторожиха стервенеет. Сейчас она похожа на одряхлевшую хищную птицу, исходящую в бессильной злобе.

– Сучьи дети! Байструки! – кричит она, и кажется, что с ее тонких старушечьих губ вот-вот брызнет пена.

– Ребята, ну хорошо ли? – громко говорит Вера Тимофеевна и останавливается посреди озлобленной суеты. Ей тяжело на все это смотреть. – Старый человек, что вы с ней так? Разве можно?..

– А что она за уши дерется? Мы не мешали, играли в снежки, а она лезет! – то ли с вызовом, то ли с обидой кричат ребята, отбежав на безопасное расстояние от тяжело, открытым ртом, дышащей бабы Поли. Ребята видят в Вере Тимофеевне взрослого постороннего человека, способного справедливо рассудить.

– Ну так отойдите от школы, стекла можете побить. Она потому и ругается. Что на спортивную площадку не пойти – там сколько хотите бросайте, никто слова не скажет.

Мальчишки несколько секунд соображают, потом один за другим тянутся за школу. На прощание некоторые из них строят бабе Поле рожи, отчетливо слышен по-детски трусоватый матерок.

Уходит и баба Поля. Под вытянувшейся старой кофтой видны худые лопатки, сама кофта на локтях кое-как, по-старушечьи заштопана, и Вере Тимофеевне становится жаль сторожиху. Жаль еще потому, что жить так нельзя, как она живет. Зла и горя без того много, зачем делать, чтобы больше становилось?..

Она вздыхает и тоже направляется к школьному крыльцу.

Когда она вымыла пол у первоклашек и на всякий случай толкнулась в дверь школьной мастерской – здесь тоже иногда просили убраться, – ей никто не открыл. Но голоса в мастерской слышались явственно. Вера Тимофеевна уже готова была уйти – мало ли почему дверь заперта, – как стукнула задвижка, и она увидела Валерия Геннадьевича. Военрук быстро глянул по коридору в одну, потом в другую сторону и потянул Веру Тимофеевну к себе.

– Заходи, хозяйка! Ты всегда кстати, заходи!..

Ничего не подозревая, она вошла и услышала, как щелкнула за спиной задвижка. В углу за столом мастера сидел Юрий Сергеевич, молодой учитель русского языка и литературы. На столе видна была небогатая, мужской рукой сделанная закуска и стояли два стакана. Вид у Юрия Сергеевича был смущенный.

– Садись, хозяйка, садись! Ты извини, мы здесь бизнес наш спрыскиваем. Ну, с телефонами, знаешь! Нехорошо, конечно, понимаю, каюсь – в школе распиваем и так далее, но… – Военрук выудил из-под стола бутылку с остатками водки, громыхнув выдвижным ящиком, достал третий стакан. Раскаяния в его голосе что-то не чувствовалось. – Да оставь ты свое ведро, садись! Положено! Если бы не ты, в грязи утонули!..

Вера Тимофеевна не знала, что делать. И отказываться неудобно – все-таки от всей души человек, а с другой стороны – школа. Действительно нехорошо. Да и Мишка должен скоро проснуться.

Валерий Геннадьевич забрал у нее из рук ведро и швабру, почти силой усадил за стол.

– Ты не беспокойся, директора нет, уехала в районо, коллективную пьянку не припишут. Мы недолго, сейчас разбежимся. Юрию Сергеевичу сочинения еще проверять надо. Как там, Юрий Сергеевич, тема звучит? Образ русского человека, страстотерпца и богоносца?..

Хотя Вера Тимофеевна чувствовала себя не в своей тарелке, все же удивленно глянула на военрука, потом на учителя литературы. В словах Валерия Геннадьевича слышалась ирония. Но Юрий Сергеевич никак на подковырку не отреагировал. Разве что раза два быстро провел рукой по своей молодой, даже на вид мягкой бородке. Рука у Юрия Сергеевича была белая, нежная, ни у кого из поселковых Вера Тимофеевна таких не видела.

Сказать по правде, Юрий Сергеевич ей всегда нравился. Своим благообразным, с бородкой, лицом, вежливостью, негромким голосом. Жаль только, такие учителя долго в школе не задерживались. Не приживались почему-то в поселке. Положенные три года отрабатывали и уезжали обратно в город.

На первый взгляд даже трудно было понять, что объединяло Юрия Сергеевича с военруком. Валерий Геннадьевич появился в школе недавно, в начале учебного года, а до этого служил в армии, был капитаном. Ухватистый, веселый всех в школе называл на «ты», даже директора – совсем разные с Юрием Сергеевичем люди. Быстро наладил в школьной мастерской сборку телефонов, за деталями для них мотался в областной центр. Любил повторять: «Крутиться надо, пахать, а не яйца высиживать! Напор и энергия!..» Вера Тимофеевна слышала, что уже появились первые деньги, ребятам за работу в мастерских стали платить. Что ж, дай бог, жизнь сейчас у всех тяжелая.

А в общем-то, понятно, что их объединяет. Двое в школе мужчин – остальные учителя женщины. Они вдвоем и уроки труда ведут, и физкультуру, и рисование с черчением, а теперь еще этими телефонами занимаются.

– Страстотерпец и богоносец, верно я тебя понял? – военрук, подавшись всем телом к Юрию Сергеевичу, весело смотрел на него. До прихода Веры Тимофеевны у них, похоже, шел какой-то свой разговор, может быть, спор. – Кроткий и многотерпеливый, говоришь? Готовый все прощать? Интересно! Похвальные качества, уважаю таких людей. Вот только объясни мне такую вещь, Юра. Что ж такие люди все время в дураках остаются? А? Объясни, дорогой!..

Юрий Сергеевич молчал, улыбался, крутил в руках стакан с водкой на донышке. Потом поднял почему-то глаза на Веру Тимофеевну, тихо сказал:

– За вас. Будьте здоровы и счастливы.

Вера Тимофеевна покраснела от удовольствия. Молодой, а знает, как к человеку подойти. Вслед за мужчинами пригубила свой стакан.

– Не уходи от ответа, Юра, не уходи! Ты джентльмен, видим и ценим, но как же главное? – Валерий Геннадьевич подхватил со стола ломтик неровно нарезанной колбасы, принялся энергично жевать. – Ты мне ответь,

дорогой, ответь! А то ведь странные догадки лезут в голову. Не специально ли кротость культивируется? Зри в корень, как учили классики марксизма-ленинизма. Вам кротость и смирение, а мы по другим правилам будем играть, нам смирение вроде как-то ни к чему! Стричь вас будем, а вы нас за то благодарите! Неплохо придумано, а? Здорово?!

Юрий Сергеевич поморщился, опять опустил глаза.

– По́шло, Валера.

– Э, не-е-т, дорогой! – еще больше загорелся военрук. – Ты на землю спустись, теория практикой поверяется!.. Возьми мой случай. Выперли из армии, а у меня трое детей и квартиры нет. Пенсии, заметь, не положено, мне до нее – как медному котелку. Хорошо, мать приняла, к ней семью привез. Черт с ними, я не жалею, на гражданке интересней, если не лодырь и голова на плечах. Не в этом дело! По твоей логике, мне отцам-командирам, начиная с Ельцина, еще и в ножки поклониться? За то, что как собаке дали под зад коленом. Так?.. Очень уж им удобно, Юра, когда человек безответный. Делай что хочешь, он стерпит. Ну уж нет, дорогуши, извините!..

Юрий Сергеевич сдержанно поглядывал на военрука.

– Прости, Валера, как-то приземлено у тебя выходит, – наконец сказал он своим негромким голосом. – Есть еще духовные ценности. Ради них на крест шли…

– Кто же против! – даже всплеснул руками военрук. – Кто против!.. О другом я. О человеческой подлости. О великой человеческой подлости! Самое лучшее поворачивают так, чтобы выгода была. Ну не скотство, а? Что за страна у нас такая? Почему нельзя с людьми по-человечески? Ну что все экспериментировать? Большевики экспериментировали, эти пришли – опять! Снова за идиотов нас принимают!.. – Валерий Геннадьевич вдруг замолчал и уперся взглядом в Веру Тимофеевну. – Твое мнение, Тимофеевна? Как считаешь?

Вера Тимофеевна совсем уж было собралась взять ломтик колбасы – очень заманчиво она пахла, – но при словах военрука опустила на колени руку. Неловко брать, когда на тебя смотрят. Идти надо. У мужчин свои разговоры, а у нее еще дел полно. Хороший человек военрук. Если у Бори такие командиры, то в обиду не дадут. После того, как сына призвали в армию, она с особым вниманием присматривалась к каждому военному.

И все же Юрий Сергеевич лучше! Ближе как-то, что ли. Свой, понятный, хотя из города.

– Ну, спасибо вам. Пойду, внук закрытый сидит. Испугается.

– Эх, Тимофеевна, покидаешь нас! – расстроился уже заметно захмелевший военрук. Он достал пригоршню жвачек в ярких обертках. – Бери, внуку! И тебе будет. С декабря думаю платить за уборку. Отдельно! А что? Помнишь, стихи такие учили: каждый труд у нас почетен, где какой ни есть… Русский человек не скотина! Это вы бросьте!..

Юрий Сергеевич с улыбкой, снисходительно смотрел на военрука. Так и не выпитая водка колыхалась в его стакане.

Вечером наступает ее лучший час. Постирано и развешено дочкино белье, накормлен, уложен спать Мишка, в доме спокойно и тихо, и даже голова не болит, как обычно по вечерам. Может, потому, что погода переменилась. Или от радости, что письмо сын прислал.

Всю вторую половину дня в душе у Веры Тимофеевны будто веселый родничок играет. Она не торопится читать Борино письмо, все откладывает на потом, и от предчувствия хорошего впереди дела делаются быстро и легко.

Но вот наконец вечер, все дневные заботы позади, можно сесть и почитать. Вера Тимофеевна дожидается, когда у себя за занавеской отшепчет молитву и уляжется спать недавно откуда-то вернувшаяся свекровь, и идет в приделок. Даже программу «Вести» не смотрит, хотя обычно не пропускает, напряженно ловит каждое сообщение, где хоть что-то говорится об армии, о горячих точках.

Она достает письмо и осторожно, аккуратно вскрывает конверт. Прислонившись спиной к теплой от печки стенке, разворачивает двойной листок из тетради в клетку. Глаза ее бегают по строчкам, губы улыбаются.

Боря пишет, что служба идет нормально, он жив и здоров. Правда, их часть перебросили на новое место, и он никак не может привыкнуть к здешнему климату – конец октября, а жарко, будто летом. Дома, наверно, вот-вот снег выпадет, а здесь деревья в долинах зеленые, снег только на вершинах гор. Ничего, через семь месяцев дембель, домой, не так уж много и осталось…

Вера Тимофеевна будто наяву видит серьезное лицо своего Бори, взрослую поперечную морщинку на лбу и пухлые, совсем ребячьи губы. Она еще раз перечитывает письмо, но уже медленно, стараясь не пропустить ни единой буковки. Потом опускает руку с письмом, долго стоит, прислонившись спиной к теплой стенке. Ей хорошо и покойно.

Только сейчас она чувствует, как устала за день. Выходит в коридор, задвигает на дверях засов. В коридоре холодно, слышно, как бьется в стены дома ветер. Наверно, тучи нагонит, дождь будет. Не забыть бы завтра воду из банок на чердаке слить… Вера Тимофеевна возвращается в приделок, выключает свет, идет на ощупь в избу и раздевается.

На постели сонно дышит Мишка. Вера Тимофеевна подвигает его к стене, ложится рядом. Она обнимает родное теплое тельце. В общем-то, и хорошо, что внук у нее будет жить. И самой веселее, и дочери полегче, что ни говори. Лишь бы за ум взялись…

Лежать рядом с Мишкой уютно. Вера Тимофеевна начинает ровно дышать. Сами собой закрываются глаза. На грани между сном и явью, как

большая медленная рыба, проплывает мысль: «С Борей бы ничего не случилось. С Борей бы…»

Мысль беспокоит, сердце от нее тревожно вздрагивает, но сил уже нет, и Вера Тимофеевна засыпает.

Последнее, что она слышит, это порывы сильного ветра за окном.

ТЕЛЕФОНОГРАММА

Михайловский райвоенкомат предлагает Федоровой В.Т. прибыть за телом ее сына Федорова Б.М., погибшего при исполнении воинского долга. Гроб с телом Федорова Б.М. находится в морге районной больницы. Часы работы морга с 9.00 до 18.00.

Передал дежурный по военкомату старший лейтенант Михеев.

Приняла секретарь поселкового совета Гречнева.

10 ч. 35 мин. 8 декабря 1992 г.

Давайте порассуждаем…

1. Передайте коротко суть событий, происходящих в рассказе «Осколок империи». Какую роль в раскрытии замысла рассказа играет история с убийством медведя? Как вы поняли, в чем заключается причина этого убийства?

2. Какими предстают быт и нравы современной деревни в рассказе Сергея Луцкого? Есть ли среди героев те, которые вызывают симпатии автора и читателя? Как вы думаете, кто и чем особенно несимпатичен автору и его читателям? Обоснуйте свое мнение.

3. Почему одного из героев рассказа называют «осколок империи»?

4. В чем, на ваш взгляд, заключается основной конфликт рассказа «Осколок империи»?

5. Охарактеризуйте повествовательную манеру С. Луцкого в рассказе «Осколок империи». Какие средства, приемы использует он для создания портретов героев, для воспроизведения окружающего пространства, для высказывания собственного отношения к происходящему?

6. Расскажите о том, какое время представлено в рассказе «Домовой». Какие характеристики этому времени и недавнему прошлому дает автор? Насколько для вас узнаваемы, понятны эти времена?

7. Насколько интересной, убедительной и правдоподобной показалась вам история про домового в деревенском доме? Можно ли, на ваш взгляд, всерьез верить в домовых в конце XX века (рассказ написан в 1995 году)? Или рассказ С. Луцкого не об этом? Если да, тогда о чем?

8. Расскажите о том, как вы поняли мысль этюда «Любите искусство, господа!» Насколько интересной и главное – актуальной показалась она вам?

9. Расскажите о своем понимании того, что волнует писателя в этюде «Клыки вырастают раньше…». Может быть, это справедливо и закономерно, ведь живем мы в непростое время и в довольно суровом, если не жестоком мире? Порассуждайте на эту тему.

10. Насколько убедительным и интересным представляется вам метафорическое уподобление жизни человека «терпению буксиров», ожидающих работы? Проанализируйте то, как образно, поэтически рассказал об этом Сергей Луцкий.

11. Напишите небольшое эссе или исследование на тему «Метафоры жизни Сергея Луцкого».

12. Как вы считаете, рассказ «С утра до вечера» – это рассказ об образе жизни или о самой жизни Веры Тимофеевны?

13. Можно ли считать Веру Тимофеевну типичным образом русской женщины?

МАЗИН
Владимир Алексеевич
(р. 1951)

Печатался в еженедельнике «Литературная Россия», в журналах «Молодой гений», «Наш современник», «Стерх», «Югра», в коллективных сборниках, альманахах и антологиях.

Автор сборников стихов «Судьба, надежда и любовь» (1996), «Пристань радостей и печалей» (1997), «Ларьякский голос» (1998), «Вихрастое золото» (2004), «Бубен и скрипка» (2001), «По собственной гамме» (2001), «Встреча разлук» (2003), книги семейных сказаний и личных песен «Негасимый свет чувала» (2005).

Член Союза писателей России с 1998 года. Лауреат премии Губернатора автономного округа в области литературы (2002), премии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «За развитие культуры малочисленных народов Севера» (2005). Награжден медалью Пушкина (2003).

Поэтическое сознание Владимира Мазина широко распахнуто и не ограничивается обращением только к образу своей малой родины, к «бездорожью лютому» или «оленьим маршрутам». Этому сознанию близка духовная реальность современного мира вообще, ему дороги общечеловеческие ценности. Другое дело, что «сын рыбака» совсем не хочет затеряться в этих общечеловеческих ценностях со своим видением мира, со своей культурной энергией народы ханты. Это поэтическое сознание наполнено особым отношением к явлениям родной, близкой природы (тайга, реки, малые притоки Оби, озера), но и не менее трепетным чувством по отношению к своей великой, большой Родине – России. Он пишет на русском языке, сохраняя миросозерцание и энергию хантыйской культуры, наполняя свои лирические размышления самим духом, самим историческим сознанием этого северного народа:

«Я по-хантыйски начал петь,
По-русски собирая звуки…»

Стихи В. Мазина отличает самобытная поэтическая интонация, спокойная и размеренная, дающая возможность неторопливо наблюдать и вечное движение природы, и внутреннее богатство трудолюбивого человека и слышать звуки гармонии в таком подчас негармоничном мире. Поэт может писать на темы, которые принято называть «вечными», если не «избитыми», и может находить свое оригинальное их решение, свои слова. Происходит это, видимо, еще и потому, что, по собственному признанию, его поэтическая душа «извечно не спала»…

Владимир Мазин и в прозе остается поэтом, когда в «Семейных сказках» рассказывает о том, «почему утки крякают» или «почему у глухаря глаза красные».

ШАЛОСТЬ

По улице пройду я
Сегодня колесом,
В полете кувыркаясь,
Как будто невесом.
Висят над головою
То Небо, то Земля –
Наскучила серьезность,
Бросаю все, шаля…
Под пятками упруго
Скользнули облака,
Трава задела чубчик,
Как будто свысока.
Парить вдоль горизонта
Приятнее всего...
Я упаду на берег
Ларьяка моего.

* * *

В дебрях памяти блуждая,
Я зазубрины считаю:
Сто зазубрин –
Сто обид
Помнят слезы,
Помнят стыд.
Сто зазубрин за успех –
Не заметные для всех.

МЫГЫЯХ[1]

Всё в жизни неожиданно
И все непросто, как у всех,
А редкий за труды успех
Случайно выдан мне.

[1] Мыгыях (хант.) – земли человек, в переносном значении: абориген.

На резвой нарте – по снегам,
На обласке – вдоль берегов,
Я древней песне остяков
Свое дыхание отдам.

В родном краю пред очагом,
Среди хозяев и гостей,
Услышу голоса детей,
Гордясь хантыйским языком.

* * *

Возвышенностью слова
И вдовьими слезами
Был с миром зарифмован
Я в колыбельной мамы.
Душой владела щедрой
Чарующая скрипка,
Где на крыле у кедра
Моя висела зыбка.
Не предвещая бедствий,
Звенел старинный бубен,
Где корневилось детство
Среди невзрачных буден.
Мечтали долго жить мы
Под музыку кочевий –
Сливались бубна ритмы
И скрипки перепевы.
На плаче модуляций
Я подпеваю маме:
Не хочется прощаться
С былыми временами.

ВДВОЁМ

Незнакомые губы
касаются лба.
Неразвязны,
негрубы
слова,

как мольба –
хоть намёком ответить,
что и мне
одиноко на свете...
Неужели когда-то
с другим
ты напрасно себя расточала?
Неужели начну я сначала
жизнь,
где стану нескоро
родным?
Ты пока что не любишь.
Я на выдумки скуп...
Неизвестные любы
прикасания губ.

* * *

Как растает пух лебяжий
На постелях луговых,
Ночь сосну с сосною свяжет
В отражениях речных,
Как вздохнет теленком пажить,
Замяукают коты,
Как начну я у овражин
Собирать тебе цветы,
Как повалятся удачи
В нашу общую весну…
А в избушке окна плачут,
Крошат солнце и луну.

СОБЕРИ МЕНЯ В ДОРОГУ

У открытого окошка
В кузовок берестяной
Положи мне на дорожку
Тёплый шарфик шерстяной.
Не забудь с красивой вышивкой
Полотенце положить,
Чтобы долгую возвышенно
Мне разлуку пережить.

А в углу на видном месте
Для себя, не для гостей,
Жбан, подаренный невесте,
Полный верности моей,
Ты поставь до тёмной ноченьки,
Чтобы чаще открывать,
И тебе достанет моченьки
Встречный день отгоревать.

* * *

Минорную мелодию метели
Нельзя переиначить, изменить
И понарошку,
Как на самом деле,
По спуску молчаливо семенить.
Внизу исповедальный упокой нам
Рассыпали закатные лучи…
Со всеми попрощаемся спокойно,
Хотя слеза на выдохе горчит.

* * *

Если удача и если беда,
Если услышу стук сердца родного,
Я добираюсь до пристани снова,
Где не расходятся лес и вода.

Лес и вода – две стихии мои;
Здесь перемешаны тени на влаге,
Здесь отраженьем на вечной бумаге
Берег над речкой слагает стихи.

НАДЕЖДА

Господь, сохрани эту женщину,
Как нежное чудо твоё,
Как слово на счастие вещее,
Что только молитва даёт!

Господь, сохрани её помыслы
К любви, что достойна она,
И пусть ей лишь лучшие помнятся
Встречи,
года,
имена!
Она мне судьбою обещана
И детям по праву любви...
Господь, сохрани эту женщину
И дольше к себе не зови!

* * *

Люблю я полночь на остатке
И на излете полдень каждый.
Не привыкая жить в достатке,
Ценю, что не дается дважды.
В неповторимом бытованье
Река меняет отраженья –
И чудно каждое дыханье
От самоценного рожденья.
Пусть не кончаются невзгоды
Сегодня, как вчера и завтра,
Но я – не баловень, не лодырь,
Судьбы небезымянный автор.
Сам выбирал и выбираю
Тревожный возглас откровений,
Шаги подсудные по краю
До запоздалых сожалений.
Дай Бог любить остаток жизни
И все, что память пролистала...
В недавних помыслах Отчизны
Мне ошибаться не пристало.

* * *

Пожала провожавшим руки,
Но мне шепнула одному:
Не забываются разлуки,
А встречи помнить ни к чему.

Исчислен век средь ночи темной
Часы разлучные стоят –
Безмолвный, дальний и огромный
Висит над миром циферблат.

И сотни встреч соединились –
Путь к ним разлукою разрыт,
Когда часы остановились
С последним шепотом навзрыд.

* * *

Торжище раскинуло рекламы:
Все вокруг меняют, продают...
В закутке торговой панорамы
Выбираю временный приют.
Что тебе, взыскательный читатель –
Потребитель, я могу вручить?
Только то, что передал Создатель
Мне со звездной музыкой в ночи.
Между низким стилем и высоким
Эти звуки, будто певчих птиц,
Собирал в предутренние строки,
В клетки незвучащие страниц.
Чувства на святой кусочек хлеба
Обменяй же, сострадатель, мне,
Чтобы сил хватило выйти в небо
Словом о Ларьякской стороне.

ГЛАВНОЕ СВИДАНИЕ

И отрадно, и боязно душу
Ранить этой мечтой молодой...
Но, как школьник экзамена, трушу
Испытания встречи с тобой.
Елки-палки и Господи Боже
Перемешаны – не разобрать:
Я планирую или итожу
Перед тем, как прилюдно играть
Полуопытность, полунаивность,
Доверять, оставляя табу,
Чтобы не было слишком противно
Обнажать для потомков судьбу.

Поздно выстрадал, рано придумал
Тебя женщиной лучшей, ничьей.
До тебя меня не было. Умер
Расточитель незрелых ночей.
Отправляю рожденную душу
На свиданье последней тропой...
Среди хохота шепот послушай –
Это я восхищаюсь тобой.

ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ

Лихой предстарческий полет
Похож на самый первый – детский,
Когда от страха наконец-то
Душа до облака рванет,
Когда уверенности мало,
Но слишком искренен порыв
К черте небесного овала,
Что достигают, полюбив.
Неисправимо юный дед
Своей любовью переполнен,
Рискуя не считать на склоне
Полсотни зим, полсотни лет!
Ужели верить бесполезно
В кого-нибудь, во что-нибудь,
Когда, паря над черной бездной,
Нет сил держать больную грудь?
Могла когда-то баловать
Душа во власти бурной плоти,
Легко сорваться на излете,
Чтобы позволить поклевать...
Но, дар последний принимая,
Парит взволнованная птица,
Все лучшее припоминая,
И только к смерти возвратится.

* * *

Душа моя извечно не спала,
Я знаю: спать она не может
И ночью тело сонное тревожит
Разгадкой тайн, которым нет числа.

Ах, тяжела душе земная власть,
Когда дневные тени всюду виснут,
И вековечность вымыслов и смыслов
Телесную смущает ипостась.
Душа, как богородный поводырь,
Прощать умеет грешную зевоту,
Влечет меня к божественным высотам –
Там ангелы взирают на Сибирь.
Лунатиком на несколько минут
Лечу за грань уснувшего творенья
Распутывать дневные заблужденья,
Хотел бы дольше – занят Абсолют.
Послушно заполняются дела
Привычкой, опытом и разуменьем...
Но в поиске всевышнего мгновенья
Душа моя извечно не спала.

Семейные сказки

ПОЧЕМУ УТКИ КРЯКАЮТ

На берегу озера Лиса лежала. Скучно ей было, поговорить не с кем. Заметила она Уток, плавающих между осокой. Поднялась, бока встряхнула, хвостом вильнула и, подойдя ближе к ныряющим Уткам, сказала:

– Я вас съем.

Утки ответили:

– Ты, Лиса, очень красивая, хорошая, шубой на тело Огня похожа, ты добрая, наверное. Не ешь нас. Мы тебе веселую песню споем.

– Ну, спойте. Только одну песню пойте, сильно есть хочу, голодная. Если понравится ваша песня, пойду в другом месте искать еду, а не понравится – после песни вас съем.

Запела одна Утка:

– Кяр – красивая, кяр-кяр-кря-кря...

Вторая Утка песню подхватила:

– Кря – красная, кяр-кря, кяр-кря...

Потом третья, и четвертая, и пятая:

– Кяр – краденое любит, кря-кря-кяр...

И все вместе запели:

– Кяр – красивая, кря – красная, кяр – краденое любит, кря-кяр, кря-кяр...

И до сих пор так поют, чтобы Лиса голодная сидела. А когда надоедает ей слушать, убегает в лес, подальше от озера.

СОЛОМИНКА И ЯГОДКА

На небольшой болотной кочке родились и выросли Травинка и Ягодка. Познакомились, но не подружились. К осени налились соком. Одна стройная да зеленая, другая – пухлая да красная. Каждой казалось, что нет ее красивее.

К зиме стали готовиться. Подул холодный ветер. Гордая Травинка низко сгибалась, а гордая Ягодка похихикивала – ей уютнее было во мху. Незаметно зима пришла, снегом замело болото.

Тихо перезимовали Травинка и Ягодка. Весной Ягодка видит, что ее соседка золотой стала. Но Травинка не рада, она даже имя сменила, стала называться Соломинкой. А Ягодка с гордостью распевала свое имя под клокотание ледяной влаги: «Клю-ква, Клюю-ква!»

Весной два ветра дули: холодный и теплый спорили между собой. Частые дожди не радовали, кочка становилась все меньше. Подступала вода. Однажды искра упала на мох. Продрогшая Соломинка стала раздувать искру, ей хотелось согреться. И так постаралась, что маленький костерок обжег ее, золотое тело стало серым пеплом, который смыли дождевые капли. Рассмешило это Ягодку. Она хохотала и раздувалась, хохотала и раздувалась... И лопнула.

ПОЧЕМУ У ГЛУХАРЯ ГЛАЗА КРАСНЫЕ

В неведомые стародавние времена все птицы жили вместе, никакая птица не улетала из нашего края. Зимы не было, всегда было тепло. В какой-то уже забытый людьми год холод пришел. Собрались птицы теплые края искать. От каждой птичьей семьи вожака выбрали. Вожаки побеседовали и решили, что назавтра все птицы улетят к югу от наступающих морозов. Договорились: взлетят с появлением первого утреннего луча. Многие птицы рядом друг с другом ночевали, у болотного места скорого отлета. А Глухарь любил спать отдельно и последнюю ночь захотел провести на родном песчанике.

Утром прилетел Глухарь к болотному месту, откуда по уговору все птицы в дальний путь собирались взлететь. А место пустое, все крылатые друзья улетели. Заплакал Глухарь. Всю зиму слезы лил. Так долго плакал, что глаза покраснели.

Весной птицы с юга вернулись. Глухарь им рассказал, что и зимой в наших краях жить можно. Водоплавающие птицы не поняли. И опять Глухарь заплакал.

ТРИ ТОПОРА ОТ ВОДЯНОГО

У работящей женщины муж был. Хорошо они жили. Жена домашними делами занималась, старую избушку в порядке держала. Муж летом рыбачил, а зимой охотился.

Однажды мужчина долго из тайги не возвращался. Злой дух Кынь путал его пути, завел в глушь, а потом к болоту направил. Устал охотник. Но пришлось ему с волосатым злодеем силой мериться. Болотный старик Севсики в кровь искусал доброго мужчину. Как ханты рассказывают, Севсики многих рыбаков-охотников погубил, а кого не мог одолеть – сильно покалечил. Но этот человек одолел злодея. Храбрец победил Севсики, а потом бросил поганое тело в костер. Пепел разлетелся по тайге и превратился в мошкару. Пришел к родной избе муж весь израненный, больной.

Помолилась добрым духам женщина, поплакала и всю зиму мужа лечила. Сумела его на ноги поставить. И решил хозяин новый дом построить на берегу реки. Жена обрадовалась:

– Посмотри, любезный муж, изба наша совсем развалилась. Бери дедовский топор и начинай новую избу строить.

Поклонилась мужу и пошла в лес по ягоды.

Мужчина взял тяжелый чугунный топор, пошел на высокий берег быстрой реки, где еще в молодые годы хотел новый дом построить. Посмотрел на давно приготовленные бревна. Размахнулся топором, да так неловко, что чугунный топор уронил в реку. Сел над водой и задумался: как топор достать? Река спокойно текла, будто предлагала не волноваться, а течение вечной жизни обдумывать. До наступления ночи думал мужчина, родителей вспомнил, попечалился о том, что не родила ему жена наследников. Песню спел. Скупыми слезами ресницы обжег. Вдруг отраженные в реке звезды зашевелились. На волнах борода Водяного расплылась. Вздрогнул храбрый мужчина. А Водяной его спрашивает:

– О чем задумался? Из-за чего глаза на мокром месте держал?

Вытер слезы бездетный муж и отвечает:

– Я топор в реку уронил.

Нырнул глубоко Водяной, а через некоторое время всплыл и показывает серебряный топор.

– Не этот ли топор ты утопил? – спрашивает хозяин реки.

Невесело ответил мужчина:

– Нет, я другой топор утопил.

Нырнул второй раз Водяной и достал золотой топор.

– Не этот ли топор ты утопил?

Невесело ответил мужчина:

– Нет, я другой топор утопил.

Нырнул третий раз Водяной и достал чугунный топор.

– Не этот ли топор ты утопил?

Обрадовался мужчина:

– Покажи мне ближе, на рукоятке моего топора старинная дедовская отметина есть.

Вышел Водяной к берегу и сказал:

– Бери все три топора, честный человек. Я проверил тебя и понял, что ты не только сильный, храбрый и добрый человек, но скромный и честный.

А в избе доброго мужа печалилась жена. Долго ждала и дождалась, обрадовалась. Стол накрыла. Муж соседей пригласил. Рассказал гостям о добром хозяине реки, показал три топора, подаренные Водяным.

Один из гостей на другой день решил получить у Водяного такой же подарок. Взял свой старый топор. Выбрал пологое место у реки, забросил в воду топор и стал ждать. До ночи ждал. Все о серебряном и золотом топорах думал. Забеспокоился сосед храброго мужчины: не зря ли свой топор в реку бросил? А потом подумал с обидой: плохо, что в деревне не только у него будут дорогие топоры.

Вдруг отраженные в реке звезды зашевелились. На волнах борода Водяного расплылась. Осмелел мужик. А Водяной его спрашивает:

– О чем, мужик, задумался? Зачем на воду смотришь?

– Я топор в реку уронил, – ответил уставший завистник.

Водяной нырнул и достал золотой топор.

– Не этот ли топор ты утопил? – спрашивает хозяин реки.

– Да, это мой топор! Отдай его скорее!

– Не твой он, – сказал Водяной и медленно опустился вниз, оставив за собой пенный всплеск ночной волны.

До утра ждал завистник нового появления Водяного. Уже отражение луны перестало плавать, а Водяной так и не появился.

Давайте порассуждаем…

1. Расскажите о настроении стихотворения «Шалость». Как вы думаете, чем вызвано такое настроение? При помощи каких художественных приемов оно передается в стихотворении?

2. Как вы поняли смысл стихотворения «В дебрях памяти блуждая…»? О какой философии жизни в данном случае размышляет поэт?

3. Проанализируйте образный строй стихотворения «Мыгыях». Что в рассуждениях поэта о жизни и успехе показалось вам традиционным, а что неожиданным?

4. Каким вам видится лирический герой стихотворения «Вдвоем»? За счет чего, каких изобразительных средств возникает его образ? Как вы думаете, почему стихотворение названо именно «Вдвоем»?

5. Как вы поняли, «где корневилось детство» поэта Владимира Мазина по стихотворению «Возвышенностью слова…»? Что считает он самым дорогим и важным для себя в начале его жизненного (а, может, и творческого) пути?

6. Что характерно для образного строя стихотворения «Как растает пух лебяжий…»? Какие образы показались вам наиболее выразительными, интересными? Расскажите, к примеру, о том, как вы представляете образную картину, когда «в избушке окна плачут, крошат солнце и луну».

7. Что, какие жанры народного творчества напоминает вам стихотворение «Собери меня в дорогу»? О каком отношении лирического героя к близкому человеку свидетельствует это стихотворение? Как вы думаете, можно ли по этому стихотворению судить о том, какая предстоит дорога? Обоснуйте свой ответ.

8. Какое понимание жизни и окружающего мира демонстрирует, на ваш взгляд, стихотворение «Минорную мелодию метели…»? Присутствует ли в самом стихотворении эта минорная мелодия? Если да, то в чем вы ее услышали?

9. Как вы думаете, что мог иметь в виду поэт, замечая в поэтической миниатюре «Если удача и если беда…», что «берег над речкой слагает стихи»?

10. Как вы думаете, дает ли стихотворение «Надежда» представление о том, о какой именно женщине идет речь? Можно ли по нему судить о ее внешности, образе жизни, характере? Может быть, в данном случае это и не важно? Обоснуйте свое мнение.

11. Как понимает время лирический герой стихотворения «Люблю я полночь на остатке…»? Как ощущает себя в этом времени?

12. Как вы думаете, какой смысл (а может быть, смыслы) несет в себе стихотворение «Пожала провожавшим руки…»?

13. Что, по вашему мнению, представляет собой «временный приют» поэта в стихотворении «Торжище раскинуло рекламы…»? Какие образы создают представление об этом «временном приюте»?

14. Что, по вашему мнению, понимает В. Мазин под «главным свиданием» в одноименном стихотворении? Готов ли лирический герой к этому главному свиданию? Аргументируйте свое мнение.

15. Чем является для лирического героя «последняя любовь», если судить по одноименному стихотворению? Какое образное и философское содержание вкладывает в это понятие поэт?

16. Как вы поняли смысл стихотворения «Душа моя извечно не спала…»? Как вы думаете, о чем свидетельствует такая композиционная особенность стихотворения, когда оно начинается и заканчивается одной и той же строкой?

17. Напишите небольшое эссе на тему «Неспящая душа поэта Владимира Мазина».

18. Как вы думаете, о каком восприятии мира свидетельствуют семейные сказки «Почему утки крякают», «Почему у глухаря глаза красные»?

19. В чем, на ваш взгляд, заключается смысл истории, рассказанной В. Мазиным про ягодку и соломинку? Вспомните сказки других народов, в которых поднимается похожая проблема.

20. Расскажите о том, как вы поняли смысл семейной сказки «Три топора от Водяного». Какую роль в этой сказке, на ваш взгляд, играет «старинная дедовская отметина» на рукоятке топора? Сюжет этой сказки вам не напоминает какие-то произведения русской литературы? Если да, расскажите о том, в чем они близки и в чем расходятся.

21. Охарактеризуйте повествовательную манеру Мазина-прозаика.

МИЗГУЛИН
Дмитрий Александрович
(р. 1961)

Печатался в журналах «Наш современник», «Молодая гвардия», «Литературный Азербайджан», еженедельнике «Литературная Россия», в коллективных сборниках и альманахах.

Выпустил сборники стихов «Петербургская вьюга» (1992), «Зимняя дорога» (1995), «О чем тревожилась душа» (2003), «Две реки» (2004), «География души» (2005), «Избранные сочинения» (2006), книжку для детей «Звезд васильковое поле» (2002), сборник рассказов «Три встречи» (1993) и литературных заметок «В зеркале минувшего» (1997), книгу «Духов день» (2006).

Член Союза писателей России с 2000 года, член правления Ханты-Мансийской окружной организации Союза писателей России. Лауреат Всероссийской литературной премии им. Д.Н. Мамина-Сибиряка (2004) и премии «Петрополь» (2005). Лауреат премии Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в области литературы (2007), лауреат всероссийской премии «Традиция» (2007).

Член Международного сообщества писательских союзов (2002), академик Петровской академии наук и искусств (2002) и Российской академии естественных наук.

Поэзия Дмитрия Мизгулина – это постоянные размышления о судьбе своей Родины, своего современника, о трагедиях и противоречиях отечественной истории, это – наблюдения над местом и судьбой искусства и творческого человека в сложно меняющемся мире. Стихам Д. Мизгулина свойственны умение проникать в подспудную, тайную сторону явлений, внешне простых и понятных. Стихи иногда проникнуты тонким юмором, а то и горькой иронией.

Лирическому голосу поэта свойственны чистота и непосредственность, оригинальность мировосприятия, однако это лирика и во многом пророческая, воскрешающая одну из славных традиций русской классической лиры: обращаться к истории своего народа и пророчествовать его будущее. Поэтому верится в лучшее, когда, прочитав у поэта о бедах и поражениях современной России, от него же узнаешь:

«Еще не окончена битва
И не предсказуем итог».

Все земное в поэзии Дмитрия Мизгулина неизменно связано с небесным, им соизмерено и им освящено:

«Но всем по заслугам Спаситель
Воздаст непременно сполна», –

убежден поэт и еще он убежден в том, «…русская литература будет жить. Будет жить и русское слово. Оно будет тихим и проникновенным. Оно будет для немногих.

… А дальше все повторяется опять.

* * *

В суете, в круговерти,
В суматохе разлук
Я подумал о смерти
Неожиданно, вдруг.

И как будто очнулся,
И качнулся перрон,
И вокзал пошатнулся,
И отчалил вагон.

Я исчезну во мраке
Беспросветной ночи.
Не залают собаки,
И луна промолчит.

В мельтешенье столичном,
В ритмах сумрачных дня
Жизнь пройдёт, как обычно,
Разве что – без меня.

Но не сгинут – хоть тресни,
Хороши ли, плохи,
Непутевые песни,
Путевые стихи.

Да, плутала дорога
В суете и грехах,
Только всё же от Бога
Слово в наших стихах.

Он рассудит бесстрастно
Мир больной и большой,
Ведь унынье не властно
Над бессмертной душой.

* * *

Пишу, пишу – а толку?
Заклятье над страной.
Дается легче волку
Общение с луной.

Какая тишь в округе,
Струится лунный свет,
И недруги и други
Давно сошли на нет.

Шумят морские воды,
Пространства сумрак сжат,
И тени пароходов
У пристаней дрожат.

Ржавеют кипарисы,
Мелеет водоём,
Давно сбежали крысы,
А мы ещё плывём.

* * *

Пиши, пиши, писатель,
Покуда хватит сил,
Уж раз тебя Создатель
Талантом наградил.

Ты в нашей жизни лишний,
Но не переживай,
Коль веришь, что Всевышний
Тебе откроет рай.

В лучах коварной славы,
В круговороте дел
Молись, чтобы лукавый
Тебя не одолел.

Бесовских игрищ зритель,
Не забывай Христа,
Уж раз тебе Спаситель
Слова вложил в уста.

* * *

Как смеялось и пелось
У беды на краю!
Всем, конечно, хотелось
Оказаться в раю.

Приводили примеры,
Подводили итог,
И без Бога и веры
Громоздили чертог.

Пролетели мессии –
Ни покрышки, ни дна.
На просторах России
Замерла тишина.

Совесть глуше и тише,
И не видно ни зги –
Затуманились души,
Заржавели мозги…

Но мальчишка со свечкой
У иконы стоит,
Пусть пылает сердечко,
И зовёт, и болит.

Не окончена битва,
И не дрогнет рука,
Только этой молитвой
Мы и живы пока.

* * *

Дымится мгла морозного тумана,
И первый снег отяжелил листву.
И то, что было призрачно и странно,
Отныне проступает наяву:
Покатых крыш немые очертанья,
Высокой церкви черный силуэт,
А в небесах, под сводом мирозданья,
Далёких звёзд лампадный, тусклый свет.
И на сто вёрст ни недруга, ни друга.
И на сто вёрст – глухая тишина.
И в снежный мрак погружена округа,
Чуть теплится тяжёлая луна.
И сколько мне ещё в пути осталось
Брести среди заснеженных могил…
Когда-то Русь и пела, и смеялась,
А нынче даже плакать нету сил.

В БОЛЬНИЦЕ

Светает рано. Тишина.
И мне, лежащему в постели,
Мир из больничного окна
Иным казался, в самом деле...

Ведь ты, доверившись врачам,
Уже в другом соизмеренье,
Тебя тревожат по ночам
Глухие шорохи и тени.

Грачей озябнувших галдеж
Бог весть чем кажется спросонья,
А все так просто, как чертеж
Ветвей нагих на синем фоне.

И вот очерчены уже
Все устремленья и желанья,
И смысл загадочный в душе
Уже на грани пониманья.

И осязаема тщета
Своим незримым постоянством,
И различимее черта
Меж бренным миром и пространством.

Когда, в беспамятстве дрожа,
Забилось сердце, онемело,
Когда казалось, что душа
Уже вот-вот оставит тело...

БАЛЛАДА О СКРИПКЕ

Смотрю, как мальчишка со скрипкой,
Сутулясь, идет впереди,
С какой-то счастливой улыбкой
Футляр прижимая к груди.

Кто – джинсы, кто – пиво, кто – лыжи.
А кто-то – совсем ничего.
Ему же лишь музыка ближе
И, может, нужнее всего.

И, может быть, необходимо,
Чтоб кто-то, про все позабыв,
Наигрывал неуловимый,
Еще не окрепший мотив,

Чтоб тайная музыка зрела,
Отринув мятущийся страх...
Чтоб скрипка звучала, звенела
В еще не окрепших руках.

ЦИРК МОЕГО ДЕТСТВА

Как прекрасно всё было вокруг!
И соседей счастливые лица,
И арены сверкающий круг,
Где ученые звери и птицы!

О таинственные миражи!
Но как был преисполнен отваги
Тот факир, поглощавший ножи
И стальные блестящие шпаги...

Лишь взмахнет рукавами факир,
Птицы вдруг вылетали оттуда,
И был этот загадочный мир
Воплощением света и чуда.

Но решив показать, что и как,
Чтобы публика вновь не скучнела,
Он раскрыл свои тайны, да так
Откровенно, искусно, умело,

Что восторг преисполнил сердца
Всех сидящих в восторженном зале,
Ведь такого, признаться, конца
Они, в общем-то, не ожидали.

Ну, а мне бы не видеть того.
Подступила вдруг к горлу обида.
Я крепился, твердил: «Ничего...» –
Не подав ни малейшего вида.

С затаенной обидой в душе
Я домой возвращался оттуда,
С той поры и доныне уже
Не живу предвкушением чуда.

Догорая, мерцают огни,
И тускнеют лазурные краски...
Миновали прекрасные дни,
Где я жил ожиданием сказки.

СУВОРОВ

Увы, уже не та столица,
Но он-то помнит те года,
Ведь с ним сама императрица
Была почтительна всегда.

И дело вовсе не в наградах,
Он не желает, не привык
Во фрунт тянуться на парадах
И пудрить выцветший парик.
Ему ль, солдатскому герою,
В тщеславной суете сновать?
В мундире прусского покроя
Душе российской не бывать!

Пока течет спокойно время,
Живет в угаре кутежей
Бездарное, тупое племя
Корыстолюбцев и ханжей.
И мнится им, что в этой жизни
Они познали всё сполна,
Но им Россия – не Отчизна,
Для них не Родина она…

А в нашем мире беспокойном
Опять война, опять пальба,
И будет выбирать достойных
Не император, а судьба.
И станет жалок и бессилен
Дурак в чванливости своей,
И позовет тогда Россия
Своих Опальных сыновей!
И побледнеют в страхе лица,
И дрогнет в зеркалах заря,
И понесутся от столицы
Во весь опор фельдъегеря…

Ну а пока – пора иная.
Качает маленький возок.
Не спит, о чем-то вспоминая,
Продрогший до костей ездок.
Склонившись, задремал возница,
А кони продолжают бег…
Когда-нибудь да пригодится
России умный человек!

1983

* * *

На Родине – как на вокзале –
Сумятица и суета,
И сумрак в прокуренном зале
Такой, не видать ни черта.
Здесь кто-то прибудет заранее,
А кто-то – в последний вагон.
И кружится в сонном сознанье
Мир шапок, ботинок, погон…

А после в бездонном пространстве
Лететь среди тусклых светил,
Чтоб ветер сомнений и странствий
Земную печаль возвратил,
Чтоб вновь поутру захотелось
Пройтись по траве босиком,
Чтоб снова печалилось, пелось,
И даже не важно о ком.

Чтоб вновь обрести постоянство,
Чтоб вновь осязать наяву,
Как падают звёзды в пространство,
Как яблоки, – прямо в траву…

ДОМ, ГДЕ ЖИЛ ТЮТЧЕВ

Смеркается. Как наважденье
В морозном мареве огней
Проспекта сонное движенье,
Реклам дрожащее свеченье,
Мерцанье тусклых фонарей…

Иду по Невскому. Знакомо
И всё почти известно мне…
На миг остановлюсь у дома,
Увижу яркий свет в окне.

Напряжены, в морозной пыли,
Гудят чуть слышно провода.
Здесь жил поэт. Давно забыли,
В какие именно года.

Уже пустеют мостовые.
Смотри, из этого окна
Ему видна была Россия,
Была судьба её видна…

* * *

Как много слов мы говорим подчас,
И думаем при этом мы едва ли,
Что, не расслышав вещий Божий глас,
Мы Бога в Русском Слове потеряли.

Не слушая друг друга, все кричат,
О правоте мечтая повсеместно.
Лишь нищие на паперти молчат,
А им, поверь мне, многое известно.

* * *

Опутано ложью полмира.
Не вырваться нам из цепей.
Всё больше и больше кумиров
У Родины бедной моей.

О, сколько предсказано сроков!
Тускнеет звезда на челе.
Всё больше и больше пророков
Идёт по бесплодной земле.

Не пашут, не сеют, не полют,
Едят с аппетитом и пьют.
О, как они сладко глаголют!
О, как они сладко поют!

Камней раскидали мы груды.
Поди их теперь собери!
Но снова толкуют иуды
Про отблески новой зари…

Я бред этот слушать не стану.
Не стану я им возражать.
Пораньше сегодня я встану,
Поеду картошку сажать.

Как скромный, но знающий зритель
Молчу – и на мне есть вина, –
Но всем по заслугам Спаситель
Воздаст непременно сполна.

Наладится жизнь понемножку.
Вернётся державная стать.
И время настанет картошку
По осени снова копать.

РОЖДЕСТВО

В церкви тихо. За окнами синими
Хлопья снега неспешно летящего,
В серебристо-берёзовом инее
Очертания города спящего.

Снегири, как шары новогодние,
Украшают столетние ели,
И сомненья тревожат – сегодня ли
Вдруг отступятся злые метели?

И рассеется вьюга вселенская,
И застынет, притихнув, природа,
И зажжется звезда Вифлеемская,
Озарив полумрак небосвода.

* * *

Растаял след инверсионный
В пустых, прозрачных небесах.
Гул самолёта отдалённый
Затих в синеющих лесах.

И потревоженные дали
Опять застынут на века,
Без устали и без печали
Под ними в даль стремит река.

И ты, измученный сомненьем
Во мраке лживой суеты,
Застынешь в скорбном изумленье
От величавой простоты.

И если есть на свете вечность,
То выглядит она такой –
Сияющая бесконечность
Над бронзовеющей рекой.

* * *

Мир ночной погрузился во мрак,
Дождь по крышам неистово лупит,
Ветер воет за окнами так,
Словно утро уже не наступит.

Слишком поздно настала весна,
Бестолково кончается лето,
Ни надежды, ни света, ни сна,
Ни малейшего в небе просвета.

Утомлённые таинством тьмы,
Ждём с тревогой грядущих возмездий –
Хорошо бы дожить до зимы,
До снегов, до промерзших созвездий.

Успокоятся мысли и сны
Под сиянием снежной луны.

КАДРЫ КИНОХРОНИКИ

Пленных немцев ведут по столице,
Офицеров ведут и солдат.
Я смотрю в их застывшие лица,
Вижу каждый затравленный взгляд.
Исподлобья глядят осторожно
И не ведают, что впереди…

Рядом – мать молодая тревожно
Прижимает ребёнка к груди,
Мальчик смотрит светло и серьезно
На притихший и солнечный мир,
И пытается выглядеть грозно
Улыбающийся конвоир.

БАБЬЕ ЛЕТО

Пора уходящего лета.
В такие минуты, поверь,
Покажется солнцем согрета
Печаль невозвратных потерь.
Но ныне погоды иные,
И бабьего лета не жди.
В районах Центральной России
Идут затяжные дожди.
В тумане промозглом деревня…
Как тихо на вечной земле!
Лишь только качают деревья
Ветвями в сиреневой мгле.
Ленивые струи стекают –
Тяжелая это вода.
Уже не гудят, а вздыхают
Натруженные провода.
Три дня не выходишь из дому,
Часами сидишь у окна,
И одолевает истома
Дневного, тяжелого сна.
Но вот начинает смеркаться,
Уже не видать ни черта,
Как вдруг начинают казаться
Знакомыми эти места.
И чувство, знакомое очень,
Как будто когда-то с тобой…
Быть может, промозглая осень
С твоей пошутила судьбой?..
Не вспомнить. Не вспомнить. И память
В помощники ты не зови.
Ведь все это было не с нами,

Но в нашей осталось крови:
Забытые песни, дороги,
Заросшие лесом поля
И тяжесть осенней тревоги,
Дождливых ночей сентября…
И вдруг пожалеешь впервые
О том, что уже позади…
В районах Центральной России
Идут затяжные дожди.

САКСОФОН

Ресторан. Полумрак.
Музыка тихо звучит.
Тихо всхлипывает саксофон,
Что-то бормочет он еле слышно,
Словно сквозь слезы...
Публика занята делом.
Что ей до музыки этой?
Похоти похоть жаждет. И похоть
Миром правит и суд вершит.
Тело нагое мерцает в одеждах,
Словно вино в запотевшем бокале.
Музыка тихо струится. Бормочет
Что-то, вздыхая, саксофон.
Всё вспоминает о скрипке. Но скрипка
Разве нужна в этот тусклый вечер?
Музыка нынче в сердцах иная –
Ритмы в такт телодвижений,
Музыка тихо струится и тает,
Дымом табачным неуловимо
К тускло мерцающей люстре возносится...

* * *

Нелегко быть с эпохой на «ты».
В наше время намного труднее.
Вдруг замру у тревожной черты,
У заросшей травою траншеи...

В небесах над моей головой
Облака проплывают, беспечны,
Зарастают траншеи травой,
Но, как шрамы, останутся вечны,
Но, как старые раны, болит
Наша память, и если вглядеться,
Лист осиновый кровью облит,
И куда нам от этого деться...

* * *

Не включай телевизор, не надо,
Хоть мгновенье побудь в тишине.
Меж ветвей опустевшего сада
Тихо звезды плывут в вышине.
Не включай телевизор, не стоит
Видеть этот вселенский бардак,
Где мечтает весь мир перестроить
Каждый третий ученый дурак.
Не включай телевизор, послушай
Шум листвы и шептанье воды,
Воздух майский немного получше
Испарений партийной среды.
Не включай телевизор, не трогай,
Молча пусть этот ящик стоит,
И дыханье свободы и Бога
На мгновенье тебя посетит.

* * *

Мы стали с тобой далеки,
А жизнь убывает незримо,
Как воды осенней реки,
Неспешно, но неотвратимо.
Растает в морозной тиши
Октябрьский сумрак ненастья,
Но вечная память души
Хранит впечатления счастья.
И пусть в немоте тишины
Приблизится сумрак развязки –

Реалью становятся сны
И былью – забытые сказки.
Меж нами – времен непогодь,
И ветер, и воды, и льдины,
Но души однажды Господь
Навек сочетал воедино,
А значит, ни страх, ни беда,
Ни боль, ни любовь, ни могила –
Никто, ни за что, никогда,
Вовек разлучить нас не в силах.

МЕТРО

Спускаюсь в подземное чрево,
Где в царстве полночных огней
Направо поедешь, налево –
Но цели достигнешь своей.
Маршрут нашей жизни спрямился –
Бетонные стены вокруг,
Куда б ты теперь ни стремился –
Всё будет по плану. Не вдруг.
Огней бесконечные четки
Считает, сбиваясь, душа,
По линиям строгим и четким
Маршрут бесконечный верша.
А может быть, к лучшему это,
Ни неба не надо, ни света.
Победно гудят поезда,
И солнце не слепит глаза.

* * *

В жизни – все идет по плану –
Поздно ляжешь. Встанешь – рано.
На работу и – домой.
В баню утром в выходной.
Телевизор. Гости. Дети.
Сорок лет на белом свете
Пролетели. Пронеслись.
Это – жизнь.

Дни летят неотвратимо.
Что-то в цель. А что-то мимо.
Едем с ярмарки. Как будто
И не вечер. И не утро.
Лошадей неспешный бег.
Выпал снег.

В суете и круговерти
Чаще думаешь о смерти.
Утром чувствуешь усталость.
Сколько там еще осталось?
По ночам тревожно спится.
Сердце. Печень. Поясница…
Едем дальше, не спеша,
А душа?

Давайте порассуждаем…

1. Каким настроением проникнуто стихотворение «В суете, в круговерти…»? Каким образом ритм этого стихотворения способствует созданию его содержания и настроения? Какие образы показались вам наиболее запоминающимися, выразительными?

2. Расскажите о том, как вы поняли суть стихотворения «Пишу, пишу – а толку...»? Каким представлено в этом стихотворении пространство, окружающее лирического героя? Могли бы вы назвать это пространство комфортным, гармоничным или наоборот? Почему? Как вы думаете, какой «толк» может или должен ожидать поэт от своего труда? Попытайтесь ответить на вопрос, который звучит в самом начале стихотворения.

3. Как вы думаете, не является ли стихотворение «Пиши, пиши писатель…» своеобразным ответом на предыдущее («Пишу, пишу – а толку...»)? Если да, то насколько убедительным показался вам ответ поэта на свой же вопрос? Прокомментируйте то, в чем поэт видит смысл творчества, если судить по стихотворению «Пиши, пиши, писатель…»

4. Расскажите о своем понимании главной мысли стихотворения «Как смеялось и пелось…». Какие слова, образы находит поэт для характеристики описываемой эпохи? Какими вы представляете себе людей, у которых «затуманились души, заржавели мозги»? Насколько убедительным показался вам путь, который для спасения предлагает поэт?

5. Каким предстает образ Родины в стихотворении «Дымится мгла морозного тумана…»? Какие образы находит поэт для того, чтобы рас-

сказать о своей Родине? Какими настроениями проникнут пейзаж в этом стихотворении?

6. Какими предстают герой и окружающее его пространство в стихотворении «В больнице»? Насколько убедительно, на ваш взгляд, в нем передано состояние больного человека? Как вы думаете, о каком смысле, загадочном в душе, идет речь? О каком понимании мира и жизни человека свидетельствуют, на ваш взгляд, слова: «И различимая черта меж бренным миром и пространством»?

7. Проанализируйте стихотворение «Баллада о скрипке». Расскажите о том, в чем смысл этого стихотворения.

8. Вспомните свои впечатления от циркового представления. Насколько сопоставимы они с теми, о которых пишет поэт в стихотворении «Цирк моего детства»? Что является в цирке самым красочным и привлекательным, если судить по стихотворению Д. Мизгулина? Как вы поняли, с чем связана была детская обида, оставшаяся после посещения цирка? Может быть, на такое и не надо обижаться? Поразмышляйте на эту тему.

9. Как представлена в стихотворении «Суворов» эпоха, в которой жил великий полководец? Что вы знаете о времени (1983 год), когда было написано стихотворение? Чем, по мнению автора, эти времена близки? Каким предстает образ Суворова в изображении Д. Мизгулина? Чем он привлекает автора? В чем, на ваш взгляд, заключена главная мысль стихотворения? Как вы думаете, утверждение, звучащее в последних двух строчках стихотворения, уже сбылось или такое время еще не пришло? Аргументируйте свой ответ.

10. Охарактеризуйте настроение стихотворения «На Родине – как на вокзале…» Какими средствами это настроение создается? Какие виды пространства сталкиваются и противопоставляются в этом стихотворении? Как характеризуется каждое из этих пространств? Как вы думаете, в чем смысл таких пространственных противопоставлений, как «прокуренный зал» и «бездонное пространство»? О каком понимании мира и жизни человека такая оппозиция свидетельствует?

11. Удается ли поэту создать образ Тютчева в стихотворении «Дом, где жил Тютчев»? Если да, то каким предстает его образ? Чем дорог нашему современнику поэт, живший в XIX веке?

12. Прокомментируйте основную мысль поэтической миниатюры Д. Мизгулина «Как много слов мы говорим подчас…» Можете вы согласиться с ее справедливостью? Что, по вашему мнению, может быть «известно» нищим «на паперти»? Обоснуйте свой ответ.

13. Как вы думаете, кого имеет в виду поэт, когда говорит о кумирах «Родины бедной моей» (стихотворение «Опутано ложью полмира…»)? Как он их характеризует? Как вы поняли, в чем лирический герой этого сти-

хотворения находит утешение? Не показалось вам странным то, как в размышления о судьбах Родины включается мысль о прозаической картошке, которую надо ехать сажать? Порассуждайте на эту тему.

14. Что создает настроение в стихотворении «Рождество»? Какими мыслями оно проникнуто? Какие вызывает образные картины и размышления?

15. Проанализируйте образный строй стихотворения «Растаял след инверсионный…». К чему, на ваш взгляд, стремится поэт, говоря об «устали» и «печали», об «измученности сомненьем» и «скорбном изумленье»? Как в этом стихотворении оказались связаны «след инверсионный» и «измученный сомненьем» лирический герой?

16. Расскажите о своем понимании смысла стихотворения «Мир ночной погрузился во мрак…». Как вы представляете себе человека (лирического героя), утомленного «таинством тьмы»? В чем такой человек, если судить по данному стихотворению, может найти утешение?

17. Удается ли поэту в стихотворении «Кадры кинохроники» воссоздать убедительную, зримую картину, виденную когда-то на экране? Если да, то какими средствами?

18. Какой предстает Россия в стихотворении «Бабье лето»? Какими настроениями наполнен этот образ у поэта? Дайте характеристику тому пространству, о котором рассказывает поэт? Как вы думаете, это пространство удобно, гармонично для человека? Аргументируйте свой ответ.

19. Чему и кому противостоит музыка в стихотворении «Саксофон»? Какую характеристику музыке дает поэт в этом стихотворении? Как охарактеризован мир, который разучился слушать настоящую музыку?

20. Как вы думаете, почему лирический герой считает, что «нелегко быть с эпохой на «ты» в одноименном стихотворении? Разве эпохи до нас были проще? Поразмышляйте на эту тему. Какую роль в этом стихотворении выполняет слово «траншеи»?

21. Насколько убедительно, на ваш взгляд, звучит призыв поэта в стихотворении «Не включай телевизор, не надо…»? Проследите то, как видоизменяется, трансформируется этот призыв от строфы к строфе? О чем свидетельствуют эти изменения? Как вы поняли, что поэт предлагает взамен телевизора? Насколько, по вашему мнению, такая замена интереснее, ценнее? Поразмышляйте на эту тему.

22. Какова, на ваш взгляд, главная мысль стихотворения «Мы стали с тобой далеки…»? Каким настроением наполнено это стихотворение? Как создается такое настроение?

23. Как вы думаете о каком, чьем голосе идет речь в стихотворении «В разноголосии времен…»? Почему, на ваш взгляд, поэт считает, что мы вершим свой путь «во мраке», не узнавая друг друга? Для ответа можно

обратиться к другим стихам Д. Мизгулина. Насколько близка вам такая позиция? Почему?

24. Аналогией чему выступает, на ваш взгляд, метро в одноименном стихотворении? Как бы вы ответили на предположение лирического героя («а может быть, к лучшему это»), которое звучит в последней строфе стихотворения? Поразмышляйте на эту тему.

25. Какой предстает жизнь современного человека в стихотворении «В жизни – все идет по плану…»? Можете вы согласиться с таким ее пониманием? Почему?

26. Напишите небольшое сочинение-рассуждение или эссе о лирике Дмитрия Мизгулина на тему «Едем дальше, не спеша, а душа?»

МИХАЙЛОВСКИЙ
Валерий Леонидович
(р. 1953)

Печатался в местной периодике, в еженедельнике «Литературная Россия», в журнале «Югра», в коллективных сборниках и альманахах.

Опубликовал сборник повестей и рассказов «Зимник» (2003), двухтомник прозы «Души неприкаянные» и «Северные ветры» (2005).

Член Союза писателей России с 2004 года. Член правления Ханты-Мансийской окружной организации Союза писателей России.

Лауреат премии Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в области литературы (2006).

Лучше всего прозу Валерия Михайловского характеризует его собственное признание: «Хочется заглянуть в прошлое. Так, как когда-то хотелось заглянуть внутрь игрушки. Потому что интересно… Потом хотелось узнать, что написано в толстых книжках. Хотелось впервые обнять женщину и открыть для себя новый мир любви и разочарований. Потом хотелось чему-то научиться, хотелось всем помочь, каждому посочувствовать, поучаствовать в его судьбе…»

Вот и заглядывает писатель в прошлое своей страны и семьи, во внутренний мир окружающих его людей. Ищет человека и учится понимать его, стремится помочь своим словом.

КРЕСТНЫЙ ХОД

Рассказ

1

– Боже, душе святый! Помилуй мя, грешницу старую, и внука мово Гришу. Даруй исцеление ему, Господи! Вразуми, очисти душу его от всякой скверны. Дружков отвороти от него, будь они прокляты... Прости, Господи, владеть собою нету сил... Не могу смотреть на них, окаянных: кружат как вороны... Вразуми их, несчастных! Погибают... Диаволу отдались в руки. Верни их мудростию своею. Заблудились, не ведают, что творят. Образуми, Господи! – Екатерина Романовна неистово крестилась, стоя на коленях, и после каждого креста с трудом прилипала лбом

к холодному полу, поднимала заплаканное лицо к образам, крестилась и снова падала ниц.

Огонек в лампадке подмигивал после очередного поклона, затем снова замирал, вытягивая тонкую копченую ниточку вверх в темноту. Тяжелые шторы не пропускали света с улицы.

– Боже! На тебя надеюсь, на силу и благость твою... На все воля твоя... – Старушка замолчала на минуту, вытерла платочком непрерывно катившиеся слезы и долгим тягучим взглядом уставилась в приоткрытую дверь.

В другой комнате на диване лежал, откинув свисающую почти до пола руку, молодой человек, бритый наголо. Лицо его выражало не то страдание, не то испуг. По тому, как глаза под синеватыми полупрозрачными веками беспорядочно бегали, можно было догадаться, что его донимали тревожные сны-видения. Рукав легкой рубашки задрался высоко, оголив тонкую костлявую руку подростка, испещренную синяками, рубцами, темными точками...

Екатерине Романовне была видна только рука, свисающая безвольной плетью. В дневном свете отсюда, из темноты, рука казалась восковой и безжизненной. Только мелкие подергивания пальцев напоминали о жизни, теплящейся в этом слабом теле.

Сердце Екатерины Романовны предательски замерло, потом заторопилось... К горлу подступил комок. Слабость потянула книзу плечи, голову. Она, не вставая с колен, собрав остатки сил, дотянулась до комода, взяла дежурный пузырек с корвалолом, накапала почти полную чайную ложечку, выпила, перекрестилась тяжелой, непослушной рукой:

– Боже, душе святый! Помоги пережить... Без меня совсем пропадет. Не дай погибнуть единственному внуку. Освободи его душу от скверны. Дай ему силы совладать с напастью... А если нет возможности вернуть мне Гришеньку... – она горько зарыдала, – прими меня, рабу твою, грешницу старую, дай умереть без мук и с покаянием! – Подняв глаза к святому лику, она прошептала: – Дай мне силы завтра дойти до Чудотворного Креста! – Трижды перекрестилась с поклонами до самого пола, тяжело поднялась, придерживаясь за угол комода.

Стараясь не шуметь, она тихо прикрыла дверь в свою комнату, достала ключ из отвисшего кармана.

– От родного внука закрываю... Прости, Господи! – Прошла к выходу, наружную дверь закрыла на два замка.

До вечерней службы время еще было, и Екатерина Романовна, свернув с главной аллеи, ведущей к церкви, направилась к кресту, установленному в честь Калиновского на дальней полянке. Она любила там отдыхать в тени. На одной из скамеек, затененной кустами уже давно отцветшей сирени, сидел пожилой мужчина в светлом старомодном костюме. Его шляпа лежала рядом, и он то и дело вытирал лысую голову платочком, не отрываясь от книги. Екатерина Романовна знала его. Про-

фессор Бауман (имя, отчество она запамятовала) преподавал когда-то у сына в институте. Сколько лет уже прошло... Иван ее даже знакомил с ним. Он тогда сидел на этой же скамейке.

– Здравствуйте, дай вам Бог здоровья! – окрепшим голосом сказала старушка.

– Здравствуйте! Присаживайтесь, – профессор взял шляпу, освобождая место, хотя скамейка была незанятой.

– Вы меня, конечно, не знаете...

– Отчего же, помилуйте, Екатерина Романовна. Очень даже хорошо знаю. И Ивана Степановича, сына вашего... покойного... – тут профессор запнулся, – помню. От Бога хирург... был. Я ведь тоже его рук не миновал... Золотые руки... Царство ему небесное. Помню я вашего сына, помню. Он ведь учился у меня. Молюсь за душу его светлую... И Марию Денисовну, невестку вашу, тоже знаю... знал. Они в одном отделении работали. Молюсь...

– Спасибо... А я ведь, извините, запамятовала, как зовут-то вас по батюшке.

– Евгений Михайлович, – отрекомендовался профессор и сделал попытку привстать, но подал только свое массивное туловище вперед.

– Слышали, Евгений Михайлович, завтра крестный ход в Калиновку ко Святому Кресту...

– Как же! Только и разговоров последнее время. И на службе батюшка говорил... Сегодня на вечерней огласят порядок... К сожалению, мне уже сие мероприятие не под силу. Суставы, знаете ли... Возраст... Восемьдесят два... Да-с, – на старинный манер закончил профессор.

– А я, даст Бог здоровья, пойду. Я ведь из Калиновки родом. Помню, мне мама про тот крест рассказывала... Со всех сторон народ собирался каждое лето в июле, в годовщину, значит. У нас многие странники останавливались. Восемьдесят лет прошло, как грех тот сотворился. Одна старушка, однако, осталась... свидетельница. Слепая совсем...

– Не могли бы мне рассказать? – Евгений Михайлович сел полуоборотом, приготовившись слушать.

Он знал эту историю, слышал о ней неоднократно. О том, как с фронтов Первой мировой войны возвращались солдаты на лошадиных повозках. Один солдат, бравируя меткой стрельбой, поспорил, что попадет из трехлинейки в крест, стоящий на перекрестке. Его отговаривали, но он все же выстрелил. Попал. Доказал снайперские способности. Подъехав поближе, солдаты увидели, что из пулевого отверстия сочится кровь. Стрелок тут же ослеп. Так гласила легенда...

– Приезжали врачи, ученые, брали на анализ. Признали, что настоящая кровь. Кровь, говорят, сочилась постоянно. Много людей прибывало посмотреть чудо Господне... С других стран, однако, приезжали... А вы что об этом думаете, Евгений Михайлович?

– Видите ли, Екатерина Романовна, я ученый... Верующий ученый. Я уверен только в одном: наука еще многого не знает. Мне не хотелось бы объяснять чудеса, сотворенные Божьим промыслом. Если все будет объяснимо, жизнь потеряет смысл. – Профессор задумался. – А какова судьба того солдата и что сталось с Крестом? – спросил он после паузы.

– Солдат покаялся, окрестился. Он, говорят, даже не знал, крещен ли; прозрел и всю жизнь просил прощения у Господа в монастыре. Вот только не знаю в каком. Крест же большевики потом убрали. Сначала никак не могли вытащить его: копают, копают, а конца все нет. Наутро приходят, а земля снова на месте, словно и не трогал ее никто. Снова копают, а утром та же картина. Зарядили тогда взрывчатку и подорвали. На месте креста воронка образовалась, и стала эта воронка заполняться кровью. Сколько ее ни засыпали, а кровь просачивается. Теперь на том месте церковь построили, внутри крест большой стоит, сквозь стеклянные стены его с улицы видать. Кровь проступать перестала. Со всех концов народ едет... Там, в Калиновке, похоронены Иван с Марией... – перескочила уже на свое Екатерина Романовна. – Пойду завтра, даст Бог силы... Может, Гришеньке вымолю спасение... Такая беда с ним приключилась... Такая беда... Не приведи, Господи! – Екатерина Романовна перекрестилась, глаза ее увлажнились, и она достала еще не высохший платочек.

– Может, моя помощь пригодится... Я ведь знаю вашу проблему. В одну церковь ходим: здесь все друг о друге знают. Я готов помочь...

– Спасибо, Евгений Михайлович, но мы уже все испробовали. Ванины друзья помогали – все бесполезно. Теперь только на Божью волю полагаюсь. Крестным ходом пойду. Молиться буду...

2

Паломники начали прибывать уже с рассветом. Небольшая площадь перед церковью тихо и незаметно заполнялась людьми. Шла служба, и дверь в церковь была открыта. Люди входили, выходили молча, собирались в группы, боясь потеряться в многочисленном потоке. Завидев друг друга издалека, знакомые подходили, молча обнимались, шептались, озираясь по сторонам, словно боялись кого-то потревожить. Иногородних священников, вышедших из двух автобусов, толпа пропускала молча, неслышно расступаясь в почтительном поклоне. Молодежь, удивляясь всему, округляла глаза, старушки крестились, старики почтительно склоняли седые головы.

– Братья и сестры! – обратился к паломникам молодой священник. – Крестный ход начнется ровно в десять. Во главе пойдут представители духовенства, монахи. Просим не толпиться, соблюдать порядок, – говорил

он хорошо поставленным голосом. – В пути предусмотрены две остановки для отдыха. Нас будут сопровождать две машины «скорой помощи». Да благословит вас Бог! С Богом, братья и сестры!

Екатерина Романовна давно не чувствовала такого подъема. Она забыла о своих немочах-недугах. Через два ряда сбоку, сгорбившись чуть не до самой земли и опираясь о посох, шла старушка. Она постоянно что-то шептала, упоминая одно и то же имя. Потом уже узнала Екатерина Романовна, что просила эта согбенная старушка у Бога здоровья своему умирающему мужу Глебу. Народу шло много и справа и слева; вперед колонна растянулась далеко, и сзади конца и краю не видно. Слух прошел, что около десяти тысяч. Сердце Екатерины Романовны работало без сбоев. Сладостная благость заполняла душу.

– Боже, душе святый, помоги моему Грише, вразуми его, дай силы ему, направь на путь истинный! Очисти душу от скверны, отвороти черных воронов... Прости меня, Господи! Может, недосмотрела где, может, виновата в чем! – Она и не замечала, что уже вышли из города, что уже идут нескончаемым полем. – Боже, душе святый, дай силы...

Не было конца людскому потоку.

Не было конца ее мучительным думам...

Молитва ее тоже не имела конца...

Она беспрерывно повторяла одно и то же, вплетая в молитву воспоминания о погибших детях, просила у них прощения. Винила себя за то, что помогла им купить тот злополучный «Запорожец». Теперь сын мог чаще приезжать к ней из областного города. Винила себя, что позвала Ивана с Марией в гости: яблочки уродились. Хотелось угостить. Да и сами они с Марией летели как на крыльях... Гриша-то, сыночек их ненаглядный, тогда по всему лету у нее гостил. Какое время было!

Екатерина Романовна обращалась то к сыну, то к невестке, то к внучку своему – Гришеньке. Просила прозреть, пожалеть ее и себя, непутевого...

Первый привал застал внезапно, прервав череду тяжелых воспоминаний. Люди заполнили дубраву, что тянулась справа сплошным массивом. Плотная тень дохнула свежестью, запахом примятой травы. Екатерине Романовне захотелось прилечь на прохладную травку. Нет, не от усталости. Усталости не ощущалось. Бывало, поднимаясь на свой третий этаж, она останавливалась на каждой площадке, переводя дух, прислушивалась к шальному сердечному ритму. А тут, пройдя половину пути, и не вспомнила о корвалоле. Она остановилась, прислонившись спиной к прохладному стволу столетнего дуба, ощутив шершавую кору; правой рукой тремя пальцами, как делают врачи, нащупала пульс на левом предплечье. Тук-тук-тук... Ни одного сбоя... Слава тебе, Господи!

– Вам плохо? – спросила ее долговязая девушка в ярко-желтой футболке и короткой юбке.

Екатерина Романовна глянула на стройную девушку. Почему-то именно она запомнилась ей еще у церкви. Там девушке сделала замечание пожилая монашка, указывая на не подходящую случаю одежду.

– Нет, доченька, все хорошо... спасибо. Я сама себе удивляюсь: прошла двенадцать километров, и нет никакой усталости. Я же сердечница... Три года на одних таблетках да на каплях. – Екатерина Романовна как бы в доказательство достала из кармана пузырек с лекарством. – Бог милостив – помогает...

Ей вдруг захотелось этой случайно встреченной девчушке с добрыми проницательными глазами открыть душу, поведать о своем Гришеньке, ее ровеснике. Ее душа наполнилась исповедальным ожиданием, разбухла этим чувством, и оно рвалось наружу. Только не каждому доверишься. А этим глазам ей почему-то хотелось верить.

– Женщина, пойдемте к нам: отдохнем, пообедаем, – прервал сладостно-щемящий поток мыслей Екатерины Романовны властный голос. – Мы еще не начинали... Пойдемте, – уже в другой тональности мягко повторил голос.

С удивлением Екатерина Романовна узнала монашку, отчитывавшую девушку.

– Ксюша, пригласи бабушку, – обратилась монашка к девушке.

– Пойдемте к нам... – Ксюша притронулась к ее локтю, сделала паузу.

– Меня, Ксюша, зовут Екатериной Романовной. Я ведь сама родом из Калиновки, – почему-то поспешила она сообщить девушке.

– ... Помолимся, дети мои, перед обедом, поблагодарим Бога за то, что дал нам пищу, за благость и щедрость его, – сказала монашка.

В семье, а Екатерина Романовна не сомневалась в том, что это была одна семья, все с почтением слушали старую монашку, оказавшуюся бабушкой Ксюши. Девушка села рядом с Екатериной Романовной, по другую руку полулежал на траве мужчина средних лет. «Отец Ксюши» – безошибочно определила она. Такие же проницательные и внимательные глаза. Она вдруг почувствовала себя в обществе давно знакомых людей. Маленькая девочка лет десяти – Машенька – называла ее бабушкой. Молодые священники, оказавшиеся монашке племянником и зятем, обращались к ней почтительно – по имени-отчеству. Ксюша оказалась студенткой мединститута. Мама Машеньки – сестра темноволосого отца Павла. По другую сторону стола – Ксюшина тетя и две знакомые женщины. Ксюша коротко поведала о каждой.

– Отец Григорий, – обратилась к русоволосому батюшке мама непоседливой Машеньки, – подайте Екатерине Романовне картошку.

При упоминании имени священника сердце скокнуло. Екатерина Романовна приняла картошку из рук отца Григория, посмотрела в его голубые, чистые глаза. Она знала, что всем священникам, идущим крестным ходом, дано право исповедовать желающих по окончании шествия. Она будет ис-

поведоваться именно этому молодому, с еще неокрепшей бородкой священнику. Только ему она хотела покаяться, только ему, отцу Григорию, она откроется. Он выслушает, он поймет...

3

... «Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй...» – беспрерывно повторяла сгорбленная старушка, идущая справа. Как-то само собой люди выстроились в том же порядке, как и до привала. Екатерина Романовна невольно искала в плотном людском потоке Ксюшу, и в ее груди теплело, когда желтое пятнышко ее футболки мелькало где-то далеко впереди. Солнечные лучи, просеянные сквозь повисшее марево полупрозрачной дымки, не докучали путникам. День выдался не такой жаркий, как вчера. И в этом многие видели промысел Божий.

На втором привале, длившемся значительно дольше, Екатерина Романовна легко нашла своих новых знакомых. Монашка Макария, бабушка Ксюши, оказалась ее ровесницей и тоже сердечницей, и это их сблизило. Макария, оказывается, с молодых лет страдает сердечной недостаточностью, ей врачи отпускали не так много на этом свете, но родила она троих сыновей, и вот после смерти мужа, поступив в монастырь, она каждый день молится...

– Бог меня пока милует. Врачи говорят – это чудо, что я живу до сих пор. Но я еще, слава Богу, и крестным ходом иду... И в монастыре я до сих пор работаю... Слава тебе, Господи, – она приподнялась, перекрестилась.

– А я еще вчера не уверена была, смогу ли пойти. Такие перебои меня мучили... Аритмия...

Они долго сидели в тени огромного дуба рядом, как сиживают подруги, не видевшиеся вечность, и говорили, говорили, сравнивая свои такие похожие и такие разные судьбы...

– Не знаю, могу ли я просить Вас, сестра Макария... – остановилась в нерешительности Екатерина Романовна, – помолиться за здоровье Гришеньки мово и за упокой родителей моих и детей... – Она прослезилась.

– Напишите... Помолюсь...

Нашли ручку, листочки из Ксюшиной записной книжки. Екатерина Романовна под словами «за упокой» упомянула мужа Степана, родителей – Игната и Серафиму да детей своих Ивана с Марией; в листочек «за здравие» – Григория, внука своего.

– Себя запишите. За вас помолюсь тоже.

И тут Екатерина Романовна растерялась. Ее руки вдруг заплясали мелкой дрожью, мысли разбежались, как призраки в тумане, ручка ткнулась в листок с одним именем – «за здравие», потом в другой, где вписаны пятеро – «за упокой».

– Вот сюда, – указала монашка пальцем под «Григорием». – Исповедайтесь сегодня, сестра моя, – сказала строго она, – и не гневите Бога. Только во власти Всевышнего знать, когда он нас, рабов своих, призовет к себе... – Монашка спрятала записки во внутренний карман. Она словно прочитала потаенные мысли Екатерины Романовны, словно услышала молитву вчерашнюю, молитву-надрыв, молитву-отчаяние.

– Я собираюсь до исповеди. У отца Григория исповедаюсь, – Екатерина Романовна поцеловала руку монашке.

– А Гришу своего привезите к нам в монастырь, можете на время даже оставить у нас. Даст Бог – образумится. Бог и не таким помогал.

4

На подходе к Калиновке уже в наступивших сумерках паломники зажгли розданные на последнем привале свечи. Песнопения с новой силой мощной волной прокатились от начала колонны до последних рядов. Екатерина Романовна никогда не видела более величавого и грандиозного зрелища: огромная яркая лента уплывала вниз к знакомому ей последнему спуску. Тысячи хаотично шевелящихся огоньков сливались в нескончаемую реку, живую, текущую туда, вперед, в темноту, в невидимую бездну. Огненная река бурлила, шумела, набирая силу, брызгала в темень тысячами искр, сливалась там на высоком холме с проявившимися уже звездами, уходила дальше в Млечный Путь.

Ноги несли легко, дышалось вольно. Почему-то Екатерине Романовне показалось, что она маленькая девочка и они с мамой возвращаются домой из той страшной тюрьмы в областном центре. Им не позволили передать отцу хлеб, баранки, махорку и теплые носки, свернутые в тугой узелок. «Враг народа» не нуждается в сочувствии, не достоин теплого взгляда дочери, нежного слова любимой жены... Она несет узелок, крепко зажав его в своих детских ручонках. Руки жжет, пальцы немеют, темно... Вдруг они заметили вдалеке огоньки... парами. Огоньки передвигаются, бегут вдоль дороги. Мама крепко сжимает ее руку, тянет за собой молча, боясь нарушить тишину... Они бегут изо всех сил, спотыкаясь, разбивают колени в кровь, поднимаются и снова бегут, не чувствуя боли. Бегут в темноту. За горкой начинается деревня – спасение. А огоньки зловеще мигают в темноте...

В кузнице на краю деревни работали всю ночь: жатва. Металлический спасительный лязг бился о темные небесные своды громко и звонко. Огонь, раздуваемый мехами, полыхал ярким заревом. Это и спасло их от настигавших волков.

... Попасть внутрь церкви не было никакой возможности. Шла всенощная, и голос из громкоговорителей разлетался по огромной площади, слы-

шимый каждому. Старушки шептались, приятно удивляясь, что ни один человек не воспользовался услугами «скорой помощи». Екатерина Романовна растерянно искала отца Григория, боясь, что не встретит его в толпе среди ночи. Площадь, заполненная многоликой толпой, освещалась светом, исходящим от церкви. Свет рассеивался, равномерно одаривая каждого частичкой своей благодати. Огромный крест величаво возвышался под куполом хрустального дворца, раздвигая его прозрачные стены...

– Отец Григорий! – Екатерина Романовна громко крикнула в отчаянии, боясь, что он затеряется в толпе. – Отец Григорий!

Молодой священник остановился, повернул голову.

– Я ищу вас, – она с трудом пробралась к нему. – Я хотела вас просить исповедовать меня.

5

Ноги тяжело поднимали отяжелевшее тело, преодолевая ступеньку за ступенькой. Руки тянули перила на себя, словно канат с непосильным грузом. Екатерина Романовна боялась остановиться. Силы окончательно покидали ее, но она, упираясь левой рукой в непослушное колено, а правой держась за перила, тянулась вверх. Дверь поддалась, зловеще скрипнув. Ключ не понадобился. Сердце зашлось. На негнущихся ногах Екатерина Романовна проковыляла в свою комнату. Она тоже оказалась незапертой.

Старуха рухнула рядом с выдвинутыми чужой рукой ящиками старого комода на колени.

– Господи! – шептали губы, – прости его! Сам не ведает, что творит. Прости его, Господи! – Екатерина Романовна сделала паузу, собираясь с последними силами.

Слабеющая рука крестила посеревшее лицо. Глаза уже не открывались, подбородок достал левую холодеющую руку, сжимавшую разогнавшееся в последнем рывке сердце.

– Господи, прими мою душу...

Как и просила Екатерина Романовна, похоронили ее рядом с Иваном и Марией. Место, где в ограде стояла деревянная скамейка, сама же для себя и оставила. Народу собралось немного. Из родных, кроме единственного внука, никого не осталось. Его долговязая фигура выделялась, возвышаясь над сгорбленными старушками. Никто не голосил, не валился без чувств. Старые подруги Екатерины Романовны лили тихие женские слезы, крестясь и косо поглядывая на Григория. Он тупо смотрел на восковое лицо своей бабушки, такое родное и такое теперь далекое. В этот жаркий июльский день он был одет в рубашку с длинными рукавами. Он обливался потом, почесывая то одной, то другой рукой сгибы локтей. Три дня он не выходил из квартиры, три дня не отзывался на звонки друзей, не открывал им дверь. Сейчас Григорий удивлялся,

что ломки не ощущалось, мыслил он совершенно ясно. Только теперь он понял, что остался во всем свете совершенно один.

Он медленно поднял опухшие глаза. Вдалеке, сверкая золотом, виднелся купол церкви. Ему вдруг вспомнилась та история с крестом, простреленным молодым бойцом, рассказанная когда-то бабушкой. Вот он едет на скрипучей телеге. Солнце своими беспощадными лучами прожигает легкую гимнастерку, жаром обдает голову. Вот он поднимает тяжелую винтовку, она непослушно тянет вниз... Ловит па мушку крест... Палец на спусковом курке не слушается... Он не может выстрелить, не хватает сил дернуть курок...

Григорий поднял голову к далеким куполам и перекрестился медленно, с чувством, как учила его в детстве бабушка.

БОЛЬ

Рассказ

Здравствуй, отец! Так и не сбылась твоя мечта еще раз ступить на сибирскую землю, увидеть это низкое небо, окинуть взором необъятные просторы, почувствовать эту ширь и мощь.

Много лет назад ты, детдомовец, вместе с инструментальным заводом эвакуировался в Новосибирск. Это по здешним меркам рядом, вон в той стороне, вверх по Оби. Сутки на «Ракете». Отсюда эшелонами шли на фронт снаряды и патроны, пушки и зенитки. На фронте, получив ящик с боеприпасами, ты непременно всматривался в номер завода и, если попадался знакомый, приговаривал: «Сибирское угощение», – и гладил каждый снаряд, прежде чем послать его в ствол сорокапятки.

Отсюда провожали тебя на фронт. Твои друзья по цеху тоже записались добровольцами. Каждый доброволец ставил на алтарь Победы свою жизнь. И в этом нет пафоса. Так было. Я это помню генетически. Для меня и сейчас слово «доброволец» – не просто слово. Оно имеет лицо. Твое лицо. Лицо миллионов таких же, как и ты.

Завтра 9 Мая. Открылась весенняя охота. Я сижу в скрадке. Еще днем приметил это место на мысу. Обзор что влево, что вправо... Меж густых кустов ракитника выстелил прошлогодним сеном место вроде гнезда. Делал на двоих. Друг со мной собирался – сосед по даче. Но отказался. Телевизор смотреть будет: сериал какой-то.

– Телевизор на даче – штука вредная, – раздосадовался я поначалу.

Тишина. Ветер утих, солнце спряталось за тучи, сгустившиеся на западе слоистым пирогом. Смеркается, но дни здесь в мае длинные, сумерки еще долго будут тянуться серой сыростью и прохладой, так что вся охота впереди. Скоро лет утки начнется. Слева на отмели чучела поставил – гоголей в весенней раскраске. Вон как белыми пятнами красуются. Тихо. Не шелохнутся.

Сейчас огурчик разрежу напополам. Стойки расставлю, чтобы не мешали...

Ружье должно быть под рукой. Лишние движения в скрадке делать не полагается. Вот так! Теперь нормально. Удобно вскидывать. Так. Влево, вправо. Все пространство простреливается. Отлично...

Где-то в белорусских лесах ты так же придирчиво и осторожно, боясь нарушить тишину, готовил себе огневую позицию и через мушку автомата просматривал с опушки леса деревеньку. Окапывали вместе с боевыми друзьями на выбранной высотке сорокапятку. Сколько сил забирала это опротивевшая пушка. «Прощай, Родина!» – в шутку прозвали вы ее за то, что в неравных боях с крестоносными танками погибали артиллеристы целыми расчетами.

Где-то на такой опушке ты не успел похоронить своих товарищей. На три месяца для тебя исчезли все звуки.

Твою голову разорвала невыносимая боль...

В госпитале ты молил Бога о смерти. Но Бог не спешил прислушаться к твоим мольбам. Тебе судьбою было начертано полюбить, родить троих сыновей...

И часто переживать тот взрыв.

Я помню, мама закрывала плотными шторами окна, а ты, стиснув зубы, кричал в подушку. Ты не хотел, чтобы мы слышали этот леденящий душу крик, ты не хотел казаться слабым. Мама выгоняла нас на улицу. Но мы, твои дети, все понимали... и ходили вокруг дома с круглыми от ужаса глазами. Эти глаза выхватили ту вспышку из плотного, пахнущего порохом и потом воздуха в злополучный миг. Эти глаза видели последние конвульсии твоих товарищей, эти глаза заглядывали в ствол вражеского автомата... Тогда мы смотрели на мир твоими глазами.

А помнишь, когда мы тебя просили рассказать о войне, ты отмахивался: «О войне нечего рассказывать, ее нужно просто забыть». Ты часто вспоминал только тот светлый миг, когда кто-то ворвался в казарму под Кенигсбергом и громко выкрикнул самое сладкое слово – ПОБЕДА! Слово, которое вы слагали по буквам своим ратным трудом долгие четыре года. И как в нижнем белье все бойцы выскочили на улицу, устроив часовую канонаду. Мне кажется, я там был. Мне кажется, я все видел. Я так отчетливо помню эту картину. Это раннее весеннее утро, эти крики ликования, всеобщего веселья. Я даже помню, как ты незаметно ушел в казарму и не мог найти себе места – приступ. И как ты потерял сознание. А потом ты сидел, уставившись в заклеенное накрест окно казармы, и думал, как несправедлива судьба. Ты, просивший на передовой смерти, остался жив, а друг твой Сашка, которого ждала беременная жена, погиб за несколько дней до конца войны. Ты сидел, курил самокрутку и понимал: тебя во всем свете никто не ждет, никому ты не нужен.

Ну, да ладно, что это я о грустном... Нужен ты стал маме, нам... детям, которых учил уму-разуму.

Давай поднимем стопки за тех, кто положил животы свои, «приближая День Победы, как могли», за тех, кто еще здравствует. Давай, не чокаясь... помянем...

Тихо... Пара налетает. Сели прямо напротив. Кряковые. Ружье. Ах ты, селезень, наглец! Еще круги не разошлись на водной глади, а он уже приставать к «даме». «Кря-кря!» – басовито так протягивает. «Кря-кря-кря», – высоко мельчит его подруга и гордо плывет, как будто пытается убежать. Нет, стрелять нельзя. Весна! Любовь! Ухаживания продолжаются долго. Посмотрим... Селезень следом. «Кря! Кря-кря! Кря!» – басом. «Кря-кря», – завлекая суженого, отзывается утка. Действует. Он словно нитка за иголкой – туда-сюда. Вот она подплывает к льдине и с ходу забирается, ловко подмахивая крыльями. Точно так же, со взмахом, опираясь крыльями о плотный весенний воздух, забирается па льдину и селезень. Красивый: с зеленым отливом голова, четко очерченная линия на шее, светлая, отливающая закатным розоватым светом грудка. Даже завиток на хвосте виден. Она же, серенькая, невзрачная, остановилась в ожидании, высоко подняв вытянутую шею, взмахнула крыльями, словно потянулась после сна. Селезень почувствовал твердь под ногами – переваливаясь с боку на бок, подбежал и запрыгнул на спину серенькой подружки...

А вот еще подлетают: пара, другая. И снова играют в догонялки. Потемнело. Уже десять часов. Залетали, залетали... Вот он – лет утки в полном разгаре! Снова пара падает рядом с чучелами.

Пусть себе летают, а мы поговорим... Мы так мало с тобой общались.

– Сын, как у тебя там дела, как науки твои? Экзамены?

– Нормально, пап, все ладом. Голова болит, отец?

– Бывает, но уже привык. Вот выучишься – вылечишь, – отшучивался ты.

Вот и весь разговор.

Выучился, но не вылечил...

Я знаю то, о чем ты никогда не упоминал при нас. Придется покаяться в одном грехе: я подслушивал вас с дядей Петей – Петром Климентьевичем, твоим свояком. Сначала получилось случайно – само собой. Отрапортовали в тот день парадные речи, отзвенели искренние колокольчики детских голосов на праздничных встречах, посвященных Великой Победе.

Вы сидели с ним на веранде – два фронтовика, выпивали за Победу, «за тех, кто остался...». Я даже помню бутылку водки на столе. То была «Московская» с зеленой этикеткой.

– Слушай, Леня, что я тебе скажу, – начал как-то полушепотом дядя Петя, – никто не должен знать то, что сейчас услышишь. Ни Лена твоя, ни тем более Аннушка моя. И вообще никто. Ты уже знаешь, что под Берлином меня изрешетило осколками. Достали из моего тела двенадцать железок... Да, видно, ненадолго я выкарабкался.

– Что ты болтаешь? Выжили – значит, будем жить.

– Не знаешь ты главного: во мне прямо под сердцем сидит еще один осколок. Его вытащить так и не смогли. Место недоступное. Я неделю назад в Киеве был, обследовали меня мои коллеги и сказали, что можно сделать операцию, но шансы небольшие... А этот осколок в последнее время колет, как будто нож кто вонзает. Один из приступов может оказаться последним... У тебя голова – у меня сердце. Каждый свою боль носит. Как врач я понимаю: недолго мне осталось... – Он обнял тебя и после паузы сказал: – И тебе с твоей головой тоже не век жить.

Я тогда впервые увидел мужские слезы, я впервые слышал дрожащий голос сурового на вид дяди Пети. Я носил эту тайну, как тяжелую гирю. Я не мог никому поведать то, что знал. Это было невыносимо. Я стал смотреть на дядю Петю другими глазами и удивлялся, как просто ты умел хранить его тайну. Я же здоровался с тетей Аней торопливо, боясь, что она спросит: «Что ты скрываешь от меня? Скажи, я ведь все вижу». Старался реже попадаться на глаза дяде Пете. Вдруг он подойдет, потреплет волосы, как он любил делать, и скажет: «Нехорошо подслушивать. Держи язык за зубами».

И я держал.

А через два года дядя Петя умер.

Ему исполнилось сорок два.

И ты не век прожил... Пятьдесят девять – это разве возраст?

Затем я подслушивал ваши разговоры нарочно. Я терся рядом с вами, по несколько раз лазил в ящик стола, будто что-то искал, ронял какой-то винтик и ползал под столом, стульями. Уши, как локаторы, улавливали каждое слово. Тебя это раздражало, ты пытался меня прогнать с веранды, но я снова находил повод зайти, и вы с дядей Петей уже не обращали внимания на мое «случайное» присутствие. С тех пор я ненавижу подслушивать, подсматривать в замочную скважину. Лучше неизвестность...

Но не раскаиваюсь.

Я бы не знал про твой штрафбат, про этот месяц ада, когда после каждой атаки под Кенигсбергом от каждой роты оставалось в живых по два-три человека, а на другой день их место занимали новые штрафники. Что это было? Скрытая форма приведения в исполнение смертного приговора? За что? За то, что ты на нормальном траншейном русском объяснил молодому безусому лейтенанту, что нельзя пушку ставить на открытом месте, потому что стоять ей там до первого вражеского выстрела. И что люди могут погибнуть. Ты замаскировал пушку, и она славно поработала, подбила три танка. А ту лысую высотку разнесло в пыль. Ты спас свой расчет, подбил вражеские танки, но вместо награды получил штрафбат. Откуда было знать замполиту, что материться ты научился раньше, чем он считать до десяти. Он же не воровал в десятилетнем возрасте. Он же не знал, что такое стая голодных бездомных детей с жестокими законами улицы. Не простил лейтенантик сержанту матерщины...

После каждой атаки, выпивая из алюминиевой кружки неразведенный спирт, ребята спрашивали: «Тебя снова не зацепило, Ленька? Ну, тогда завтра наповал шлепнет». За столом сидят все перевязанные: каждый попробовал немецкого «угощения», каждого зацепило. Только ты невредим. Тяжело раненных отправляли в госпиталь, а с «царапинами» в штрафбате не положено «отдыхать». Назавтра новая бездумная атака. И снова: « Ну, завтра тебя точно убьет». И ты снова шел в атаку в полный рост. Ты искал пулю, но пули свистели вокруг, словно издевались и глумились над твоей юношеской наивностью. Тебе было уготовано другое. Тебя снова ударило взрывной волной, для тебя снова наступила тишина. Теперь «только» на месяц...

А потом взятие Кенигсберга уже со своей частью. Свою вину ты искупил кровью: раненые и контуженные в штрафбате реабилитировались. Ты еще успел до конца войны получить новые награды: медали «За отвагу», «За взятие Кенигсберга» и орден Славы 3-й степени. Снова стать сержантом после разжалования в рядовые...

День Победы!

Для тебя всегда самым-самым был этот праздник с сиренью и черемухой, с тюльпанами и ландышами, с духовым оркестром в городском парке.

Кстати, через час наступит 9 Мая. Темно. Конечно, это не украинская ночь, но тем не менее... Моросит мелкий дождик, а я даже и не заметил. Стало зябко и сыро. Холодок незаметно заползает за пазуху, обнимает спину.

За Победу! За твою Победу!

Как звонко, словно праздничный салют, зазвенели стопки. Утки замотали головами. Вон там, на фоне светлого неба. Пригнуться нужно. Завертелись... Ну вот и успокоились, но на всякий случай отгребают дальше, в темноту. Все! Скрылись, растворились в ночи. Еле слышны редкие всплески...

Пойдем в лесок, чайку вскипятим, погреемся у костра. Чай из талой воды вкусный, я бы сказал – целебный. Ноги затекли от неподвижного сидения...

Костер разожжем... Твой сын в тайге как у себя дома. Снимаешь промокшую кору с этой сушины. Вот так. И под рюкзак или за пазуху, чтоб дождем не намочило. Береста, сухие ветки под густой кроной кедра. Быстро делаем шалашик из припасенных дровишек, чирк – и все. Дымит, правда, – сырость, ничего не поделаешь. Потерпим.

Закружил дымок, пламя робкими язычками облизывает сыроватые ветки, неустойчиво качаясь. Вдруг резким дуновением его прижимает к земле, но тут же огонь вспыхивает ярко и весело, набирая силу. Свежий ветерок придает огню уверенность. Это хорошо: разгонит тучи, к утру распогодится. Пусть чай закипает...

Это ведь я когда-то прибил гвоздями калоши Григория Степановича, нашего учителя физики. Мы его Цислём прозвали за мягкое произношение слова «число».

– Какое сегодня числё? – спрашивал он, зайдя в класс, и мелом писал на доске дату. Так начинался каждый урок физики.

Он был старомодным человеком, носил калоши, серый плащ и шляпу с широкими полями. Его шкаф, куда он вешал одежду и ставил свои блестящие калоши, стоял в углу по диагонали от входной двери за последней партой. Мы, пацаны седьмого класса, в щелку наблюдали, как Григорий Степанович обувал калоши, смешно подпрыгивая на одной ноге. В носках калош оказывались чернильницы. Он доставал чернильницы, поматывая головой, одевался с невозмутимым выражением лица и гордо шествовал через класс к выходу. Мы же в это время быстро убегали на второй этаж.

Шкаф был самодельный и не имел нижней полки. Калоши стояли на полу. И я, улучив момент, когда Григорий Степанович вышел из класса, достал припасенные гвоздики и приколотил гирей калоши. Гирю я взял с полки, где аккуратными рядами были разложены различные приборы: хронометры, барометры, склянки с растворами, весы.

Григорий Степанович сразу «вычислил» меня. Да и как не «вычислить». Кто бы мог позволить себе такую дерзость с Числём. А я его не боялся, он несколько раз бывал у нас дома, когда я еще в школу не ходил. Уже тогда я с удивлением смотрел на его калоши. Он уже тогда был седым и очень старым. Он поседел еще в войну.

Но он не стал жаловаться тебе, а, наоборот, хвалил за успеваемость. Я, действительно, учился хорошо, только вот поведение часто давало повод для огорчений.

Он по-своему меня воспитывал.

Наш класс находился в другом корпусе.

– Молодой человек, – поднимал Григорий Степанович меня, – у тебя треугольник есть?

– Нет, я не знал, что он понадобится.

– На уроке физики любой измерительный прибор может понадобиться в любую минуту. Сколько секунд тебе нужно, чтобы принести треугольник из своего класса? – и он смотрел в окно, прикидывая расстояние. – Я думаю, минуты хватит.

Он доставал секундомер.

– На старт... марш!– делал отмашку секундомером.

И я бежал по коридору, открывая на бегу двери. Коридор – входная дверь – школьный двор – снова входная дверь – снова коридор – дверь в класс. Доставал треугольник, бежал назад...

– Минута и двадцать секунд. Слабо бегаете, молодой человек, слабо.

Он снова давал отмашку, и я пускался по тому же маршруту, оставляя все двери открытыми.

– Минута и пять секунд. Лучше, но...

Я снова бежал. Я понимал все. Это была своеобразная игра. Это была плата за мое озорство. Пока я бегал, Григорий Степанович вел урок, как

будто ничего не происходило. Я же несся по коридорам сквозь заранее открытые двери.

– Вот это результат. Пятьдесят пять секунд. Ведь можешь? – и он, улыбаясь, смотрел на меня. – А теперь иди к доске и отвечай домашнее задание.

Он не ходил с жалобами к директору, как делали молодые учителя. И тебе он ничего не говорил о моих проделках. Теперь я знаю почему. Его сын тоже был на фронте. Я видел его иногда под огромной черешней в инвалидной коляске. Иногда ты заходил в тот маленький дворик, и вы, сидя за самодельным столом в тени, о чем-то разговаривали и курили дешевые папиросы. Григорий Степанович обычно хлопотал у стола. За пределами своего дворика сына учителя никто не видел. Он стыдился своей увечности.

Я раньше не верил старым людям, когда они, почесывая затылок, говорили: «Вот помню, тридцать лет назад...». Не мог я себе представить, что память хранит события тридцатилетней давности. Я не верил! А теперь сам вспоминаю то, чему уже сорок лет. И всплывает в памяти множество картинок из далекого детства, такого яркого и стремительного...

Я помню, мы жили довольно скромно. Ты работал учителем. Мама не работала – тяжелый порок сердца, сердечная недостаточность. Учительская зарплата и тогда не позволяла жить нормально. Мама вела семейный бюджет так, чтобы семья из пяти человек могла как-то существовать на сто шестнадцать рублей. Она переняла от своего отца, моего дедушки Ильи Афанасьевича ремесло, которое давало дополнительный доход. Но не женское это дело – шить меховую одежду. Ты как мог помогал ей. Я помню, как по ночам ты вычищал шкуры, сначала вместе с дедом, а потом, когда дед умер от рака легких, сам возился с этой вонью. Утром приводил себя в порядок и шел учить детей. Ты перестал писать стихи, басни, ты забросил кисть и масляные краски. Твой мозг был занят одним: добыть деньги, накормить детей – своих сыновей.

Помню, как, наливая чай, мама клала в каждую кружку по две ложечки сахару. Никому не запрещалось взять еще, но все знали, что положено две.

Однажды мама попросила меня купить хлеба. Обычно мы покупали три булки черного хлеба на неделю. Черный стоил шестнадцать копеек. Белый – восемнадцать, двадцать. Белый мы покупали редко.

Ты еще шутил, что от белого хлеба в носу свистит. Я и сейчас верю, как и в то, что чем быстрее помешивать ложечкой чай, тем он будет слаще...

Так вот, взял я сорок восемь копеек, авоську и пошел в хлебный магазин, что напротив аптеки. Ну почему тогда не было черного хлеба? Зачем завезли нарезные батоны по двадцать четыре копейки? Какие они были аппетитные! Какой запах! Я не удержался и купил два. Один съел по дороге. Мне казалось тогда, что ничего вкуснее на свете не существует.

Мама, увидев обвисшую авоську с одним батоном и мое сытое лицо, все поняла. С ней случилась истерика.

Я не знал, что это были последние деньги.

Я многого тогда еще не знал.

Ты стал невольным свидетелем этой сцены. Ты стоял за спиной мамы.

Я никогда не забуду выражения твоего лица.

Потом ты выскочил в открытую дверь, в комнату.

И стон сквозь подушку...

Светает. Внезапный порыв ветра перебирает хвойные лапы кедра, прижимает к земле дым и гонит вглубь гривы. Где-то на северо-востоке еще не появившееся солнце прорвало светлую полосу вдоль низкого горизонта. Дождь закончился, и свежий ветерок, сдувая прозрачные дрожащие капли с еще не распустившихся почек, поднимает пепел из догорающего костра. Появились блеклые звезды в разрывах между облаками. Пора в скрадок.

Уток налетело! На льдине сидят, нахохлившись. Большими кажутся, как гуси. А там стайка чернети. Прижались к воде, насторожились. И на льдине тоже повытягивали шеи. Заметили... Стоп. Тихо. Не шевелиться... А какой простор!

Птичий гомон нарастает с каждой минутой. На первый взгляд кажется нескладной эта шумная симфония. А прислушаться... Каждый ведет свою партию. Здесь нет первой скрипки, нет второстепенных инструментов. Никто на этих подмостках не отсиживается на подпевках. В этом величии звуковой гаммы все солисты. Каждый исполнитель поет свою песню жизни своему слушателю. И никто не останется без внимания.

Прорываюсь в скрадок. Шумно поднялись стаи уток, закружили, забирая с каждым витком все выше. Снова налетают парами утки, садятся, чтобы продолжить свои брачные игры. Радуются весне...

Уже 9 Мая!

– С великой Победой, отец!

Чайки так неистово кричат, что звон рюмок почти не слышен...

Так кричали чайки в том далеком и страшном 1933 году над Каховским водохранилищем, когда умерла твоя мама. Отец твой умер, когда тебе было три года, отчим – не дотянул до весны 33-го. Он свой паек отдавал вам: твоей маме, тебе и твоему младшему брату Ване. Мама в первую очередь старалась накормить детей. Ты спрашивал маму, почему она не ест, а она успокаивала: «Мне хватает...» – и показывала тебе свои руки и ноги: «Видишь, Леня, я даже поправилась». Ты верил и делил ее паек с Ваней. Откуда тебе, десятилетнему мальчишке, было знать, что то были «голодные» отеки...

Ваню усыновили родственники твоего отчима, его родного отца, и увезли в другой город. Время было тяжелое, и взять обоих они не могли.

Сначала ты тяжело приживался в банде беспризорников, но потом, благодаря смекалке и ловкости, освоился. Ты научился бесшумно выдавливать стекла, предварительно заклеив их намазанной солидолом бумагой или тряпкой, делать подкопы и ужом проскальзывать в любую щель. Ты

научился на базаре «заговаривать зубы» спекулянтам-барахольщикам, пока по карманам шарились твои старшие напарники...

Ты научился жить этой мерзкой жизнью.

Научился выживать.

Через полтора года ты нашел своего брата. Оборванный, завшивленный, босой, ты добирался в далекий город Хмельник через всю Украину где пешком, где товарняками. Раньше ты уже был здесь с мамой и отчимом. Остановившись у знакомой калитки, ты долго наблюдал за мальчиком лет шести в чистеньком костюмчике. Тебе запомнился этот матросский костюм, веселый мальчуган, бегающий по лужайке за красно-зеленым мячиком. Он подошел к тебе. Ты смотрел на родного брата, и слезы оставляли дорожки на твоем грязном от угольной пыли лице.

Полтора года ты не плакал. Ты стал уже взрослым.

– Я кушать хочу, Ваня, – еле выдавил ты.

Потом ты смотрел вслед бегущему в сторону дома мальчугану.

– Тетя, там старец пришел, он кушать хочет! – кричал он.

Тетя долго не выходила. Ты смотрел на своего брата и радовался его судьбе. Но что-то тревожное шевельнулось в душе: ты вдруг испугался, что станешь невольной помехой благополучию твоего брата, и, не дождавшись тети, поспешил скрыться.

Встретились вы с братом только после войны. Я помню, как ты ему рассказывал о своем беспризорном прошлом, о детдоме, о войне. Мне не забыть, как, обнимая тебя, украдкой смахивал слезу дядя Ваня. Твои же глаза оставались сухими: ты свое выплакал, отстрадал...

Солнце уже выкатилось и слепит глаза, отражаясь от неровной водной поверхности тысячами солнечных осколков.

Пора домой. А тебе бы здесь понравилось. Я знаю...

Ты собирался приехать ко мне летом восемьдесят второго, а смерть настигла тебя седьмого ноября восемьдесят первого. Ты уже не работал. Просто не мог работать, и тебе позволили пойти на пенсию на год раньше – в пятьдесят девять. Но секретарем парторганизации школы ты оставался по-прежнему. В тот праздничный день, как обычно при орденах и медалях, в восемь утра (ты любил точность) направился в школу, но дверь, которую открывал каждое утро уже тридцать лет, не распахнулась. Те фронтовые взрывы эхом невыносимой боли отозвались в твоей голове. Ты потерял сознание.

Для тебя наступила тишина.

Теперь навсегда.

На похороны я опоздал. Я звонил из Москвы, где застрял на двое суток из-за нелетной погоды, и просил не засыпать могилу землей. Мне хотелось попрощаться с тобой.

Заметенную снегом могилу помогал откапывать дядя Ваня.

Ты улыбался своей доброй улыбкой, как будто успокаивал меня. В этой улыбке была неловкость человека, невольно причинившего боль ближнему.

Мои коллеги-врачи, исследовавшие твой мозг, удивлялись, как ты жил. Я не стал читать заключение о причине смерти.

Я знал больше, чем они.

А вот и товарищ, который отказался вчера идти на охоту.

– Ну, как зорька? – спрашивает он, потягиваясь после сна в теплой постели.

– Такая охота бывает раз в жизни. – Я смотрю на него благодарными глазами и думаю: «Хорошая штука все же этот телевизор!»

МЕШАВКИНО СЧАСТЬЕ

I

Алька, как привыкли кликать ее бабы, идёт с коромыслом через плечи, плавно покачивая бёдрами, словно и не замечает облапывающих взглядов землячек.

Так уже повелось, что все в посёлке, узрев еще издалека красавицу Алевтину, говорили не то со зла, не то с завидками:

– Глянько, Мешавкино счастье плывёт.

– Ага! Чё она нашла в ём? Дистрофик хромой.

– А вот же присушил…

– Дак ей-то куды было с тремя-то деваться.

– Тут девки не в етом дело: любовь...

– Кака там любовь! У ей трое, у него своих трое. Шестеро на свою шею навесила, дурёха. Да еще и общего нажили – седьмого.

– Нет, девки, то – любовь… Он же за ей как за павой ходит.

– А куды ему деваться? Хромой, старый, да с тремя довесками. А она смотри – красавица писаная. Да он её должон на руках, как хрустальну вазу, носить…

– А может, и носит… Завидно?.

Бабы стоят у забора, забыв уже, какое такое дело собрало их сейчас в эту страдную пору сенокосную. Ясное дело, не Алька. По им получается, что и ему – Мешавкину, и ей – Альке деваться друг от друга некуда. Судьба, значит.

– Здравствуйте соседушки, – поравнялась Алевтина с бабами, сняла коромысло, расправила крепкие плечи, освободившиеся от гнета двух полных ведер чистой колодезной воды.

– Здоровой будь, – запели бабы.

– Не откосились ишшо? – спросила одна.

– Не-е-т, – протянула Алька. – На дальнем покосе ворошить завтра будем, а на ближнем, за логом – косят. Обед понесу, управлюсь маленько. Борща наварила, пирожков испеку, да квасу холодненького с погреба достану. Упарились там, поди, мужички, вон жарища какая, – Альке и передохнуть охота, да и так перекинуться словцом.

– Вручную, что ли, косят?

– Вручную. Где же денег наберёшь на косилку. У меня же четверо мужиков, – Алька улыбнулась широко, – сказали – выкосим сами.

– Выкосят. Молодые-то, сыновья евонные, вон здоровые какие бугаи.

– Митя тоже, не смотрите на хромоту, он мужик так-то здоровый.

– Знамо дело, раз детей ишшо строгает, – хихикнула не зло соседка.

Алевтина, смутившись, ловко подхватывает коромысло, водружает на плечи, не расплескав ни капли влаги, и, выразительно выгибая стан в такт шагам, идет по пыльной улице.

– Мешавкино счастье, – слышит она в спину.

Бедная Алька.

«Пусть говорят», – думает Алевтина.

Бабы вздыхают вослед, и уже судачат о другом. Об этой истории всё переговорено.

О счастливой семейной жизни книг не пишут. Всех интересует закрученный сюжет, интрига, что-то этакое жареное. Слёзы, измены, а еще лучше смертоубийство «на почве ревности», чтоб мурашки по коже – вот чего ждет читатель; словом того, чего нет в этой самой счастливой семейной жизни. И, если счастливые семьи, как говорится, счастливы одинаково, то пути, по которым оно просачивается в каждую ячейку общества очень даже разные: на одних оно обрушивается разом, словно манна с небес, и счастливую пару, объевшуюся дармовой каши, пробирает разом невесть откуда взявшийся разрушительный понос; а другие складывают свое тихое счастье по маленьким крупицам и радуются каждому дарованному Богом дню долго-долго.

II

«Жили-были», хочется продолжить дальше. Ну, что ж хочется, так и поведем. Жили, значит, были в одном посёлке молодая девушка-красавица Алевтина и немолодой уже мужчина Дмитрий Матвеевич, изувеченный поездом еще в молодости и списанный с «железки» по здоровью. В железнодорожном посёлке другой работы ему не нашлось, и стал он плести разные поделки из ивовой лозы. Да так у него ловко да споро получалось, что вскоре это увлечение стало кормить его. Перебивался так с хлеба на квас, потом молва о мастере облетела всю округу, даже в области заказы ста-

ли появляться; и зарабатывал, бывало, Дмитрий Матвеевич Мешавкин поболе, чем служащие железной дороги. Только труд этот был слишком тяжёл: заготовить ивовые прутья надо – да вовремя, да ту еще иву, за которой бывало по десятку километров топать приходилось. И все пешком – это со своей-то клюкой негнущейся. Правильно обработать – надо, хранить правильно – надо. А сколько терпения нужно, чтобы всякие выкрутасы из той лозы спроворачивать, да такие, что за душу берёт, словно кружева какие сказочные, словно не из прутьев, а нитью золотой плетет.

Женился Дмитрий Матвеевич поздно (за тридцать, однако, стукнуло) на доброй тихой девушке, и жили они также тихо. Народили троих сыновей. И всё было бы хорошо да ладно… Но жена тяжело заболела какой-то женской болезнью, так же тихо, как и жила, умерла. Как мог, пережил Дмитрий Матвеевич горе, как мог, тянул нелегкую лямку один. Сыновья подросли, помощь от них ощутимая пошла, особенно, что касалось заготовок лозы. Они молодые, быстрые на ногу, носили лозу снопами с отцовских мест, а тот, водрузив смешно очки на самый кончик носа, занимался плетением «до одури», как иногда говаривали соседи.

Так вот: на другом конце поселка за это время вошла в пору молодая красавица Алевтина, и вышла она замуж за самого славного парня Алешку. У них было свое счастье: громкое и голосистое, как утро майское. Часто слышали соседи перебранки меж молодых, но на утро – снова под ручку. «Молодые бранятся – только тешатся», – шептались люди. Три дочурки-погодки родились как-то враз, как с неба упали. Шумно жили молодые, но с годами веселости поубавилось порядком. Пить стал Алешка. Покатилось всё кувырком: с работы уволили, на другую работу не берут: молва быстро разошлась, не зря говорят, «как брехня по деревне». Позвал его на заработки однокашник на Север, куда-то на Ямал.

А через год получила Алевтина похоронку, как с фронта. Начальник прислал письмо, что так, мол, и так – замёрз. Из деликатности, видно, не поведал истинную причину, но Алевтина и сама догадалась. Тут, как говорится, и к бабке не ходи. Ни разу денег не выслал хоть детишкам на конфеты, ни одного письма не получила Алевтина. Все узнавала через знакомых. Взревела поначалу молодая вдова белугой, билась, как рыба. Горе больно обожгло, глубокие рубцы остались в душе. Замкнулась Алевтина, сникла. На работу, с работы ходила, торопясь, словно боялась чего. Сгорбилась, и потеряла ту женскую стать, что манила к себе ещё не так давно всех мужчин поселка.

III

Никто не знает, как случилось, что Алевтина перебралась в просторную избу-пятистенку к Дмитрию Матвеевичу Мешавкину. Судачили, будто на профсоюзном собрании, куда пригласили и бывшего железно-

дорожника Мешавкина, Алевтина, будучи профоргом, вручала ему подарок в честь дня железнодорожника – наручные часы; и что после праздничного застолья они уже не расставались. Ходили слухи, будто Алевтина заказала мастеру корзину для грибов, и он, сделав ей необыкновенной красоты плетёнку, поразил молодую женщину прямо в сердце. Да мало ли слухов распространялось. А корзина та действительно существовала. Не раз видели с ней Алевтину. Все дивились работе мастера: надо же, розу выплел как живую на боку корзины, да и в самой корзине плетение чудное какое-то применил – кружева будто сказочные.

Раз судьба свела их, да повязала любовью крепкой, решили они сочетаться браком по всем, как говорится, правилам.

В загсе приглашенных не было, свидетели разве что: хотелось тихо расписаться, к чему шум-то. Но шило в мешке не утаишь. Зевак набежало, что чуть забор не обрушили от такого любопытства. В окна зырят, диву даются, что же это делается: Алька, первая красавица, за хромого идет. Пришлось сердобольной работнице государственного учреждения пустить всю толпу в залу. Сам Дмитрий Матвеевич разрешение дал:

– Пусть заходят, а то будто в замочную скважину подглядывают, – сказал жених и зыркнул на Алевтину.

– Пусть смотрят на счастье наше, не жалко, – звонко согласилась невеста.

Видно, с тех пор и пошло: «Мешавкино счастье».

Пока стоят ручка об ручку, речь сладкую слушают – вроде пара как пара, но стоит с места стронуться, как хромота жениха прыгает гадкой лягухой в глаза. И возраст, припудренный торжественной обстановкой, новым костюмом, лезет наружу, обозначая разницу в годах. Ей на тот торжественный момент исполнилось двадцать семь, жениху через два года полтинник круглится.

Нашел Дмитрий счастье своё, десять годов один бобылился.

– У Альки-то глянь, как глаза блестят, лампочками светятся, – судачат меж собой бабы.

– А он тоже срамной – прилип своими губами к Альке. Нет, чтоб так, для блезиру чмокнуть.

– Всурьез целуются.

– Может, то любовь?

– Кака така любовь? Нужда заставила.

– Когда по нужде под венец идут, так не радуются.

Жених, будто уловил ухом бабские шепотки, молвил:

– Люблю я Алю, больше жизни люблю, не дам её в обиду, – словно оправдывается перед народом.

– И я Митю люблю, мы же счастье своё нашли, – вторит ему Алька.

Какое такое счастье, думают бабы, какая такая любовь?

IV

Алевтина с котомочкой вышла за калитку, и словно забыла что-то, снова взялась за штакетину. Возвращаться – плохая примета.

– Аня! – крикнула громко. На пороге появилась девчушка лет десяти.

– Что, мам?

– Бельё погладь – пересохнет, и Машу покорми, как проснётся, да приглядывай за ей!

– Хорошо, мам!

На Алькин голос оглянулись бабы. Они всё ещё не расходились. Видно, шибко сурьезный разговор имелся.

– На сенокос бегу, – словно оправдывается Алька.

– Заждались тебя уже там мужики-то.

– Им обедать уже пора. Вон пирожков свежих испекла… – Алевтина остановилась – не пробегать же мимо.

– Ты вот скажи, Алька, как тебе удаётся так мужика держать, что он готов тебя во все места целовать? – спрашивает румяная соседка.

– Снова за своё! Завидно, что ли не то ли? – скрипнула пожилая толстушка.

– Да нет, просто интересно.

– Что тут рассуждать, – Алевтина поправила белый платок, – я его не держу никак; мужики ведь только напускают на себя суровость: лоб морщат, брови насупливают да басом рыкают, а как приласкаешь его да приголубишь, так у него и глазки нежностью засветятся, и голос бархатным станет.

– Знаем мы их, мужиков-то. Имя спуску давать нельзя, одной ласки мало, имя и кнут нужон.

– То-то твой ходит, как зверь хищный, на людей бросается, намедни моего чуть не ухайдокал. Видно, совсем кнутом-то заездила, – зло пробасила толстуха.

– Твой-то тоже хорош, – пошла в контратаку румянощекая.

– Ладно, я пойду, – Аля тихо отклеилась от разругавшихся баб. Никто уже не обратил на неё внимания.

Солнце печет немилосердно, стрекочут сухо кузнечики, высоко в небе радуются погожему дню жаворонки.

Вжик, вжик, вжик – ложится трава ровными рядками-валками. Первым идет отец, за ним сыновья. Загорелые спины переливаются налитыми мускулами. Засмотрелась Аля на такую красоту – ладится работа. Не сразу заметили косари свою кормилицу.

– Э-э-эй! Ваша мама пришла, молочка принесла! – весело выкрикнула Алевтина.

Как по команде остановились работники, вытерли косы скошенной травой, обступили Алевтину. Она первым делом налила квасу в кружки, сначала подала мужу.

– Ещё на часок работы.

– Быстро вы управляетесь, я думала, и половину не выкосили? – удивилась Алевтина.

– Да с такими орлами горы свернуть можно!– отец гордо мотнул головой в сторону сыновей.

После обеда легли в тени отдохнуть.

– Не простыньте, – заволновалась Алевтина, – подстелите что-нибудь… Распарились.

V

Потом думала Алевтина: «Накаркала». Простыл-таки Дмитрий. Сначала так – недомогание какое-то навалилось. Думал поначалу, может, от усталости. Потом зазнобило: неладно же, в такую жару вдруг сделается зябко да такая слабость наляжет, что и шевельнуть рукой неохота. Сначала еще ходил с ребятами сено ворошить, а на третий или четвертый день не смог. В боку закололо, дыхалка сбилась. Вызвали фельдшера. Послушала она, глаза округлила, дрожащими руками нашарила в своём саквояже бумажку с печатью, нацарапала непонятным почерком направление в больницу, сделала укол от жару.

– Немедленно ложиться в больницу, – сказала строгим, не терпящим возражения голосом.

– А что у него? Диагноз какой? Что-нибудь серьёзное? – начала сбиваться Алевтина.

– Плеврит. Ему откачку нужно делать жидкости из плевральной полости, – научно объяснила фельдшерица, заметно волнуясь.

Это волнение опытной фельдшерицы тоже не ускользнуло от внимательной Алевтины. Заколотилось сердце, почуявшее беду.

– Мы сейчас же, немедленно, только соберемся, – затараторила Аля.

– Машину я пришлю, если шофер куда-нибудь не запропастился, – фельдшерица уже была на ходу.

«Хоть бы не запропастился, – мелькнуло в голове Алевтины. – Хоть бы не запропастился».

– Что ты так убиваешься, Аля, будто хоронить меня собралась, – тихо молвил Дмитрий, когда уложился в носилки.

– Не говори таких слов, – и пристально посмотрела ему в глаза, – помирать тебе никак нельзя.

– Нельзя, я знаю, а значит, не умру, – прошептал он как-то неубедительно.

«Сказать ему сейчас или не стоит», – засомневалась Алевтина. Потом решила, что ничего сейчас говорить не будет. Мало ли, а вдруг холодных соленых огурцов ей захотелось просто от жары нестерпной, вдруг тошнит не от того, а просто от работы непосильной и голова, может, от того же

кружится. Но то был самообман, на который мы часто себя обрекаем, чтоб легче неожиданности всякие перенесть. Знала ведь Алевтина о своей беременности, конечно, знала, но ставить сейчас мужа в известность в столь невыгодных обстоятельствах не стала.

Увезли Дмитрия Матвеевича в область.

Опустел дом: вроде только одного человека нет, а стало пустынно и одиноко Алевтине. Не пройдет и минутки, чтоб не вспомнила о своём Мите. Съездить в область не найдет никакой возможности: то на дальний сенокос стожить поедут, то на ближний; да погода одурела – дожди заладили, на поводке коротком держат: только успевай хоть по маленькой копешке в день да спроворотить. Зато звонить чуть не каждый день бегает.

– Что ты трыщешься каждый день, – уже обижается фельдшерица.

Связь с областью неважная, и ей приходится по часу, а то и два терять, чтоб дозвониться в отделение. А там тоже не шибко привечают, нагрубят еще да обхают, что, мол, каждый день спрашиваете. Из реанимации перевели в общую палату, идет на поправку, радуйтесь, мол, и не тревожьте так часто, без вас, мол, забот полон рот. Так месяц миновал, другой начался. Изредка фельдшерица весточку добрую передаст – идет на поправку. Несколько раз удалось с водителем передать чего-нибудь домашнего, надоели там, поди, казенные харчи. Хоть и знала Алевтина от водителя, что кормят хорошо.

Сенокос кончился, заготовки пошли: огурцов-помидоров закрутить, варений разных наварить, благо, что все уродилось. Опять же – хозяин постарался: его рукой посажено. Солит огурцы Алевтина, непременно подумает: «Митя любит, чтоб огурцы с помидорами в одной банке», – и рецепт выбирает тот, что мужу по нутру. Все угодить ему охота. Вот он приедет из больницы и будет она его потчевать всякими вкусностями.

– Мама, – кричит с улицы доченька младшая, – варенье будем варить из клубники?

– Нет, доченька, папа любит засахаренную.

– А я хочу варенье.

– Хорошо, дочь, и варенье сварим. Ягод-то много.

И так во всём: прежде о своем Мите подумает. Будет Мите добро, и детям добро воздастся.

Чёрт её дернул в тот день в больницу припереться. Не менее, однако, часа не могли дозвониться в областную больницу.

– Как там наш Мешавкин? – спросила фельдшерица в трубку.

– Сейчас посмотрим…

– Новенькая какая-то, – сказала фельдшерица Алевтине, – закрыв ладошкой трубку. Сейчас посмотрит. – Да, слушаю… Мешавкин, да.

– Инициалы? Д.М… Дмитрий Матвеевич… Как? – глаза фельдшерицы округлились, подбородок мелко задрожал.

– Что с ним? – взревела Алевтина. – Что?

– Умер, – и трубка выпала из рук фельдшерицы.

VI

Когда ниточка счастья рвётся так неожиданно, человек не в состоянии оценить происшедшее. Не вырвалось из горла смертельно раненной Алевтины душераздирающего рёва, не упала она без чувств, только тихий стон нарушил тишину больничного кабинета.

Тихо, без рёва добрела она домой, тихо сообщила о постигшем горе детям. И они также тихо восприняли недобрую весть, тихо завсхлипывали, засопели носами и тихо плакали до самой темноты, не в состоянии проронить ни слова.

К обеду следующего дня уже сделали гроб, крышку украсили плетеными заготовками, найденными в мастерской Дмитрия Матвеевича. Ехать за мужем Алевтина решила сама. Порывались сыновья, но слово её осталось твердым.

Нерадостная картина: в машине «скорой помощи» гроб, а на переднем сидении, рядом с водителем женщина с чёрным челом, в чёрном платке и в чёрном одеянии.

– Не приведи Господь, Мешавкино счастье, – шепчут бабы, крестясь, провожая машину.

«Не успела сказать Мите… Так и умер, не зная, что будет у нас ещё один Мешавкин. Как же так? Как мог он умереть? На поправку, на поправку… Вот тебе и «на поправку». А может, то – ошибка?» – вдруг вспыхнуло в её воспаленном мозгу. «Нет. При мне же звонила… И фамилию, и инициалы спросили…».

Водитель молча вёл машину. Уже подъехали к переезду.

– А вон, вроде Дмитрий Матвеевич идёт, – сказал он удивленно.

Не узнать Мешавкина было нельзя. Так характерно хромал только он.

Алевтина не слышала водителя, мимо ушей пролетели слова. Убитая горем женщина не смотрела на дорогу, она лила тихие обильные слезы, промокая невидящие глаза мокрым платком. Но что-то шевельнулось в груди: не в уши, прямо в мозг, видимо, слова попали. Она подняла просушенные глаза и замерла.

– Остановись! – приказала твердо. Это был он, несомненно. Алевтина не страдала слабым рассудком, ей никогда ничего не казалось, она не верила в разные там миражи. Она видела явно своего мужа.

– Остановись, – повторила она. – Разворачивайся, дай знать детям, гроб увези куда-нибудь и сожги.

Голос не дрожал. Она сдёрнула чёрный платок, чёрный пиджак, бросила водителю в руки.

– И это сожги! Все, уезжай, уезжай же! – уже с дороги крикнула она обезумевшему водителю, и направилась навстречу своему счастью.

– Здравствуй, Алечка, здравствуй, милая, – Дмитрий обнял нежно свою любимую.

– Здравствуй, Митя. Дети ждут тебя. Мы все соскучились. За тобой едем.

– А как я соскучился… А слезки почему?

– Так то – от радости. От радости ведь тоже плачут, – и она разревелась, уже не сдерживаясь, – у нас ведь еще один будет, – Аля, всхлипывая, погладила живот.

– Ничего, прокормим, милая. Это ведь добрая весть, не плачь. У нас в палате, представляешь, тоже Мешавкин лежал, Денис Михайлович. Думал – родня, но нет, просто однофамилец. Хотя говорят, что все однофамильцы, если покопаться, окажутся родственниками. Умер: рак у него оказался… А как ты узнала, что меня выписали?

– Звонили…

2006

ВЕСНОЙ ПОМИРАТЬ НЕОХОТА

Деревенька, притулившаяся к самому лесу, захирела. Все, кто мог, уехали в город. Остались одни калеки да немощные старики свой век доживать, кому какой даден. Не умирать же где-нибудь на чужой стороне. Дома-то и смерть не так страшна. А то, что старуха с косой уже недалече, сомневаться не приходится: сколь народу перемерло… Только вот Никифора Панкратовича все чаще и чаще тревожит другое. «Чему бывать, того не миновать, – думал частенько старик, – не страшно помирать, пожил своё, только вот конфуз какой может случиться: а вдруг не найдут скоро, что помер, да проваляюсь в избе… Кому охота потом с тухлятиной возиться…»

А старик он был шибко чистоплотный – всё в доме его руку знает, всему своё место имеется. Каждую субботу банный день, уборка в избе, как говорится, генеральная. Как еще старуха завела такой порядок, так его хозяин и блюдет неизменно.

Сын Никифора Панкратовича на Севере основался, видимо, надолго. Сам ведь надоумил сына вернуться сызнова на тот Север после временного передыху, когда там не заладилось, но теперь все выправилось. Оставил отцу сотовый телефон – «мобилу», научил старика премудростям новой техники и укатил на Севера. Теперь вспоминать даже неловко, как путал кнопки на новеньком телефоне, психовал от собственной неуклюжести.

Рядом в соседях один на всю деревню мужик молодой живет, Андрюхой кличут его старики. Бобылем всю жизнь проваландался, согнулся скобой и в свои сорок пять сравнялся по житейским понятиям с престарелыми жителями села. Сам ни пенсии, ни других доходов не имеет, потому живёт тем, что подадут старики немощные в обмен на какую-нибудь услугу: кому дрова наколоть, кому снег почистить в ограде, а кому в магазин в соседнюю деревню сбегать. Да мало ли каких дел наберется.

– Помирать буду, Андрюха, – глухо говорит Никифор Панкратович забредшему вечером на огонек соседу, – по всему видать, что смертушка уже рядом.

– Что же вы помирать-то засобирались все враз?

– А кто ишшо? – навострил уши старик.

– Тетка Матрена намедни собралась. Говорит, слышала, как старая вжикат.

– Чё вжикат? – насторожился Никифор Панкратович. Он тоже слышал вроде…

– Чё, чё… Говорит, старая косу точит…

– И мне вжикала… Сижу на лавочке… вот, как первой-то денек теплый пожаловал. А она – вжик, вжик… Точит косу-то. Да, видно, не на одного меня. Так-то, соседушко...

– Когда это тебе приблазнилось, дядь Никифор? – спросил Андрюха, наморщив лоб, словно соображать начал, что редко за ним водилось.

– В среду, кажись, – старик почесал лысину.

– И Матрёна в среду слыхала. Понятно… Я же в среду дрова пилил старику Мокееву. Они мороженные, окаянные – под снегом у него всю зиму пролежали. Вот пила и звенит на всю округу, как по железу шоркашь – вжик, вжик…

– Не-е-ет, – протянул старик, – ты меня, соседушко, не утешай. То старуха-смерть вжикала. Так что, Андрюха! Захаживал бы ко мне кажон день – вдруг окочурюсь, хоть сыну позвонишь по «мобиле», – старик протянул телефон соседу…

– И не проси, не умею я. У меня отродясь никакой техники не бывало, окромя телевизора черно-белого… Нет, нет, и не проси. Телеграмму, если чего, отошлю… Захаживать буду – и мне буде веселей, а то иногда така тоска навалится, что хоть в петлю. И если чё, не дай Бог – похороним. Две могилки-то с осени, как ты велел, я выкопал.

– Это хорошо, а то зимой кто ковырять землю мороженную будет… Так вот, если умру, нажмешь на эту вот кнопку, потом наберешь номер… здесь записано, потом отключишь вот этой кнопкой. Понял? – посмотрел поверх очков старик на Андрюху и сунул ему телефон.

Лицо Андрюхи, всегда небритое, напружинилось, пробил пот такой, что не каждый раз после тяжкой работы случается. Он смахнул ладонью пот с рыжеватой пакли, взял телефон в шершавую ладонь, тыкнул дубовым своим пальцем. Бросил «мобилу» на стол, словно слизь противную стряхнул.

– Не проси, не слажу я с ентой техникой… – выдавил Андрюха и поспешил к выходу.

Спать стал Андрюха после таких разговоров неспокойно, снились какие-то покойники незнакомые. Ходят-бродят они с закрытыми глазами по деревне, а будто по-зрячему, потому как безошибочно преследуют Андрюху: и дом открывают, и о порог не спотыкаются, и никуда от них не денешься. Утром проснулся в холодном поту. Вроде не догнал ни один, но жуткое ощущение от такой погони еще долго не отпускает его.

Никифору Панкратовичу часто снился луг зелёный. Он молодой косит сочную траву. В тени черемушного куста спит сынок-дошкольник. Жена молодая, полногрудая да крутобёдрая, готовит обед. А он после каждой проходки берет в руки свежескошенную траву, протирает косу, вытаскивает из-за голенища оселок и – вжик, вжик.

Проснулся старик, в свое привычное время, но вставать с постели не спешил.

Андрюха тихо постучал в соседскую дверь, никто сразу не открыл. Налег на ручку – подалась дверь, скрипнула. Неуверенно переставил ногу через порог, сердце дернулось противно, охолону́ло за грудиной до дурноты. Вдруг помер?

– Кого там несет в таку рань? – услышал сонный голос Андрюха, и его заколотило.

Потом отлегло. Несмело шагнул в избу.

– Фу ты – как-то неловко стало, – потер Андрюха грудину, присел на стул.

– Чай будешь? – спросил старик бодро и прошлепал в исподнем через горницу.

– Давай, – глухо отозвался сосед.

– Сможешь позвонить-то? – посмотрел в упор старик на своего соседа.

– Не знаю.

– На – пробуй.

Андрюха нехотя взял мобильный телефон своей шершавой мозолистой рукой. Все кнопки смешались в глазах, и он ткнул какую-нибудь.

– Не эту. Вот кнопка, видишь, трубка нарисована. Потом номер – смотри… Потом вот эту кнопочку, отключить. Ничего сложного…

Покатился пот по окрасившимся румянцем щекам, прилипла рубаха к телу. Даже щетина запылала. Он снова грубо ткнул. Появился гудок, но в наборе сделал ошибку, отключить телефон у Андрюхи не получалось, и он поспешил удалиться, чтоб не терпеть такие мучения.

– Луче куб дров наколоть! – махнул с досады рукой.

Наутро он уже привычно, но все же робко постучал. Опять его затрясло, как малярийного от тишины гробовой. Вдруг подкинуло от неожиданно скрипнувшей двери, а потом уже от голоса старика, долетевшего где-то из темноты.

Старик распахнул плотные шторы на окне, потянулся.

«Живой» – почему-то подумал Андрюха.

За чаем старик снова завел разговор:

– Я не просто так тебя прошу, сам знашь...

– Чё я знать должон?

– Ну, что умру... – и Никифор Панкратович громко потянул чай-кипяток, – ну… скоро умру... – добавил он, крякнувши от удовольствия.

Андрюха замолчал, покосившись на разрумянившегося соседа. Никифор Панкратович сунул ненавистный телефон:

– Учись.

Скользким обмылком юркнул телефон в руку сконфуженному Андрюхе. Оказалось, что наука не пошла впрок, и он снова допустил досадную ошибку.

Так прошла неделя, другая. По утрам соседи пили чай, как обычно. Андрюха сначала вздрагивал от скрипа двери в тишине, потом вдругорядь от голоса все еще не умершего соседа, потел, чуть не теряя сознание, проходя курс ликбеза. Иногда старик терял самообладание, и Андрюхе приходилось выслушивать нелестные тирады вроде того, что вот я старик, и то освоил, а ты молодой, и никак… Андрюха всеми фибрами ненавидел эту сразу становившуюся скользкой «мобилу». Потом старик заговаривал о своей скорой смерти, возможно завтра. И так каждый день…

Март теплыми днями потянулся по деревне, закапало с крыш. Андрюхе досталось немного работы: кому сгрести с крыши снег, кому картошку достать из подпола, кому еще какую работёнку; досталось и платы, тоже маленько. Ему-то много и не нужно. Старики выползли из своих нор. Естественно совершенно, что и настроение стариковское, как общественное явление, заметно изменилось в весеннюю сторону.

В очередной раз, зайдя как обычно к Никифору Панкратовичу, Андрюха застал его в совершенно замечательном расположении духа, что напугало его чрезвычайно. Оно и понятно…

Дело в том, что Андрюха очень боялся покойников, хоть похоронил, как он говорил, полдеревни.

Случилось однажды то, что изменило его отношение к усопшим. Както он присел рядом со старым дедом Игнатом, дремавшим, как показалось тогда Андрюхе, на лавочке. Вдруг дед Игнат повалился на Андрюху. Оказалось, что он мертв. С тех пор покойники стали преследовать Андрюху даже в снах.

Так вот, заходит он в избу Никифора Панкратовича сжатый, словно пружина. Дверь скрипнула, в ответ – молчок, на здравицу тоже ответа не последовало. Зашлось сердце в тревоге жуткой, вспотели ладони; глаза в полутьме стали искать телефон на привычном месте, но там его не оказалось.

– Умер, что ли, дядь Никифор? – задал он глупый вопрос в полутемную тишину.

Сделал осторожно шаг, другой… Подходит он на цыпочках к плотной шторе, затенявшей горницу, отодвигает ее дрожащей рукой, а сосед как гаркнет прямо в ухо: «Да, слушаю, сына, слушаю!».

Оказывается, у окна телефон лучше берет, вот он и встал за шторой. Брякнулся Андрюха без признаков, как говорится, жизни на деревянный пол.

Очухавшись, он пролепетал тихо:

– Ты живой, дядь Никифор?

– Живой! Что со мной станется? Дурацкий, однако, вопрос!

– Так ты же вроде как помирать собирался.

– Помрешь тут с тобой… – в сердцах бросил старик.– Ты ж «мобилу» так и не освоил, бестолочь! – сердито огрел он обидной фразой еще не окрепшего после обморока Андрюху. Потом растянул рот в улыбку: – Поживем ишшо, соседушко… весной-то помирать неохота!

2007

Давайте порассуждаем…

1. Перескажите сюжет рассказа «Крестный ход». Как вы думаете, какое событие в нем является главным, определяющим все содержание? Аргументируйте свой ответ.

2. Какие персонажи, характеры рассказа «Крестный ход» более всего запоминаются, вызываются симпатии? С чем это связано?

3. Сформулируйте для себя основную мысль рассказа «Крестный ход».

4. В какой форме написан рассказ «Боль»? Что сообщает содержанию рассказа, его выразительности эта форма?

5. Что является главным средством характеристики рассказчика в рассказе «Боль»? Как охарактеризован отец рассказчика?

6. Какой предстает отечественная история в рассказе «Боль»? Чем является для рассказчика День Победы? Как вы думаете, почему рассказ назван «Боль»? Аргументируйте свое мнение.

7. Какой предстает жизнь людей в рассказе «Мешавкино счастье»? Какой смысл вкладывают разные герои рассказа в понятие «счастье»?

8. Какие средства избирает автор рассказа «Мешавкино счастье» для того, чтобы охарактеризовать главных его героев?

9. Как вы думаете, можно ли по рассказу «Мешавкино счастье» определить то, какой смысл вкладывает в это слово автор? Если да, расскажите, как вы это поняли.

10. Как вы думаете, в чем смысл истории, положенной в основу рассказа «Весной помирать неохота»? Какую роль в раскрытии авторского замысла, на ваш взгляд, играет в рассказе тема мобильного телефона?

11. Как характеризует героев рассказов В. Михайловского их речь? Чем она отличается от речи самого автора?

РЯБИЙ
Ирина Геннадьевна
(р. 1954)

Стихи, критика, литературоведческие работы печатались в газетах, коллективных сборниках и альманахах Сибири и Дальнего Востока.

Опубликовала сборники стихов «Что сделаю я» (1995), «И катится век за веком» (2001), «В сиянии лунном» (2003), «Высота неведомого свода» (2004).

Член Союза писателей России с 2007 года. Почетный работник высшего профессионального образования РФ (2005).

Лирика поэтессы – это мир современного города, который для ее лирической героини лишен какой бы то ни было привлекательности. При чтении ее стихов возникает ощущение, что в современном урбанизированном обществе почти не осталось доброго и созидательного начала. Человек потерялся и в пространстве современного города, и во времени не подвластной его сознанию истории. Однако для творческого человека – это не повод молчать, оставаться безмолвной единицей в безбрежном море «общественного мнения».

Во многом лишенная отрадного впечатления картина современной жизни не мешает проявлению меткой наблюдательности, объемной выразительности образов, особой задушевной интонации лирики поэтессы.

«Нужно вновь научить свое сердце радоваться и грустить, глаза – улыбаться и плакать не только от своих личных удач и горестей. Именно в умении жить с раскрытыми глазами и отзывчивым сердцем, в памяти о былом, в единении с природой видит лирическая героиня Ирины Рябий свое спасение, свой шанс вернуться к первоисточнику», – очень точно заметил Д. Ларкович.

ПОВЕРЬЕ

Есть на свете поверье:
Перед большой бедою
Тихо плачут деревья,
Шепчутся со звездою.

Слышите, плачут деревья,
Рвутся их струны – ветки,
Шире раскройте двери –
Время в них бродит ветром…

Плачут деревья, как дети,
Жмутся к любому дому,
Тянут усталые плети
Они ко всему живому.

Только и днем и ночью
Глухи людские души,
Заперты двери прочно –
Что их покой нарушит?..

Слышите, плачут деревья –
Людские простыли слезы,
Деревьям внимают, веря,
Только далекие звезды.

* * *

Я гляжу в окно:
Городской пейзаж –
Как один этаж,
Да на другой этаж,
А на семь дворов
Дерево одно.

Городской пейзаж –
Преисподней рай –
В пляске труб и крыш
И цветных афиш
Под вороний грай,
Под дождливый блюз.

Городской коллаж –
Мой смертельный флюс:
Из газет-цитат,
Из углов-домов,
Из людей-дымов,
Где в кольце дорог
Я стою одна.

Я стою одна
И гляжу в окно:
Где среди камней,
Где среди столбов,
Где среди людей
Дерево одно?

* * *

Бродило лето где-то по лугам
И заглянуть в мой город не спешило,
А я и платья все уж перешила,
И слушала шаги по вечерам.
Но слышала я только наяву,
Как мучит дождь деревья и траву,
Стучит злорадно в крыши и стекло
И говорит, что кончилось тепло,
Что снова наступили холода,
Что заблудилось лето навсегда…

ГОРОДСКОЙ МОТИВ

То пейзаж дождевой –
джаз, –
Дождь по стеклам
с прискоком
потоком
теплым
Вниз, в грязь: Бац!
Мокрый джаз:
льется краска с прикрас;
Сто гримас дарит дождь.
Под ногами огни –
отражение глаз,
То ли звезд…
Тут же шоу машин нас окутало в газ.
Дождь по-прежнему бьет как по клавишам нас –
Неизменный пейзаж:
Дождевой,
городской,
нескончаемый джаз.

У ИСТОКА

Художнику В. Самару

Есть древнее стойбище вод,
Ложе, где спишь как в детстве,
И веришь, что в сеть попадет
Реки беспокойное сердце,
Что можешь поднять волну
И убаюкать меж веток,
Как прежде, во всю луну
Тебе улыбнется предок.
Он сгонит с души туман –
В ней зашумит тайга:
Ветер – лесной шаман
В бубен начнет играть,
Звезды бросать шутя,
Вызовет духа вод,
Духов земли, огня…
Встанут они в хоровод:
«Помни одно, дитя, –
Станут они шептать, –
Старое стойбище ждет
У родника природы,
Там красная рыба идет
В светлые воды!»

ОКТЯБРЬ

Леса знобит, и тянет в окна
Прогорклым соком октября,
Конец сегодняшнего дня
Едва ль отметит солнце оком.

А завтра новая нужда –
Мой день рожденья и застолье.
Все будут мне желать здоровья
И говорить, что и всегда…
И пей до дна, и пей до дна, и пей до дна!…

Октябрь чаинкою отчаяний
В моем трепещется стакане, –
Не хватит духа допивать…

ЛУННЫЙ БРЕД

Зыбкий свет неусыпный
Вероломства и бед,
Кто-то страшный и скрытный
Заметает свой след…

Сон глаза застилает,
Страх уснуть не дает:
Вот луна золотая
Доброй феей плывет…

Обернулась – и где-то
Послышался плач,
Обернулась со смехом –
А рядом палач.

Желтоглазый и жуткий,
Выжимает свой плащ,
Надвигается гулкий
Безудержный скач!

Вот и всадник у цели –
Перед ним я нема, –
Завыванье метели,
И чужие дома.

Всадник целится в злобе,
И в глазах его смерть,
Я увязла в сугробе:
Ни бежать, ни лететь…

Завыванье метели,
И чужие дома…
Я одна, я в постели,
За окошком луна.

* * *

Какое чудо эти зимы:
И свет, и блеск, и чистота,
И этот воздух тайно-синий,
И праздно-белые снега.

И даже холод – дух надмирный
Нас испытует и ведет,
Как будто шаг – и ангел смирный
Тебе обитель распахнет.

* * *

Неужели мы с тобою стали стары,
И остались нам одни воспоминанья:
Как кружились мы с тобой под ритм гитары
И в каком ходила платье на свиданья…

А быть может, было все не с нами? –
Так давно, что упускаю что-то…
Вот мы дома, а на этом фото
Вид с окна – что так же в Лету канет…

Все события смешались в хороводе,
Окружив нас, и куда-то всё несется…
Соломон сказал однажды: «Все проходит!» –
Я не верю – все же что-то остается.

РУССКОМУ РАССЕЯНИЮ

Милые, далекие, родные –
В непогоду вы в края чужие
Залетели – в клетке оказались…
А на родине от вас все отказались…

Как вы тосковали, как молились
И мечтали как о возвращенье,
Унижались, плакали, томились
И просили у родной земли прощенья…

Но порвалась связь времен: потомки
Покидают дом в обмен на блага,
Не впихнуть страну с тряпьем в котомки! –
Хоть с лукавым слажена бумага.

Чувство родины – неведомое чувство,
Над отечеством нависли тучи низко:
Потому сегодняшнее грустно –
Лишь далекое мне дорого и близко!

* * *

Имеет ли свой цвет и вкус земная суета? –
Людская сутолока и бешеная гонка за временем?..
Из дома выйдешь и всегда забудешь что-нибудь...
Не знаешь никогда, каким оттенком заблестят глаза
У неприятностей меж бледных коридоров…
У всех деревьев серые стволы и листья серые,
Такие ж, как дорога, ведущая всегда
В одну и ту же сторону…

* * *

Хорошо бы дом купить,
Но на это денег нету,
Вот и бродим мы по свету,
Ищем, где бы нам прожить…

Бесприютен мир и пуст
Для того, кто прост собою,
Нет в нем места нам с тобою,
Под ногами снега хруст.

Подождем пока еще –
На земле не будет места –
Может, примет Царь Небесный,
И Он там нам даст жилье…

ЧЕРДАК

Наш общий друг — такой чудак,
Знакомы с ним давно, –
Единомышленник, чердак,
Найти его легко:
Ступеньки прыгают – конец!

Вот знак – пошире шаг.
Да здравствует ничей дворец
И наш очаг!
Здесь каждый стул и каждый стол –
Не антиквариат,
А наш сподвижник и престол,
Наш сводный, сходный брат.
Из моды вышли, что ж теперь, –
Достань попробуй, вон!
По-гофмановски скрипнет дверь
В историю времен.
Платон и Кант, Камю и Фрейд
Тут спорят и растут,
И стихотворный, горний бред
Уносит в высоту.
А там, внизу, шумит река –
Суетных дел поток, –
Девиз которой на века:
«За нами хоть потоп!»
Опасен высоты урок,
Зато в проемный мрак
Нам в звездном небе виден Бог,
Ему же – наш чердак!

ЛИЦО

Где же ты, где же ты,
Самое-самое первоначальное,
Звездно-туманное, утренне-снежное,
Радостное и печальное –
Лицо мое прежнее?
На улицах людных, в пустых ли квартирах,
На чьих-то портретах случайно оставлено.
Злым зеркалам ли раздарено
И пустотой их раздавлено?
Тебя раздавала знакомым я,
Как воду, всю в солнечных зайчиках...
Лицо ты мое искомое,
На чьих ты осталось пальчиках,
Точно пыльца от бабочек?
Зачем ты, такое чистое,
Губами выпито жадными?..

Какими-то черными числами
Тебя потеряла, жалкая!
Мышиными днями растаскано
По крошечкам меньше маковки,
Раскрашено страшными масками,
Нет глаз тех, которые плакали...
По́ миру, как по ми́ру,
С мыслью одной отчаянной:
Где же ты, где же ты,
Первоначальное?!

ПАСТУШОК

Памяти моей любимой тети,
Инны Ивановны Безденежных

В твоем дому всегда жилось легко,
Не потому ль, что на висевшем блюде
Играл пастух на дудочке о чуде –
И облака клубились высоко,
И улыбались по соседству люди.
Казалось, что конца тому не будет,
И праздник лета длится далеко.
Но вот болезни превратились в будни, –
Потом тебя не стало... А Садко
На дудочке все в том же рококо
Играет мне о невозвратном чуде.

ЗАКОН ЖАНРА

Нет сказки без конца,
В котором все, как в сказке:
На блюдце два кольца,
И гости за столом,
Горят огни кругом,
И в сказочной развязке
Не слышен никому беды грядущей гром!
Кто верит – тот смешон – всем чудесам о феях:
Все явственно, все быль: и яства, и жених.
Хрустальный башмачок – забыли о трофеях,
На много-много лет он в сундуке притих.

И след запорошен,
По бездорожью – тряска.
Где было волшебство,
Давно поблек рассвет.
Ведь там, где хорошо,
Там исчезает сказка,
Ведь там, где хорошо,
Там больше сказки нет!

* * *

Молвила брату сестрица:
«Ваня, не пей из копытца!»
Молила Ивана Марья:
«Не тронь только горницу дальнюю!»
Велел Бог Адаму: «Дети!
В саду сем пребудьте веки –
Не трогайте дерево смерти, –
Познав его, станете смертны!»
Ослушался братец сестрицы,
Испил он студеной водицы –
Запрыгал козленком, заблеял:
«Аленушка, что я наделал!»
Иван не послушался Марью –
Открыл он ту комнату дальнюю –
На горе себе Кощея
Он отпустил, жалея.
Яблоко съела дева,
Адам искусился Евой,
И Бог их прогнал из рая:
«Свет познавайте, сгорая!»
Но в сказке герой воспрянет:
Вернет прежний облик Ваня,
Царевич Иван Кощея,
Конечно же, одолеет.
А я все книги листаю –
С древа того ль – не знаю:
Познания сладок яд:
И рай в нем сокрыт, и ад.

* * *

Никогда никуда не уеду –
Зарубежных не нужно мне звезд:
Если кто-то и держит планету,
То Россия – единый наш крест!
Не хулите ее за убогость,
Неумение делать дела.
Не к лицу вам иконная строгость –
Не рассудком Россия права.
Но молитвой пропойцы-бродяги
Возгорится огонь алтаря,
Но трудами Ивана-бедняги
Да удержится наша земля!

* * *

Во всем, что есть, смысл:
В простом сложенье чисел,
В пустом полете звезд,
Упал ли тихий лист,
Иль взмыл он до небес.

Его ищу во всем,
Мой взгляд вотще скользит,
Но счастье, видно, в том,
Что этот смысл сокрыт…

Давайте порассуждаем…

1. Какое настроение преобладает в стихотворении «Поверье»? Как, какими средствами это настроение создается?

2. Каким выглядит пространство, открывающееся лирической героине в стихотворении «Я гляжу в окно…»? Какие мысли и настроения вызывает у нее открывающийся городской пейзаж?

3. Какому пространству противопоставлено в стихотворении «Бродило лето где-то по лугам…» пространство города? Каким представляется лирической героине будущее в этом стихотворении?

4. Из чего, из каких картин и звуков складывается «городской мотив» в одноименном стихотворении? Есть ли в этом мотиве какая-то гармония,

какие-то отрадные для лирической героини звуки? Аргументируйте свой ответ обращением к тексту.

5. Какой предстает природа в стихотворении «У истока»? Какие настроения вызывает у лирической герои облик природы, к каким размышлениям располагает?

6. Какие настроения вызывает у лирической героини ее день рожденья в стихотворении «Октябрь»? Как вы думаете, почему она называет его «нуждой»? Насколько характерно, по вашему мнению, такое восприятие собственного дня рождения?

7. Что вы вкладываете в понятие «бред»? Могли бы вы назвать бредом размышления лирической героини в стихотворении «Лунный бред»? Почему? Что в этом стихотворении показалось вам наиболее интересным, заставляющим задуматься?

8. Что чудесного находит в зимах лирическая героиня И. Рябий, если судить по стихотворению «Какое чудо эти зимы…»? Сравните свое восприятие зимы с тем, как о ней говорит поэтесса. В чем близки и чем различаются ваши восприятия?

9. Как выглядит прошлое в стихотворении «Неужели мы с тобою стали стары…»? Можно ли утверждать, что в сознании лирической героини оно противопоставлено настоящему? Если да, то в чем вы это увидели?

10. Каким выглядит русское рассеяние в одноименном стихотворении? Чем, на ваш взгляд, прежде всего дороги лирической героине люди, оказавшиеся за пределами своей родины?

11. Как бы вы ответили на вопросы, которыми открывается стихотворение «Имеет ли свой цвет и вкус земная суета...»? Как вы считаете, знает ли ответы на свои вопросы лирическая героиня этого стихотворения? Если да, то каковы эти ответы?

12. Как воспринимает мир («свет») лирическая героиня стихотворения «Хорошо бы дом купить…»? О каком ее миросозерцании свидетельствует надежда на получение жилья в будущем?

13. Что такое чердак как пространство в одноименном стихотворении? Чем он является для лирической героини? Как вы думаете, почему именно чердак становится местом таких глубоких размышлений? Поразмышляйте на эту тему.

14. Что для лирической героини входит в понятие «мое лицо», если судить по стихотворению «Лицо»? Как вы представляете себе лицо, которое можно «раздавать знакомым», оставлять «на чьих-то портретах» и пальчиках? Какой смысл вкладывает лирическая героиня в определение «первоначальное» относительно лица?

15. Какое понимание жизни, времени и человека во времени представлено в стихотворении «Пастушок»?

16. Как вы поняли то, в чем заключается закон жанра, если судить по одноименному стихотворению? Какие доказательства существования и справедливости этого закона вы нашли в стихотворении? Можете вы согласиться с тем, что «там, где хорошо, там исчезает сказка»? Обоснуйте свое мнение.

17. Как вы поняли смысл стихотворения «Молвила братцу сестрица…»? Какую роль в раскрытии этого смысла играет устное народное творчество? Какая философия жизни кроется в последней строфе этого стихотворения?

18. Каким предстает облик России в стихотворении «Никогда никуда не уеду…»? В чем лирическая героиня, на ваш взгляд, видит возможности возрождения России? Насколько вам понятно и близко такое понимание возможностей возрождения страны? Аргументируйте свой ответ.

19. Как вы понимаете мысль лирической героини о том, что счастье заключается в сокрытости смысла всего происходящего в этом мире, как утверждает лирическая героиня в стихотворении «Во всем, что есть, смысл…»? Можете вы согласиться таким утверждением? Почему?

20. Напишите небольшое сочинение-рассуждение или эссе о лирике Ирины Рябий на тему «Во всем, что есть, есть смысл».

СУХАНОВ
Петр Антонович
(р. 1947)

Печатался в еженедельнике «Литературная Россия», в журналах «Молодая гвардия», «Наш современник», «Смена», «Студенческий меридиан», «Урал», «Югра», в коллективных сборниках и альманахах, в хрестоматии «Литература Тюменского края. Кн. 1, 3» (1996), в антологии «Литература Югры: 1930–2000. Кн. 1» (2001).

Автор сборников стихов «Время первых признаний» (1984), «Встреча» (1984), «Миры и меры» (1986), «Площадь Света» (1995), «Высшая мера» (1997), «Завороть» (2001), «Разнолетья» (2003), басен для взрослых «В мире животных» (1998) и сказки для взрослых «Про Колобка и красавицу Бабу-Ягу» (1999).

Член Союза писателей России с 1988 года. Участник VII и VIII Всесоюзных совещаний молодых писателей в Москве.

Лауреат премии им. Н. Чукмалдина тюменского издательства «СофтДизайн» (1995), премии Губернатора автономного округа в области литературы (2001), Всероссийской литературной премии им. Д.Н. Мамина-Сибиряка (2005).

Для лирики Петра Суханова характерен необычайно метафоричный, впечатляющий неожиданностью и оригинальностью образов язык. Искренний голос поэта говорит о самом сокровенном, и это сокровенное поражает читателя узнаваемостью и неподдельностью пережитого и воплощенного в слове. Поэт уверен в том, что он видит «мир иным, чем прочие», и это – не самоуверенность или похвальба, это осознание своего права, как настоящего поэта, видеть и понимать мир по-своему; по-своему говорить о его красоте и уродстве, гармонии и хаосе, добре и зле… Стремление поэта «вернуть первоначальный смысл словам» (сколько в этом хорошей уверенности в своей неповторимости!) – это тоже свое, иное, чем у прочих, видение, понимание мира. Именно так, возвращая «первоначальный смысл словам», Петр Суханов рассказывает о себе, своем Отечестве, о друзьях и любимых, о чарующей красоте Севера.

«… Северный край для поэта – это не просто место проживания, но пространство обитания души, средоточие самых дорогих и искренних мечтаний, поисков, надежд и обретений», – заметил Ю. Дворяшин.

Другое дело, что открытия Петра Суханова часто отдают горечью: современная жизнь не часто балует поэта гармонией и равновесием ощу-

щения себя во времени и пространстве. Однако и через горечь прорывается мысль поэта, исполненная оптимизма и надежды: «Ты не верь, что счастья нет!..»

РАСПЛАТА

Я вижу мир иным, чем прочие –
и во грехах своих
родным!
В нем
правда – словно кровоточия…
Ложь
вечно помыкает им.
И все же
с кровною любовью –
за имя Сына и Отца! –
Россия
вечно платит кровью.
И – нету донорам конца!..

ОРДЕН

Он думал, когда умирал,
что счастье не в славе и ордене,
что все в своей жизни отдал
за Сталина
и за Родину!..
Что нету такого врага,
которому Русь покорится!..
Но – шли за снегами снега,
и – чахли в снегах
небылицы.
И вот – через множество лет
могилою всгорбив планету –
он вспомнил, что Сталина нет,
понял, что Родины нету!..
Тогда он под шелест травы
и хлопья могильного неба
дополз
под землей до Москвы
и – орден свой съел
вместо хлеба!..

БЕЛОСНЕЖЬЕ

Нине

Май.
Завьюжье.
Я влюбился!..
Снова – как среди зимы,
свежий снег с небес свалился,
чистый-чистый, словно мы!..
Так нежданно, так нелепо,
крупно,
щедро, под рассвет
пышный снег, как крошки хлеба,
пересыпал
белый
свет!..
И по светлому раздолью
мы бежим друг к другу, чтоб
с новой радостью и болью
рухнуть в счастье – как в сугроб!..

ПОСЛЕДНИЙ

Нине

Я буду любить тебя долго и нежно –
как только возможно
на этой земле!..
Как любят младенцы – смешно и безгрешно…
Как любят поэты вино на столе!..
Рассыплет закат светозвездь по дорогам,
раскатит рассвет бесконечность…
И течь
во времени вечном
пред миром и Богом
начнет двуединая сущность и речь!..
Не в этом ли
наше с тобою отличье
от жаждущих властвовать и сокрушать?..
Я буду любить тебя – до неприличья,
пытаясь былое с грядущим смешать!..

Не важно – медлительно или поспешно…
Под высвет свечей
или в свете луны –
я буду любить тебя долго и нежно,
как трепетный юноша, полный весны!

О МЕСТАХ

…Место русских – у параши.

В. Новодворская

Я знаю точно, что не так
устроен мир – как бы хотелось!..
Что лучше б
не Земля вертелась,
а те, кто выдумал ГУЛАГ,
кто превратил Россию в ад,
кому с рассвета до рассвета
вставляет Запад клизмы в зад
шприцами Интернета!..

Но тайну мне Господь открыл,
когда я с горя влип в кутузку:
– Покуда в силе дух твой русский,
сойдут враги
во тьму могил!..

И – хорошо.
Я знаю их –
чье место вечно в месте жидком…
Вертись, Земля, по пережиткам!..
Летай по Родине, мой стих!

СВЯЗЬ

Предощущение стиха –
как очищение от греха!..
И ты, взрывающийся в мыслях,
бежишь от всех, чтобы опять
сказать о радуге,
о листьях,

о женщине
с огромным смыслом: Мать!
И ты, склонившийся пред этим
безмерным вечным божеством,
уже
обязан
быть поэтом…
Все остальное – за стихом!..

НЕ ВЕРЬ

Ты не верь, что счастья нет!..
Это осень, осень
по распутьям дум и лет
наши души носит…
Разметала, как листву,
все слова и встречи,
и, как в сказку, в синеву
опадает
вечер.
Возле речки и берез
все в переполохе:
шум и звон на много верст –
это скоморохи.
Я присяду в стороне,
выпью за удачу…
Хорошо живется мне –
оттого и плачу.

АКВАРИУМ

Седой скрипач поскрипывал на скрипке…
И этот староватый струнный скрип
не вызывал
ни грусти, ни улыбки,
но удивлял в аквариуме рыб…
В своем стеклянном царстве-государстве
созданья эти медленно и вдруг,
заслышав скрипы скрипки сквозь
пространство,
сошлись в углах, настраивая слух…

И было видно всем сидящим в зале,
что рыбки понимают скрипача…
А что до скрипки – в ней
среди печали
переливалась
музыка
ручья…

ФАНТАЗИЯ

Бежать, бежать – как в небе облака…
Не все ль равно, на север ли,
на юг ли? –
лишь бы
струилось время – как река
и радости земные не потухли!..
Бежать – за чувством или за мечтой,
за женщиной, с которою был нежен…
Бежать…
Бежать – покуда род людской
на сказках и фантазиях помешан!..

КОЛОКОЛА

Прошу тебя, повремени немного –
не говори, что не уберегла…
поэты – словно церкви на дорогах:
у каждого
свои
колокола.

Во все века, как будто при пожаре,
они звонят, не зная одного:
у каждого
найдутся
прихожане,
один лишь Бог
не имет
ничего!..

И все-таки
в надеждах и сомненьях,
которым нет и не было числа,
поэты – словно церкви при дорогах:
у каждого
свои
колокола!

МОРОЗНОЕ

Январь размашист. И коварен…
Да я и сам ему под стать:
весь приморожен, проянварен –
как Дед Мороз!..
И – трезв опять…
А холод, словно грубый скальпель,
дерет деревья… в теле – дрожь…
холодный пот
пузатой каплей
на глобус маленький похож!..
Скорей бы в дом и – тихой сапой
на что-то теплое прилечь!..
Ну и мороз – тут не до бабы…
скорей бы в дом!.. в тепло.
На печь!..
Залечь…
И, пошалив шалою,
Уткнуться в сон – горячий, как
Мороз
сибирскою зимою…
Как сбитый в кровь кулак!..

НА ЗАРЕ

Там, где Иртыш, набросившись на Обь
и слившись с нею волнами, как страстью,
ревет аж, зверь откашливает вопль,
но глушит стоны собственною пастью,
где беспредельна тем, что велика
разливами и тьмой болотных скопищ,
царица Обь смывает берега,

пугая
идолов ханты-мансийских стойбищ, –
там
меж течений и приток,
среди игривых заводей и ямищ,
я слышал, как трещит Восток
на вздыбьях заревых пожарищ!..
Я подсмотрел вселенский миг
рожденья радуги
из света!.. –
И никакие толпы книг
не перескажут это.

ВОРОНА

Черная, словно копирка,
ворона
торчит на трубе –
древняя вся – как дырка…
И – не чета тебе!..
Тихая.
При опаске…
Замерла – как умерла…
В маленьких черных глазках
нет
ни добра, ни зла…
Черный комок покоя.
Чуткое чадо тьмы…
Вечно нас в мире трое:
Время. Ворона. Мы.

ЗИМНИЙ ВЕЧЕР

Я так люблю, когда меня не знают!..
Когда зима
и ветер на дворе…
Когда под этот ветер пес пролает
и, хвост задрав, умчит к своей дыре!..
когда стоят деревья в шубах белых
исконно русских – светлых и больших,
стоят
так величаво, словно в девах…

И – снегири красуются на них!..
В такое время хочется покоя…
Да где теперь найдешь его,
и как
среди зимы, измен и перестроя
стать невидимкой,
спрятаться
в кулак?..
Я так люблю по холоду и краю
пройтись без грусти, как бы – наобум!..
И хорошо, что многое не знаю!..
И хорошо, что ветер в тучах дум!..

БЛАЖЕННЫЙ

Он мог сидеть часами,
смотреть на мир вокруг –
не шевелясь, как в раме,
вцепившись взглядом в слух…
Гремел ли гром небесный,
бежала ль
мимо
мышь –
он был как бестелесный,
как вбитый в гильзу пыж…
Грудились клочья мыслей…
Сбивались в свист лета,
влетая в неказистый
провал кривого рта…
Подолгу в тихом хламе
однообразных дней
сидел он, словно в раме…
И – умер
в ней.

СИБИРЯКАМ

Я видел их – в тайге, на стройках,
в очередях,
в толпе,
в быту:
монументальных, дерзких. Стойких,

влюблённых в край свой, как в мечту!..
Тряслась земля от сваебóев…
Крепчал Сургут.
Вставал Надым.
Кто говорит, что нет героев –
тот никогда не станет им!

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ

Я задыхаюсь без тебя –
Как эхо
в скрипах правил,
как небо в капельке дождя,
как грань в оправе!..
Я задыхаюсь без тебя –
Как мир
без света,
как дух без плоти,
ночь без дня…
А Время лезло в Лету!
Но даже там,
на дне небес
и мирозданья,
всё будет так, как было здесь…
Но – во Втором дыханье!

* * *

Разматывая годы, словно путы,
из края в край
кидаясь по стране –
я до последней, может быть, минуты
пребуду с мыслью: «Истина – на дне...»
И лишь тогда, когда иссякнут силы
и каждый вздох и взгляд уткнутся в мрак,
я вдруг увижу: истина – в России!
У всех других и прочих
всё – не так!

ЭЛЕГИЯ

Во время таяния лет,
когда с небес, как с гор,
легко
нисходят мрак и свет –
лаская взор...
Когда душа благоволит
к любви и доброте,
пускай не я – другой пиит...
Пускай не мы, а те,
кто будет лучше нас во всём –
мудрей, свободней –
пусть
они не знают страх и грусть!..
А мы... У нас. И я...
Потом
снега и сели слижут след
и мой, и ваш, и всех,
кому (увы, не без огрех),
помимо правды, льющей бред,
явилась мысль, что крайний – прав,
что все кругом – равны...
Мы жили, в сущности, без прав –
и, значит, без вины.

ЭСКИЗ

Рассвет – как вдох, закат – как выдох...
И не понять уже порой,
в каких абстракциях и видах
мы представляем шар земной:
то – грань, застывшая свободно,
то – крик, сдавивший пустоту,
то – мысль, затянутая плотно
во взгляд, ползущий по холсту...
А вот и – голубь
на карнизе,
уже расправивший крыла!..
И только жизнь, как штрих в эскизе,
не знает формы и числа.

ПРИКОСНОВЕНИЯ

– Куда спешишь? – подначивала трасса.
– Домой!.. – я обрывал её. – Домой!..
– Но ты же не Рембрандт или Пикассо,
чтоб кончить между небом и землей?!
– Вперёд! Вперёд!.. – подталкивали руки.
Шептали губы страшное: «Скорей!..»
И я давил колёсами разлуки,
как давит тюбик с краской
чародей!
Густела даль – но не было движенья.
Шли облака – бесшумные уже...
И вздрогнул я: законы притяженья
никак
не подчиняются душе!

* * *

Не в цирке, а выкручиваем руки...
Не звери, а ложимся при цепях...
А ведь живём – от встречи до разлуки!
Под звёздами,
в квартирах,
в нумерах –
живём и поражаемся друг другу,
на счастье умудряемся гадать –
хватаем, словно за руку прислугу!..
А счастье можно только раздавать.
Но как смириться с тем, что всё –
случайно?
Как уцелеть, когда кругом разлад?..
И день грядущий – более чем тайна,
и день прошедший – менее чем взгляд...

ВРЕМЕНА ГОДА

ЯНВАРЬ

Как кружится и падает снег,
Засыпая нас порознь
и вместе!..

Перепутать бы
мысли
и век –
Чтоб найти свое время
и место!..
Но, наверное, тем и хорош
Всякий день, осыпающий снежность,
Что прекрасны и правда, и ложь!..
Остальное – туман. И потешность.

ФЕВРАЛЬ

Метели рвут тайгу.
Как пух, летят снега...
Весь мир, вся жизнь в снегу –
Снега
под облака!
Холодная как сталь,
Морозит мозг
судьба...
Февраль.
Сплошной февраль
В сугробах лет и лба!

МАРТ

В самом дальнем краю коридора,
Вытесняя обыденный гвалт,
Раз в году – несмотря на раздоры –
Появляется
баловень март!..
Он приходит всегда в одиночку.
Тенью
тайно
скользнёт за порог –
Словно тянет всю жизнь за цепочку,
На конце у которой
звонок...

АПРЕЛЬ

Простор.
Размах в желаньях. Радость.

Раскованность в объятьях и словах –
Как будто Время, сжатое в бескрайность,
Не знает меры
в собственных мирах!
Без меры мир...
И счастье – как затяжка...
Как ветер – между вспышками грозы,
Чтобы душа светилась нараспашку –
Как радуга
на капельке росы!

МАЙ

Май вечно странен...
Снова – слякоть,
Опять сквозит со всех сторон!..
В такую пору
впору ахать –
Ах, даже мысли клонят в сон!..
В такие дни возможны сшибки...
Но стоит солнцу между туч
Случайно бросить редкий луч –
Ах, скольких женщин ждут ошибки!

ИЮНЬ

Наливаются травы...
Заря разыгралась – как девица красная...
Сколько времени прожито
зря!
Сколько сказано слов понапрасну!..
Оглянешься – как в дикой степи:
Ни огня, ни отрады...
Лишь даты!
И грохочет на звёздной цепи
Безобразное пламя заката.

ИЮЛЬ

Хлеба
уже по пояс,
Земля ласкает взор.

Плетётся скорый поезд,
Буксируя простор...
Безоблачно всё небо,
А в небе – солнца круг.
И свежий запах хлеба
Парит вокруг!
Колосья, словно гроздья –
Удачей налиты.
А пассажиры в поезде
Глядят – раскрыли рты...

АВГУСТ

Какое небо – море звёзд!..
Какая жизнь – как волны в море...
А мир так сложен
и так прост,
Что, и в грозу темно во взоре!
Но тем и счастлив человек,
Что, принимая все утраты,
Вдыхает свой короткий век
Не ради званий и зарплаты!
И разве молот кузнеца
Не выбивает из металла:
Какое небо – без конца,
Какое время – без начала?!

СЕНТЯБРЬ

Снова опадают тополя,
Небо по утрам не в синь, а в просинь...
И печальной кажется земля –
Это осень!
В паутинках рощи и луга,
Золотое вызорилось утро...
И стоят, и горбятся стога –
Тихие, забытые как будто...

ОКТЯБРЬ

Звон
Благовонных канделябр,
Злачёный хруст крестов...
Октябрь...
Уже октябрь –
Пора густых ветров!
Осенняя пора. Распутица окрест...
На кончике пера
Рыдает чувств оркестр!

НОЯБРЬ

Зима.
Мороз.
Туман – как творог...
А по утрам со всех щелей
Воспоминаний шумный ворох
Толпится в памяти моей!
И вновь – стихи, как в гамме такты...
И вновь – грехи, как бегство
в суть
Таинства, истины и факта...
Но – стыло. Холод давит грудь.

ДЕКАБРЬ

Передёрнуть бы годы – как стропы!..
Сбросить тяжесть, обиды, слова!
Всё равно ведь растают сугробы,
А весёлые елки пойдут на дрова!..
Всё равно ведь
метель без предела
Разнесёт по сусекам снега...
О, как быстро вся Русь поседела –
За один только век...
На века.

НАКАЗАНИЕ

Вернуть первоначальный
смысл словам.

Платон

Вернуть
первоначальный смысл словам!..
И далее: день ото дня и век от века
Являть долготерпение церквам
И возвышать с любовью человека!

Но истины – расхожи – как слова,
Как философии или законы…
И страшно знать, что жизнь всегда права,
И странно всё: мечты, грехи, иконы…

А будущее – вот оно: орет!..
Замедли шаг
И придержи дыханье:
Всё изначально. Значит, всё пройдет…
На свете нет ужасней наказанья!

Давайте порассуждаем…

1. Как вы поняли смысл стихотворения «Расплата»? Как вы думаете, расплату за что мог иметь в виду поэт? Расшифруйте понятие «донор» в контексте сухановского стихотворения.

2. Какой предстает история в стихотворении «Орден»? Как вы поняли слова поэта о том, что «чахли в снегах небылицы»? Какие небылицы, на ваш взгляд, имеет в виду поэт? Расскажите о том, как вы поняли смысл последних строк, последнего образа этого стихотворения.

3. Расскажите о том, каким настроением проникнуто стихотворение «Белоснежье». Как, каким средствами создает поэт это настроение? Как вы думаете, почему это стихотворение так называется?

4. Какой предстает любовь в стихотворении «Последний»? Удается ли, на ваш взгляд, поэту передать сущность, глубину этого чувства? Обоснуйте свой ответ. Какую роль в раскрытии замысла стихотворения играет его ритмическая организация? Как вы думаете, почему стихотворение названо «Последний»?

5. Какое отношение к Родине, ее истории, ее народу проявляется в стихотворении «О местах»? Вам близко такое отношение или у вас есть

что возразить поэту? Как вы думаете, поэт солидарен с В. Новодворской, слова который взяты эпиграфом к стихотворению? Аргументируйте свое мнение.

6. Как понимает поэзию, ее роль в жизни человека и, в первую очередь, самого поэта П. Суханов, если судить по стихотворению «Связь»? Прокомментируйте его мысль о том, что «предощущение стиха – как очищение от греха». Расскажите о своем ее понимании.

7. Приводит ли поэт доказательства справедливости того утверждения, с которого начинается стихотворение «Не верь»? Если да, то какие? Прокомментируйте признание лирического героя этого стихотворения: «Хорошо живется мне – оттого и плачу».

8. Как вы думаете, о каком понимании языка человека и животного мира говорит поэт в стихотворении «Аквариум»? Какую роль в рассказе об этом играет ритм стихотворения?

9. Как изображено движение в стихотворении «Фантазия»? В чем лирический герой видит смысл этого движения? Или вы считаете, что о смысле в данном случае речь не идет? Обоснуйте свое мнение.

10. Какое значение придает поэт слову «колокола» в одноименном стихотворении? Как вы поняли мысль о том, что «у каждого свои колокола»? Есть у вас такие «свои колокола»? Если да, то что в своей жизни вы таковыми считаете?

11. Какие средства использует поэт для того, чтобы нарисовать картину январской погоды в стихотворении «Морозное»? Как вы думаете, в чем смысл сопоставления себя с январем? О каком восприятии жизни говорит такое сопоставление?

12. Какой предстает природа в стихотворении «На заре»? Какие образные выражения находит поэт для ее характеристики? О каком понимании природы и культуры свидетельствует, на ваш взгляд, это стихотворение?

13. О каком ощущении, каком понимании лирическим героем себя в пространстве и во времени свидетельствует, на ваш взгляд, стихотворение «Ворона»?

14. Охарактеризуйте внутренний мир лирического героя стихотворения «Зимний вечер». Как вы поняли, что любит этот лирический герой и почему? Какую роль в раскрытии этого мира играет, на ваш взгляд, природа?

15. Как создается образ блаженного в одноименном стихотворении? Как вы думаете, какую оценку, положительную или отрицательную, получает блаженный в изображении, понимании П. Суханова. Аргументируйте свой ответ.

16. Каким предстает коллективный образ сибиряков в стихотворении, им посвященном? Этот образ можно назвать героическим? Почему?

17. Какие выразительные средства, образы использует поэт для того, чтобы рассказать о состоянии лирического героя в стихотворении «Второе

дыхание»? О каком ощущении им себя в пространстве и во времени свидетельствуют те детали, с помощью которых рассказано о том, как задыхается лирический герой?

18. Какое понимание истины исповедует лирический герой стихотворения «Разматывая годы, словно путы…»? Как вы понимаете мысль «Истина – на дне»? Как вы думаете, что имеет в виду лирический герой, когда утверждает: «Истина – в России»?

19. Что вы знаете о жанре элегии? Насколько стихотворение Петра Суханова «Элегия», на ваш взгляд, соответствует требованиям этого жанра? Как бы вы определили основную мысль «Элегии»?

20. Что уподобляет лирический герой эскизу в одноименном стихотворении? Как вы думаете, характеристике чего или кого служит образ: «Рассвет – как вдох, закат – как выдох»? Как вы поняли мысль о том, что жизнь «не знает формы и числа»? Можете вы согласиться с ее справедливостью? Почему?

21. Как, за счет чего создается в стихотворении «Прикосновения» образ движения? Как вы поняли открытие лирического героя, согласно которому «законы притяженья никак не подчиняются душе»? Как вы себе это представляете? Поразмышляйте на эту тему.

22. Какой предстает жизнь человека в стихотворении «Не в цирке, а выкручиваем руки…»? Насколько такое видение ее соответствует вашему пониманию жизни? Можете вы, например, согласиться с тем, что все в этом мире «случайно», а будущее – «более чем тайна»? Как вы понимаете мысль лирического героя о том, что «день прошедший – менее чем взгляд»? Можете вы с этим согласиться? Почему?

23. Какое стихотворение цикла «Времена года» вам более всего понравилось? С чем связан ваш выбор? Как вы заметили, есть ли какая-то обращая закономерность в том, как выстроены все стихотворения цикла? Если да, какова она? На что в характеристике каждого месяца поэт обращает внимание в первую очередь?

24. Как вы поняли, что значит для поэта Петра Суханова «вернуть первоначальный смысл словам»? Почему, на ваш взгляд, стихотворение названо «Наказание»? Как вы думаете, удается ли поэту решить поставленную задачу, если судить не только по стихотворению «Наказание», но и по другим известным вам его произведениям? Аргументируйте свой ответ.

25. Напишите небольшое исследование или сочинение-рассуждение о лирике Петра Суханова, взяв в качестве темы его слова: «Хорошо живется мне – оттого и плачу» или «Вернуть первоначальный смысл словам!..»

ТАРХАНОВ
Андрей Семенович
(р.1936)

Первая публикация – стихотворение «Утро» (1958) в окружной газете «Ленинская правда». Первый сборник стихов – «Первая завязь» (1963). Печатался в еженедельнике «Литературная Россия», в журналах «Дальний Восток», «Жизнь национальностей», «Полярная звезда», «Север», «Урал», «Югра», в коллективных сборниках и альманахах, в антологиях «Русская советская поэзия Урала», «Литература Югры: 1930–2000. Кн. 1». Автор многих поэтических сборников, в том числе «Зеленый дождь» (1975), «Праздник грома» (1981), «Храм милосердия» (1988), «Пасхальный день» (1993), «Снежная симфония» (2000), «Исповедь язычника» (2001), «Колокол грянет» (2003), «День боренья» (2005) и других.

Лауреат премии Губернатора автономного округа в области литературы за книгу «Снежная симфония» (2000) и Всероссийской литературной премии им. А.Т. Твардовского за книгу избранных стихотворений «Исповедь язычника» (2003).

Пишет на русском языке. Стихи переведены на болгарский, венгерский, киргизский, чешский, украинский, финский языки.

Член Союза журналистов России (1961), Союза писателей России (1980). Почётный житель города Ханты-Мансийска, награждён орденом Дружбы народов (1997), вице-президент межокружной Ассоциации финно-угорских писателей.

Основная тема поэта – величие родной природы и Родины, сердечное отношение к ним человека. Эта тема дает ему ощущение гармонии мира и его единства. Однако именно природа, ее состояние оказывается главным показателем кризисного положения современного общества. Природа не просто среда обитания – она часть самого человека: оберегая и спасая природу, человек оберегает и спасает, находит себя. «Обрету себя снова в бору», – уверен А. Тарханов, а другом случае признается: «Лес гармонией лечит меня».

Беды и радости Родины – это еще одна неизменно взволнованная тема А. Тарханова. О Родине он может говорить просто и выразительно, без ложной патетики и слезных стенаний, с глубокой верой в ее будущее, в ее народ: «Воспрянет Россия! А как иначе: у нас самый терпеливый и

самый талантливый народ. И как было не помнить строки нашего гениального поэта:

… в свой жестокий век
Восславил я свободу
И милость к падшим призывал».

Поэт Андрей Тарханов восславляет свободу, и прежде всего, – свободу души во всех ее состояниях.

БЕРЁЗОВСКИЕ ЛИСТВЕННИЦЫ

Обласканы инеем вьюги
И светом брусничной зари,
Они, вековые подруги,
Сюда как на праздник пришли.

У Сосьвы стоят величаво.
Распахнут для них горизонт.
Давно обрели свою славу,
К ним люди идут на поклон.
Их Меньшиков гладил рукою,
И Ваули взглядом ласкал.
А эту вот лиственъ зимою
Однажды я сам целовал.

Стоят, словно воины, дружно,
В них – стойкость таёжных людей.
Порой для души –
Очень нужно –
Касаться священных ветвей.

2003

ДУМА У СПИЛЕННОГО ДЕРЕВА

Запах свежеспиленного дерева,
Как ты душу растревожил мне!
Пахнет хвоей, горьковатой серою,
Каплями янтарными на пне.

Ветки, будто лапы глухариные,
Вписаны в брусничник навсегда.

Дерево, я с мудростью совиною
Для себя возьму свои года.

Может, стану осторожным более,
Знаю, что перед коварством слаб.
В странном мире за одним застольем
Пьют владыка, и поэт, и раб.

В странном мире лицемера жалкого
Люди часто носят на руках…
Было схоже дерево с гадалкою,
Взгляд искал кого-то в небесах.

Я и сам гляжу туда с надеждою,
Брата жду из дали голубой.
Взглядами, лаская тучи вешние,
Слышу:
Вновь сюда идут с пилой.

2003

ОСЕННЕЕ ТАНГО

И откуда нагрянули снежные тучи?
Сбит на руки берёз чернокрылый турпан.
За моим палисадом, цветущим у кручи,
Словно море, шумит Леушинский туман.

Ты вчера улыбалась в лучах георгинов,
А сегодня ушла от меня навсегда.
И глядят на обоих, страдая невинно,
С поднебесных высот молодые года.

Вспоминается та бесшабашная пьянка,
Звон гитары, и смех, и коварный обман…
И деревья танцуют осеннее танго,
И последние листья уносит в Туман.

Бьются в берег крутой поседевшие волны,
Ты сегодня в ненастье, детства милого край.
И хотя на душе и тоскливо, и больно,
Рано мне говорить: ты прости и прощай.

СЕДЬМОЙ ВАЛУН

Великому кинорежиссёру Бергману,
чьё искусство в мире
как Потрясение и Восхищение.

Он слит с тобою, остров Форе,
Он – как седьмой седой валун –
Вчера в душе закончил споры,
И стал твоим, он полон дум.

Он словно Борг из той поляны, –
Семь раз исследовал свой путь,
На свет выуживая тайны,
Давая всем на них взглянуть.

И люди плакали, вздыхали,
Себя в тревоге узнавали.

Он помнит дерзкие порывы
Свои до истин, звёзд ночных.
Познал, что люди похотливы,
Слабы, тщеславны и ленивы,
Но есть Олимп в душе у них.

«Найти Олимп – удел поэта.
А я грехи людей возьму,
Доверю Бесу своему,
Он их исследует при свете»[1].

Кто может жить в объятьях дум?
Отшельник, гений и вещун –
Давно об этом знает Форе.
И вновь его седьмой валун
Глядит на звёзды и на море.

2004

[1] Здесь имеется в виду главный герой фильма Бергмана «Земляничная поляна» профессор Борг.

ВЗАИМОСВЯЗЬ

Все звуки мира тянутся ко мне.
Я слышу –
Треснул камень на Луне.
На Марсе,
Где когда-то жизнь цвела,
Сегодня буря рыжая прошла.
И стало душно сердцу...
И во сне
Как будто бубен зазвучал во мне.

Теперь читаю свято молний вязь.
Как велика, тонка взаимосвязь
Деревьев, звёзд, священного жилья! –
Она и есть основа бытия.

2002

МАРШАЛ ЖУКОВ

Приснилась Божья Матерь на амвоне
Ему в тот страшный сорок первый год.
И диво – чудотворная икона
Вокруг Москвы свершила свой полет.
Жила страна в немыслимой тревоге
От поля, от штыка и до пера.
И маршал молвил на рассвете:
«С Богом! В победную атаку нам пора».
С парада – в бой.
Шли в белых маскхалатах,
Как ангелы, в одеждах белых шли
Российские бесстрашные солдаты
В морозной и сияющей пыли.
Москва за ними – в озаренье алом,
Святой Георгий в небе на коне.
И думал о войне товарищ Сталин.
А маршал Жуков думал обо мне, –
Чтоб мой отец живым в леса вернулся,
Чтоб миллионов не было сирот,
Чтоб враг металлом нашим захлебнулся.

И... танки открывали наш поход.
А впереди – руины Сталинграда,
Орел и Минск, Варшава и Берлин...
И в роли величайшего Солдата
Он, Жуков, был воистину один.

ЧУДАКИ

Люди – дети...

Из разговора

Да, конечно, люди – дети,
Забияки, мотыльки, –
Так вредят себе на свете,
Что воскликнешь: чу-да-ки!
Даже после горькой тризны
Мы живем, себя хваля...
Будят нас на праздник жизни
Солнце, реки и поля.
Улыбаются березы
У проселочных дорог.
Мать с рожденья
Сына просит:
«Благородным будь, сынок».
Но... дурные наши страсти
Выше чести и любви.
Потому кругом ненастье,
Потому закат в крови.
Вместо радости – угрозы,
И щетинятся штыки.
Люди, люди,
Я сквозь слезы
Говорю вам: чу-да-ки!

ВСПОМИНАЯ РУБЦОВА

Ты идешь, одинокий, шатаясь,
А в лице колобродит вина.
Ты идешь, удивительно каясь:
«Эх, прости, горевая страна!

Может, нынче с того я напился,
Что опять багровеет закат.
Вижу, как чужедальний убийца
Предстоящей сумятице рад.
Снова тучи дымят над Россией,
Снова всюду вражда и обман.
Ты плесни мне, товарищ, для силы
Русской водки в граненый стакан.
Может, стихнет тоска огневая?
Может, песня расправит крыло?
И у лодки, где тишь зорева́я,
Подниму кормовое весло.
Буду плыть по реке, удивляясь
Ивняковым ее берегам...»
Ты плывешь – как летишь, улыбаясь
Сквозь слезу облакам и стихам.

УТРО ДОСТОЕВСКОГО

Семеновский плац опоясан штыками,
Семеновский плац окольцован клинками.
И вдруг загремели кругом барабаны,
И красное солнце взмахнуло крылами
Над ним, Достоевским,
и над палачами.
Надели уже на друзей балахоны.
Прощальные вздохи, прощальные стоны.
Он в смертном нелепом стоит одеянье.
Он станет отныне
Поэтом страданья.
И вечность, и миг –
познаются пред смертью.
Он пережил это.
Теперь вы доверьте
Ему свои судьбы, и горе, и думы –
Все бедные люди России угрюмой.
Доверься, студент, и чиновник, и нищий,
И князь, по наличию совести – лишний.
Идут россияне: Раскольников бледный,
Мечтатель спешит вдохновенный, рассветный.

С Настасьей Филипповной, гордой и бойкой,
Рогожин летит на игреневой тройке.
И братьев зовет Карамазов Алеша...
Россия идет исповедаться, Боже!
О, судьбы людские! – сомнений лавины,
Увидел он тайные в душах глубины.
Сказал он: «Я понял вчера поутру:
Есть в муках –
свободная воля к добру».

* * *

Мы все одиноки по-своему.
И я одинок,
Даже ты –
Такая красивая, знойная,
Не знавшая в жизни беды.
Стоишь на виду у роскошного
Восхода.
Открыты пути.
И с паруса взгляда тревожного
Не можешь сейчас отвести.
Вниманьем друзей избалована,
И, яркую жизнь возлюбя,
Ты хочешь, чтоб ныне взволнованно
Позвал я в дорогу тебя.
Но... дума моя одинокая
Живет уже бурей ветров.
Плыву.
И луна краснобокая
Садится на гребни валов.
Я падаю птицею раненой,
Но снова беру высоту...
И в этой стихии отчаянной
Я пережил грусть и беду.
Так вот почему одиночества
Просил я с мольбою, волна:
Ведь в буре есть музыка творчества.
Мне музыка эта нужна.

В ГРОЗУ

Мэру Ханты-Мансийска
В.Г. Яковлеву

Рокочет гром над хвойной рощей близко.
Как величава летняя гроза!
Парными кедрами Ханты-Мансийска
Сегодня дышат даже небеса.
Притих простор,
и только реют звуки.
Внимает им зеленый город мой.
И словно чьи-то ласковые руки
Меня возносят к туче грозовой.
Две радуги веселого июля
Пьют торопливо воду Иртыша.
И понял я –
еще не отлюбила
Вот этот мир пленительный душа.
Еще мне плавать у холмов лесистых,
И подниматься буду в небеса.
Еще не раз в лугах Ханты-Мансийска
Меня приветит теплая гроза.

ПАСХАЛЬНЫЙ ДЕНЬ

Искушенной звездой пролети,
Мое сердце,
над миром безбрежным.
Все равно не уйти от тоски,
Все равно я не буду безгрешным.
Так качайте, качели, меня,
В синеву уносите тугую.
Я на склоне пасхального дня
Голубого Христа поцелую –
Поцелую я детство свое
И такую далекую веру.
И заплачу уже оттого,
Что теперь ни в кого так не верю.

БЕЛАЯ НОЧЬ

Ночь как сон – и волшебный, и давний,
Ночь, как чайка над Обью, бела.
И на время прозревшие камни
Плачут на косогоре села.
Это им от небес подаренье –
Увидать на мгновенье окрест
Родников золотое свеченье
И молочно-оранжевый лес.
Видят в белых одеждах влюбленных,
Словно тающих в белом дыму.
Все сейчас –
для счастливых, смятенных,
И остаться нельзя одному.
Не спеши, огнекрылое утро,
На дорогу свою не зови.
Эта ночь, это белое чудо –
Облик первой далекой любви.

НЕ ВСПОМИНАЙ

Романс

С моих кедровых гор несет прохладой
И ароматом хвои смоляной.
Мы были там, мой друг, с тобой когда-то,
И ты клялась,
что будешь век со мной.
Куда ты, время, унесло мой шепот:
«Люблю тебя».
Мне было тридцать лет.
И я услышал древних кедров ропот:
«Не вспоминай.
Не надо новых бед.
Живи один,
так велено Судьбою,
И от людей сочувствия не жди.
Она уже не встретится с тобою,
У ней чужие для тебя дожди».
Не вспоминай, –
шепчу я отрешенно, –
Прощай навеки, бывший милый друг.
На эти горы я гляжу влюбленно,
Родилась здесь тропинка наших мук.

* * *

В человеке бездна жизненности.

Ф. Достоевский

Бездна жизненности во мне.
Словно воля бесстрашных людей
И горенье цветов на стерне
В плоть вошли мою, в песне моей.
И тоска в моем сердце живет.
Просыпаясь порою, она,
Как налетчик, за горло берет,
И... темнеет в глазах вышина.
Я готов на колени упасть,
В этот миг послушанье тая.
Но души непонятная власть
Останавливает меня.
Торопливо за двери ведет
В мир боренья,
навстречу весне.
Ах, как верба пушисто цветет!
След Армстронга цветет на Луне.

УТРО ВОЗНЕСЕНИЯ

Поэма

Поэма посвящается
поэту Виктору Жорнику

Заглушить рокотание моря
Соловьиная песнь не вольна!

А. Блок

Пролог

ГОЛОС КОСМОСА

Несчастный! Ты Бухту затишья искал
От горя, страданий и слез.
Среди голубых и оранжевых скал
Ты Храм удовольствий вознес.

В разгуле бездумном проходят часы.
И что тебе беды людей!
Не чуешь, не видишь движенье грозы
По воле бессмертной моей.
И снова бокал наполняют тебе.
И я говорю, как судья:
Поэтом назвал я тебя по Судьбе,
Но вижу –
ты предал меня.
Позор свой погасишь душевным огнем,
Прозренье, заблудший, познай.
Застольные звоны заглушит мой гром.
Ты бурю под утро встречай.

Первая глава

ШТОРМ

Я ночью проснулся от рева валов.
Стучал в мое сердце неистовый зов.
Ты к морю иди! – грохотало кругом.
Громадные камни разбрасывал гром.
Рыдали деревья и, падая ниц,
Кричали – преступник! – при свете зарниц.
Мой Храм содрогался. Стенали вокруг
Ужасные маски вчерашних подруг.
Мой радужный кубок взлетел к потолку
И... бликами света истек по стеклу.
Не помня себя, – только знала душа, –
Я выбежал в ночь, потрясенно дрожа.
Разумная сила меня подняла
И бросила к дубу, нарочно спасла.
Ударили молнии, белым слепя.
О, Господи! – крик проглотил я в себя.
Качалась у кручи земля подо мной.
Я к дубу прижался прощально душой.
Ревела, рычала стихия воды.
Знобило от страшной ее красоты.
От молний пожар во Вселенной пылал.
И, к тучам вздымаясь, накатывал вал.

Шли белые горы, крича на меня,
Малюсенькой пташкой казался им я.
Но, видимо, что-то я значил для них,
Коль нужен был им
мой задумчивый стих.
И снова услышал я голос небес:
«Тебе неуютно, наверное, здесь?
Ты хочешь, конечно, в свой розовый
Храм, к вину и бесстыдным холеным телам?
Но я тебе дам только соли глоток.
На пользу пойдет тебе этот урок.
Я волю даю справедливым громам».
И с грохотом рухнул мой розовый Храм.
Почудилось –
падаю я между скал...
Вселенский орган рокотал, грохотал.
Очнулся я, видимо, от тишины,
От ласковых звуков прибрежной волны.
И дуб – мой спаситель –
стоит чуть живой.
Лежу я, как прежде, прижавшись душой
К прохладной и пряной от ливней коре,
Явился я заново в мир на заре.
Повсюду обломки деревьев, колонн.
Сквозь трещину в тверди послышался стон.
О, боги! Мой Храм проглотила земля.
А камни – насмешка того бытия.
Но – что это? Посох и рядом сума.
Я понял – она мне с намеком дана.
На посохе надпись – Всевышнего труд:
Нас тени великих на встречу зовут.
Взяв посох, суму, я спустился к волне, –
Я верил, что тайна откроется мне.
И вот он... баркас,
как истории дань.
На парусе буквы сияют – Тамань.
Я замер. Я верю давно в чудеса, –
Вы парус прислали за мной, небеса.
В Тамани мятежный поэт меня ждет.
Скорее, скорее в желанный поход!

Вторая глава

ВСТРЕЧА С ЛЕРМОНТОВЫМ

У жизни есть горькая мука,
Когда ты совсем одинок.
Но есть и бессмертие духа.
Бессмертье небесных дорог.

От автора

... Но сердце сильнее рассудка.
Оно чувствует и находит вдалеке
родные тени...

В.И. Лихоносов. Осень в Тамани

Я взошел в хату...
В разбитое стекло врывался морской
ветер...

М.Ю. Лермонтов. Тамань

Сегодня в окошко не дует –
Здесь новое светит стекло.
И ветер на крыше ночует,
Ему, сироте, все равно.
Когда затихает округа,
Из туч выплывает луна.
Она освещает лачугу,
Баркас озаряет она.
Он – вестник далекий у кручи.
Полощется парус над ним.
Выходит на берег поручик,
Тревогою тайной гоним.
Идет он в знакомую хату, –
Две лавки, и стол, и сундук.
Ему дописать что-то надо,
И верит:
появится друг.
Он, буркой укрывшись, подремлет,
Заветную спрятав тетрадь.
Он слышит и море, и землю,
И облака песню слыхать.
Он встал далеко до рассвета,
Спешит по откосу тропы...

К лачуге бессмертной поэта
Я прибыл по воле Судьбы.
Мой парусник встал у баркаса.
Поэт, словно Бог, подходил.
Такого и мига и часа
Давно я у жизни просил.
Он, Лермонтов,
будто из света, –
В полнеба восход воспылал.
В пронзительном взгляде поэта
Я гения мира признал.

ДИАЛОГ

Странник: Михаил Юрьевич,
Как небо велело, я – странник.
По воле души я – поэт.
И встретил я вас не случайно,
Я шел к вам с младенческих лет.
Лермонтов: Я волю небес уважаю,
Я с волею этой дружил.
Мятежной душою страдаю:
Я мало и жил, и любил.
Но дело не в личной печали,
Веду не о том свою речь.
В одном мы покоя не знали –
Отчизну от бед уберечь.
Я вижу – вы ждете совета?
Даю вам: себя не предай.
И страсть к совершенству
заветом
Потомкам своим передай.
И лжи, и коварства, и лести
Повсюду расставлена сеть.
Нет выше и долга, и чести
В атаке за Русь умереть.
Ах, память! –
минувшему верность.
Под музыку движется рать...
Фанагорийскую крепость
Хотелось бы мне повидать...

Пожар разгорался рассвета,
Сияли огнем небеса.
И поднял я вновь на поэта
Печальные в думе глаза.
Но вижу я рыжую кручу
И краба смешного в воде.
Куда подевался поручик?
Баркас его парусный где?
Какая-то лодка мелькнула
И в розовом скрылась дыму.
И вспыхнуло тотчас светило,
И горько стоять одному.
По-прежнему празднично небо,
И голос поэта слыхать:
Фанагорийскую крепость
Хотелось бы мне повидать.

Третья глава

ЯВЛЕНИЕ ФАНАГОРИИ

О, пыль веков! По ней сейчас хожу,
Наверно, тень минувших дней ищу.
Со мною рядом бродит русский грек.
Он, Сердериди, мудрый человек.
Он любит слушать камни и цветы,
Познал у жизни тайны красоты.
Взяв амфоры округлый черепок,
Сказал: «На дне усох вина глоток.
Кого питал сосуд сей огневой?
Кого он вдохновлял в час роковой:
Оратора? философа? жреца,
Имеющего славу мудреца?»
Причудливая вязь ему видна, –
Всмотрелся грек и прошептал: «Фа-на...»
Задумался, догадкой осиян:
«От запаха веков я нынче пьян...
Фанагория! – дивная страна...
Нам подарила амфору она!..»
Провидцем стал сегодня русский грек:
Сквозь облака узрел желанный век.

ФАНАГОРИЯ

Живет разумно на Земле
Страна Фанагория.
Не злато ценится в жилье,
А мудрых книг стихия.
У власти здесь триумвират –
Поэт, ученый, зодчий.
В делах ответственность и лад.
Бывают споры, впрочем.
Совет ученых по делам
Взволнованной Природы
Имеет свой рабочий Храм.
Для связи с небом
коды
Хранят, взгляните, своды, –
Идут сигналы кода «Марс» –
Грядет землетрясенье.
Мигает «Беги» синий глаз –
Не будет наводненья.
Здесь изучайте судьбы рек,
Озер, лесов дремучих.
Твое призванье, человек, –
Дружить с землей и тучей.
Целебных кедров, трав, цветов
Страна имеет парки.
Храм земледелия готов
Всем показать поля хлебов –
Труда подарок яркий.
Во Храм искусств
людей зовет,
Наверно, сам Всевышний.
Орган торжественно поет –
Он друг небес давнишний.
Ответно льется горний свет.
Храм полнится стихами.
И говорит седой поэт
С народом и богами.
Каменотес, кузнец, поэт
Равны по вдохновенью
В труде, –
приняв небесный свет
В сердца свои с рожденья.

И потому растут дворцы
Один другого краше.
Сравнимы в мастерстве творцы
С Природой дивной даже...
Ты для кого цветешь, страна
Любви Фанагория?
В соседних странах дикость, тьма –
Враждебная стихия.
Они завидуют тебе,
Терзает зависть злая.
Тебя ждет гибель по Судьбе,
Страна моя святая.

Эпилог

ИДЕТ ПРОРОК

Страна моя, любимая Россия,
Судьба тебе от Космоса дана.
Ты одинока, как Фанагория,
Но верою в себя навек сильна.
Вокруг тебя враждебный мир клокочет,
От козней лютых передышки нет.
Но видят и враги, как льется ночью
На все твои просторы Божий свет.
Ты вновь, Россия, нынче на распутье.
Куда идти? Туманно на Земле.
И странные везде на тронах люди:
Без Бога в сердце,
без царя в челе.
Отринув на обочину поэтов
(Пророков, мол, в России больше нет),
Забыла власть верховная при этом,
Что перед Богом ей держать ответ.
Судьба твоя, Россия, светоносна,
Идет к тебе
твой страждущий Пророк.
Святой Георгий бой победоносно
Закончит скоро над крестом дорог.

* * *

Не веря назойливым временщикам,
Фальшивым наградам, фальшивым чинам,
Мы жили, а время спешило.
Огнем наше время прошлось по сердцам
И наши сердца опалило.
А в мире жестоком жируют ханжи,
А в мире жестоком парадов и лжи
Нельзя нам без мук и боренья.
Мы верим в рассветы мятежной души
И в завтрашний день вознесенья.

Давайте порассуждаем...

1. Какими выступают березовские лиственницы в одноименном стихотворении А. Тарханова? Чем они дороги лирическому герою стихотворения? Как вы поняли мысль поэта о том, что «порой для души – очень нужно – касаться священных ветвей»? Как вы думаете, в чем смысл таких прикосновений?

2. Вы хорошо представляете себе, как пахнет свежеспиленное дерево? Ваши представления совпадают с тем, как об этом рассказывает А. Тарханов в стихотворении «Дума у спиленного дерева»? Если да, в то в чем?

3. С чем или с кем ассоциируется дерево в сознании лирического героя в стихотворении «Дума у спиленного дерева»? Как вы поняли, в чем сущность, содержание этой самой думы? Почему поэт называет этот мир странным? И при чем тут спиленное дерево? Порассуждайте на тему.

4. Расскажите о том, как вы поняли смысл стихотворения «Осеннее танго». Каково доминирующее настроение этого стихотворения? Как, какими средствами поэт создает это настроение?

5. Что вы знаете о творчестве кинорежиссера Ингмара Бергмана? Какие фильмы этого режиссера вы видели? Можно ли, на ваш взгляд, судить о творческой манере Бергмана по тому, как об этом пишет А. Тарханов в стихотворении, ему посвященном? Расскажите о своем видении, понимании творчества этого режиссера по стихотворению А. Тарханова.

6. Как вы поняли мысль поэта о том, в чем «основа бытия» человека, если судить по стихотворению «Взаимосвязь»? Насколько красива и убедительна для вас эта мысль?

7. Какие средства использует поэт для того, чтобы рассказать о том, кто такой маршал Жуков и кем он стал в истории России и мира? Как вы поняли слова поэта о том, что «и думал о войне товарищ Сталин, а маршал Жуков думал обо мне»? Насколько убедительно, на ваш взгляд, такое противопоставление? Обоснуйте свой ответ.

8. Кто такие чудаки, если судить по одноименному стихотворению А. Тарханова? Каким предстает в этом стихотворении современный мир? Есть ли в его чертах что-либо привлекательное, симпатичное? Если да, приведите конкретные примеры из текста.

9. Каким предстает образ большого русского поэта в стихотворении «Вспоминая Рубцова»? Как вы думаете, чем особенно дорог он А. Тарханову? Можно ли, на ваш взгляд, узнать в стихотворении Тарханова манеру письма, своеобразие речи самого Н. Рубцова? Если да, то в чем?

10. Какой предстает Россия в стихотворении «Утро Достоевского»? Как вы думаете, какой смысл, какое содержание вкладывает в данном случае поэт в понятие «утро»? Каким видится поэту творчество великого русского писателя? Что в этом творчестве он ценит прежде всего?

11. О чьем одиночестве размышляет лирический герой стихотворения «Мы все одиноки по-своему…»? Как понимает он время и пространство? Как вы поняли, почему лирический герой этого стихотворения «просил одиночества»?

12. Какими предстают город и природа в стихотворении «В грозу»? Какие настроения вызывает у лирического героя гроза, какие философские размышления приходят к нему благодаря ей?

13. В чем значение для лирического героя пасхального дня в одноименном стихотворении А. Тарханова? Какие детали, образы этого стихотворения свидетельствуют о том, что это именно пасхальный день?

14. Какой предстает природа в стихотворении «Белая ночь»? Какие приметы, детали ее образа показались вам наиболее интересными, выразительными? Какие настроения и мысли вызывает в душе лирического героя образ белой ночи?

15. Что вы знаете о жанре романса? Какие особенности характерны для этого жанра? Что в содержании и структуре стихотворения «Не вспоминай» говорит вам о том, что перед нами – именно романс? Обоснуйте свой ответ. Какими мыслями, настроения проникнуто стихотворение «Не вспоминай»?

16. Как вы поняли, какое содержание вкладывает поэт в понятие «жизненность», если судить по стихотворению «Бездна жизненности во мне…»?

17. Расскажите о том, как вы поняли содержание поэмы «Утро Вознесения». Каким содержанием в этой поэме наполняется понятие «храм»? Как трансформируется это содержание?

18. Как описан шторм в первой главе поэмы? Какой смысл придает этому явлению поэт? Каким предстает в поэме образ Михаила Лермонтова? Как вы думаете, в чем смысл встречи Лермонтова и автора поэмы? Какую роль выполняет диалог между Странником и Лермонтовым?

19. Как вы поняли, в чем смысл названия поэмы «Утро Вознесения»? Какие пророчества включены в эпилог поэмы?

20. Каковы композиционные особенности поэмы «Утро Вознесения»? Охарактеризуйте ее образную структуру.

21. Как представлено настоящее в стихотворении «Не веря назойливым временщикам…»? Насколько узнаваема, убедительна картина, которую создает А. Тарханов? Как вы думаете, чего ждет поэт от будущего?

22. Напишите небольшое сочинение-рассуждение или эссе о лирике Андрея Тарханова, взяв в качестве темы его слова: «Мы верим в рассветы мятежной души…».

ЧЕРКАШИН
Павел Рудольфович
(р. 1972)

Стихи и рассказы печатались в журналах «Врата Сибири», «Жеглов, Шарапов и К°», «Литературная учеба», «Милиция», «Наш современник», «Югра», в коллективных сборниках и альманахах.

Опубликовал книги прозы «Анастасия» (1999), «Чарушинская скамейка» (2002), сборники стихов «Память детства» (2000), «Межсезонье» (2001), «С тобой и без тебя» (2004).

Член Союза писателей России с 2004 года. Лауреат конкурса МВД РФ на лучшее литературное произведение о сотрудниках органов внутренних дел (2001), Всероссийского конкурса «Щит и меч» (2003), российского сетевого литературного конкурса «О любви» (2005).

Павел Черкашин признается: «Свое творческое кредо определяю как передачу сбережений русского слова, исторической памяти народа, любви к малой родине и Отечеству по непрерывной цепи наследования грядущим поколениям. Этот же канон является для меня важным мерилом в оценке произведений современной литературы России».

Вполне определенное отношение к жизни проявляется в прозе и поэзии П. Черкашина: они учат ценить жизнь, все ее проявления, все ценности, учат ценить Родину, и прежде всего малую – землю, на которой родился человек, на которой родилась и выросла его душа. Как участник боевых действий на Северном Кавказе писатель знает, что значит не просто ценить, а и уметь защищать свою Родину.

Лирика П. Черкашина жива мыслью о необходимости сохранения того чистого и светлого, что еще есть в душе народа, мыслью о необходимости возвращения к ценностям, которые не могут устареть или выйти из моды.

Его проза оставляет ощущение абсолютной невыдуманности сюжетов и героев, характеров и обстоятельств. Возникает ощущение, что его герои – это те, кого не только хорошо знал сам автор, но и читатель жил с ними где-то рядом, наблюдал за их жизнью, попадал в такие же обстоятельства.

* * *

Тихий погост. За оградою кони
Мирно пасутся. За просекой лес.
Здесь моя родина, здесь мои корни,
Дедова мать похоронена здесь.

Лет уж немало смолистые кедры
Старой могилке даруют покой.
Не потому ли недобрые ветры
Место сие обошли стороной.

Внуки да правнуки – жизнь разметала –
На ноги встали вдали от гнезда.
Часто дорогу пургой заметало
В город, куда не идут поезда.

Только как прежде, влекомые зовом
Родины дальней, срываются с мест.
Чтобы о детстве обмолвиться словом
И помолиться на маленький крест.

* * *

Выйду за околицу,
Позовёт тропиночка
В дали заповедные
Вековой тайги.

И пойду неспешно я
По ковру по мшистому,
По логам, по взгорочкам
К родникам святым.

Далеко ли, близко ли –
Ни к чему загадывать –
У ключа заветного
Сделаю привал.

В нём водица чистая,
Незабвенно вкусная –
Пью и наполняюсь я
Милостью Творца

Силой благодатною,
Думой просветлённою,
Верой неизбывною
В торжество Руси!

Стану добрым воином,
Стану новым Муромцем
И в обиду родину
Никому не дам!

* * *

Деревянная старушка
Грустно смотрит на закат.
Здравствуй, милая избушка,
Воротился твой солдат!

Дворик, низкое крылечко,
Домовитый дух сеней…
Спелым жаром встретит печка,
Столь родимым с давних дней.

В уголке лампада светит,
Богородица и Спас
По-родительски приветят –
И возрадуюсь тотчас!

По широким половицам
Я к божнице подойду –
За Отчизну помолиться
И за русскую избу.

* * *

Три иконы, крест нательный
На цепочке на стальной,
Строгий пост семинедельный,
Свет лампады в час ночной
Да ещё молитва к Богу –
Вот и всё, что нужно мне,
Чтоб приблизить понемногу
Светлый день моей стране.

* * *

Деревья в Грозном скорбно молчаливы,
Хотя всё реже перестрелки и бои.
На чёрные от гари ветки сливы
Не прилетят весною соловьи.

Немногие черешни, абрикосы
В апреле пышным цветом оживут.
Кислотный дождь роняет щедро слёзы,
Которые нещадно землю жгут.

Простреленный навылет кипарис
Затягивает раны клейким соком,
А среди гильз расцвёл вчера нарцисс!
И... радостью пробило, словно током!

* * *

До Сургута литерным составом
Из Чечни всего лишь суток пять.
Мы ещё пока в рассудке здравом,
Но уже устали воевать.

Хочется домой, к родным рябинам,
Тут лукавить глупо, ни к чему.
Скоро май, земляк, и... по машинам –
К кедрачам, в югорскую весну.

Мимо блокпостов до перевала,
Дальше через Терек и в Моздок.
Перекур. Посадка. И с вокзала
Литерным. На северо-восток!

* * *

По развалинам месяц щербатый скребётся.
Тусклым когтем царапает уголь стропил,
Я сегодня в отгуле, и так мне неймётся,
Что не спится, ведь полночи час наступил.
Тихо вышел под звёзды, хоть зябко и сыро,
На созвездья чужие смотрю я с тоской.

Горный ветер Чечни дует властно и стыло,
Да урчит заунывно в траве козодой.
Долго выстрелов нет... Оттого и бессонно
Пью глазами разлитый в ночи Млечный Путь.
Лишь ракеты, одна за другой, монотонно
Режут траур войны... Не уснуть. Не уснуть.

Брату Юрию посвящаю

МАЛЬЧИК И ЗВЕЗДЫ

Лирический этюд

Разверзлась бездна, звезд полна,
Звездам числа нет, бездне – дна.

М. Ломоносов

Это было нынешней зимой.

Я стоял поздно вечером на автобусной остановке и ждал нужного маршрута. Автобуса все не было. Невдалеке от меня переминались в молчаливом ожидании еще человек пятнадцать. Они ежились от холода и постукивали ногами по утоптанному снегу, чтобы отогреть озябшие ноги. Хмурые взгляды горожан были направлены вниз, и лишь иногда усталые взоры устремлялись в темный проем улицы в надежде увидеть долгожданный автобус.

И только один мальчик, лет скорее всего девяти, явно выделялся из толпы.

Мальчик смотрел в небо.

Он не жался от холода, как остальные, не расхаживал монотонно из стороны в сторону, а наоборот стоял и, запрокинув голову, завороженно смотрел вверх. Как будто чего-то ждал оттуда.

Я заинтересовался и тоже взглянул туда.

Далеко в небе мерцали яркие звезды, похожие на крохотные льдинки. Была на редкость ясная ночь, и черный купол неба просто переливался от блеска этих холодных искринок. Звезды, действительно, привораживали!

– Дяденька, – услышал вдруг я неподалеку детский голос и оторвал взгляд от звезд.

Это мальчик подошел к стоящему по соседству от меня мужчине. Тот рассеянно смотрел вперед, курил и сперва не услышал, как к нему обратились.

– Дяденька!

– М-м, ты мне? Чего?

– Дяденька, скажите, пожалуйста, что это за звезда? – и он указал рукой в небо.

Мужчина скучно посмотрел на звезды, пыхнул сигаретой, потом пожал плечами и буркнул:

– Не знаю.

– Извините, – с сожалением сказал мальчик и отступил в сторону. Тихо вздохнул. Обернулся в надежде спросить еще кого-нибудь и встретился взглядом со мной. Я едва заметно кивнул. Он обрадовано улыбнулся и подошел ко мне.

– Вы – знаете?!

– Может быть. Тебе какую?

– Вон ту! Видите? – и вновь маленькая рука потянулась в небо.

Я наклонился к плечу мальчика и почти сразу увидел желтенькую звездочку. Внутренне успокоился, узнав ее.

– Это Арктур, – произнес я, когда повернул голову к мальчику.

– Правда! – удивленно и с радостью выдохнул он.

– Да.

– Арктур... Красивое название. А в каком он созвездии?

– Кажется, Волопас... Да, Волопас.

– Волопас. А что это значит?

– Это... Это человек такой. Волов который пасет. Быков таких больших. Есть ведь – свинопас. Вот и Волопас тоже есть.

– А звезда, значит, Артур называется?

– Нет. Арк-тур.

– Арктур, Арктур... Спасибо! А какие еще есть звезды?

– Звезд, сам видишь, тысячи.

– Нет, ну такие, чтоб запомнить можно было и найти.

– Ну, смотри, – и я стал перечислять, показывая, знакомые мне звезды. – Вот это – Капелла, а вот эта, что ниже – Альдебаран. Вон Кастор и Поллукс – братья-близнецы.

– А я родился под знаком Близнецов!

– Ну вот, теперь знаешь, где находится твое созвездие. А во-он там, видишь, яркая, часто переливающаяся звезда?

– Вижу.

– Это – Сириус. Правда, красивая!

– Ага! Здорово!.. Я так люблю на звезды смотреть! Всегда бы смотрел!

Он снова стал смотреть на звездное небо.

А я невольно с благодарностью вспомнил маму. Те далекие северные ночи моего детства, когда мы гуляли с ней по затихшим улицам села и она с вдохновением рассказывала про огромную страну созвездий, а я с затаенным дыханием слушал ее и восторженно глядел на опрокинутую чашу блистающего ночного неба.

Неожиданно из темноты поперек Млечного Пути чиркнул зеленой – фосфорического света – полоской метеор.

– Звезда упала! – быстро проговорил мальчик и обернулся ко мне. – А расскажите еще про звезды. Пожалуйста.

– Еще... Знаешь, какое созвездие считается самым красивым?

– Какое?

– Орион. Вот оно, правее и выше Сириуса. Нашел?

– Ага! Я раньше уже замечал эти три звездочки в один ряд. Как волшебная палочка!

– Это не палочка. Это – пояс Ориона. А чуть ниже кинжал...

– Подождите немного, – попросил вдруг мальчик, расстегнул портфель, вытащил из него тетрадку и карандаш. – Я сейчас запишу.

Он пристроился и замерзшей рукой коряво и крупно вывел: «Арион».

– Эх ты, грамотей! «О» – первая буква.

Мальчик добродушно улыбнулся и поспешно намалевал поверх буквы «А» жирную «О». Потом записал все остальные названия и положил все обратно в портфель.

– Спасибо большое! Я теперь много звезд знаю.

В это время на остановке зашевелились. Сверкнул фарами приближающийся наконец-то автобус. Люди неторопливо столпились у входа. Из открывшихся дверей дохнуло теплым воздухом салона.

Поехали. Мальчик сел чуть впереди меня у окна и дышал на заиндевелое стекло.

А я задумался. Как все-таки мы меняемся с возрастом. Мы редко смотрим в небо, на звезды. Глядим либо вниз, либо вперед, по горизонтали. Да и мыслим зачастую «горизонтально». Ходим, словно придавлены небом. Почему? Боимся?.. Странно, куда уходит все то, что было в детстве?

Вот этот мальчик: он не боится неба, он любит звезды и не равнодушен к ним. Мне было даже неловко, когда он искренне поблагодарил меня за то, что я рассказал ему о ночном небе. Милый мальчик, это я должен быть благодарен. Ты помог вспомнить мне детство, когда я не был равнодушным к небу, когда мысли и мечты мои простирались не только вперед, но ввысь, к далеким мерцающим светилам.

Спасибо тебе! Спасибо за звезды!

Вспомнив о мальчике, я поглядел в его сторону.

Но его уже не было.

ЗДРАВСТВУЙ, СОЛНЦЕ!

Мужи. Первая половина июля. Благословенная пора белых ночей. Долгожданный подарок природы всей мохнатой и крылатой живности леса. Необъятен день! Вот уж, казалось бы, и вечер поздний, ложись да отдыхай после дневных забот, а еще и солнце не село. Щекотит, дразнит усталые глаза, желанный сон напрочь гонит. Что ты будешь делать!

Лишь ближе к полночи, когда солнце зависает над самым горизонтом, понемногу замирает село, только влюбленные парочки да беззаботные стайки молодежи неспешно бродят по притихшим улицам, затягивают песни.

Влажная белая простыня ночи не спеша размывает отчаянную синь северного неба, забеливает даль окоема. А в вышине – ни звездочки!

Морошковым краем, страной белых ночей называют в это время года мужевскую землю.

На этих кривых улочках, отвоевавших когда-то у тайги свое место под солнцем, на высоком берегу Оби, прошло детство Толи Шебалина. Позади школа. Но каждый год приезжает он в Мужи на каникулы после сдачи экзаменов в университете. Тянет Родина. Так и в этот раз.

Шесть дней прошло, как сошел Толя с «Метеора» на железный, гулко разносящий шаги дебаркадер. Хлебнул полной грудью родного воздуха и замер: так светло, радостно на сердце стало, что хоть кричи от переполняющего, невесть откуда взявшегося ощущения счастья. Но вместо этого губы лишь едва слышно прошептали:

– Дома!

Одним длинным-длинным днем прошла почти целая неделя, как он у матери. Все смешалось: разговоры, встречи, новости, и не вспомнишь, в какой день что было.

Еще по приезду Толя пообещал своему одиннадцатилетнему брату Юре, что они обязательно пойдут на днях встречать восход солнца. У брата глаза загорелись. Каждый день, как вечер приблизится, спрашивает:

– Ну что, сегодня пойдем?

У Толи уже внутри неприятно покалывает: обещал ведь. А как пойдешь? Тут крестные в гости пришли, там еще что-нибудь непредвиденное.

Но вот, наконец, выдался свободный вечер. Настало время сборов. Толя укладывает палатку, Юра собирает сумку с провизией. Мама с сестрой Ниной тут же в коридоре стоят, наблюдают. Невдомек им, что это парням дома не сидится.

– И охота вам комаров кормить, – по-доброму усмехается мама.

– А мы с собой мазь взяли, – откликается Юра. – Во! Целый тюбик.

Нина, средняя из детей по возрасту, не преминула после мамы вставить:

– Лучше бы в своей комнате прибрались, чем шастать непонятно где.

Юра ехидно парирует:

– Ты дома остаешься? Вот и приберись.

Сестра хмыкает и демонстративно уходит в свою комнату.

– Ой, обиделась будто! – смеется вдогонку младший. – На часы посмотри. Десять уже, какая приборка! На ночь-то глядя.

Толя смотрит на маму, как она отреагирует, и, успокаивая, говорит:

– Послезавтра все равно суббота. Тогда полностью и приберемся.

– Все! Готово, – пыхтя, докладывает Юра и натягивает на ноги разношенные кроссовки.

Братья выходят во двор. Негромко разговаривая, идут на северную окраину Мужей. Вышли специально попозже, чтобы людей на улицах меньше было. Село-то наполовину зырянское. А зыряне – народ любопытный, все

интересно им: и кто куда пошел, и о чем соседи повздорили, и чья собака у их калитки уснула. Каждого хоть завтра в разведчики записывай!

Людей, и правда, было не много. То ли день душный был, то ли телефильм интересный показывают. Вышли Шебалины на окраину. Впереди на длинном шесте полосатый «чулок» аэропорта неподвижно висит. Тихо. Сейчас вдоль взлетно-посадочной полосы до небольшого пляжа на берегу Югана, а там чуть влево и палатку ставить.

Огненный шар солнца медленно заваливается к северу. В щедрой россыпи предзакатных лучей скрадываются очертания лесистого косогора, едва различима в золотистой дымке соседняя крохотная, в пятнадцать домов, деревенька Ханты-Мужи. Воздух за день прогрелся, дышит теплом и травными запахами, даже комаров еще нет, прячутся в сырых низинах.

Пока братья устанавливают палатку, разводят небольшой костерок и готовят в котелке немудрящую похлебку из пакетного супа с тушенкой – уже полночь. Солнце зависло над дальним тальниковым островом и упрямо не хочет садиться. Струит рассеянный свет на раздольный пойменный луг, оттеняет румянцем жидкое серебро проток и реки.

– Искупнемся, пока комаров нет, – предлагает Толя.

– Давай, – охотно соглашается младший.

Шебалины наперегонки сбрасывают всю одежду и бегут к Югану. Статное, мужающее тело Толи первым взбуравливает, взрывает брызгами спокойную гладь речки. Более осторожно, взохивая от неожиданной прохлады воды, заходит на глубину Юра. Братья неторопливо плывут на недалекий противоположный берег. Хоть и не глубок Юган, но даже в жаркие дни вода прогревается лишь на метр, поэтому оба они держатся на поверхности, их голые тела почти не скрываются под водой.

– Уф-ф, хорошо! – отдувается Толя, выбираясь на пологий илистый берег.

– Ничего себе – хорошо! Дубак такой! В воде и то теплее.

– Не беда, скоро обсохнем. Смотри-ка, кони.

К Югану неторопливо брело небольшое стадо.

– Наверно, на водопой, – предположил Юра.

– Может быть. А может, на тот берег переплывут.

Мимо братьев равнодушно, полностью в своих думах прошли первые четыре лошади. Остановились у кромки Югана, оглянулись, вразнобой фыркнули и вошли в воду. Поплыли. Вслед за ними с таким же несложным обрядом последовали остальные. Издалека их рыжая лоснящаяся от воды шерсть казалась медно-огненной, словно само солнце спряталось в шкуре на покатых боках коней.

– Я испугался: думал, перевернут наш котелок, – признался младший.

– Да нет. Что они, глупые, на костер идти – рассудил другой брат. – Поплыли обратно. Там уже, наверно, все сварилось.

– Ага. А то все равно что-то холодно. И комары появились.

Братья отошли берегом вверх по течению, чтобы не плыть в темной, взбаламученной животными воде, и погрузились в прохладные струи реки.

– Ты чего отстал? – окликнул Толя брата, отряхаясь от капель.

Юра неловко выбирается на берег и неуклюже ковыляет к костру. Тяжело дышит.

– Ногу поранил? – тревожится старший.

– Нет, свело. Едва доплыл. Хорошо, что у берега почти, – Юра старается говорить со спокойной уверенностью, но глаза выдают недавний испуг.

– Иди давай в палатку, оботрись и одевайся быстрее,– велит Толя и хмурится. – А то не утонул, так простудишься.

– Маме только не говори! – отзывается из палатки Юра.

– Ладно, сами грамотные.

Толя одевается сам, потом зачерпывает ложкой из котелка, дует и, обжигаясь, пробует:

– А ничего супец! Наваристый!

–Ты мне-то хоть оставь! – шутливо возмущается младший.

– Сколько ложек? – отзывается Толя, и братья смеются.

– Юр, слышишь?

– Что?

– Мазь прихвати. Одолели кровососы! Аж на ложку с супом липнут.

– Ага. – Брат выбирается из палатки с тюбиком в руке.

– Ой, а солнце-то село. Прозевали.

– То-очно, – с сожалением тянет старший.

На севере почти в полнеба нежно алеет заря. Там, где село солнце, далеким костром пышет горизонт. Такое ощущение, словно огненный шар совсем рядом, просто укрылся за тальниковым островом и, если подняться на холм, то непременно увидишь его приплюснутый, набирающий силы для нового дня круг.

Насытившись, братья спешат под брезент палатки от полчищ комаров.

– Сколько сейчас?

– Час ночи, – отвечает Толя, взглянув на часы.

– Здорово, да?

– Что?

– Солнце встает в один день, а заходит уже на следующий.

– Да-а. Будто и не заходит вовсе.

– В Салехарде, наверно, так и есть. Там же Полярный круг?

– Ага. На Ямале вообще здорово. Кругом только тундра, небо и солнце! Там сейчас и белых ночей нет. Все день и день.

– Классно! Не верится даже.

Незаметно проходит час. Золотистое зарево неторопливо передвигается с одного конца острова на другой.

– Гляди, – замечает Юра, – луна.

Толя шарит глазами по светлому небу.

И правда, над Обью, одинокая, словно никому не нужная, блекло розовеет выщербленная с правого бока луна. Попранная владычица неба полярных ночей. С каждой минутой все ярче раскаляется кромка земли и неба.

– Как будто все Шурышкары горят, – восклицает Юра с восхищением.

– С Салехардом вместе, – завороженно добавляет Толя. Братья выбираются из палатки.

– Сейчас взойдет, – с ожиданием в голосе произносит старший и неотрывно глядит на зарю.

– Ух ты! – выдыхает, обернувшись, Юра. – А в Мужах-то уже взошло!

Толя оборачивается и кивает:

– Точно! На холме потому что.

В первых лучах розовеют притихшие дома. В окнах играет рассвет. Бело-сине-красный флаг на здании администрации кажется розово-лазурно-алым.

С минуту Шебалины любуются родным селом и снова устремляются взглядом на север. Почти в то же мгновение теплый луч ударяет в глаза и заставляет прищуриться. Поначалу крохотный, уголек светила все больше раскаляется, растет, превращается в полусферу и наконец оранжево-красным шаром отрывается от горизонта, заливает светом всю низину реки.

– Здравствуй, солнце! – радостно и шутливо выкрикивает Юра и машет рукой.

Толя весело смотрит на брата, тоже вскидывает руку:

– Привет!

Потом дурашливо прибавляет:

– А мы тут тебя всю ночь ждали! Целый час и двадцать минут!

Братья раздувают огонь и кипятят воду для чая. Костер отгоняет комаров, и они мельтешащей кучкой отлетают в сторону. От горчащего запаха дыма оживают вдруг темные валуны дремлющих коней, они лениво поднимают головы и нюхают воздух.

На природе время течет незаметно и быстро. Уже раннее утро. Солнце все выше поднимается в небо и начинает припекать. По Оби пляшет целая россыпь золотых зайчиков.

Пора обратно в село. Шебалины заливают тлеющие угли костра, собирают палатку и отправляются домой.

Поднимаясь на первый пригорок Мужей, Толя и Юра еще раз обернулись назад. Зеленый луг затянулся желтыми облаками. Это один за другим раскрылись пушистые солнышки одуванчиков. Над еще спящими улицами, над речной низиной разнеслось беззаботное ржание коней. И, словно приветствие, отозвался ему вдруг со стороны Киевата долгий раскатистый гудок теплохода.

ЧАРУШИНСКАЯ СКАМЕЙКА

Я тогда был еще маленьким, лет шести, когда в один из погожих июньских дней по другую сторону нашей окраинной улицы дедушка Карпа смастерил немудрящую скамейку. Врыл в податливую землю длинные ровные чурбачки, а поверх них положил и намертво укрепил деревянными клиньями широкую, толстую, до мягкого блеска обструганную доску, вроде тех, какие используют в деревенских домах на половицы.

Это было прекрасное место. Между двумя раскидистыми липами, почти на самом краю зеленеющего пригорка. Отсюда открывался чудесный вид на спокойную излучину речки Чаруши и на просторный пойменный луг, обрамленный вдалеке старым березняком. Под липами в это время года всегда настаивался особенный тяжелый медоносный дух.

Когда скамейки еще не было, здесь все равно часто собирались сельчане. Иногда мужички сидели под сенью листвы, коротая время, пока в поставленный невод не попадется побольше карасей, ближе к вечеру под липами останавливались посудачить женщины, возвращаясь с Чаруши, где на подмостках по старинке полоскали белье, а уж совсем на закате именно сюда слетались шумливые стайки девушек, чтобы вволю пощебетать о своих сердечных делах. Нравилось людям это место. А теперь еще и скамейку дедушка Карпа поставил.

Поздно вечером я тайком улизнул из дома, чтобы получше рассмотреть ее. Прибежав к липам, медленно приблизился к скамейке и осторожно сел на самый краешек, чтобы она была мне видна полностью. Не остывшее еще после жаркого дня дерево приятно согревало ладонь. Я тихонько погладил поверхность доски. Гладкая!

Послышались приближающиеся негромкие голоса. Боясь, что меня прогонят домой, я спрыгнул со скамейки и спустился с пригорка в высокие заросли чернобыльника. К скамейке подошли две немолодые женщины.

– Ай да Карпа! Ишь какую ладную сварганил. Широкая, посидеть любодорого.

– Да уж, восьмой десяток разменял, а все шустрит. Игрушечник!

Женщины почти неслышно сели.

– Додумался ведь. Молодец!

– Да-а... Клавдию вот только жалко.

– Чевой-то вдруг?

– Так ведь наверняка уж, поди, замаял ее своими выкрутасами. То голубятню под старость лет решил строить да голубей разводить, то давеча змея с крыши запускать собрался. Ребенок, да и только.

– Ну что ты, Марфа. Пусть человек тешится-радуется. Вреда от того никому нет, да и Клава, не слышала я, чтобы каялась. Чудной он – это верно. А все одно – молодец! Наш он! Чарушинский!

– Ладно, пойдем, что ли. Позднехонько уже.

– И то верно. Поглядели-посидели...

И тут я услышал встревоженный голос мамы.

– Евдокия Петровна, Колю моего не видели?

– Нет, милая. Да мы тут с Марфой недолго были. Вон, дед Карпа скамеечку сделал, поглядеть приходили.

– Из дома выскочил, ни слова не сказал. Уже с полчаса... – сокрушалась мама. – Думала во дворе он, а вышла – никого. Ладно, побегу искать.

Мне стало стыдно. Я вскочил с корточек, пробежал под пригорком в ту сторону, куда пошла мама, и вскарабкался по склону на дорогу.

– Мамочка, прости, я больше не буду! – кинулся я навстречу, опережая ее, возможно, сердитые слова.

– Ты где же околачивался столько времени?! – полусердито, полууспокоившись, спросила она.

– На скамейку ходил смотреть.

– Не ври. Я там только что была.

– Правда, был. Там еще две женщины пришли, и я в траве спрятался. Потом твой голос услышал и прибежал, – оправдывался я.

– Ладно, разведчик, пошли домой, – подобрела она. – Больше так не делай, хорошо?

С минуту мы шли молча. Потом вдруг вспомнил:

– Мама, а те женщины про дедушку Карпу говорили.

– Да? И что они говорили? – поинтересовалась она.

– Разное. Еще одна из них его обзывала.

Мама недоверчиво посмотрела на меня:

– Как?

– Игрушечником каким-то.

– А-а, – улыбнулась она. – Ну это так и есть.

– Почему? – удивился я.

– Он раньше, когда помоложе был, игрушки разные для детей делал. Из глины, из дерева...

– Ой, а какие?

– Ну я же говорю: всякие-разные. Мне, например, когда я маленькой была, как ты, куклу из мочала сделал. У нас ведь после войны таких, как сейчас, игрушек не было, – ответила мама, когда мы уже заходили в дом.

В тот вечер я долго не мог уснуть. Все думал о дедушке Карпе, представлял в мыслях, какие он делал игрушки. Неожиданно загорелось неуемное желание, чтобы дедушка Карпа и мне сделал какую-нибудь игрушку. С этой сокровенной мыслью и уснул.

На следующее утро, наскоро выпив стакан молока, выбежал на улицу. Ноги сами повлекли к дому игрушечника. Он жил всего через четыре двора от нас.

По-детски трусливо повернул тяжелое кольцо дверной щеколды, пробежал по узкому тротуарчику к крыльцу и постучал в окошко веранды.

Скрипнула внутренняя дверь, и через стекло я увидел самого хозяина, седого и бородатого. Бренькнул не откинутый с ночи крючок, и дверь отворилась.

– О-о-о, здорово, внучек! Ко мне, что ль?

– Ага! – только и сумел выдохнуть я, совсем растерявшись.

– Проходи, проходи. Давненько молодежь не была, – гостеприимно пригласил он.

– Клава, глянь, какие у нас гости! – воскликнул дедушка Карпа, когда мы вошли внутрь.

Из-за кухонной перегородки выглянула щупленькая старушка, баба Клава.

– А-а, знаю, Веры Сомовой отпрыск. Тебя ведь Николкой звать? – обратилась она ко мне.

– Ага.

– Ну, рассказывай, с чем пожаловал, Николай? – с напускной важностью спросил дедушка Карпа, садясь на массивный табурет.

Я вконец смутился и промямлил:

– Игрушку хочу…. Деревянную.

– Игрушку? – усмехнулся старик в седую бороду, замечая мою растущую робость. Я лишь коротко кивнул головой.

– А откуда ж ты, внучек, знаешь, что я игрушки умею делать, а?

– От тети Марфы.

– Это от какой же?

– Да от Веригиной, поди. Одна она у нас, – вставила баба Клава.

– Вон как, – то ли заинтересовался, то ли задумался дедушка Карпа.

– И от мамы еще, – вспомнил я. – Вы ей куклу из мочала делали.

– Ишь ты! Помнит, значит, – обрадовался дед. – Ну, коли матери делал, то, видать, и тебе сделать придется, – с теплотой в голосе рассудил он.

– Пожалуйста, – на всякий случай пролепетал я.

– Хе! – усмехнулся дедушка Карпа в густые обвислые усы.

– А ты помогать мне будешь?

– Буду!

– Ну, пошли, – бодро возвестил игрушечник и поднялся с табурета.

Мы вышли из дома, прошли через двор и открыли дверь дровяника.

Тут была целая мастерская! Видимо, дрова здесь уже давно не хранили. На длинных вместительных полках располагалось великое множество самых разных инструментов и приспособлений, большинства названий которых я совершенно не знал. На полу вдоль стен стояло несколько плотницких ящиков. Пока я все это с любопытством осматривал, дедушка Карпа по-хозяйски прошел в дальний угол и вскоре вышел оттуда с дощечкой в руках.

– Сделаю-ка я тебе самолетик-флюгер... Хочешь?

– А что это такое?

– Объясню, когда будет готов. Это, брат, очень полезная вещь получится. Вот увидишь.

Он сел на огромный деревянный чурбан, взял в руки нож. Внимательно, с прищуром поглядел на дощечку и принялся «колдовать» над ней. На пол посыпались золотистые стружки. Я завороженно следил за работой дедушки Карпы. Постепенно дощечка обретала очертания самолетика.

– Похоже? – оторвался от дела игрушечник.

– Да! – выдохнул я.

– Вот что: принеси-ка мне вон из того ящика шкурку, – попросил он.

– Чью?

– Хе! Не чью, а какую. Увидишь. У нее с одной стороны бумага гладкая, а с другой как бы песок ровным слоем приклеен.

Несмотря на незнание, я довольно быстро нашел наждачную бумагу (ее название узнал уже позднее).

– Эта?

– Она самая. Молодец!

Дедушка Карпа стал тщательно обшаркивать почти готовую игрушку. Затем из отдельного брусочка старательно вырезал похожий на бантик пропеллер, в центре его проделал шилом дырочку и полегоньку прибил к носу самолетика. Правда, с небольшим зазором, чтобы тот мог свободно вертеться. Потом взял в руки дрель и навострился сверлить отверстие прямо в середине самолетика.

– А это зачем? – встревожился я за игрушку.

– Не бойся, – успокоил меня дедушка. – Так задумано.

Я удивленно смотрел, как сверло с жужжанием ровно продавливалось в дерево.

– Ну, вот и все! – сказал дедушка Карпа, распрямляя спину. – Держи. Нравится?

– Ага! – я держал в руках сотворенное на моих глазах чудо и не мог оторвать от него восхищенного взгляда.

– А теперь слушай, – наставительно продолжил дедушка Карпа. – Когда тебе надоест им играть, то попроси папу, пусть он прибьет самолетик на жердь. Гвоздочком как раз в эту дырку. А жердь укрепит над сеновалом. Тогда самолетик флюгером станет – ветер показывать будет.

– Как это? – удивился я.

– А вот запоминай. Самолетик этот необыкновенный, он всегда станет лететь в ту сторону, откуда ветер дует. Например, если он летит туда, где солнце всходит, значит, ветер восточный. Туда, где оно садится – западный. Если в сторону города – южный, а коли к нашему кладбищу развернулся, то – северный. Запомнил?

– Да.

– Ну, ступай, да гляди, не забывай старика, заглядывай.

Не помня себя от радости, я вприпрыжку побежал к своему дому, держа в руках драгоценный подарок.

А месяц спустя самолетик красовался на высоком шесте над нашим сеновалом и бодро гремел пропеллером, летя навстречу восходящему солнцу.

... С той поры, как на берегу Чаруши появилась скамейка, прошло более двух лет. Я уже ходил во второй класс.

В один из октябрьских дней дедушке Карпе привезли машину выписанных в сельсовете на зиму дров. На следующее утро старик в приподнятом настроении вышел во двор колоть сваленные кучей березовые чурки. У бабы Клавы в это время подошла квашня, и она навострилась стряпать пироги с брусникой, столь любимые дедом.

Баба Клава уже вынула из печи первый противень с подрумянившимися и дышащими сдобным жаром пирожками, а со двора все еще приглушенно доносились короткие размеренные удары колуна.

– Ишь, разухарился! – озабоченно сказала она и качнула головой. Поставила в печь новый противень, вытерла о фартук испачканные в муке руки и пошла на улицу.

– Ты бы передохнул, что ль, дровосек, – окликнула она мужа, выйдя на крыльцо.

– Ничего, Клава! – обернулся на ее слова раскрасневшийся, с сияющими глазами дедушка Карпа. – Работка в охотку! Помахаю еще малость, – сказал он, отпыхиваясь.

– Ну-ну, смотри. А то пироги поспели. Горяченькие! – решила она сманить мужа домой. Но он уже вновь взмахнул колуном. Баба Клава безнадежно махнула рукой и поспешила к печи. Уже вытаскивая второй противень, она вдруг поймала себя на мысли, что не слышит звука раскалываемых дров.

– Слава те господи, угомонился! – успокоенно выдохнула она. – Надо предупредить, чтобы хоть поленницу сегодня не складывал. А то ума хватит.

С этой мыслью баба Клава вышла из дома и окаменела от увиденного. На земле, среди беспорядочной россыпи щепок и поленьев, ничком, неестественно скрючившись, лежал дедушка Карпа. Колун был крепко сжат в его руках.

– Карпуша?! – испуганно взвыла она, подбежала к нему и упала на колени.

Дедушка Карпа был мертв.

Потом от врачей баба Клава узнала, что с ним случился обширный инфаркт.

Я хорошо помню тот день, когда хоронили дедушку Карпу. По очереди, группами, заходили сельчане попрощаться с забавным при жизни, никому не делавшем зла стариком. Кто-то, негромко переговариваясь, стоял на дворе, возле наколотой кучи дров, кто-то в ожидании выноса гроба прохаживался по улице около дома, разглядывая узорчатые наличники, вырезанные когда-то дедушкой Карпой.

А мы с мамой и несколькими женщинами сидели на скамейке под облетевшими черноствольными липами.

– Вот и не стало нашего игрушечника... – задумчиво и грустно проговорила тетя Марфа.

В это время из ворот дома вынесли аккуратный, сделанный из листового железа, выкрашенный в светло-зеленый цвет памятник. На нем я прочитал: «Чарушин Карп Емельянович». Чуть ниже чернели даты жизни: 1902–1978 гг. Так я впервые узнал полное имя дедушки Карпы.

– Мама, а у дедушки Карпы почти такая же фамилия, как название нашей деревни и речки... – искренне удивился я, потянув ее за рукав.

Она молча кивнула, а тетя Марфа, услышав мои слова, повернулась и негромко заговорила:

– Да, Николушка, он ведь коренной был. Чарушинский. На кладбище и дед, и прадед его лежат. Отца, правда, нет. Тот в Первую мировую бесследно сгинул.

– Помнится, – вступила в разговор незнакомая мне женщина, – дедушка Карпа всегда на приезжих обижался, когда они нашу деревню называли – Чарушино. Все объяснял: вот, мол, если бы село было, тогда – Чарушино. А у нас – деревня, потому на конце «а» пишется. Чарушина!

– Хороший был человек. Заботливый, – вступила в разговор незаметно подошедшая Евдокия Петровна.

– Скамеечку вот нам на память о себе оставил.

– Да-а. И липы, – вздохнула тетя Марфа.

– Как? И липы его?

–А то. Он их весной сорок первого, перед самой войной посадил. Я тогда еще девчушкой бегала. Все помочь хотела.

Разговор на этом прервался, вынесли гроб.

Дорога к кладбищу пролегала мимо нашего дома. Дул встречный ветер, И я невольно обратил внимание на знакомое тарахтение. Я оглянулся и посмотрел на свой самолетик-флюгер. Он мелко вздрагивал на ветру и порывался устремиться вслед за нами, чтобы тоже попрощаться с тем, кто его когда-то смастерил...

Прошли годы. Из Николки Сомова я давно уже стал Николаем Семеновичем, сотрудником областной газеты. Обзавелся женой, сынишкой.

Но пришел день, когда я вспомнил вдруг деревню Чарушину и долго не мог побороть в себе какое-то неизъяснимое чувство тоски и тревоги по далекому детству.

... Июньским полднем я вышел из рейсового автобуса на памятной мне окраине и пошел по знакомой улице в сторону нашего прежнего дома. Справа под пригорком зеркально отражала прибрежные камыши неторопливая Чаруша. Теперь она казалась мне совсем маленькой.

Я не узнавал окрестности. Вместо удерживаемых памятью образов деревянных домов, которые я жаждал увидеть, взор мой то и дело натыкался

на стандартные двухэтажные коттеджи с одинаково ровно подстриженными газонами в оградах.

Но вдруг я остановился. Брошенный мельком взгляд застрял в густо переплетенных ветвях двух состарившихся деревьев. Это были липы дедушки Карпы. Уже на бегу к ним, там я увидел и скамейку. Его. Чарушинскую.

С замирающим сердцем, как когда-то в детстве, осторожно сел на краешек ее плоской спины, теперь уже побуревшей и местами глубоко рассохшейся от минувших лет. Ни наш дом, ни дом дедушки Карпы не дожили до этой запоздалой встречи. Сейчас на тех местах и дальше до самого кладбища, неухоженного и позабытого, полновластно раскинулся коттеджный городок.

Скамейка под липами оказалась единственным островком из того, что когда-то называлось деревня Чарушина, единственным местом, которое пощадило время, единственной памятью о жившем здесь добродушном бородатом игрушечнике. На душе было и светло, и грустно.

Давайте порассуждаем…

1. Как создает поэт образ своей малой родины в стихотворении «Тихий погост. За оградою кони…»? Как вы поняли, что означает для него понятие «малая родина»?

2. Каким предстает окружающий мир в стихотворении «Выйду за околицу…»? Какие произведения, жанры русской словесности вам напоминает это стихотворение?

3. На чем, на каких традициях строится образная структура стихотворения «Деревянная старушка…»? Как вы думаете, с какой целью автор обращается к этой традиции? Что она придает содержанию стихотворения?

4. Расскажите о своем понимании смысла стихотворения «Три иконы, крест нательный…»

5. Каким предстает окружающее пространство в стихотворении «Деревья в Грозном скорбно молчаливы…»? Каким настроением проникнуто описание пейзажа в этом стихотворении? Как вы думаете, почему расцветший нарцисс вызывает чувство радости в душе лирического героя?

6. Какую роль в стихотворении «До Сургута литерным составом…» выполняют воспоминания лирического героя о родном крае?

7. Каким предстает окружающий лирического героя мир в стихотворении «По развалинам месяц щербатый скребётся…»? Как вы думаете, что не дает уснуть лирическому герою?

8. Как вы думаете, зачем мальчику из рассказа «Мальчик и звезды» понадобилось знать, какие звезды он видит в небе? Почему автор рассказа смог рассказать мальчику о звездах? В чем, на ваш взгляд, смысл рассказан-

ной истории? Зачем человеку необходимо уметь смотреть не только вниз и «по горизонтали», но и вверх, на звезды?

9. Как представлена в рассказе «Здравствуй, солнце!» окружающая человека природа? Удается ли автору создать убедительный и красочный образ природы? Если да, то какими средствами? В чем, на ваш взгляд, смысл того, что ребята идут в тайгу встречать солнце? Разве не проще это было сделать в родной деревне, тем более что туда солнце раньше и приходит? Поразмышляйте на эту тему.

10. Как вы думаете, какое отношение к жизни, к окружающему миру демонстрирует собой поведение дедушки Карпа в рассказе «Чарушинская скамейка»? Какой смысл, на ваш взгляд, вкладывает в слова о нем: «Наш он, чарушинский», – одна из героинь рассказа. Какую роль выполняет в рассказе скамейка, сделанная дедушкой Карпа?

11. Охарактеризуйте повествовательную манеру прозы П. Черкашина. Какие события он кладет в основу своих сюжетов, как развиваются сюжеты его рассказов, как он характеризует своих героев? Проанализируйте речь героев П. Черкашина. Что характерно для нее? Как она строится?

ШЕСТАЛОВ
Юван (Иван) Николаевич
(р. 1937)

Первые стихи опубликовал в 1957 году в окружной газете «Ленинская правда». В 1958-м выпустил первую книгу стихов «Маке мат» («Аромат родины») на мансийском языке, в 1959-м вышла книга на русском языке – «Пойте, мои звёзды». Автор многих книг поэзии, прозы, публицистики, в их числе: «Синий ветер каслания» (1964), «Таёжная поэма» (1970), «Собрание сочинений в 5 томах» (1997–1998). Известность принесла Ю. Шесталову книга «Языческая поэма» (1971). В 1981 году за переиздание «Языческой поэмы» (1978) удостоен Государственной премии РСФСР им. А.М. Горького.

Работал в редакциях газет, радио и телевидения округа, директором Центра национальных культур, возглавлял издательство «Стерх», редактировал журнал и газету «Белый журавль».

Ю. Шесталов – Заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского автономного округа (1997), награждён орденом Дружбы народов (1984) и орденом Трудового Красного Знамени (1987).

Член Союза писателей СССР с 1962 года. Пишет на мансийском и русском языках.

Юван Шесталов – основоположник художественной письменной литературы народа манси. Его метафорически образная и глубоко философская поэзия живет жаждой познания мира, красоты родной земли. Поэт ощущает свою сопричастность ко всему, что его окружает не только в ближнем пространстве, но и на Земле вообще, во Вселенной. Поэтическое сознание Шесталова самобытно совмещает, собирает в единое целое, казалось бы, несовместимые слова, понятия, образы, и это дает возможность почувствовать в его стихах ритмы современной действительности, в которых оживает прошлое, увидеть кардинальные изменения, которые произошли на родной земле, но заметить и то, как продолжает жить каждый потаенный уголок этой земли, не тронутой, к счастью, разрушением цивилизации. Поэта Ю. Шесталова интересует то, может ли человек, совершивший поистине грандиозные преобразования на этой Земле, положивший начало изучению космоса, построить новые отношения с людьми и миром, может ли он сегодня осознавать себя человеком Торума, носителем Космического Сознания.

Немалую роль в структуре поэтического сознания Ю. Шесталова играет его обращение к языковому и образному богатству древних мансийских

сказаний, легенд, песен. И это не просто оживление архаического художественного сознания, но в первую очередь попытка синтезировать архаику и современность, оптимизировать для современного читателя мудрость и красоту далекого от нас прошлого.

Поэт убежден в том, что «без Философии Природы, без философии Космического сознания землянам будет не обойтись». Более того: «Поэзия, музыка, изобразительное искусство будут крыльями для полета в космос духа человека, в неразгаданные тайны высшего разума Торума, Природы».

ОТ ЛЮБВИ ТВОЕЙ ВЫСОКОЙ

Отрывок из третьей песни «Языческой поэмы»

Л.И.

От любви твоей высокой,
Человечной, тихой, чистой,
От меня такой далекой
И немыслимо так близкой,
Я не красавцем становлюсь
И не высокою звездою:
Я смотрю в себя, дивлюсь –
Становлюсь я сам собою.

РОССИЯ

Отрывок из третьей песни «Языческой поэмы»

Л.И.

Когда в немыслимую стужу
Погибла мать моя, когда
Мою мальчишескую душу
Заледенили холода,
Мне на плечо рука России,
Как материнская, легла.
Россия мне и ум, и силу,
И кров, и сытный хлеб дала.
Она в глаза мне посмотрела
Так по-весеннему светло,
Что даже душу мне согрело
Ее сердечное тепло.

А вот когда вступил я в юность,
Она, Россия, для меня
Вдруг девушкою обернулась
С глазами, полными огня.
И сердце, словно солнце мая,
Она зажгла в моей груди,
Ей руку белую сжимая,
Я видел счастье впереди.
В дни радостные и лихие
Женой и другом мне была.
И как подарок от России
Она мне дочку родила.
Вот дочь в глаза мои заглянет,
Начнет язык мой понимать…
Пусть, как Россия, доброй станет
И очень ласковой, как мать.
И пусть еще такое будет:
Две крови в ней одной живут,
Пускай ее мансийкой люди
И россиянкою зовут!

Перевод Н. Старшинова

ИДОЛ

Отрывок из четвёртой песни «Языческой поэмы»

– Земля моя! Какая у тебя песня? Тайга моя! Какая у тебя сказка?

– Песня моя – нефть. Сказка моя – газ. Загадка моя – это я сама, – ответила тайга, не замечая над собой ярких сполохов северного сияния.

Я не стал больше спрашивать, ведь шла вторая половина сложного двадцатого века. Люди были героями, покорителями природы и космоса. Я решил пойти и послушать…

Ледяная земля проснулась от вековой спячки. Она разгорячено дышала, снимая с себя шубу из дремучей тайги, опоясываясь стальными нитями дорог и трубопроводов. Она гудела под железными копытами нового кочевья. С радостью наряжалась в ожерелья городов, сияя счастливыми глазами новых огней... А герои шли, шли, шли. Шли в пургу, в мороз, в зной. Пробираясь сквозь таежные дебри, топкие болота, голую тундру, они шли, шли, шли... И я был вместе с ними. Я тоже был героем. И мои уши глохли от железного рокота: не все я мог услышать. И мои глаза слепли от яркого сияния огней: не все я мог увидеть. И я летал на стальных птицах, обгоняя время, не чувствуя движения Земли...

Но однажды я услышал плач, который вы не могли услышать:
«Аай-о! Кай-о! Кай-йо! Йо!
Люди!
Кай-о! Кай-о! Кай-о! Йо!
Люди!
Если у вас еще не оглохли уши
От жизни, летящей железной птицей,
Послушайте меня.
Кай-о! Кай-о! Кай-о! Йо!»

Услышал я это в верховьях безымянной речки, где бульдозерист расчищал место для нового селения нефтяников, увидал полуразвалившуюся избушку на «лосиных» ножках. Ее сторожили самострелы, притаившиеся среди древних кедров и лиственниц, и плосконосые идолы, стоявшие вокруг поляны... Удивленный бульдозерист вытаскивал из избушки почерневшие от времени деревянные сабли и стрелы, лоскутки материи, шкурки каких-то зверей, берестяные маски, монеты серебряные и золотые, медные амулеты с загадочными узорами, цепочки, железки и, наконец, странную куклу в собольей шапке, в одежде, расшитой цветными сукнами, серебром и золотом...

Он небрежно бросил всё это в снег. И, удивлённый дикости, он рассмеялся. А я снова услышал плач:
«Кай-о! Кай-о! Кай-о! Йо!
Я не нищий! Не холоп!
Вы передо мной снимали соболиные шапки,
А не я перед вами.
Ваши молитвы лёгкими снежинками
Стелились к моим ногам.
Глаза ваши были полны озёрами слёз.
Вы это уже позабыли?!
Души ваши были тёмными пещерами,
Полные страха и сомненья.
Вы шли ко мне.
И я успокаивал вас.
И это
Вы в своей тощей памяти
Зарастили мусором?!
Неблагодарные!
Вспомните:
Уши мои –
Два острослухих ворона.
Глаза мои –
Два зоркоглазых ястреба.
Вздрогнут священные деревья
С семью жертвами –
Я уже слышу.

Качнутся жертвенные деревья –
С семью жертвами –
Я уже бегу на ваш крик и зов.
Бегу ногами семи лосей
Из-за семи гор.
Сквозь дожди и белый ветер
В вашей памяти бегу.
Колючие ветки семи боров
Расчёсывают мою одежду
Из осенних оленьих шкур.
Вы шептали о своём горе
Устами еле дышащего, языкастого зверя.
Для вас я был самым могучим, великим.
Я ходил в подземелье,
Где лишь мамонт ползает
И злой дух Куль бродит.
Я плавал там,
Где водяной Виткась плавал.
Лишь я мог быть рядом с Небом и чертом.
И не страшны мне ямы,
Где вязнут ваши ноги.
И нет земли,
Где слабели б мои руки!
Ради меня вы испускали кровь
Лучших белоснежных лошадей,
Круторогих оленей вы приносили в жертву,
Возвышая меня над всеми духами,
Восхваляя моё имя!
Вы всё ещё не можете вспомнить меня?
Как коротка ниточка вашей памяти!
О, как вы ничтожны!
Да, вы сами, своим коротким умом
Сотворили меня.
Своими живыми руками
Вырубили из дерева,
Из долговечной лиственницы.
Да, я – деревянный идол!
Ваш – дух!
Ваш – вождь!
Ваш – бог!
Я – идол!
Вы – идолопоклонники!»

И стал я вспоминать...

Это не тот ли идол, которому поклонялись мой дед и прадед? Это не тот ли идол, который и на меня в детстве наводил страх? И маленькое моё сердце трепетало, как рыбка в руках человека, пока русская учительница не вывела меня на широкую дорогу из-под чар волшебных лесных духов.

Дорожку к ним сейчас манси стали забывать... А может быть, в нас идол ещё не умер? Ведь все тогда стали поклоняться другому. Хотя он и был человеком.

Отчего всё это было? Разве мы в самом деле были другими? Прошелестел ветерок около уха, и чей-то глуховатый голос выплывал из гробовой тишины:

«Не на луне, а на Земле
Стояло капище моё.
Среди кедров онемевших
Стояло капище моё.
На четырёх ногах, вросших в землю,
Стояло капище моё.
Стрелы с острым клювом птиц
В хвое таились –
Стояло капище моё.
Стрелы с острым клювом птиц
В хвое таились –
Стояло капище моё!
Среди семи великанов менкв
С глазами, обросшими шерстью,
Сидел я в капище моём.
Тридцать стальных сабель
Навек уснули в капище моём.
Тридцать берестяных масок
Юлили в капище моём.
Лицом деревянным, глазами деревянными
Глядел на вас –
Стояло капище моё.
На четвереньках ко мне ползли вы –
Стояло капище моё.
Не только оленя, но и себя
Принести могли вы в жертву мне –
Стояло капище моё.
След ноги моей вы целовали –
Стояло капище моё.
Вы несли ко мне монеты –
Стояло капище моё.
Вы к ногам моим могли принести планеты –
Стояло капище моё.

Подхалимы всех слаще молились –
Стояло капище моё.
Злые языки за зубами прятались –
Стояло капище моё.
Вверх ногами не ходили –
Стояло капище моё.
Бранью тайгу не оглашали –
Стояло капище моё.
Даже звери не рычали –
Стояло капище моё.
Вы слепыми притворялись –
Стояло капище моё.
Вы глухарями быть старались –
Стояло капище моё.
Свой язык вы отверзали –
Лишь быть бы в капище моём!
Кай-о! Кай-о! Кай-о! Йо!
Стояло капище моё!»

Да, это был тот самый идол, которому поклонялись мои предки. Я увидел обструганное деревянное лицо, глаза, брови... От этого взгляда когда-то всё живое немело... А теперь...

Перевод Е. Винокурова

* * *

Нужны мне крылья да еще дорога,
Которой нет и не было длинней.
Пусть бьется в сердце радость и тревога,
Пускай звучит, как песня, скрип саней.

Пусть сердце у меня совсем не отдыхает,
Коль петь взялось – на что ему покой?
Пусть радость в нем и счастье полыхают,
Охваченные щедростью такой!

Тогда я песни, что в душе веками
Цвели и увядали,
Сохраню.
Тогда я в сердце чье-нибудь на память
Хотя б одну слезу, рожденную стихами,
Хотя б один луч солнца уроню!

Пускай метель шаманит в исступленье,
Пускай заносит мной пробитый путь –
Стучите в сердце мне копытами, олени,
Дыхание земли, в мою врывайся грудь!

Перевод Н. Старшинова

* * *

Мне сказывали, прадед мой
Стрелком отличным был.
Он в руки брал свой лук тугой
И белку в глаз разил.
О, если б мне так жизнь прожить,
Чтоб песнею своей
Вот так же метко находить
Пути к сердцам людей.

Перевод А. Паперного

МАТЬ

Здравствуй, край мансийский милый –
Со смолистою тайгой,
С молодой отцовской силой,
С материнской добротой!
Машет мне рукой осина,
Улыбается вода.
Слышу лепет лебединый –
Словно в детские года...
Детство – с кваканьем лягушек,
С плеском уток у озер,
С птичьим пеньем у опушек –
Ты волнуешь до сих пор...
Мать! Твой взгляд я помню нежный,
Треск лучины в тишине...
Вихрь в пыли купался снежной –
Ты тепло дарила мне.
Но нагрянуло несчастье,
Омрачился неба взор...
Где ты, синь? Кругом ненастье –

Мать ушла в дремучий бор…[1]
Я, как лист на голой ветке,
Мерз под ветром ледяным,
Дождь колол – осенний, редкий,
Снег летел – я стыл под ним.
И мороз свирепый клялся
Погубить меня навек –
Жег, под сердце подбирался,
Повалить старался в снег.
В край, где столько лет я не был,
Я вернулся ныне вновь –
Улыбалось солнце в небе,
Был приветлив шум лесов!
Птичий гомон разливался –
Отдавалась песнь во мне;
Мир вокруг звенел, качался
На сверкающей струне...
Нет! Осенний дождь колючий
В дождь меня не обратил!
Ни мороз, ни злые тучи
Не лишили юных сил!
Родиной золоторукой,
Словно матерью родной,
Обогрет я и взлелеян;
Крепнет, зреет голос мой.
Я смотрю ее глазами,
Плачу я ее слезой;
Пахнут песни облаками,
Солнцем, лесом и грозой!

Перевод С. Ботвинника

ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ

Вьюга как собака лает,
Черная, цепная,
Лихо пляшет, снег швыряет
Вьюга ледяная.
Вьюга в поле кружит рьяно –
Голос зол и звонок...

[1] Ушла в дремучий бор – иносказательное выражение, обозначающее у манси смерть близкого человека.

... В тихой люльке берестяной
Закричал ребенок.
Вьюга воем на рассвете
Мальчика встречала,
Первый крик его на свете
Не перекричала.
Словно он уже гордится:
Вот какая сила!
Словно он уже грозится:
Что, мол, победила?
За окошком вьюга пляшет,
Снег в пригоршнях носит,
У дверей собака наша
Воет на морозе.
Куропатки улетают,
Их заносит вьюга.
Ветер и мороз гуляют
В чаще – как два друга.
«Мой горластый, узколицый,
Ты зачем родился?
В мир тайги, где ветер злится,
Ты зачем явился?»
Стонет мать, и в горьких звуках
Боль ее и сила.
Темной ночью в тяжких муках
Сына мать родила.
На полу, где иней талый,
Там родятся дети.
Сколько горя испытала
Мать моя на свете!
Вьюга выла, вьюга злилась,
Вихри бьют, упрямы.
Радость, как цветок, раскрылась
На губах у мамы.
Нежность, радости, печали,
Снежное ненастье...
Люди, вы бы мне сказали,
Что такое счастье?
Может быть, в улыбке тихой,
В светлой женской боли,
В жгучей вьюге, что волчихой
Рыщет в чистом поле?
Может, счастье здесь таится?
Все я принимаю...

Станет мальчик с бурей биться,
Пробираясь к маю.
Станет падать, подниматься.
Путь искать средь ночи. –
Станет плакать и смеяться...
О как жить он хочет!

Перевод О. Шестинского

БОГИНЯ СОЛНЦА

Я слышу зов твой, Богиня Солнца.
Я чувствую твое дыханье.
Оно вот-вот сквозь ночь прорвется,
Сквозь длительное расставанье.
Вся в вихрях белая планета,
Темна от снежной жесткой пены,
Но в синем сумраке рассвета
Ты возникаешь постепенно.
Я слышу зов твой в жарких плясках
Огней полярного сиянья.
В цветных глазах твоих – и ласка,
И песнь любви и ожиданья.
Ты вся уже в весеннем танце,
На землю утреннюю глядя.
Твои тоскующие пальцы
Вот-вот мне волосы погладят.
В зрачках твоих хочу тонуть я,
Как в утре, выйдя из ненастья,
И ощущать тревожной грудью
Твои бессмертные объятья.
Твоей душой хочу дышать я
И, раскрываясь, словно листья,
К твоей улыбке, будто к счастью,
Расти с грядущим утром вместе.
Я петь хочу светло и нежно,
Но вьюга вновь в лицо смеется
И сердце рвет крылом мне снежным,
Богиня Солнца, Богиня Солнца!
Как дотянуться,
Богиня Солнца,
К большой звезде моих желаний?

Мне ликовать еще придется ль
В полярном полдне, в утре раннем?
Но чувствую, что все вернется,
Богиня Солнца!
Богиня Солнца!

Перевод А. Аквилева

* * *

Глаза твои – медведицы в берлоге,
А брови – два тяжелых осетра,
И, как гнездо, тепла
Большая шуба –
Мне в ней отогреваться до утра!
И девушка мне говорит в тревоге:
«Чего же ты стоишь все на пороге?
Ты проходи, не мешкай. Ты ж озяб».
Глаза ее, как чешуя, блестят.
И я смелею тут
И к ней шагаю.
И песни о ее глазах слагаю.

Перевод В. Цыбина

* * *

Если ты человек, а не враль
Легкомысленный, если в ночи
Ты сумеешь расслышать печаль,
А смеяться захочешь едва ль, –
Сердце слушать стихи научи.
Если ты человек, запряги
Свое сердце, стряхнув пустяки,
В дум и дел золотую упряжку,
Ведь земные пути далеки,
Леность прочь отстрани и поблажку.
Тот, кто сердцем владеет своим,
Тот идет по дорогам ночным,
Различая просвет и сиянье.
Он во мгле доверяет уму,
Мудрость жизни открыта ему,
Смысл вещей, красота мирозданья.

Кто шагает дорогой ума –
Того смерть не смущает сама,
Хоть и роет глубокую яму,–
Он, не дрогнув, глядит на нее
И, влюбленный в лесное житье,
Видит будущих дней панораму.
Он – надежный хозяин в дому,
Он серьезен в беде и печали,
И стихи помогают ему
Мудро жить, как отцы завещали.

Перевод А. Кушнера

СЛОВО ГИПЕРБОРЕЯ

Поэма

Юрию Львовичу Прокушеву

Кай-о! Кай-о! Кай-о! Йо!
Вечный Парнас,
слушай слово мое!
Скалы, как статуи древних богов,
скалят
ущелья навеки умолкнувших ртов.
Повержен еще до наших времен
и храм Аполлона,
и сам Аполлон.
И лишь ледяной Кастальский родник
убитые камни с бессмертьем роднит.
И я, припадая к его хрусталю,
последний язычник,
безмолвно молю:
«О Аполлон! Где лира твоя?
Вернись в бытие из забытья!
Сын Дельфы! Восстань, оживи и прозрей,
как я – современный Гиперборей!»

Кай-о! Кай-о! Кай-о! Йо!
Слушай, Парнас, откровенье мое!
Я вдохновенье тебе отдаю,
лиру настраиваю свою
здесь, над Элладой, над морем веков,
здесь,
над развенчанной славой богов.

Вечность и миг воедино слились.
Туман, как лавина, обрушился вниз.
И надо мною застыл небосклон,
словно живой
голубой Аполлон.
И, протянув яркий луч из-за туч,
вручил мне Кастальский – от времени! –
ключ.

* * *

Моего рожденья миг.
Мрак прозрачной ночи белой...
Еле слышный и несмелый
первый в этой жизни крик.
Болью матери оплачен,
снова в памяти возник,
эхом времени подхвачен,
первый в этой жизни крик.
Вдохновеньем наполняйся,
ночи южной глубина.
Крик свой первый на Парнасе
Чем я оплачу сполна?

Может быть, это вовсе не полночи темень?
Ожил двадцатого века зловещий
взаправдашний
миф…

Может быть, это черных полковников тени
встали вокруг, светлый день от меня заслонив?
Может быть, черные люди чужого, проклятого мира
готовят мне страшную казнь, затаившись вблизи,
чтоб замолчал мой торыг[2] – журавлиная лира,
лебединая песня,
многострунная арфа манси?
В памяти века сигналы тревоги не смолкли.
Но, на земле встретив свободы зарю,
идолы, боги, люди,
мамонты, волки,
устами природы
от имени жизни
сегодня я говорю!

---

[2] Торыг – музыкальный инструмент, по форме напоминающий журавля.

* * *

Царь царей и бог богов – слово.
И о нем я речь веду снова.
И глупцам дано оно, и людям мудрым.
На дороге слов своих будь каюром!
Ты сначала их согрей
в сердце честном,
чтоб к вершинам вел хорей,
а не к безднам.
Как седины у виска
с мыслью вровень,
умещаются века
в кратком слове.
Даже музы, Аполлон,
в тебя не верят.
Красоту не по тебе
нынче мерят.
Но Гомер не ждет суда
от новой веры,
пусть борода его седа
с ... до нашей эры.
Добрых кодексов земных прародитель,
мой собрат, учитель и победитель.
Смех и плач его живут
не старея.
Знаю я, что слышит он
через стены всех времен
Гиперборея.

* * *

Повержены боги, когда-то любимые.
Их не спасает ни мрамор, ни бронза...
Они угасают, на слайды дробимые.
Зараза торговли,
туристская проза!
Провиденье наших видений, оракулы,
не тайной, а пылью музейной покрыто.
Гробницы забыты, но живы каракули
ослепшего – нет, не от злата! – пиита.
Не строили храмов, не ставили статуй
певцы и жрецы бессмертья иного.

Их жизни девиз: озадачивай,
радуй,
учи и лечи,
к потомкам скачи
дорогою истины, слово!
Кай-о! Кай-о! Кай-о! Йо!
Это и есть призванье мое.
Как всегда, живое слово
побеждает камень снова.
На устах и на бумаге
в мифе, в песне или в саге
остается человек:
нравы, быт, искусство – век.
Нелегко понять пока мне:
в слове я останусь,
в камне?..

* * *

Нет у меня слова.
Есть страшные сны у меня.
Плакал я ночью снова,
маму хороня.
Счастье ушло навеки,
как будто только сейчас
иссякли,
высохли реки
бессмертных маминых глаз.
Я плакал слезами детства
и повторял опять:
«Нет больше на свете сердца,
чтоб соль моих слез впитать.
Если гагара стонет,
слышат ее облака.
Собачий язык успокоит
жалобный визг щенка...»

Мне ветер сказал на это:
«Горестный вздох затаи,
останутся без ответа
наивные слезы твои.
Не выдавай до срока,
что у тебя внутри.
Мужское сердце – осока,
не уколись, смотри!

Чужая жалость болтлива,
скорее слезы утри.
Женское сердце – крапива,
не обожгись – смотри!»
К этому кедр прибавил:
«Не прячь печалей своих.
Дождь слезы твои разбавил,
а солнце высушит их.
Что может быть дороже,
чем солнце в нашем краю?
Недаром оно похоже
лицом на маму твою.
Пусть горечь большой потери
долго в душе болит.
Но, в силы твои поверив,
волей всего народа
Родина окрылит
и высотой полета
душу твою исцелит».

Я иду по древнему Эпидавру. Ступаю по священным камням храма Асклепиуса. Этот храм здоровья возведен в зеленой впадине среди задумчивых холмов. Покой. Тишина. Умиротворенность. Сюда шли древние со всех концов Греции за исцелением. Но, прежде чем принести жертву богу здоровья Асклепиусу, люди должны были провести ночь в зале снов на шкуре животного, принесенного в жертву. И сны, приснившиеся здесь, пересказать оракулу, который предскажет путь исцеления. Так думали древние.

Я прошел по священным камням храма. Они свидетели тысяч сновидений. Я видел статую бога здоровья. И хотя я не принес в жертву ни белоснежной лошади, ни круторогого оленя, как совсем недавно делали мои предки, я все же встретился с Асклепиусом как язычник.

Я прилег на мгновение в зале снов и вновь увидел сон, который снится мне вот уже тридцать лет.

Маму мою, белолицую и румяную,
в саван укутав, в лодку кладут деревянную.
Кричу я: «Не надо! Холодно ей будет!
Снег ее засыплет, дождь ее разбудит...»
Люди утешают: «Поздно или рано
всем нам плыть в холодной лодке бездыханно».
Я кричу, от страха и от плача слабый:
«Я хочу плыть в лодке с мамой,
с мамой,
с мамой!»

Люди отвечают: «У всего свой срок.
Жизнь и есть вот этот вспененный поток.
Никому теченья вспять не повернуть.
Время плыть сменяется временем
тонуть.
Твоя мать отправилась в свой последний путь...
Но дух ее в тебе живет. Человеком будь!»
А я просил сквозь слезы маму мне вернуть...

Я ходил по камням Асклепиуса, истоптанным ногами равнодушных туристов, и снова уходил в сон, в свое детское языческое суеверие, и камни вновь для меня становились священными, и боги оживали, и плыли слова:

«Асклепиус, бог здоровья,
Исцелитель манси, Сёхрин-ойки,
вы двойники.
В детстве молил я вас взрослыми словами:
«Верните здоровье моей молодой маме!
Верните ей зренье, дыхание, жизнь,
чтоб опять
могла моя вечная мама сына обнять.
Чтоб снова от ласки ее и тепла
рассеялась мгла,
чтоб снова легким шагом
она в мою жизнь вошла».
Но канула улыбка мамина
в океан темноты...
Асклепиус! Нем ты каменно,
бездарно бессилен ты.
Храм твой белый, торжественный –
всего лишь каменный миф.
Как сон на шкуре на жертвенной,
и сам ты ни мертв, ни жив.
Поэтому ты бессмертен
завтра, вчера, теперь.
Не носишь в душе отметин,
невосполнимых потерь.
Каменным останешься,
не плачешь и не смеешься,
чужд страстям бытия...
Как соком полна морошка,
сном своим полон я.

Призванье и вдохновенье,
вы мне помочь должны
преодолеть наважденье,
прервать все прошлые сны.
Чтоб из капкана горя,
как гиря, влекущего вниз,
я вновь вернулся в мир моря,
солнца и ветра – в жизнь!
Начало всего – природа,
здесь, в центре земли,
вновь высотой полета
душу мою исцели».

* * *

Чужой землею заново болея,
снегам Олимпа присягнув давно,
я подношу к губам Гиперборея
Элладу,
как священное вино.
Там, где когда-то проходили боги,
хожу я, опечаленный светло.
Хранят доныне древние чертоги
их мысли, как высокое чело.
И восстают немеркнуще из тлена
богинь неповторимые тела.
И каждая, по-женски откровенно,
как будто говорит мне:
«Я БЫЛА!»
Я голосу святынь напрасно внемлю,
язычество свое неся в себе:
здесь боги с неба сброшены на землю,
чтоб пьедесталами служить толпе.
Паломничество суетно в основе,
и вечность от него не уберечь.
Не потому ль была на полуслове
оборвана классическая речь?
Сначала мрамор, а потом – на слайды
Успех открытий для земных утех...
Зачем античный барельеф Эллады
штампуешь ты вовсю, двадцатый век?!
Зачем величье сына-исполина
на сувениры ты дробить готов?

И я склоняю голову повинно
к подножью обезглавленных богов.
Превознося растоптанную вечность,
ликуя у истока своего,
о люди! сохраните ч е л о в е ч н о с т ь –
последнее на свете божество.

Перевод И. Кашежевой

* * *

Как по лесу тёмному
Малая Медведица
Вперевалку по небу идёт.
Снег крупчатый мелется,
Шаль твоя метелится,
Свадебные сани у ворот.
Эти сани-розвальни
За тобою посланы,
Эта ночь таится у дверей,
И дорожки звёздные
Тебе в ноги посланы,
Полумесяц в гривах у коней.
Если сани заняты,
Если села в сани ты,
Значит, пронесёмся мы с тобой
По морозной наледи,
По метельной замяти,
По дороге жизни молодой.

1971
Перевод А. Поперечного

* * *

Светит Солнце – и на Душе моей светло.
Душа моя связана с Солнцем.
А Солнце – с Торумом, Космосом, Вселенной.
Разум Вселенной я чую через Солнце,
Через Солнце я чувствую, размышляю, живу,
Как малая Космическая частица,
Как Человек Великий
В своей неповторимости…

* * *

У манси,
Как у всех древних народов,
Все живо, разумно.
И Земля, и Солнце, и Звезды –
Вся Вселенная, Космос, Торум –
Живут, не лишены чувства, разума, и цели.
Сочетание космологии древних
С мощью современной науки –
Не путь ли спасения землян?

Давайте порассуждаем…

1. Как вы поняли мысль поэта в стихотворении [1] «От любви твоей высокой» о любви, которая «далекая» и «немыслимо близкая»? Как это может быть? Какой поэтический прием использован в данном случае?

2. Как вы думаете, что значит для человека (особенного влюбленного) быть самим собою?

3. Какой предстает образ России в одноименном стихотворении Ю. Шесталова? Что вам в этом образе более всего запомнилось, показалось наиболее оригинальным, выразительным?

4. Расскажите о своем впечатлении от того эпизода «языческой поэмы», в котором бульдозер расчищает место для нового селения нефтяников?

5. О чем предупреждает человека плач идола, который слышит герой поэмы?

6. Какую роль в приведенном отрывке из «Языческой поэмы» играют воспоминания героя? Каким предстает мир в этих воспоминаниях?

7. Как вы поняли то, какую роль исполнял языческий идол в жизни манси? Что уходит из этой жизни с его уничтожением?

8. Охарактеризуйте образный строй и язык «Языческой поэмы». Как вы думаете, чем наиболее примечательна эта поэма с точки зрения образной системы? Какие образы вам более всего запомнились?

9. Как вы поняли, зачем лирическому герою стихотворения «Нужны мне крылья да еще дорога…» нужны эти самые крылья и дорога?

---

[1] Многие эпизоды, части «Языческой поэмы» (так считает и сам автор) можно рассматривать как отдельные стихотворения.

10. Прокомментируйте признание лирического героя стихотворения «Нужны мне крылья да еще дорога…» в том, что он сохранит в душе «песни, что в душе веками цвели и увядали»? Разве могут песни веками цвести и увядать в душе человека? Порассуждайте на эту тему.

11. Охарактеризуйте общее настроение стихотворения «Нужны мне крылья да еще дорога…»

12. Как вы думаете, что значит для поэта Ювана Шесталова «находить пути к сердцам людей»? Удается ли ему находить эти пути, если судить по известным вам стихотворениям? Аргументируйте свое мнение.

13. Какое содержание вкладывает поэт в слово «мать» в одноименном стихотворении? Какие находит он слова и образные выражения для того, чтобы раскрыть это содержание?

14. Охарактеризуйте образную систему стихотворения «Человек родился». На чем, на каких представлениях о мире основана эта образная система? Какую роль в создании содержания стихотворения играет природа?

15. Как создается образ Богини Солнца в одноименном стихотворении? О каком понимании мира (пространства и времени) свидетельствует этот образ и пути, приемы его создания?

16. Каким предстает образ женщины в стихотворении «Твои глаза – медведицы в берлоге…»? Как бы вы объяснили, расшифровали образ, который есть уже в первой строке стихотворения? О каком понимании женщины, отношении к ней свидетельствует образная структура этого стихотворения?

17. Какие представления о человеке исповедует стихотворение «Если ты человек, а не враль…»? С помощью каких средств, приемов эти представления выражены? Какие образы этого стихотворения вам более всего понравились, запомнились?

18. Расскажите о том, как вы поняли содержание поэмы «Слово Гиперборея». Что характерно для образной структуры этой поэмы? Для передачи какого содержания она служит? Какое понимание слова и творческого человека исповедует автор в поэме «Слово Гиперборея»? Как представлена в этой поэме философия и художественная культура народа манси, как эта культура связана с культурами других народов?

19. Как вы поняли мысль в поэме «Слово Гиперборея» о том, что «человечность – последнее на свете божество»?

20. Как вы думаете, о чем стихотворение «Как по лесу темному…»? Какое настроение преобладает в этом стихотворении? Чем оно создается? Охарактеризуйте образный строй стихотворения «Как по лесу темному…»

21. Расскажите о своем понимании смысла стихотворения «Светит Солнце – и на Душе моей светло…». Как вы поняли признание поэта:

«Через Солнце я чувствую, размышляю, живу»? Что оно может означать? Чем интересны, чем могут заинтересовать современного человека такие поэтические мысли, высказанные в стихотворении «Светит Солнце – и на Душе моей светло…»?

22. Как бы ответили на вопрос, который звучит в финале поэтической миниатюры Ю. Шесталова «У манси, как у всех древних народов…»? Напишите небольшое эссе, сделав его темой вопрос, который звучит в конце этой миниатюры, или сочинение-рассуждение на тему «Мир поэзии Ювана Шесталова».

Содержание

Еремей Данилович АЙПИН 5

ОСЕНЬ В ТВОЁМ ГОРОДЕ. *Осенняя грусть* 6

В ПОЛЁТЕ В БЕЗДНУ. *Рассказ* 11

В ОКОПАХ, ИЛИ ЯВЛЕНИЕ ЕКАТЕРИНЫ ВЕЛИКОЙ. *Рассказ фронтовика* 37

Маргарита Кузьминична АНИСИМКОВА 50

ЛЕЙТЕНАНТОВА ЖЕНА. *Рассказ* 51

МАНГАЗЕЯ. *Главы из романа* 64

Мария Кузьминична ВАГАТОВА (Волдина) 97

ЗАЙЧИК – ЧЁРНЫЙ ХВОСТИК... Перевод А. Кердана 98

ХИЛЫ И АКИ ЧЕРНОЕ СЕРДЦЕ. Перевод А. Кердана 101

МАТЕРИНСКОЕ СЕРДЦЕ. Перевод А. Кердана 103

СВЯТАЯ ЖЕНЩИНА-ОГОНЬ. Перевод Н. Шамсутдинова 104

ДОЧЕНЬКА, ДОЧЕНЬКА. Перевод А. Кердана 106

СВЕКРОВИ. Перевод В. Мазина 106

МУЖЧИНА ПРОЕХАЛ. Перевод А. Кердана 107

УСЛЫШЬ! Перевод А. Кердана 108

ПОЛЕТ. Перевод А. Кердана 109

«ЕСЛИ СЕРДЦЕ МОЕ ПОЕТ…». Подстрочный перевод автора 109

Владимир Семенович ВОЛДИН 112

ТАК МОЛУПСИ. *Поэма.* Перевод В. Нечволоды 113

СОСНОВЫЙ БОР. Перевод Л. Решетникова 120

МОЙ ДРУГ И Я. Перевод Н. Касьянова 121

МУЗЫКА. Перевод Н. Касьянова 121

ОХОТНИК. Перевод Л. Решетникова 122

ЗЛО, КАК МУСОР, УНЕСЕТ… Перевод В. Нечволоды 123

МЕЛОДИИ ВЕСЕННИХ ПЕСЕН. Перевод В. Нечволоды 123

ОГОНЬ. Перевод Н. Касьянова 123
СЕВЕР МОЙ. Перевод В. Нечволоды 124
ХВАСТЛИВЫЙ ПАРЕНЬ. Перевод Л. Решетникова 124
МЫ С ТОБОЙ. Перевод Н. Касьянова 125
ЛЕТИ, МОЯ ПЕСНЯ. Перевод В. Нечволоды 125
ХАНТЫ. Перевод Э. Кияна 126

Владимир Михайлович ВОЛКОВЕЦ 128
НОЧЬ ПРОЕЗДОМ 129
В ТУМАНЕ 129
«ПОЕДЕМ НА ОЗЕРО ЩУЧЬЕ…» 130
«ДОРОГА К ТЕБЕ – ЭЛЕКТРИЧКА...» 131
ЖЕЛАНЬЕ СНЕГА 131
ПОДЪЕЗД 132
«ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ С ВЕТРА...» 132
«МАРТ В ОБЕРТКЕ ЦЕЛЛОФАНОВОЙ…» 133
«СВЕРНУЛ ЗА УГОЛ БЕЛЫЙ СПОЛОХ...» 134
«СОСУЛЬКИ – АМПУЛЫ С ЛЕКАРСТВОМ…» 134
ТРИ СЫНА 135
«ЗАСОХЛИ СТАРЫЕ БЕРЁЗЫ…» 135
«ЗЕЛЁНЫЕ ВЫПЛЕСКИ ЛИСТЬЕВ…» 136
БОЛЬШЕВИК 136
«МОЖЕТ, СЛУЧАЙНО ПРОХОЖИЙ…» 136
«ПОД ЗНАКОМ РЫБЫ В ГОД ЗМЕИ...» 137
ПРОПУЩЕННОЕ СЛОВО 138
«КОГДА НЕ ЗНАЮ, ЧТО ТВОРЮ…» 138
ЛЕСНОЕ УТРО 138

Юрий Кылевич ВЭЛЛА (Айваседа) 141
ЗЕМЛЯКУ, ПОСЕЛИВШЕМУСЯ В ГОРОДЕ 142
ОБЛАКО В НЕФТИ 142
«ЗДЕСЬ БЫЛА СОСНА...» 143
НА УРОКЕ 144
МОЛЧАНИЕ 144
ЗА ЧТО? 144

КАК ПРИКАЖЕТЕ НАЗЫВАТЬ? 145
У ТЕЛЕВИЗОРА 145
ХОЛОДНЫЙ БУЛЬВАР. *Триптих* 146
ШАЙ-ИКИ. *Рассказ* *148*

Сергей Сергеевич КОЗЛОВ 158
БЕКАР (becarre). *Повесть* 159

Анна Митрофановна КОНЬКОВА 201
ВОЖАК ИВЫР 202
СТАРШИЙ БРАТ 206
ЗАЙЧОНОК И КОМПОЛЭН 209
КАК ОКУНЬ ПОЛОСАТЫМ СТАЛ 210
«ХОЧУ – НЕ ХОЧУ» 211
МЯСНЭ И ЗАЙЧОНОК 213
КАЖДЫЙ ДРУГОМ СИЛЕН 216

Николай Иванович КОНЯЕВ 219
РУССКИЙ ХАНТ. *Рассказ* 219
МАЛЫГИ. *Рассказ* 228
ЧУЖАЯ МУЗЫКА. *Рассказ* 235
СТАРИННЫЙ ГОРОДСКОЙ РОМАНС. *Рассказ* 243

Сергей Артемович ЛУЦКИЙ 252
ОСКОЛОК ИМПЕРИИ. *Рассказ* 253
ДОМОВОЙ. *Рассказ бывшего горожанина* 262
ЛЮБИТЕ ИСКУССТВО, ГОСПОДА! 268
КЛЫКИ ВЫРАСТАЮТ РАНЬШЕ… 269
ТЕРПЕНИЕ БУКСИРОВ 269
С УТРА ДО ВЕЧЕРА. *Рассказ* 270

Владимир Алексеевич МАЗИН 288
ШАЛОСТЬ 289
«В ДЕБРЯХ ПАМЯТИ БЛУЖДАЯ…» 289

МЫГЫЯХ 289
«ВОЗВЫШЕННОСТЬЮ СЛОВА…» 290
ВДВОЁМ 290
«КАК РАСТАЕТ ПУХ ЛЕБЯЖИЙ…» 291
СОБЕРИ МЕНЯ В ДОРОГУ 291
«МИНОРНУЮ МЕЛОДИЮ МЕТЕЛИ…» 292
«ЕСЛИ УДАЧА И ЕСЛИ БЕДА…» 292
НАДЕЖДА 292
«ЛЮБЛЮ Я ПОЛНОЧЬ НА ОСТАТКЕ…» 293
«ПОЖАЛА ПРОВОЖАВШИМ РУКИ…» 293
«ТОРЖИЩЕ РАСКИНУЛО РЕКЛАМЫ…» 294
ГЛАВНОЕ СВИДАНИЕ 294
ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ 295
«ДУША МОЯ ИЗВЕЧНО НЕ СПАЛА…» 295
ПОЧЕМУ УТКИ КРЯКАЮТ 296
СОЛОМИНКА И ЯГОДКА 297
ПОЧЕМУ У ГЛУХАРЯ ГЛАЗА КРАСНЫЕ 297
ТРИ ТОПОРА ОТ ВОДЯНОГО 298

Дмитрий Александрович МИЗГУЛИН 302
«В СУЕТЕ, В КРУГОВЕРТИ…» 303
«ПИШУ, ПИШУ – А ТОЛКУ?..» 304
«ПИШИ, ПИШИ, ПИСАТЕЛЬ…» 304
«КАК СМЕЯЛОСЬ И ПЕЛОСЬ…» 305
«ДЫМИТСЯ МГЛА МОРОЗНОГО ТУМАНА…» 306
В БОЛЬНИЦЕ 306
БАЛЛАДА О СКРИПКЕ 307
ЦИРК МОЕГО ДЕТСТВА 307
СУВОРОВ 308
«НА РОДИНЕ – КАК НА ВОКЗАЛЕ…» 310
ДОМ, ГДЕ ЖИЛ ТЮТЧЕВ 310
«КАК МНОГО СЛОВ МЫ ГОВОРИМ ПОДЧАС…» 311
«ОПУТАНО ЛОЖЬЮ ПОЛМИРА…» 311
РОЖДЕСТВО 312

«РАСТАЯЛ СЛЕД ИНВЕРСИОННЫЙ…» 312
«МИР НОЧНОЙ ПОГРУЗИЛСЯ ВО МРАК…» 313
КАДРЫ КИНОХРОНИКИ 313
БАБЬЕ ЛЕТО 314
САКСОФОН 315
«НЕЛЕГКО БЫТЬ С ЭПОХОЙ НА “ТЫ”…» 315
«НЕ ВКЛЮЧАЙ ТЕЛЕВИЗОР, НЕ НАДО…» 316
«МЫ СТАЛИ С ТОБОЙ ДАЛЕКИ…» 316
МЕТРО 317
«В ЖИЗНИ – ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ…» 317

Валерий Леонидович МИХАЙЛОВСКИЙ 322
КРЕСТНЫЙ ХОД. *Рассказ* 322
БОЛЬ. *Рассказ* 331
МЕШАВКИНО СЧАСТЬЕ. *Рассказ* 340
ВЕСНОЙ ПОМИРАТЬ НЕОХОТА. *Рассказ* 348

Ирина Геннадьевна РЯБИЙ 353
ПОВЕРЬЕ 353
«Я ГЛЯЖУ В ОКНО…» 354
«БРОДИЛО ЛЕТО ГДЕ-ТО ПО ЛУГАМ…» 355
ГОРОДСКОЙ МОТИВ 355
У ИСТОКА 356
ОКТЯБРЬ 356
ЛУННЫЙ БРЕД 357
«КАКОЕ ЧУДО ЭТИ ЗИМЫ…» 357
«НЕУЖЕЛИ МЫ С ТОБОЮ СТАЛИ СТАРЫ…» 358
РУССКОМУ РАССЕЯНИЮ 358
«ИМЕЕТ ЛИ СВОЙ ЦВЕТ И ВКУС ЗЕМНАЯ СУЕТА?..» 359
«ХОРОШО БЫ ДОМ КУПИТЬ…» 359
ЧЕРДАК 359
ЛИЦО 360
ПАСТУШОК 361
ЗАКОН ЖАНРА 361

«МОЛВИЛА БРАТУ СЕСТРИЦА…» 362
«НИКОГДА НИКУДА НЕ УЕДУ…» 363
«ВО ВСЕМ, ЧТО ЕСТЬ, СМЫСЛ…» 363

Петр Антонович СУХАНОВ 366
РАСПЛАТА 367
ОРДЕН 367
БЕЛОСНЕЖЬЕ 368
ПОСЛЕДНИЙ 368
О МЕСТАХ 369
СВЯЗЬ 369
НЕ ВЕРЬ 370
АКВАРИУМ 370
ФАНТАЗИЯ 371
КОЛОКОЛА 371
МОРОЗНОЕ 372
НА ЗАРЕ 372
ВОРОНА 373
ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 373
БЛАЖЕННЫЙ 374
СИБИРЯКАМ 374
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ 375
«РАЗМАТЫВАЯ ГОДЫ, СЛОВНО ПУТЫ…» 375
ЭЛЕГИЯ 376
ЭСКИЗ 376
ПРИКОСНОВЕНИЯ 377
«НЕ В ЦИРКЕ, А ВЫКРУЧИВАЕМ РУКИ...» 377
ВРЕМЕНА ГОДА 377
НАКАЗАНИЕ 382

Андрей Семенович ТАРХАНОВ 385
БЕРЁЗОВСКИЕ ЛИСТВЕННИЦЫ 386
ДУМА У СПИЛЕННОГО ДЕРЕВА 386
ОСЕННЕЕ ТАНГО 387

СЕДЬМОЙ ВАЛУН 388
ВЗАИМОСВЯЗЬ 389
МАРШАЛ ЖУКОВ 389
ЧУДАКИ 390
ВСПОМИНАЯ РУБЦОВА 390
УТРО ДОСТОЕВСКОГО 391
«МЫ ВСЕ ОДИНОКИ ПО-СВОЕМУ…» 392
В ГРОЗУ 393
ПАСХАЛЬНЫЙ ДЕНЬ 393
БЕЛАЯ НОЧЬ 394
НЕ ВСПОМИНАЙ 394
«БЕЗДНА ЖИЗНЕННОСТИ ВО МНЕ…» 395
УТРО ВОЗНЕСЕНИЯ. *Поэма* 395
«НЕ ВЕРЯ НАЗОЙЛИВЫМ ВРЕМЕНЩИКАМ…» 403

Павел Рудольфович ЧЕРКАШИН 406
«ТИХИЙ ПОГОСТ. ЗА ОГРАДОЮ КОНИ…» 407
«ВЫЙДУ ЗА ОКОЛИЦУ…» 407
«ДЕРЕВЯННАЯ СТАРУШКА…» 408
«ТРИ ИКОНЫ, КРЕСТ НАТЕЛЬНЫЙ…» 408
«ДЕРЕВЬЯ В ГРОЗНОМ СКОРБНО МОЛЧАЛИВЫ…» 409
«ДО СУРГУТА ЛИТЕРНЫМ СОСТАВОМ…» 409
«ПО РАЗВАЛИНАМ МЕСЯЦ ЩЕРБАТЫЙ СКРЕБЁТСЯ…» 409
МАЛЬЧИК И ЗВЕЗДЫ. *Лирический этюд* 410
ЗДРАВСТВУЙ, СОЛНЦЕ! *Рассказ* 412
ЧАРУШИНСКАЯ СКАМЕЙКА. *Рассказ* 417

Юван (Иван) Николаевич ШЕСТАЛОВ 425
ОТ ЛЮБВИ ТВОЕЙ ВЫСОКОЙ. *Отрывок из третьей песни «Языческой поэмы».* Перевод Н. Старшинова 426
РОССИЯ. *Отрывок из третьей песни «Языческой поэмы».* Перевод Н. Старшинова 426
ИДОЛ. *Отрывок из четвёртой песни «Языческой поэмы».* Перевод Е. Винокурова 427

«НУЖНЫ МНЕ КРЫЛЬЯ ДА ЕЩЕ ДОРОГА…».
Перевод Н. Старшинова 431
«МНЕ СКАЗЫВАЛИ, ПРАДЕД МОЙ…». Перевод А. Паперного 432
МАТЬ. Перевод С. Ботвинника 432
ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ. Перевод О. Шестинского 433
БОГИНЯ СОЛНЦА. Перевод А. Аквилева 435
«ГЛАЗА ТВОИ – МЕДВЕДИЦЫ В БЕРЛОГЕ…».
Перевод В. Цыбина 436
«ЕСЛИ ТЫ ЧЕЛОВЕК, А НЕ ВРАЛЬ…». Перевод А. Кушнера 436
СЛОВО ГИПЕРБОРЕЯ. *Поэма.* Перевод И. Кашежевой 437
«КАК ПО ЛЕСУ ТЁМНОМУ…». Перевод А. Поперечного 444
«СВЕТИТ СОЛНЦЕ – И НА ДУШЕ МОЕЙ СВЕТЛО…» 444
«У МАНСИ…» 445

УДК 89(Р571)(75)
ББК 83.3(2Рос-Хан)
С 568

**Современная литература Югры:
хрестоматия для учащихся 9–11 классов**

Составитель – А.Н. Семенов,
заведующий кафедрой журналистики
и литературы Югорского государственного университета,
доктор педагогических наук, профессор

Фото на обложке В. Балина и В. Гончаренко

Руководитель издательского проекта
М. Гордиенко
Главный редактор
И. Захарова
Дизайн, верстка
И. Мишагина
Корректоры
М. Лихоманова,
О. Рыбина
Менеджер
Н. Овсянникова
Предпечатная подготовка
А. Терёшкин

ООО «Баско»
Генеральный директор С. Симаков
620075, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 81, 12-й этаж
Тел. (343) 355-21-35, e-mail: basko@sky.ru

Подписано в печать 25.08.2008. Бумага Котлокс 65г/м^2
Формат 60x90/16. Гарнитура Times New Roman
Печать офсетная. Усл. печ. л. 28,5. Тираж 15 000 экз. Заказ № Т-1056

Отпечатано в типографии ОАО ПИК «Идел-Пресс»
в полном соответствии с качеством предоставленных материалов
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2